

**ВЯЧЕСЛАВ
КОНДРАТЬЕВ**

**КРАСНЫЕ
ВОРОТА**

ПОВЕСТЬ. РОМАН



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1988

ББК 84Р7
К64

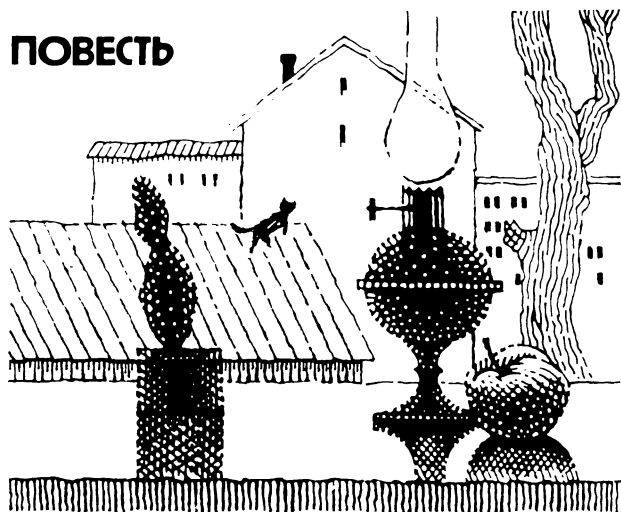
К $\frac{4702010200-006}{M172(03)-88}$ Без объявления

ISBN 5-239-00481-1

© Издательство «Московский рабочий», 1988 г.

ВСТРЕЧИ НА СРЕТЕНКЕ

ПОВЕСТЬ



Володька шел по Сретенке, по главной своей улице... Если считать по нумерации домов, то начиналась она от Сретенских ворот, но для Володьки — от Колхозной, бывшей Сухаревской площади, где когда-то, впрочем не так давно, возвышалась знаменитая Сухаревская башня. Слева на углу магазин одежды, до революции — Миляева и Карташева, до сих пор так и называемый москвичами «миляйкарташев». За ним шел магазин спорттоваров, потом молочный. Напротив, на правой стороне улицы, — большой гастроном, бывший торгсин, затем столовая, банк, а за Большим Сухаревским переулком кинотеатр «Уран». Чуть наискосок от него Селиверстов переулок, где был небольшой, но уютный пивной бар... Вообще вся Сретенка полна была магазинов, больших и маленьких, многие из которых сейчас закрыты. На углу Малого Головина переулка в сороковом году построили новую школу, куда влилась старая Володькина с 1-й Мещанской. Дальше, ближе к Сретенским воротам, букинистический магазин, часто посещаемый Володькой в довоенные времена, ну а еще дальше, в Колокольном переулке, Дзержинский райвоенкомат, учреждение, памятное и важное для всех ребят их района.

На Сретенке и в ее переулках жили многие Володькины одноклассники и однополчане по Дальнему Востоку. Поэтому он, как и в отпускные дни сорок второго года, шел по родной улице, приглядываясь к прохожим в смутной надежде кого-нибудь встретить. Шел к Бульварному кольцу, чтобы сесть на «аннушку» и добраться до госпиталя, где лежал сейчас его школьный товарищ и тезка Вовка Деев. Это было на второй день его возвращения в Москву из ивановского госпиталя — 27 мая сорок пятого года...

— Как ты думаешь, сколько народу угрохано в войну? — спросил Володька, после того как поговорили они с Деевым о разных житейских мелочах.

— Миллионов пять... шесть, наверное... — не сразу, а подумав, ответил тот.

— Да, не меньше...— вздохнул Володька.

Они сидели на скамейке в госпитальном садике... По дорожкам гуляли выздоравливающие, многие на костылях. У Деева тоже костыли, прислоненные сейчас к скамейке...

— Я же, дурак, отсрочку имел... Когда война началась, перешел уже на четвертый,— сказал Деев, поступивший в архитектурный с первого захода в тридцать восьмом.— Но как же, все в военкомат — на фронт хотим, ну и я тоже. В пехотное училище попал. Досталось. Характер мой знаешь, подчиняться терпеть не могу. За шесть месяцев четыре раза на «губу» гремел. Два — на «строгую». А там, известно, хлебец и водица, выйдешь — без ветра шатает... Кстати, Володька, твоя мать здорово меня своими письмами поддержала, да и посылки присылала. Поблаговари ее. Как выпишусь, найду, конечно...

Володька покуривал и слушал Деева, прозванного в школе Кобылой за длинное лицо и крупные зубы, которые часто скалил в смехе, тоже напоминавшем лошадиное ржание. А ржал он часто, подковыривая ребят и давая им разнообразные, не всегда остроумные, но всегда обидные клички, за что его не очень-то любили. Подковыривал он и Володьку, несмотря на дружбу, одну парту и шахматные матч-турниры, но тот особого внимания на это не обращал — такой уж у Деева характер, черт с ним...

— Знаешь, сколько раз они мне ногу резали? — продолжал Деев.— Четыре раза! Ранило меня в ступню, я и не переживал поначалу, думал, отвалюсь месяцок, и все. Но попал к бабе-хирургу, бывшему гинекологу, ну она, стервь, как следует операцию не сделала, и началась гангрена... Вот видишь, — задрал он пустую штанину, — почти до самых... и оттяпали. Наверно, протез будет трудно приспособить. Да и говорили мне, что в Протезном институте на два года очередь...

Они немного помолчали, потом Деев спросил:

— Как на воле... в Москве?

— На воле? — усмехнулся Володька.— Шик-модерн! В коммерческих магазинах всего навалом, полно народу, берут и колбаску, и икорочку, и водочку, разумеется...

— Да ну? Откуда же у людей деньги? — удивился Деев.

— Черт их знает,— пожал плечами Володька.— И рестораны открыты, туда тоже по вечерам очереди.

— Засранцы тыловые! Спекулировали небось, гады,—

выкатил глаза Деев и даже схватился за свой костыль.— Я бы их...

Володька рассмеялся, вспомнив первые дни своего отпуски, когда его раздражали тыловые мужики в штатском и при галстучках.

— Чего смеешься? — оборвал его Деев.— Кого-то убивали, кого-то уродовали, а какая-то сволочь на войне наживалась. Гадство это! — Он помолчал немного, потом спросил: — Ты-то хоть с деньгами вернулся?

— С какого приварка деньги-то? Половину аттестата матери высылал. На Новый год в госпитале просадил порядком. Тысячи две, наверно, есть, но это сейчас, браток, не деньги...

— Мда... — протянул Деев.— Особо не разгуляешься. Я, правда, кое-что привез, но тратиться не могу. Ты же знаешь, с отцом мы не в ладах, хочу самостоятельно жить. Вот сколько пенсии положат? Пенсия плюс стипендия. Проживу, как думаешь?

— Жив будешь, но ничего не захочешь, — ухмыльнулся Володька.

И тут Деев заржал, как ржал в школе, издеваясь над кем-нибудь, но сейчас он смеялся над собой, а потом сразу оборвал смех и нахмурился.

— Я по собственной дурасти на передок угодил, — начал он после недолгого молчания.— Из училища меня на Северо-Западный отправили, а фатер мой там начальником санотдела армии был, ну и пристроил меня при штабе, командиром комендантского взвода. Та припухаловка была после училища — рай небесный... — он задумался.

— Как же на передок оттуда?

— Тоже история вышла... Вот выпишусь, заберемся с тобой куда-нибудь, расскажу. На сухое горло не получится.— Немного помолчав, спросил: — Из наших никого пока не видел?

— Нет... Еще настоящая демобилизация не началась. Но, наверно, скоро кто-нибудь появится.

— Если не на том свете уже, — скривил губы Деев.

— Да, вернутся не все... — Володька сплюнул докуренную сигарку, затоптал окурок подошвой сапога.— Но все-таки мы победили, Вовка. Понимаешь, победили!

— Да, победили, конечно... Но мы-то с тобой в двадцать пять годков инвалиды, — он взял костыль и начал что-то чертить на песке, которым были посыпаны дорожки госпитального садика.

— Но все-таки живые,— ударил Володька по последнему слову.

— А как жить будем, задумывался? — с тоской в глазах спросил Деев.

— Тебе что,— сказал Володька,— пойдешь сразу на четвертый курс, а мне с первого начинать. Архитектурный — ауфвидерзеен, не гожусь с одной рукой... А куда идти, не знаю. Никуда что-то не тянет... — он ловко завернул левой рукой самокрутку и запалил.

— Опять засмолил,— отмахнулся от дыма Деев.

— А ты и на фронте не закурил?

— Нет. Водку, будь она проклята, трескать научился, а курить нет.

— Чего водку проклинаешь? — улыбнулся Володька.

— Из-за нее на передовую и угодил,— сказал Деев, выругался, а потом вдруг повернул разговор: — Знаешь, что подумал? Наверно, больше мы потеряли? Помнишь, сколько под каждой деревенькой клали?

Володька втянул в себя густой махорочный дым, выдохнул и тихо ответил:

— Помню... и не забуду. Это на всю жизнь...

Оба задумались, видать вспоминая каждый свое, но Володьке почему-то показалось, что спросит сейчас Деев про Юльку, а он не хотел, да и не мог рассказать о ней и потому, поднявшись, стал прощаться.

— Ты навещай меня... До сентября, видимо, тут проваляюсь. Гноится культя, черт бы ее побрал,— сказал напоследок Деев.

От Деева Володька шел по Интернациональной улице к Солянке и, чтобы не думать о Юльке, стал вспоминать ивановский госпиталь... Половину предплечья правой руки, перебитой разрывной пулей, ему ампутировали еще в сентябре, но у него было и ранение обыкновенной пулей, которая задела нервы в плечевом сплетении, из-за него-то и отправили в нейрохирургический госпиталь, в глубокий тыл. Здесь предстояла ему операция по сшиванию нервов — авось после нее недвижимая в локте рука оживет...

Иваново вообще город женский, ну а в войну мужчин почти совсем не стало, потому и пользовались раненые особым вниманием ивановских девиц, которые даже в дни карантинов прорывались в госпитальный зал на первом

этаже, где почти каждый день крутили фильмы, а после них танцы под надрывные довоенные танго.

С палатой Володьке повезло — на четверых. Военфельдшер Костик, как его все звали, уже прошел комиссию, получил ограничение второй степени и готовился к выписке. У него было обмундирование, которое он прятал под матрацем. Костик каждый вечер отправлялся в «пикировку» и иногда даже не ночевал в палате. Появлялся утром в довольно помятом виде, самодовольно ухмыляясь и почему-то шепотом выдавал свои восторги.

— Ну, ребя, какая девочка была! Парадоксально! — он закатывал глаза и прищелкивал пальцами.

Володька усмехнулся, так как не видел его «девочек» и ничего такого уж особенного, а тем более «парадоксального» в них не находил. После завтрака Костик заваливался спать, просыпая порой обед и поднимаясь только на ужин. После кино и танцев исчезал.

Однажды после очередной танцульки он вернулся в палату, держась за живот.

— Ой, умора! Ой, не могу! Понимаете, ребя, танцую с одной, полненькая такая, пышненькая, ну я в давке незаметно руку с ее талии спускаю все ниже и ниже и вдруг чувствую, не то, слишком уж мягко что-то... Так знаете... Подушечку она себе сзади приспособила! Не умора, а? Это, значит, чтоб соблазнительной быть. Еле сдержался, чтобы прямо там, в зале, смехом не грохнуть. Ой, не могу! — он бросился на койку и захохотал.

— Хватит ржать! — прикрикнул Володька. — Неужто не понимаешь?

— Чего понимать-то? Смешно же прямо до колик... Позавчера у одной буфера подложные заметил. Во, как они нашего брата оболванить хотят. Они, эти ивановские, ушлые, знают, чем взять.

Володьке же, когда он иной раз оставался на танцы, было жалко этих не очень-то хорошо одетых девчонок, усталых, полуголодных, худеньких и бледных, несмотря на губную помаду и румяна, которые после тяжелой и утомительной работы все же рвались в госпиталь в надежде кого-то встретить, может быть, полюбить, так как знали, окончится война, и в городе мужчин будет еще меньше, чем было, а пример нескольких счастливиц, вышедших замуж за госпитальных ребят, обнадеживал остальных — а вдруг?..

— Голодают же девчонки, эх ты... — Володька махнул рукой.

— Он просто кобель,— презрительно сказал армянин Артем, занимавший койку напротив Володьки.

— Погодите, вот после операции боли у вас пройдут, тоже хвост задерете... А потом чего мне? Девка моя под немцами была. Пишу, пишу, ответа нет. Может, и не жива. Короче, не ждет меня никто. А на фронте не знаю, как вам, а мне не обламывалось. Я в санузле был, на передовой все время. Так что сейчас за всю войну отыгрываюсь,— с чувством своей правоты ответил Костик.

За несколько дней до Нового года появилась у них в палате гостья. Смело вошла, остановилась, улыбнулась и стала их поочередно разглядывать веселыми глазами.

Ребята смутились... Кто-то не успел еще побриться, кто-то лежал под одеялом. Даже Костик растерялся, вынул глаза и не сразу щелкнул пальцами.

— Ну, кто из вас Канаев? Погодите, не отвечайте, попробую угадать,— сказала она, еще раз оглядев всех, и затем решительно направилась к Володьке.— Угадала?

— Да-а...— недоуменно пробормотал Володька.

— Тогда здравствуйте,— она протянула руку.— Я Клава.

— Парадоксально! — брякнул Костик.

— Вы меня не знаете, но, может, помните, иногда к вашей бабушке приезжала ее гимназическая подруга из Иванова Ольга Федоровна?

— Помню.

— Я ее дочь.

Володька пожал ей руку, а она скользнула взглядом по пустому рукаву его пижамы.

— Вас выпускают в город? — спросила Клава.

— Вообще-то нет, но можно выбраться... через забор. Только у нас одно обмундирование на всех... вот у него,— кивнул Володька на Костика.

— Ох, какие вы бедненькие,— засмеялась она.

— Володя,— великодушно выступил Костик,— если нужно, моя одежда в твоём распоряжении. Сапоги у меня, правда, сороковой.

— Не подойдет,— огорчился Володька.

— Жаль... Мама очень хотела, чтобы вы навестили нас. Наш дом на этой же улице, совсем недалеко. Кроме того, мальчики, я могу вам устроить билеты в театр. На оперетту хотите?

— Хотим-то хотим, но не можем,— улыбнулся Артем.

— Я могу, если только два билетика,— вытянулся Костик.— Гвардии лейтенант медицинской службы Васин, а по-простому Костик.

И Клава сказала, что устроит ему два билетика, потом спросила:

— Мальчики, а как Новый год собираетесь справлять?

— Да никак,— отозвался Володька.— Попросим няню купить на базаре водочки, ну и справим как-нибудь.

— А можно, я приду к вам? Принесу патефон, пластинки... огурчиков своих на закуску. Можно?

— Наверно, надо получить разрешение,— неуверенно сказал Володька.

— Это я беру на себя,— заявил Костик.— Мария Павловна мне не откажет. Во-первых, коллеги как-никак, а потом женщина,— он был очень уверен в своих мужских чарах.

— Вот и договорились. Я еще забегу к вам до праздника. Хорошо, мальчики?

Все, конечно, заулыбались и стали благодарить. Она простилась с ними за руку и упорхнула, оставив запах духов и смятение в мужских госпитальных сердцах.

— Ну, Володимер, не теряйся. Это бог тебе послал. Перебивать, уж так и быть, не буду. Сам знаешь, от своих отбою нет,— и Костик начал напевать дурацкую песенку, каждый куплет которой оканчивался «кверху попой». Изводил он их этой песенкой с самого своего появления в палате. Поначалу было смешно, но потом надоело до чертиков.

— Кончай трепаться! У тебя одно на уме,— возмутился Володька.

— Правильно,— согласился Костик.— Только одно! А о чем мне сейчас думать? Как жить на гражданке буду? Что-то не хочется об этом, привык часом жить...— он на минуту задумался.— И, знаете, ребята, не скоро это у нас пройдет — часом-то жить...

Старшина Николай, четвертый их сосед, занимавший офицерскую должность и потому попавший в эту палату, сказал задумчиво:

— А жить-то надо будет... На войне, конечно, тяжело было и страшно, но ведь на всем готовом: сапоги прохутились — держи новые... У меня специальности никакой, десятилетка и армия. Учиться дальше не выйдет, родители старенькие, на их хлеба переходить совесть не позволит. Иногда представишь, и не по себе становится. Отвыкли

мы, ребята, от нормальной жизни... У тебя, Володька, тоже специальности никакой?

— Да...— вздохнул Володька.

Ему тоже садиться на материнскую шею нельзя, да и не прожить им вдвоем на ее зарплату.

— У меня, ребята, с этим делом проще... Заберусь в какое-нибудь селенье заведующим медпунктом, погуляю годик, а там женюсь на какой-нибудь Марфушке с домом и огородом... И буду в тишине поживать,— мечтательно произнес Костик.

— Ребята, если не устроитесь — валяйте ко мне в Армению. Всех устрою, всех переженю. Слово даю,— Артем обвел палату добрыми глазами.— Правда, ребята... Сдружилась мы тут, словно родными стали. Приму всех, место найдется.

— Может, махну и к тебе,— сказал Николай.— Стариков своих навещу, покажусь живым и махну. Климат у вас мягкий, одежды зимней не нужно.

— И ты, Володя, подумай,— повернулся к нему Артем.

— Подумаю...

Неподалеку от поворота Солянки на площадь Ногина шумела пивная — «деревяшка», выплескивая гомон на улицу. Володька глянул через стекло — народу тьма. После встречи с Деевым хотелось промочить горло. Он постоял немного, облизывая пересохшие губы, но не зашел — кружка пива стоила двадцать два рубля шестьдесят копеек, — а направился к Спасоглинищевскому переулку, чтобы выйти к Маросейке, оттуда к Мясницкой, а там и до родной Сретенки рукой подать...

У Сретенских ворот он вошел в троллейбус и... увидел Майку!

Она сидела впереди, но он и со спины узнал ее. На ней было легкое платье без рукавов, и, судя по круглым открытым плечам, она пополнела еще больше.

Нет, у него не екнуло сердце, не участилось дыхание, но что-то все же произошло — ярко вспомнились мучительные сны на Дальнем Востоке, желание увидеть ее во время отпуска, танцы на школьных вечерах...

Майка обернулась на Володькин взгляд, увидела его, изменилась в лице, сразу поднялась и стала пробираться к нему. Володька тоже подался к ней.

— Володька, Володька,— радостно, с каким-то приды-

ханием произнесла она, схватила его за плечи,— ты живой, живой... Как я рада.

Публика в троллейбусе повернулась к ним и начала глазеть.

— Выйдем возле «Урана»,— сказала она и потащила его к двери.

Они вышли и быстро нырнули в Даев переулок, где было меньше народа. Остановились. И почему-то очень долго молчали. У Майки слегка дрожали губы и повлажнели глаза.

— Никого из наших не видела? — спросил наконец Володька.

Она отрицательно помотала головой.

— Ну, как живешь?

— Хорошо,— сказала она.— Мы все не о том, Володька. Не о том.

— Почему не о том? — смутился он.

— Все это ерунда — кого видела, как живу... Главное, ты вернулся. И я... я так счастлива, Володька,— она схватила его руку.— Ты куда не торопишься?

— Куда мне торопиться,— усмехнулся он.

— Тогда пойдем,— она взяла его под руку.

— Куда?

— Все равно куда. Хочешь, зайдём ко мне в Коптельский? Я там уже не живу, но ключи от маминой комнаты есть.

— Пойдем,— согласился Володька.— Ты мирово выглядишь,— оглядел он Майку.

— Я говорила, что хорошо живу...

Она вдруг остановилась, опустила Володькину руку, странно так посмотрела и выпалила:

— Я хочу тебя поцеловать, Володька.

— Сейчас, на улице? — не то удивился, не то испугался Володька.

— Именно сейчас и именно на улице,— рассмеялась Майка и, охватив его шею, притянула к себе, поцеловала крепким, но коротким поцелуем.— Ну вот,— победоносно взглянула она.

— Зачем это, Майя? — спросил ошарашенный Володька.

— Мы же с тобой никогда не целовались, а мне давно этого хотелось. Вот и выполнила давнишнее желание,— она опять рассмеялась, глядя на смущенного Володьку.— Мальчишка ты еще. Совсем мальчишка, хоть и прошел войну.

— Я не мальчишка, Майя,— придавая значительность своему голосу, сказал он.

— Брось! В двадцать пять лет мужчина — еще мальчишка. И не делай серьезного лица,— она шутливо хлопала его по щеке.— Мальчик ты. Почти такой же, каким был в школе. Кстати, вспоминаешь школу?

— Редко...

— А я часто...— задумчиво произнесла Майка, вынимая из сумочки пачку «Казбека».— Бери.

— Давно не курил таких,— он взял длинную папиросу, достал трофейную зажигалку.

Остальную дорогу они шли молча, Майка крепко держала его под руку, прижимая к себе, и он чувствовал движение ее бедер, но это почему-то не волновало его. Когда повернули в переулок, Володьку вдруг будто что толкнуло. «Только с Майкой не встречайся»,— всплыли Юлькины слова, и он непроизвольно отшатнулся от Майки, освободив руку. Она недоуменно посмотрела на него, и, чтобы как-то объяснить это, он полез в карман за носовым платком.

Майкин дом был вторым от Садовой, небольшой двухэтажный домик с облезлым фасадом.

— По-моему, ты был у меня раза два? — спросила она, открывая ключом дверь в квартиру.

— Да, приносил какую-то книгу...

— Верно... Ну, проходи,— она впустила его в комнату.— Здесь у мамы все по-прежнему. Садись, я сейчас приготовлю поесть.

Майка подошла к старому буфету, достала оттуда две банки консервов, хлеб, тарелки и рюмки. Потом долго чего-то искала.

— Была у мамы бутылка вина, но что-то не найду...

— Да ладно,— бросил Володька.

— Ну как же? Надо отметить твое возвращение. Я схожу к соседям, Володька...

— Не надо,— сказал он не совсем искренно, потому как выпить не отказался бы.

Майка к соседям не пошла, стала искать в других местах и наконец вытащила небольшой графинчик с зеленоватой жидкостью.

— Тут мало, но хоть чокнемся.

Открыла банку американской колбасы и разлила содержимое графина.

— За твое возвращение, Володька, и за Победу.

Они чокнулись, выпили. Володька без особого стеснения навалился на колбасу, пахнувшую какими-то специями.

— Ты и вправду хорошо живешь,— заметил он, как-то сухо поглядев на Майку.

— Да, хорошо,— подтвердила она, но лицо было грустным.— Я замужем, Володька...

— Вот как! — это неприятно поразило его.— И давно?

— Еще до войны...

— Кто же твой муж?

— Литератор...

— Ого,— криво усмехнулся Володька.— Не воевал, конечно?

— Был на фронте полгода, но обострилась язва, его отпустили...— она поглядела на него и замолчала.

Володька насупился и отвел глаза.

— Я слыхала, ты был в сорок втором в Москве,— продолжала Майка.— Почему не зашел?

— Так,— пожал он плечами.— Не до встреч было.

— Очень жаль...— протянула она, наливая ему вторую рюмку.

Он выпил, потом налил себе еще, стараясь заглушить поднявшееся вдруг раздражение против Майки, но не заглушил и, не сдержавшись, грубовато ляпнул:

— Ты вот талдычишь, что хорошо живешь... Нет, ты плохо прожила эти годы.

— Почему? — ее глаза забегали.— Почему? — повторила она, остановив взгляд на нем уже с некоторым вызовом.

— Ты прошла мимо...

— Мимо чего? — перебила она.

— Войны!

— Вот ты о чем,— она облегченно вздохнула.— Я работала, училась. Не думай, что это легко было совмещать. Правда, я в последние годы не голодала, но и это было.

— Училась, работала... Все не то!

— А что — то? Поехать на фронт, стать чьей-нибудь «пж» и вернуться с брюхом? — жестковато, в упор сказала она и усмехнулась.— Я же красивая, Володька. Ко мне приставали бы без конца... Ты помнишь Лелю из девятого «Б»? Я видела ее недавно. Вернулась с фронта беременная, родила, и от нее ничего не осталось, выглядит на

все тридцать... А какая была хорошенькая! Нет, милый, я не принимаю твоих упреков.

— Она живет там же? — спросил Володька.

— Леля? Да, на Колхозной. Зачем тебе?

— Хочу навестить.

— Что ж, навести... Увидишь, во что она превратилась.

— С ней хоть поговорить будет о чем... У нас общее — фронт.

— Понимаю...— с горечью сказала Майка.— А со мной говорить не о чем? Да? Но разве у нас нет другого общего — детство, юность, школьные вечера, танцы?

— Школа — слишком давно. И не то,— сказал он и вдруг понял, что сделал ей больно.

— А для меня то! Я всю жизнь буду помнить...

— Прости. Я тоже, конечно, вспоминаю школу... Это я так...

— Скажи, я нравилась тебе тогда?

— Да... И здорово,— признался Володька.

Она поднялась, подошла к столику, где стоял патефон, и поставила пластинку — какое-то старое танго, из тех, под которые танцевали они когда-то.

— Потанцуем? — предложила Майка.

Она стояла перед ним красивая, но такая благополучная, что Володька, сам не понимая почему, отрицательно мотнул головой.

— Что-то не хочется, да и разучился я,— буркнул он и поднялся.

— Ты уходишь? погоди, давай покурим,— она торопливо вытащила папиросы, протянула ему.— Посиди еще немного.

Володька взял «казбечину», закурил и присел... Так же суетливо Майя налила еще рюмку.

— Выпей... Я все понимаю, Володька. Тебе надо многое забыть... эти страшные годы... эту войну... Я очень хочу помочь тебе в том, но не знаю как. Очень хочу!

— Спасибо, Майка,— сказал он дрогнувшим голосом, тронутый ее искренностью и уже пожалев о своей грубости.

— Запиши мой телефон... И звони, звони, когда тебе почему-либо станет плохо. Звони,— повторила она каким-то жалким, просящим тоном, так не идущим к ее самоуверенному виду...

Новый год Володькина палата встретила лучше, чем другие ранбольные: была Клава, был патефон, к купленной

на базаре водке домашняя закуска — картофель в мундире, соленые огурчики и капуста. Но все же было грустновато, хотя этот Новый год — первый встреченный ими в мирной обстановке глубокого тыла.

Клава не выделяла никого и танцевала с каждым по очереди. Только под конец вечера, сидя на Володькиной койке и воспользовавшись тем, что ребята о чем-то заговорили и не смотрели в их сторону, украдкой поцеловала Володьку, шепнув:

— Приходи к нам обязательно... Буду ждать каждый вечер, — и во вкрадчивом шепоте было обещание.

У Володьки все кругом пошло, и он пересохшими губами еле выдавил:

— Приду...

Она крепко сжала его руку, и в этом пожатии, как и в словах, тоже было обещание.

На одной из площадок полутемной лестницы, когда шли к выходу, Клава остановилась, распахнула шубу и прижалась к нему. Они долго не могли оторваться друг от друга, но вспугнули шаги спускавшегося по лестнице дежурного врача.

...Володька не мог уснуть в ту новогоднюю ночь... Боли, приглушенные выпитой водкой, почти не изводили его, и вспыхнувшая чувственность, задавленная тяжелыми буднями войны, усталостью и недоедом, каждодневным ожиданием смерти и ранением, рисовала всевозможные картины того, что произойдет у Клавы. А в том, что это произойдет, он не сомневался — Клава была откровенна и всем своим поведением не скрывала, что хочет того же, что и он... Завтра он выпросит у Костика обмундирование, разыщет по палатам подходящие сапоги и отправится к ней. Да, завтра же! Откладывать нельзя, потому что через несколько дней предстоит операция, а после нее придется неделю, а то и две валяться на койке.

Сапоги Володька не раздобыл и сейчас натягивал Костины при сочувственном внимании всей палаты. О портянках не могло быть и речи, а носков ни у кого не было. На босу ногу сапоги с трудом, но налезли...

— Так ноги сразу заморозишь, — покачал головой Артем.

— Черт с ними! Дойду как-нибудь, — бросил Володька.

— Значит, ты не теряйся, — советовал Костик. — Особо не рассусоливай, они этого не любят. Ближе к делу, как говорится. Девка в самом соку, ей подкладывать ничего

никуда не надо, все на месте — и спереди и сзади, — и он обрисовал на себе все выпуклости Клавиной фигуры. — Хорошо бы четвертинку поставила. Понимаешь, когда я до операции в «пикировку» бегал и боли еще не прошли, бывало в самый, так сказать, решающий момент схватит боль, ну и все... опозорился.

Володька с некоторым раздражением слушал Костины наставления. Сегодня на трезвую голову ему уже не представлялось таким реальным то, о чем думалось ночью. Фантазии все это, наверно...

Одеваться Володьке помогали все. Оказалось, что при одной руке надеть гимнастерку, застегнуть ее, подпоясаться ремнем не так просто, это не пижаму накинуть. И сапоги напяливали на него всем миром... Выскользнув из госпиталя, он направился к дырке в заборе, координаты которой сообщил Костик. Но, когда Володька эту дыру нашел, она оказалась забитой досками, вот досада. Как он будет перелезать через забор с одной рукой, Володька не представлял, но знал, как-нибудь перемахнет. Не с первой попытки сумел он в прыжке ухватиться левой рукой за верхнюю доску забора, не сразу нащупал ногой, во что упереться. Наконец-то, напрягая все силы, удалось ему подтянуться так, чтобы перекинуть тело через заостренные доски... Лишь бы не порвать Костину шинель, беспокоился он, но все обошлось благополучно, не считая, что с забора он упал не на ноги, а боком и рвануло резкой болью и культю, и рану в плече, но это уже пустяки перед тем, что могло ожидать его на Сосневской улице, всего в двух кварталах от госпиталя. Но эти два квартала надо было еще пройти, а не успел он сделать и сотню шагов, как босые ноги, сжатые узкими сапогами, сразу заоченели... Еле доковылял до Клавиного дома, кривясь от боли, проклиная Костины хромовые сапоги.

Одноэтажный деревянный домик приветливо светил маленькими окнами. Володька открыл калитку и... остановился — вспыхнула мысль о Тоне... Но она так давно ему не писала, что стала почти нереальной, как и вообще те дни отпуска в сорок втором году... Он шагнул к двери и постучался. Открыла ему Клава и тут же, в темной передней, поцеловала долгим поцелуем, от которого он чуть не задохнулся.

— А теперь проходи, — шепнула она, пропуская его.

Ольгу Федоровну, Клавину мать, Володька сразу узнал, как и она его, и эта знакомая по Москве пожилая жен-

щина, которую он увидел здесь, в чужом Иванове, и эта обыкновенная комната с развешанными по стенам фотографиями, старым буфетом, фарфоровыми чашками на столе возвратили его в довоенную жизнь, растрогали до умиления и отринули от грешных мыслей.

— Хорошо у вас,— невольно вырвалось у него.

Вскоре на столе стоял самовар, тарелки с горячим, только что сваренным картофелем. Но такой необходимой, по словам Костика, четвертинки не было.

Володька ерзал на стуле, стараясь если не снять, то хотя бы спустить сапоги с окоченевших сдавленных ног, и Клава, заметив это, сказала матери, чтобы та принесла валенки, так как у Володи, наверно, замерзли ноги. Когда они помогли ему снять сапоги и увидели, что надеты они на босые ноги, Ольга Федоровна ужаснулась, а Клава выразила восхищение Володькиным мужеством — мороз-то на дворе около двадцати.

Надев теплые, с печки валенки, Володька почувствовал себя уютнее, а когда, выпив горячего чая, согрелся весь, то и еще лучше. Заметив, что на столе очень мало хлеба и совсем нет сахара, он обругал себя за недогадливость и виновато пробормотал, что как-то не догадался захватить из госпиталя хлеб и сахар.

Вечер пролетел незаметно в неторопливых домашних разговорах, а к концу его сама Ольга Федоровна предложила Володьке остаться ночевать — постелет ему в отдельной комнатке, он никого не стеснит, и нечего еще раз лезть ему через забор... Володька согласился сразу, хотя присутствие матери и спокойная непринужденность Клавы не сулили ему ничего особенного, но выходить на мороз и топать до госпиталя в Костиных сапожках страшно не хотелось.

Клава провела его в комнату, смежную с большой, где они пили чай, отгороженную только легкой дощатой перегородкой, не доходившей до стены и оставлявшей небольшую щель как раз в том месте, где стояла ее кровать. Постель для него была уже приготовлена.

— Ну... Спокойной ночи,— пожелала Клава спокойно, пряча в глазах усмешку.

— Не усну я,— жалко сказал он.

— Уснешь,— она погладила его по голове и вышла.

Володька стал раздеваться, что было не очень-то легко с одной левой рукой. Справившись, он лег, накрылся одеялом, и тут его стала бить дрожь, которую никак не мог

унять... Он слышал, как в большой комнате ходила Клави-на мать, убирала со стола, ходила долго то сюда, то туда и наконец вышла. Значит, спать будет в другой комнате, обрадовался Володька. Потом он слышал, как раздевалась Клава, как легла в постель, потушив свет... Стало темно и очень тихо... Он достал папиросу и закурил, чтобы успокоиться.

— Ну, как ты? Не спишь? — услышал он Клавин шепот, а потом ощутил горячую руку, прикоснувшуюся к его лицу.

Он схватил ее руку в свою и крепко сжал.

— Я скажу, когда прийти... Мама уснет как следует...

— Хорошо,— еле слышно ответил он осекшимся голосом.

Только эта тоненькая дощатая стенка отделяет его от Клавы, и ему даже не верилось, что вот-вот он поднимется и на цыпочках пройдет в ее комнату. Что потом будет, Володька реально не представлял. Он даже страшился немного, видимо, потому, что Клава была уже замужем, а у него опыта никакого. Что случилось у Надюхи, он плохо помнил, был тогда сильно пьян, и вообще все как во сне.

Володька докурил папиросу, но она не успокоила, все так же трепыхалось сердце и била мелкая дрожь, а время тянулось бесконечно долго... И вот наконец протянулась Клавина рука, послышался ее сдавленный шепот:

— Иди. Только постарайся не шуметь...

Он осторожно, чтобы не скрипнула кровать, встал и на цыпочках направился к Клавиной комнате. Хорошо, подумал, что на нем трусы, а не ужасные госпитальные кальсоны, и хорошо, что нет двери, а только проем с занавеской. К Клавиной постели он подходил, дрожа всем телом. Она подвинулась к стене, давая ему место. Он прилег.

— Как ты дрожишь,— шепнула Клава и положила руку ему на грудь.— Сердечко бьется...

Потом она обняла его и прижалась горячим телом, таким горячим, что Володька дернулся, отпрянул, но не успел...

— У тебя так давно не было женщин? — несколько обескураженно спросила Клава.

— Да...— только и мог сказать он, смущенный случившимся.

— У меня тоже никого не было... всю войну,— прошептала она со вздохом и стала целовать Володьку жадными, изголодавшимися губами.

Наутро, обессиленный, он еле добрался до своей постели и проснулся уже тогда, когда Клава ушла на работу, а на столе кипел самовар, дымилась только что сваренная картошка. Ольга Федоровна пригласила к завтраку, внимательно посмотрела на него и, увидев черные круги под глазами, наверно, догадалась обо всем.

...В палате его встретили хихиканьем и глупыми распросами. Он ничего не стал говорить, бухнулся на койку, потому что боли, исчезнувшие ночью, вернулись опять и, чтобы уйти от них, надо было поскорее заснуть.

Идя от Майки, Володька дошел до Колхозной и повернул на 1-ю Мещанскую, прошел бывшую немецкую школу, в которой до восьмого класса учился Сергей, прошел особняк греческого посольства и дошел до Ботанического сада, где часто бывал в детстве... За ним около «деревяшки» «Пиво-воды» толпился народ. Володька замедлил шаги, вглядываясь в лица, потому что с первого дня приезда в Москву ему все время казалось, что вот-вот он встретит кого-то из одноклассников или дальневосточных однополчан, но знакомых не обнаружил и пошел дальше, но тут его кто-то сильно толкнул в бок. Он обернулся.

— Толька?!

— Он самый... Ну, привет, друже, привет... Сколько же не виделись?

— С сорок первого.

У Толика была сытая розовая физиономия. На небольшой, крепко сложенной фигуре ладно сидела комсоставская гимнастерка, а хромовые сапожки сверкали, как на параде.

— Давно в Москве? — спросил Володька.

— Месяца четыре уже. Из госпиталя я, видишь, — показал Толик сведенную кисть правой руки. — По чистой.

С Толей Лявиным Володька учился до седьмого класса, потом тот пошел в ФЗУ и пропал. Неожиданная встреча произошла в тридцать девятом в вагоне эшелона, стоявшего на Красной Пресне, куда их погрузили вечером, доводя автобусами из призывного пункта в Марьиной роще. Ночь они простояли, а утром, проснувшись, Володька увидел напротив себя сидящего на нижних нарах Толика. Оба обрадовались, как-никак знакомые.

— Я только оттудова... Понимаешь? И погулять не дали — в армию сразу, — объяснил Толик.

Володька не сразу понял, откуда Толик, но расспрашивать не стал, только удивился очень, когда по приезде в часть на вопрос о специальности Толик заявил — повар.

Дорога на Дальний Восток оказалась Толику знакомой, потому что еще в Александрове он посоветовал всем запастись водочкой — чем дальше, тем с нею труднее будет. Но знал об этом, видимо, не только он — в Александрове винная палатка была почти разнесена марьино-рощинской братвой.

За Уралом водки было уже не купить. А у них с Толиком порядок. Здесь-то и начал Толик — за стопочку требовал флакон одеколона. Поначалу Володька не понял зачем, но вскоре, когда уже ни на одной станции спиртного нельзя было достать, Толик торжественно раскупорил флакончик и предложил попробовать. Володьку чуть не стошнило, но потом за неимением другого пошел и одеколончик.

— Ну, что делать собираешься на гражданке? Как жить? — спросил Толик.

— Осенью в институт пойду... Правда, не знаю пока, в какой. А ты?

— Я? — он засмеялся. — Сам понимаешь, домушничать больше не буду. Туда больше не хочу, да и дружки порастерялись... Ты мне, Володька, объявление не сделаешь: «Есть свежее холодное пиво. 22 р. 60 к. кружка?»

— Зачем тебе? — удивился тот.

— В «Уране» пивом торговать буду.

— Ты пивом?

— Ага... «Уран» — только начало. На Сретенке точку обещают. Знаешь, рядом со столовой помещеньице есть, узенькое такое?

— «Ущелье Аламасов»?

— Оно самое... Сделаешь?

— Ты же видишь, — показал Володька на руку.

— А левой не сумеешь?

— Попробую.

— Так приходи завтра в «Уран». Пивком угощу... Ты когда на фронт угодил?

— В сорок втором, после училища.

— Ах да, вас же в Серышевское запихнули... Ну а меня долго из санчасти не брали, да и не взяли бы, но одна история вышла. Ты капитана Иванова помнишь?

Володька кивнул.

— А женку его видел? Молоденькая такая, худенькая, но огонь...

— Видел.

— Закрутил я с нею... Да влипли, зашухерил капитан. Меня сразу в маршевую и на запад. Но не жалею. Такой бабенки больше не попадалось, а уж втрескана в меня была — жуть!

Володька посмотрел на Толика. Личико у него было прямо херувимское, ангелочек, и только. Разумеется, женщинам он нравился, здесь Толик не врал.

— Ты очень устаешь, мама? — спросил Володька, увидев, как тяжело и со вздохом опустилась мать в кресло, придя с работы.

— Да нет, Володя... Когда шила белье, уставала больше. Просто как-то раскисла... Шла война — мы все держались изо всех сил, а сейчас, видимо, реакция. Странно, но у нас на работе некоторые стали жаловаться на недомогания, которые не давали о себе знать во время войны, — она улыбнулась. — Все три года я жила как под дамкловым мечом — ждала самого страшного, но теперь все кончилось, ты дома, а я все еще не верю этому чуду. Нам очень повезло, Володя.

Он кивнул... Мать ни разу ни слова не сказала о его увечье, не охала и не ахала, даже делала вид, что не обращает никакого внимания на его безжизненную руку. И «нам повезло» она повторяла часто.

Да, конечно, повезло не угодить в число тех пяти-шести миллионов, о которых поминали с Деевым.

После обеда мать посмотрела на Володьку и сказала:

— Володя, я очень боюсь, вдруг Юлины родители как-то узнают о твоём возвращении и... — она замолчала. — Тебе трудно идти к ним, я понимаю, но это надо, Володя.

— Я схожу к ним, только чуть позже... Сейчас не могу, — он взглянул на мать.

Она выглядела не только усталой, похудела еще больше с того, сорок второго года, появились морщины и седые волосы, а ей только сорок три, и Володька в школе всегда хвастался, что у него самая молодая мать. Она ответила на его взгляд слабой понимающей улыбкой, но все же твердо повторила:

— Это надо, Володя. И не откладывай, пожалуйста.

Юлькина часть оказалась недалеко от расположения их бригады, километрах в восьмидесяти... И, как только

через Москву они обменялись адресами, переписка пошла частая, особенно, когда после коротких, но тяжелых боев на участке Сытьково — Бутягино их часть отвели на отдых и появилось время... Первые Юлькины письма не вызвали тревоги, она находилась не на передовой, но вскоре появилось в них нечто обеспокоившее его.

«Дорогой Володька! Наверное, ты все-таки был прав, говоря, что война не для девчонок. Трудно порой бывает. Помнишь, я жаловалась, что выдали мне такую огромную шинель, в которую можно меня обернуть три раза? А вот недавно она меня спасла — пока меня вывертывали из нее, я проснулась и так завопила, что все вскочили, как по тревоге, и тому человеку пришлось ретироваться. Таких немного, но противно и надоедает...»

Володька злился, кусал губы и не раз намекал начальству, чтоб отпустили его денька на два, но начальство намеков не понимало, вернее, делало вид, а Володька мучился: всего часа четыре на попутных машинах до Юльки, а невозможно. Он думал, что появление его в Юлькиной части положило бы конец всяким там приставаниям к ней.

В другом письме Юлька писала, что на ее беду понравилась она одному майору, человеку, на ее взгляд, нехорошему, и что если его ухаживания не прекратятся, то придется просить о переводе в другое подразделение. Это встревожило Володьку еще больше, ведь «другое подразделение» могло обернуться передовой.

После того письма Юлька долго молчала, и Володька не знал, что и думать, ходил мрачный, все валилось из рук. Занятия со взводом разведки, увлекшие его поначалу, стали тяготить и надоедать... Когда он возвратился в свою часть, ему предложили на выбор либо роту, либо взвод разведки. Володька взял взвод, точнее, его остатки. В боях на участке Сытьково — Бутягино взводу не пришлось быть в деле, и сейчас он, помня свою разведку на Овсянниково, в которой только чудом удалось добраться до немцев и захватить «языка», усиленно занимался с ребятами. Каждую ночь ползали они на имитированную оборону противника, сделанную по всем правилам — и с проволочными заграждениями, и минами, и консервными банками. Раздобыли трофейные немецкие осветительные ракеты. Их запускали бойцы, изображающие противника... Целую неделю не удавалось им скрытно, не обнаружив себя, подобраться к «противнику». Долго не могли научиться бросать ножи

и много переломали немецких штыков, хрупкая сталь которых не выдерживала неудачных бросков. Много приходилось осваивать самим, так как не все было в руководствах и инструкциях. И вот эти занятия после последнего письма Юлькиного Володька стал проводить вяло, без прежнего напора.

Жили они в лесу, километров шестьдесят от передовой... Недалеко находились две деревеньки, но ходили туда редко, да и незачем — молодух не было, одни старики да старухи... Кормили неважно, но с этим мирились и те, кто побывал на передовой, и те, кто прибывал на пополнение из госпиталей, знали: лучше любой недоед, чем передний край, куда можно попасть за два ночных перехода. Но бригада пополнилась медленно, и вряд ли раньше зимы попадут они на фронт. В лесу обжились, устроили большие землянки с двойными нарами, обзавелись печурками — живи не тужи.

Пивная кружка с пеной у Володьки вышла неплохо. Некоторая небрежность акварельных мазков, сделанных неумелой пока левой рукой, даже пошла на пользу. А вот с текстом он намучился, буквы получились кривоватые, края неровные... Ладно, сойдет, подумал Володька и, завернув ватман, направился в «Уран» к Толику.

Тот стоял за буфетной стойкой в белом халате с очень серьезным и деловым видом.

— Принес?

— Держи, — протянул Володька сверток.

Толик развернул, расправил лист, посмотрел.

— Порядок... Спасибо. Я наливаю тебе?

— Валяй.

Володька оперся о стойку и стал тянуть пиво. Оно было действительно холодное и свежее, как он и написал в рекламе. Народа почти нет, и они могли поговорить.

— Ты и на фронте поварил? — спросил Володька.

— Нет, не вышло... В стрелковую роту запихнули. Думал, уже хана, живым не выйти, но потом ротный в ординарцы взял, ну и кормил я его. Однажды батальонный зашел, попробовал моего варева — забрал к себе. Там уже полегче, но все равно два раза долбануло. Первый — легко, в санбате отлежался, а второй раз осколком... Еще налить?

— Налей, — согласился Володька, подумав, сколько же кружек отвалит Толик за работу.

Отвалил три, а потом сказал, что ему в подсобку надо. Они попрощались, и Володька вышел на улицу... Пиво немного ударило в голову, домой идти не хотелось, и он зашагал к Сретенским воротам, а оттуда вниз по бульвару к Трубной...

Того удивления Москвой, какое было в сорок втором, Володька не ощущал. За месяцы госпиталя уже свыкся с мыслью, что отвоевался и что вернется в родной город, но бродить по московским улицам было приятно. Вот и Рождественка напомнила институт, экзамены. Может, зайти? Но кольнула мысль о Тоне, и он прошел мимо.

За Петровскими воротами, около Никитских у «деревяшки» толпился разный люд. Володька остановился, раздумывая, но тут подъехал к нему какой-то оборванный, замухрышистый тип, уперся в Володьку долгим немигающим взглядом. Он подумал, может, знакомый какой, но пока не узнавал, внимательно вглядываясь в лицо человека, так пронзительно и неприятно уставившегося на него.

— Помрешь скоро, лейтенант, — вдруг прохрипел тот, и в голосе всплыло что-то далекое, знакомое.

Володька вздрогнул, не владея собой, он выдал прямым ударом в лицо этому типу... Тот отлетел к стене «деревяшки» и упал. Теперь Володьке стало стыдно: псих, наверно, или контуженный — и он подошел к упавшему.

— Ненормальный ты, что ли? Чего порол?

— Струсил, лейтенант... Наконец-то страшок в твоих глазах увидел. Не узнаешь? — осклабился тот, продолжая лежать.

— Не узнаю, — пробормотал Володька, хотя опять что-то знакомое почудилось в голосе.

— Куда тебе всех нас запомнить? А я вот век тебя не забуду.

— Ладно, вставай, — протянул Володька руку.

— Сто граммов поставишь? Тогда встану, — не принял он Володькиной руки. — И напомню тебе кое-что.

— Поставлю, черт с тобой. Поднимайся!

Тот взял Володькину руку, встал.

— Гони монету на стопку или пойдем вместе.

— Пить я с тобой не буду. Держи, — вынул Володька тридцатку и червонец.

— Брезгуешь, значит? — тот взял деньги грязной, в какой-то экземе лапой. — Так вот, командир, забыл небось, как ты гнал нас? Инвалид я на всю жизнь... Ясно

было — захлебывается наступление, а ты все вперед и вперед... Вспомнил? Да куда там, тебе разве каждую серую скотину упомнить? Ты и за людей нас не считал.

— Врешь! — взорвался Володька. — Где это было? Где? Отвечай!

— У вороны в гнезде, — зло бросил тот. — Удадь свою показывал, форсун.

— Я всегда в цепи шел... Впереди шел. Говори, где это было?

— Да катись ты... — выругался тот и вошел в пивную. Остановившись в дверях, обернулся и с ненавистью: — Все равно помрешь скоро, помани мое слово, — и шмыгнул в помещение.

Когда Володька вынул папиросу и когда зажигал спичку, пальцы у него подрагивали. Вот так неожиданно, как бы из-под угла ударил его Ржев, если действительно этот тип из его роты. Не из взвода, конечно, своих он помнил до сих пор если не по фамилиям, то по лицам. Наверное, из другого взвода Володькиной роты, а тех ребят, разумеется, упомнить он не мог, просто не успел...

Володька пошел дальше к Пушкинской, и наконец вроде бы туманно стал вырисовываться в его памяти один случай в том первом их наступлении, как не мог он поднять командой какого-то залегшего бойца и пришлось ухватить его за шиворот, дернуть и сильным ударом стволом автомата в спину подтолкнуть... Обернувшись, тот огрызнулся: «Потише, командир, смотри...» — и блеснул глазами, в которых таилась угроза. Побежав дальше, Володька невольно ощутил холодок между лопатками и, оборачиваясь на ходу, увидел, как вырос куст разрыва рядом с тем бойцом... Но было в те минуты не до раненых, не до убитых. Рвал глотку Володька в крике «вперед, вперед» и бежал, бежал...

Что ж, может быть, на миг прихваченное взглядом лицо того бойца ушло из памяти, и это он, тот самый, который сейчас выплеснул накопленную за годы инвалидности ненависть, считая виноватым во всем Володьку.

Он дошел до памятника Пушкину и присел на скамейку. У памятника, как и в сорок втором, лежали цветы. Сразу вспомнилась арбатская старушка с ее единственным цветком, так растрогавшая его тогда. Вряд ли жива она. Но эта мысль пробежала мельком. Володьке было нехорошо, он никак не мог успокоиться, стряхнуть кинутый на него склизкий и словно бы прилипший комок.

Чтобы рассеяться и не думать об этой встрече, он стал разглядывать проходящих по бульвару людей. Было много военных, порядочно инвалидов... Некоторые женщины и девушки хорошо одеты, не в наше, московшвеевское, а в американское, может, и немецкое, не разберешь. Того и другого на московских рынках предостаточно. Подложенные плечики делали женские фигуры строгими, а погончики на платьях напоминали о недавней войне.

Володька вдруг почувствовал себя одиноким среди множества людей, идущих мимо него, спешащих по каким-то своим делам, сидящих на скамейках и, видно, ждущих кого-то... Ему захотелось встретиться с кем-нибудь, поговорить, в общем, не быть одному, и он вытащил блокнот с Майкиным телефоном.

— Неужели это ты? — обрадованно воскликнула она, услышав его голос. — Хочешь встретиться? Очень хорошо. Давай в восемь. Приглашаешь в ресторан? В какой? Не знаешь? Пойдем в кафе «Националь». Около него и встретимся. Хорошо.

Потом она сказала, чтобы он пришел пораньше и занял очередь, там всегда много народа.

До вечера еще полно времени, и Володька пошел домой... Пришедшая с работы мать не обратила внимания, что он принарядился, то есть с грехом пополам выгладил гимнастерку и почистил сапоги. Синий шевиотовый костюмчик, купленный в тридцать восьмом в бывшем «Мюре и Мерилизе», оказался узок. Он долго примерял, вертясь перед зеркалом, и вспоминал историю его покупки: всю ночь простояли они с приятелем на Пушечной, укрываясь в парадных от милиции, а утром влились в толпу, которая понесла их к дверям магазина, прижала, потом взметнула на четвертый этаж... Костюмы они купили одинаковые, выбирать особенно было не из чего, и около часа дня вышли с торжественными лицами, крепко держа в руках пакеты, — это были первые костюмы в их жизни.

— Мама, не жди меня к ужину. Я вернусь, наверно, поздно, — сказал Володька.

— Куда ты отправляешься?

— Поброжу по Москве... Может, зайду куда-нибудь. Надо же отметить возвращение.

— Хорошо, Володя. Только не трать много денег. У нас же нет никаких перспектив, — вздохнула она.

— Да, мама...

Слова матери сразу испортили настроение, ужин в ре-

сторане стал чем-то недозволенным: действительно, какое у него право выбросить сегодня пятьсот рублей — а именно такую сумму прикинул он, зная ресторанные цены, — когда впереди только пенсия и стипендия, которые вместе составят, наверное, не больше того, что он задумал истратить.

«А ладно, какого черта! — подумал он. — Провоевать почти всю войну, остаться живым и не иметь права посидеть с женщиной в ресторане. Вон они, нашивки за ранения — два легких, два тяжелых! Это же кровь! Чего еще раздумывать!» — отбросил он сомнения и прибавил шагу.

Около кафе «Националь» стояла очередь, человек тридцать... Не успел он спросить, кто последний, как подошла Майя и, схватив его за рукав, отвела в сторону.

— Я совсем забыла, Володька... Здесь могут попасться знакомые. Пойдем в другое место.

— В «Коктейль»? — спросил он.

— Туда тоже не стоит.

— Куда же?

— Не знаю... Пойдем пока просто прогуляемся, — она взяла его под руку, и они пошли вверх по Тверской.

Володька любил старые названия московских улиц, да и неудобно было говорить: «пойдем по Горького». Надо было прибавлять «улице», а это лишнее слово всегда выпадало, и получалась нелепость.

— Володька, ты очень дружил с Сергеем. Где он сейчас? — спросила Майка.

— Жив. Но еще не демобилизовался.

— Мы встретились в сорок втором... Он был в штатском при «звездочке» и вроде не собирался воевать.

— Он пошел, Майя.

— А его отец? Сергей говорил что-то о посылках... без которых...

— Отец сам отказался от его помощи, — перебил Володька. — Через два года он должен выйти... Сережке повезло, его взяли в школу военных переводчиков.

— Повезло? — усмехнулась она. — Наверное, сам объявил, что знает немецкий.

— Возможно... — безразлично протянул Володька.

— Он тебе ничего не рассказывал... про меня? — Майка взглянула прямо в глаза Володьке.

— Про тебя? Говорил, что ты стала роскошной женщиной, — улыбнулся он. — И был прав.

— Терпеть не могу этого слова! Больше ничего не говорил?

— Ничего.

Ему показалось, что она облегченно вздохнула, но он не придал этому значения.

— Куда же нам пойти? Я настроился посидеть где-нибудь.

— Володька, у тебя, наверно, не так много денег? Давай просто пошатаемся по Москве...

— Может, пойдем в самотечную «Нарву»?

— В эту забегаловку? Нет, Володька, погуляем. Разве тебе не приятно бродить по Москве... победителем,— сказала она.

— Да, победителем,— задумчиво сказал Володька.— Правда, Вовка Деев при нашей встрече высказался: войну-то выиграли, а мы с тобой калеки...

— Не смей об этом! — резко прервала Майка.

— Знаешь, когда шла война, не страшно было никакое увечье, а вот сейчас... На параде-то не мы прошли,— закончил он.

— Впереди вся жизнь, Володька. Неужели ты этого не понимаешь?

— Умом понимаю, но вот почувствовать это душой что-то не получается,— задумчиво произнес он.

— Получится,— она дотронулась до его руки и слегка пожала.

Они вышли к Страстному бульвару, повернули направо и двинулись к Трубной. Возле пивной, где сегодня напорочили Володьке скорую смерть, он остановился...

— Зайду куплю папирос. Подожди меня.

Через несколько минут он вышел с пачкой в руках. Около Майки стоял какой-то пожилой, хорошо одетый мужчина и, держа ее за локоть, что-то говорил. Володька подошел и с недоумением уставился на него.

— Володька, я этому гражданину очень понравилась. Приглашает в ресторан. Скажи ему пару слов,— спокойно проговорила она, усмехнувшись.

— А ну пшел! — процедил Володька, отрывая руку мужчины от Майкиного локтя.— Пшел! — повторил он, надвигаясь на него.

Тот растерянно скривил рот, потоптался на месте, ища выхода из создавшегося положения, но, когда Володька отвел руку для удара, пробормотал:

— Извините, я не знал, что дама не одна... — и отошел от них.

— Вот видишь,— рассмеялась Майка.— А ты говорил — в армию...

— Надо было врезать... Сколько сволочей развелось,— угрюмо проворчал Володька.

— Ты все такой же,— ласково потрепала она его по щеке, вспомнив, видно, школьные «подвиги» и частые отметины на Володькиной физиономии.

— Я сегодня на этом самом месте уже дал одному...

И рассказал про утреннее происшествие.

— Ты уверен, что он из твоей роты? — немного помедлив, спросила Майка.

— Черт его знает!

— Забудь об этом. Просто какой-то псих,— сказала Майка.

Пройдя дальше по бульвару, они присели на скамейку и закурили. Володька с наслаждением тянул дымок «Казбека», казавшийся таким ароматным после махры, которую он постоянно курил.

— Скажи, Володька, у тебя был кто-нибудь на фронте? — вдруг спросила она.

— Не было... Я же в пехоте воевал, а там... — о Клаве он умолчал.— Почему ты спрашиваешь?

— Так... Не переживай, у тебя все будет.

— Я и не переживаю,— улыбнулся он. Потом поднялся и решительно произнес: — Пойдем в ресторан.

— Нет,— покачала она головой,— не хочется. Погуляем еще.

Домой Володька вернулся не поздно, чему мать, видевшая его приготовления перед уходом, удивилась:

— Ты уже пришел? Давай ужинать.

За скудным ужином — немножко хлеба, жидкий чай с полкусочком сахара — мать опять спросила, когда же он пойдет к Юлькиным родителям.

Володька сразу сжался и пробормотал, что пока ему очень трудно.

— Знаю, но это нужно,— настойчиво сказала она.

— Мама, я четыре года делал только то, что надо... Я устал от этого.

— Володя, ты думаешь, если окончилась война, это слово потеряло свое значение? Нет, оно на всю жизнь,— она вздохнула и внимательно поглядела на него.

Он поднялся из-за стола и, закурив, стал ходить по ком-

нате. Вдруг остановился, осененный новой для него мыслью.

— Знаешь, мама, наверно, сейчас я имею право делать все, что хочу. И к черту всякие «надо»! По крайней мере, пока, до института,— он смотрел на мать, ожидая ответа, но она отвечать не спешила, покачала головой, взяла папиросу, прикурила от Володькиной и только потом сказала:

— Это может тебя далеко завести.

— Нет, мама,— горячо возразил он.— Просто нужно немного расслабиться. Сама же говорила...

— Я говорила о другом, Володя,— перебила она и, помедлив, спросила: — Как ты себя вообще чувствуешь?

— Хорошо. Почему ты вдруг?..

— Так...— неопределенно ответила мать, еще раз поглядев на него. И он понял, что она не поверила в его «хорошо».

Вовка Деев выписался из госпиталя и позвонил Володьке.

— Ну вот я и вышел на волю, так сказать,— сказал он в трубку,— а посему приглашаю долбануть по этому поводу.

— Куда пойдём?

— Заходи ко мне, решим... Куда-нибудь недалеко от дома, а то ковылять на этих чертовых костылях трудно.

— Приду.

Недолго размышляя, они решили отправиться в samotную «Нарву» — и от Деева недалеко, и место знакомое... Деев долго рассматривал меню.

— Мяса охота... Давай по бифштексу по-гамбургски?

— Валяй,— согласился Володька, ощутив, как рот наполнился слюной.

— Так... По стопочке, конечно, и пивка холодного,— чмокнул губами Деев.

Жареного мяса Володька не ел с тридцать девятого года, не считая лошадиной губы, которую, проткнув штыком, поджаривал на костре под Ржевом. И Вовка Деев, наверно, тоже давно не едал такого, а потому проглотили они залитое яйцом мясо в один присест, не ощутив сытости. Деев, немного помявшись, все же решил выбросить еще пару сотен — заказал по второй порции и еще по стопке. В головы немного ударило, и Деев начал:

— Ты же знаешь, с отцом у меня еще до войны были сложные отношения, гулял он, бабник невозможный, а тут совсем распоясался — начальничек же... Ведь, считай, с дочками спал, с девчатами нашего с тобой возраста, меня не стеснялся. Короче, мне эта тыловая, прифронтовая жизнь, как передохнул и отъелся после училища, осточертела, плевать я на нее хотел, воевать же шел, а не в тылу отираться, — он задумался. — Тут и получилась история.

— Какая? — заинтересовался Володька.

— Из-за девки, конечно.

— У тебя из-за девчонки? — удивился Володька.

— Чего удивляешься? В школе, и верно, я девчатами не интересовался, но пришло, видать, время, двадцать два стукнуло. И понравилась одна. Девчонка была красивая, многие за ней ухлестывали. Вот я и сцепился с одним лейтенантом. Вначале по мордасам друг друга лупили, а потом за пистолеты схватились... Ну и вlepил я ему в плечо... Трибунал, как сам понимаешь. Тогда штрафбатов еще не было, разжаловали и на передок рядовым... — он отхлебнул еще пива, нахмурился и выдохнул: — Досталось... Через три месяца за то, что в самое пекло лез, звание вернули и судимость сняли... А через полгода шлепнуло меня. Остальное знаешь.

В ресторане было шумно, дымно и душно... Большинство посетителей военные, но и штатских хватало. Около военных крутились раскрашенные девицы, которых сразу приглашали за столик, и они жадно наваливались на еду. Фронтовики, ошалевшие и оттого, что вышли из войны живыми, и оттого, что находятся в столице, — многие, возможно, впервые и проездом — пораженные непривычным ресторанным великолепием довольно-таки замызганной «Нарвы», широко пировали с подцепленными девицами. Один капитан, сидевший за соседним столиком и напоминавший Володьке кого-то, щедрым жестом бросил на стол часики и растроганным от собственной доброты голосом предложил своей спутнице:

— Выбирай любые... Дарю на память.

Около Деева и Володьки девицы не вились, оба без погон, без орденов и медалей, столик их был скромным, да и заняты они своим разговором.

— После всего, Володька, что мы хватили, гулять бы нам хоть полгодика напропалую, а не на что, — Деев обвел взглядом веселящийся зал.

— Тебе охота учиться? — спросил вдруг Володька.

— Наверно, да,— задумчиво сказал Деев, разгоняя рукой дым от Володькиной папиросы, а потом, вздохнув, добавил: — Что мне еще остается? Чем черт не шутит, быть может, удастся сказать свое слово в архитектуре, оставлю, так сказать, след...

— А мне что-то неохота,— протянул Володька.

Деев понимающе глянул на него:

— Надо же, Володька.

— Для чего? — в глазах Володьки была тоска.

— Ну как для чего? — восторженно Деев.— Высшее образование, специальность...

— Только для этого? Скучно...— он выдохнул дым и смял докуренную папиросу.

— Придумал более веселое?

— Ни черта я не придумал! Понимаешь, после того, что мы сделали, все остальное кажется мне какой-то мелкой возней — институт, учеба, потом работа...— он замолк, разливая пиво.— У меня такое ощущение, что главное в жизни нами уже совершено, а дальше... дальше пойдет что-то малоинтересное.

— Тебе что, здорово интересно было на войне? — осклабился Деев.

— Представь себе, да. Тяжело было, страшно, но... интересно.

— Хреновину порешь! Вы с Сергеем любили философию разводить по любому поводу, вот и теперь чушь городишь. Может, в штабах тыловых или где-нибудь около фронта и было кой-кому интересно, а на передовой...— он задумался.— Знаешь, идиоты мы были все-таки, мальчишки сопливые! Сами под пули лезли! Разве не так? — у Деева запрыгали губы, и он опрокинул стопку.

— Не так! — стукнул по столу Володька.— Мы выше себя брали!

— А ну тебя! Романтик ты моря,— пренебрежительно бросил Деев.

Вышли они из ресторана нельзя сказать, чтобы пьяные, но сытые, и это ощущение сытости пьянило больше, чем водка.

— Зайдем к тебе, хочу твою маму повидать,— сказал Деев, и они отправились к Володьке домой.

Володькина мать обняла Деева, поцеловала, но ни словом не обмолвилась о ранении. Деев, видимо, оценил это и, когда благодарил ее за теплые письма и посылку, не мог сдержать дрожь в голосе, даже прослезился, чем

очень удивил Володьку. Грубоватый, всегда насмешничавший над другими, с излюбленным своим словечком «засрапец», Деев вдруг размяк, растрогался и был совсем не похож на себя.

— Вова, ты знаешь, что этот молодой человек, — она показала на Володьку, — не желает учиться в архитектурном?

Володькина мать обращалась к Дееву на «ты», так как знала его с третьего класса. С Сергеем же познакомилась, когда ребята были в восьмом, и величала его на «вы».

— Слыхал, — ответил Деев.

— Что скажешь по этому поводу?

— Трудно ему будет...

— Разумеется, но разве из-за этого «трудно» можно бросить институт, в который он поступал два раза?

— Мама, мне и вправду стал неинтересен архитектурный, — вмешался Володька.

— Почему так вдруг? — с недоумением спросила она.

— А вот этого объяснить не могу. Неинтересен, и все, — упрямо повторил Володька и перевел разговор на другое.

Мать не стала продолжать, но Володька понимал ее разочарование — выходило, что он испугался трудностей, а это было не так, действительно архитектура перестала его занимать. И для чего тогда мучиться, учиться рисовать и чертить левой, когда нечем прижать рейсшину, накапать тушь в рейсфедер и прочее, прочее...

Деев начал рассказывать что-то про училище. Вспоминал его плохо, не раз вырывались крепкие словеса, которыми крыл он почем зря всех, начиная от начальника и кончая отделенными. Для Володьки училище прошло легко. После двух лет кадровой службы все было знакомо и оказалось гораздо проще полковой школы на первом году службы.

После ухода Деева Володьке почему-то припомнился капитан из «Нарвы», даривший трофейные часики... Кого же он ему напоминал? Ба, да Генку Атласова, конечно!..

Их было пятеро — пожилой подполковник, подтянутый интеллигентный капитан, старший лейтенант с озорными глазками, молоденький лейтенантик и Володька. В коротком ночном марш-броске им было не до знакомства, а теперь вот в землянке при слабом свете коптилки Володька разглядывал тех, с кем завтра идти ему в бой.

За ночь протопали они по раскисшим, в ухабах и ямах проселкам не менее сорока верст, и на коротких привалах было не до разговоров. Сейчас, когда, усталые и промокшие, они бухнулись на пол, застеленный лапником, и долго не могли отдышаться, тоже не до разговоров. Лишь потом, понемногу придя в себя, стали присматриваться друг к другу.

— Ну, давайте знакомиться... Кто за что? Или: «Как вы попали на этот курорт?» — первым начал старший лейтенант, процитировав реплику Кости-«капитана» из фильма «Заклученные». — Закуривайте, — и он широким жестом бросил Володьке, ближнему от него, расшитый кiset, оглядев всех голубыми навывкате глазами.

Неспешно завернув по сигарке, все с наслаждением закурили, но представляться никто не стал — измотаны вусмерть, болтать неохота. Старшой же продолжил:

— Молчите? Ну, я не робкий, начну первый... Звать меня Генка, звание — гвардии старший лейтенант... На курорт этот попал по дурости.

— От большого ума сюда не попадают, — усмехнулся Володька.

— Но я действительно по дурости... Потоптал на отдыхе одну, а она, стерва, с комполка путалась. Ну и началось. Заявила, что я силой, а сама и не рыпалась... — Старший лейтенант затянулся махорочным дымом, помолчал немного, затем продолжил: — Теперь вот искупай кровью! А за что? Сама со мной в лес ночью пошла. Чай не маленькая, должна соображать, что к чему... Ну, какая моя вина? — развел руками Генка и сплюнул.

— Не понимаете? — тихо спросил сидящий напротив него капитан и прошелся по Генке брезгливым взглядом.

— Ни черта!

— Завтра поймете... Под пулями.

— Не знаю, как другим, а нам это не впервой. Мы в штабах не отсиживались, — отпарировал Генка, и ему нельзя было отказать в наблюдательности: капитан и верно был похож на штабника. Потом с улыбочкой поинтересовался: — А вот вы за какие-такие подвиги в нашу компанию попали?

— Рассчитался с мерзавцем вроде вас, — спокойно и так же тихо ответил капитан.

Генка вскочил, ударился головой о потолок, матюкнулся, и всем показалось, что он бросится сейчас с кулаками

на капитана, но удержался и только процедил угрожающе, с кривой усмешечкой:

— Знаешь, капитан, я к таким ласковым прозвищам не привык.

— А вы привыкайте,— спокойно бросил капитан, затем, обернувшись к остальным, добавил: — Слово-то какое выдумал — потоптал. А невдомек было, что девушка эта в армию, на фронт пошла ему же помогать, его раны перевязывать... Может, и полюбить его хотела... а он... в лес... и потоптал... Подлость!

Генка окинул всех вопрошающим взглядом, стараясь угадать реакцию. Подполковник, лежавший в углу, видно, дремал, молоденький лейтенант стыдливо опустил глаза. Володька бросил недокуренную сигарку в сторону Генки и прохрипел:

— Знал бы, не взял табак у тебя ни крохи. Один такой тип сейчас в госпитале коряжится.

— По вашей милости в госпитале-то? — спросил капитан улыбнувшись.

— По моей...

— Понятно,— и капитан вроде участливо посмотрел на Володьку.

— Что вы, ребята? Что вы? Ведь сама в лес меня потащила... Ладно, завтра в бой вместе идти, ссориться нам ни к чему,— Генка говорил растерянно. Не ожидал, видно, общего осуждения.

Володька после участливого «понятно», сказанного капитаном, расположился к нему и подвинулся ближе. Капитан протянул руку:

— Ширшов Иван Алексеевич.

Володька крепко пожал руку и тоже представился. Они помолчали, потом капитан наклонился к Володьке:

— Вот вы сказали, что от большого ума сюда не попадают. Может быть,— он задумался.— Я сначала тоже так думал: погорячился, безрассудно поступил. А потом поразмыслил — нет, правильно...

— А за что вы? — спросил Володька осторожно, добавив: — Если не хотите, не рассказывайте.

— Тайны никакой нет... Представляете, сижу в блиндаже, слушаю доклад командира взвода разведки и вдруг выстрелы! Выбегаю, перед строем немцев, которых разведчики приволокли, стоит какой-то пьяный майор, причем не из нашей части, хлопает из пистолета поверх голов, чуть ли не пилотки с них сбивает... Один здоровый рыжий не-

мец мундир рванул, хрипит: «Шиссен, сволошь!» Я к майору: «Прекратите безобразие! Нечего над пленными издеваться!» За руку хватаю, пытаюсь пистолет вырвать, а он уже мало что соображает и... в меня. Промазал. Ну тогда я... из его же пистолета...

— Насмерть? — спросил Володька.

— Нет, к счастью. Ранил.

Как ни тихо говорил капитан, Генка услышал и, усмехнувшись, процедил зло:

— Самосуд, значит? Хорош штабник. А не подумал, капитан, что у этого майора, может, семья немцами загублена или еще что.

— Ничто не дает права издеваться над безоружным. Есть соответствующие приказы в отношении военнопленных.

— Приказы? — насмешливо повторил Генка.— А они, гады, не издеваются над нашими? Уж больно добренький вы, капитан. А «убей его!» разве забыли?

— В бою, старший лейтенант. В бою! — отрезал капитан Ширшов.

Разговор на этом заглох... Пожилой подполковник, умученный маршем более других, закрыл лицо воротником шинели и ни на что не реагировал. Лейтенантик с розовым личиком, назвавшийся Вадимом, сидел в углу, сжавшись комочком, и неумело докуривал сигарку, часто покашливая, и в разговор не вступал, занятый, видимо, своими мыслями, пока капитан Ширшов не спросил его:

— Вы, наверное, недавно в армии?

— Да, всего полгода...

— Что же натворили? — мягко задал вопрос капитан.

— Я? Не спрашивайте! Такая получилась история,— Вадим махнул рукой и еще больше вжался в угол.

— История! — усмехнулся Генка.— Струсил небось, вот и вся история.

— Нет, не струсил! — почти вскрикнул Вадим, приподнявшись, а потом добавил угасшим голосом, опять вжимаясь в угол: — Хуже, я приказ не выполнил.

— Хорош голубчик! — воскликнул Генка.

— Почему же не выполнили? — спросил капитан, невольно убирая мягкость в голосе.

— Он... он показался мне... явно преступным...— не совсем уверенно произнес Вадим.

— Без году неделя, как в армии, а уже ему показалось,— с издевкой сказал Генка.

— Да, показалось,— увереннее повторил лейтенант и обвел всех взглядом.— Понимаете ли, мой взвод посылают в наступление первым, причем только мой взвод... А до нас батальон наступал и... весь на поле остался... Разве это не преступно?

— В штаны наложил, ясно,— пренебрежительно бросил Генка.

— Говорю, не струсил я! — Вадим покраснел, голос его дрожал.— Я ротному сказал — один пойду, а людей не поведу. И пошел бы...

— Фазан ты... Раз приказ такой дали, значит, какие-то соображения у начальства были. Может, ты своим взводом отвлечь внимание немцев должен был или еще что... Скажи, струсил,— Генка глядел презрительно.

— Нет! Честное слово, нет! — почти вскрикнул Вадим.— Вот увидите завтра.

— Завтра...— пробурчал Генка.— Завтра трусить не придется... Завтра только вперед,— он сжал пальцы рук, и блеск его нагловатых глаз потух.

И всех прихватило этим «завтра»... Представилось запыленное мокрым снежком поле, на котором будут они как на ладони, и страшная жгучая команда «вперед», не оставляющая надежд. Володька завернул еще сигарку и жадно затянулся. Вадим побледнел. Заворочался в углу немолодой подполковник. Смачно сплюнул Генка. Хрустнул пальцами капитан. Стало тихо, тихо... Эта тишина была неприятна, она угнетала, и потому, когда капитан Ширшов сказал, что неплохо бы подумать, как будут они действовать завтра, все облегченно вздохнули, а Генка сразу кинулся в спор:

— Чего думать, капитан? Оперативный план наступления, что ли, будем разрабатывать? Эх, все от своих штабных замашек не избавишься, начальник. Рядовые мы теперь! Наше дело телячье — куда погонят, там и пасись. Винтовочку в руки и ать-два! От карандашика надо отвыкать, капитан.

— Да, пожалуй, нам думать нечего,— заметил Володька.

— Думать всегда надо,— не согласился капитан Ширшов.— Вы, конечно, понимаете, что никакой поддержки не будет. Командование и не рассчитывает, что мы возьмем этот населенный пункт. Цель другая — разведка боем, как вы сами догадываетесь,— Ширшов обвел всех

взглядом, немного помолчал, а потом огорошил: — А если мы эту деревню возьмем?! Что тогда?

— Брось, капитан,— махнул рукой Генка.— Слышал я, что здесь не одна часть наступала, и ни хрена не вышло... Лично у меня только одна мыслишка — ранило бы, да не очень сильно. Искупил кровью, и все.

— Если мы возьмем ту деревню, то вину может искупить весь батальон, а не только те, кого ранит. Ясно? — и капитан Ширшов уперся взглядом в Генку.

— Вот ты как, капитан, завернул,— пробормотал Генка недоверчиво.— Такое дело обмозговать, наверно, стоит. А ты что, старшой, думаешь? — повернулся он к Володьке.

— Во-первых, как нам ее взять? Потом, почему вы, капитан, решили, что нам за это вину скостят?

— Я не решил, а высказал предположение. А вот как взять, об этом и думаю. Ведь целый офицерский батальон! Стоит же он чего-то!

Пожилый подполковник перестал посапывать, опустил воротник и повернулся к ним — заинтересовался, видать, разговором. Вадим глядел на Ширшова широко раскрытыми глазами.

— А что? Давайте возьмем! Во будет здорово! — вырвалось у него.— И всех отпустят...

— Ну куда ты лезешь, фазан? — уже добродушно остановил его Генка.

Но у остальных не вызвал улыбки наивный лепет Вадима, наоборот, они насупились, задумавшись о том, что ждет их завтра, точнее, уже сегодня на рассвете, а Вадим подвинулся ближе к Володьке, который казался ему доступнее других.

— Вы знаете,— зашептал он,— до сих пор не могу опомниться... Все как во сне... передовая, приказ, наступление... и все, что случилось... Мне орден надо во что бы то ни стало, а я... я в штрафбате...

— Орден? Во что бы то ни стало? — усмехнулся Володька.

— Да,— очень серьезно ответил Вадим.— Мне он вот так,— поднял он руку к шее, показывая жестом, что орден ему нужен позарез.

— Своей девчонке обещался героем вернуться?

— Нет,— покачал головой тот.— Я человека могу спасти...

— Вот что...— протянул Володька.

— Поможет орден, как вы думаете? — губы его дрожали.

— Должен помочь,— стараясь придать голосу убежденность, ответил Володька, кладя руку на плечо Вадима.

— Спасибо, что так ответили. А то мне некоторые говорили... Спасибо...— Вадим схватил Володькину руку, пожал, а потом добавил: — Лишь бы не убило... раньше времени,— и сказал это как-то так спокойно, отрешенно, что Володьку передернуло и он перевел взгляд на Ширшова.

Тот сидел в той же позе, сжав пальцы рук, а потухшая сигарка торчала в тонких, крепко сжатых губах.

— Ну, что надумал, капитан? — небрежно спросил Генка.

— Разве мы с вами на «ты»? — поднял глаза Ширшов, почему-то только сейчас обративший внимание на это, хотя Генка и до того говорил ему «ты».

— На воле выкать будем, а здесь нечего, одна должность — рядовые,— буркнул тот и повторил вопрос: — Что надумал, спрашиваю?

Ширшов не успел ответить, полог из плащ-палатки, закрывающий вход в землянку, приоткрылся, и по земляным ступенькам стал спускаться к ним молодой розовощекий командир штрафбата в лихо заломленной кубанке, из-под которой вился светлый чуб. Вадим и Володька приподнялись первыми, но комбат остановил.

— Сидите,— сказал он, присев на корточки у печурки.— Курить будем? — достал пачку «Беломора» и протянул.

— Спасибо,— поблагодарил Ширшов, взяв папиросу.— Очень хорошо, что вы зашли. Мы вот думаем тут, товарищ старший лейтенант, как взять нам деревню, на которую будем наступать.

— Взять? — поднял брови комбат и с интересом посмотрел на Ширшова.— Два месяца с этой деревенькой бьются. Потому нас и прислали. Трудно будет. Очень трудно. Что вы придумали, капитан?

— В сорок втором в нашем подразделении сложилась схожая обстановка, тоже была поставлена задача овладеть населенным пунктом, а до нас его не могли взять несколько частей, все поле было усеяно. Мы с командиром батальона решились на такую операцию: к концу ночи вывести батальон на исходные позиции и, пока темно, проползти, сколько удастся, а потом в атаку, причем молча, без всяких «ура» и без перебежек. С ходу пробежать остаток поля, несмотря ни на какой огонь...

— Получилось? — перебил комбат.

— Получилось. И потерь было мало. Немцы очнулись, когда мы были уже на полпути. Бежали быстро, они не успевали менять минометные прицелы. Все поле только бегом! Полагаю, раз такое могли обыкновенные солдаты, то мы — офицерский батальон — тем более, — Ширшов замолчал.

Комбат штрафного оглядел всех.

— Как остальные на это дело смотрят?

— Если возьмем деревню, искупим вину? — спросил Генка.

— Это будет решать командование, — сухо сказано комбат и неодобрительно взглянул на Генку. — Я бы на вашем месте, старший лейтенант, постеснялся о таком спрашивать. Выполните боевую задачу сперва.

— Прости, старшой, вырвалось невзначай, — Генка не очень смутился. — А вообще стоит. Может, с ходу и выйдет. Договориться надо со всеми — без перебежек так без перебежек! Чтоб только раненый имел право залечь, ну и... убитый, конечно...

— Разумеется, только так, — подтвердил Ширшов.

— Сколько до деревни, комбат? Метров восемьсот?

— Даже чуть меньше.

— Пробежим, где наша не пропадала! — резанул ладонью воздух Генка.

— Ну, что же... — поднялся комбат. — Пойдемте со мной, капитан.

— Есть, — вытянулся Ширшов.

Когда комбат с Ширшовым вышли из землянки, Генка продолжил:

— Такое по мне. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Соображает штабник все-таки. А ты как смотришь? — спросил он Володьку.

— Другого-то нету!

Тут подал голос пятый, и они увидели полноватое, обрюзгшее лицо подполковника.

— Чернов, — представился он. — Я слышал предложение капитана. Мне, конечно, трудновато будет без перебежек, мотор уже не тот, но, думаю, можно надеяться на успех. Главное — надежда... — он завернул сигарку и закурил.

Некоторое время все молчали... Вадим занялся печкой, ломал ветки сушняка и подкладывал в огонь. Генка вынул кисет, подвинулся к Володьке.

— Закуривай,— предложил он.— Тебя Володькой звать?

Володька кивнул.

— Просьба к тебе, Владимир. Вот я тут адресок нашей части нацарапал... В случае чего отпишешь Галке, что очень сожалел Генка Атласов о случившемся, что просит простить... Ну и что искупил кровью, жизнью своей молодой. Отпишешь?

— Отпишу, если...

— Не думай об этом! Я и сам надеюсь, что не прибьют, но... на всякий случай. Галине Велиховой. Разобрал, что я нацарапал?

— Разобрал.

— Понимаешь, врал я вам, что она с комполка путалась... Слухи, конечно, ходили. Я верил и не верил. Сейчас почему-то понял, брехня это была. А что нажаловалась на меня, так на грубость обиделась... Пьяный же я был, не соображал... Отпиши еще, Володимир, что, ежели в живых останусь... женюсь на ней, искуплю грех...

— Ну, ты это сам, раз живой останешься,— не мог не улыбнуться Володька.

— Да, верно, заговорился... Отпиши, что любовь у меня была, вот и все.— Генка задумался, потом встряхнулся: — А чего я хороню себя прежде времени?

— Не знаю.

— Вообще-то вроде как в психическую пойдём.

— Как в психическую?! — встрепенулся Вадим.

Угадал Володька, что закрутились перед глазами младшего лейтенанта кадры из «Чапаева», в которых шагают каппелевцы... Нет, не так они пойдут. Они побегут, рассыпавшись редкой цепью, и бегом, бегом, что есть мочи, не останавливаясь ни на секунду, скорей, скорей к той деревне, где их ждёт рукопашная... Володька ощутил знакомое противное посасывание где-то под ложечкой, тянущееся снизу и постепенно подкатывающееся к сердцу, наполнявшее холодком, неизбывное состояние перед боем, от которого не избавиться, видно, до самого конца войны.

— Да, как в психическую,— повторил Атласов, а потом, махнув рукой, сказал тоже знакомые, неизбежные слова, которыми всегда успокаивали они себя перед боем: — Была не была!..

Володьке назначили физиотерапию, и через день ходил он в поликлинику на процедуры... Случайно столк-

нулся с врачом, делавшим ему перевязки во время отпуска, хотел проскользнуть мимо, но тот узнал Володьку и остановил. Врач постарел, был очень худ, и по запавшим глазам, по выражению их понял Володька, что сын его не вернулся.

— Очень рад, очень рад...— говорил он, пожимая Володьке руку.— А это ваше ранение... Это ничего. Если хорошо сделали операцию, то нервы восстановятся. Массаж вам делают?

Володька кивнул.

— Делайте и сами. Нельзя допустить атрофии. А потом, когда появятся движения, упражняйте руку...— помолчав, он спросил: — Будете продолжать учебу в институте?

— Наверно...

— Почему так неуверенно?

— Не знаю...— пожал плечами Володька.

— Ну, желаю вам всего хорошего,— врач пожал руку и отошел неровной, усталой походкой.

Володька посмотрел ему вслед и тяжело вздохнул.

Из поликлиники Володька всегда шел по Сретенке и проходил до бульвара, потом обратно, надеясь повстречать кого-то из школьных ребят или из дальневосточных однополчан. Своих, ржевских, он встретить не надеялся — знал, что после того, как попал в штрафной, бригада начала тяжелейшие наступательные бои.

Каждый раз, проходя мимо телефона-автомата, он приостанавливался, нашаривал в кармане гривенник и... не заходил в кабину. Что удерживало его от звонка Тоне, он и сам толком не знал... Какая-то натянутость началась с того, что Володька очень долго не писал, находясь в штрафбате, а потом неумело врал, объясняя свое молчание разными причинами. Кстати, о штрафном он не писал и матери, которая не знает об этом до сих пор.

Тоня, почувствовав неладное, забросала его встревоженными письмами. На них тоже Володька ничего вразумительного не смог ответить. Вообще-то после всего случившегося с Юлькой и с ним Москва сорок второго года, Тоня и ее квартира на Пироговке подернулись таким плотным туманом, что стали казаться ему каким-то сном, бесконечно далеким от его сегодняшних дней под Невелем, где он в новой стрелковой части безуспешно атаковал со своей ротой безымянную высоту, которую надо было — как всегда на войне! — во что бы то ни стало взять, хоть кровь из носа.

Володька тянул со звоном Тоне, боясь услышать вдруг равнодушный голос, понимая, что, чем дальше тянуть, тем труднее будет объяснить ей, почему, вернувшись, не позвонил сразу...

И вот он набрал Тонин номер... Услышав длинные гудки, почувствовал, как заколотилось сердце. Ответил мужской голос. Володька попросил Тоню.

— Ее нет в Москве... Кто спрашивает?

Володька хотел повесить трубку, но, помедлив немного, спросил:

— А когда она будет?

— В конце августа... Кто это? Не лейтенант Володька?

— Да, это я... — напряженно ответил Володька.

— Слушай, как здорово, что ты позвонил. Я Виктор Живой, значит?

— Живой...

— Тонька у отца в Германии... Я проездом. Скоро буду опять в Москве, давай тогда встретимся. Я очень хочу с тобой познакомиться. Тоня рассказывала, как ты поставил всех в «Коктейле» по стойке «смирно». Мирово! Ну и то, что под крылышко моего фатера не пошел, тоже здорово! Хотя Тонька переживала, конечно... Слушай, Володька, ты на Калининский попер ради этой девочки... Юли, кажется?

— Не только... Понимаешь, девчонка будет на настоящем фронте, а я... Ну и к своим должен был... Я же много дров наломал поначалу.

— А кто не наломал? — с горечью сказал Витька. — Только к середине войны научились воевать... Да и то не все, — добавил, вздохнув. — Дай мне твой телефон, как приеду, позвоню, и встретимся где-нибудь.

Володька дал номер, потом спросил с трудом:

— Как вообще Тоня?

— Это долгий разговор, Володька. При встрече поговорим. Сегодня же чиркну ей, что ты звонил и чтоб она не дурила. Я к тебе хорошо отношусь, лейтенант Володька. Мы должны подружиться.

— Надеюсь, — сказал Володька, уже по короткому телефонному разговору ощутив расположение к Тониному брату.

Наконец-то встретился Володьке однополчанин дальневосточный — Женька Казаков. Не виделись они с декаб-

ря сорок первого, и страшно оба обрадовались, жали руки, хлопали друг друга по спине и хотели было направиться в ближайшую «деревяшку», чтобы за кружкой пива поговорить о том, кто чего прихватил на войне и где воевал, но, к сожалению, оказалось, что денег у них нет, а потому пошли в сквер, запалили по самокрутке, благо табачок имелся.

Казакова от пехотного училища, в которое попал Володька, уберег комбат Герасименко, любивший Женьку и не желавший отпускать от себя. Но в сорок втором сам капитан вырвался на фронт — последняя из многочисленных его докладных была удовлетворена. Забрал он с собой и Казакова, сказав: «Ты все на фронт торопился, меня небось ругал, что задерживаю. Теперь зато вместе поедем. Со мной воевать весело будет, ты меня знаешь».

— Помнишь его, конечно? — спросил Женька. — Командир что надо. Угодили мы с ним в морскую пехоту. Братва отчаянная, но Герасименко приняли, ну и меня, разумеется. В десанте были под Новороссийском. Там война настоящая, — добавил он с сумрачной усмешкой. — Ползали по немецким окопам... работали на славу... Да что говорить, сам всего хватил, — закончил он.

Вообще, заметил Володька и по госпиталям, и по встречам в Москве, мало ребята говорили о войне. Чего болтать? На своей шкуре все испытали, чего особо распространяться?

— Знаешь, — сказал Женька, — институт я побоку.

— Почему?

— Ждала меня одна девчонка из нашего класса. Наверно, женюсь. Ведь столько смертей повидал, а семья, так сказать, — продолжение жизни. Устраиваюсь в лабораторию при одном НИИ. Руки у меня умелые, там что-то паять надо, конструировать, ну и соображать, конечно. Это я смогу. Зарплата — восемьсот, ну и Валя — это девчонка моя — уже институт окончила... Как-нибудь проживем... Мне почему-то сейчас стало казаться, что семья — единственное, что осталось в мире устойчивое. А ты как думаешь?

— Не знаю... Как-то не задумывался.

— А я еще на фронте мечтал... Представляешь, приходишь с работы домой, и тебя уже ждут, на столе обед, в комнате уютно, чисто, тепло... Покой. И войну из головы напрочь! К чертовой матери! Будто и не было ее, — он помолчал немного, потом досказал: — Мы же там, в десанте,

часто ножичками орудовали. Понимаешь, что это значит?

— Конечно... Мне тоже один раз пришлось.

— Тебе один, а мне...— Женька сморщился, словно от боли, передернул плечами.

Они завернули еще по самокрутке, задымили...

— А Дальний Восток помнишь? — спросил Казаков.

— Да... И знаешь, хорошо вспоминается... Кстати, Лявина встретил.

— Тольку?

— Ага... В «Уране» пивом торгует.

— Ну, этот не пропадет... Если только не зарвется.

— Может, зайдём к нему? Пивом угостит,— сказал Володька.

— Нет... Я этих блатных не люблю, посмотрелся. Вот говорят, хорошо они воевали. Вранье! Были у меня в отделении... А Толька... Помнишь, как разделся он сразу, когда при санчасти поваром устроился? Сапожки хромотые и прочее. Ну его,— махнул он рукой.

— И у меня Гоша такой был, классный разведчик,— не согласился Володька.

— Бывают исключения, но вообще-то дерьмо они, эти урки,— заявил Казаков.

Они поговорили еще кое о чем, и Володька проводил Казакова до Колокольного переулка, где тот жил почти напротив родного Дзержинского военкомата. Обменялись, конечно, телефонами, решили почаще встречаться, потому как двое их пока, не считая Толика, из дальневосточного мирного полка. Но, увы, частых встреч как-то не получилось.

Совершенно неожиданно на Садовой-Сухаревской, около Склифосовского, он прямо-таки наткнулся на Майку, идущую с мужем... Володька рванул в сторону, но она окликнула его, и ему ничего не оставалось, как подойти к ним.

— Олег,— обратилась она к мужу,— это мой школьный товарищ Володя Канаев. Познакомься.

И Володьке пришлось жать протянутую руку, любезно улыбаться этому пожилому мужчине с холеным тонким лицом, с сединой на висках, мило и ободряюще глядевшему на смущенного Володьку.

— Кстати, Олег, Володька командовал разведвзводом... Ты же хотел писать о разведчиках...

— Действительно, задумал одну вещицу... Я мало пробыл на фронте, демобилизовали по болезни, но кое-что повидал. Сюжет у меня есть, но не хватает деталей... Если бы вы согласились помочь мне, Володя, был бы благодарен,— он вопросительно поглядел на Володьку.

— Не знаю, смогу ли рассказать что-нибудь интересное,— замялся Володька.

— Ну, интересное мы придумаем, а вот поговорить о житье-бытье вашего взвода, о каких-то конкретных случаях, о бытовых деталях было бы полезно. Заходите к нам не откладывая в долгий ящик. Посидим, побеседуем,— он ждал ответа, а Володька переминался с ноги на ногу, безуспешно придумывая какую-нибудь вескую причину для отказа.

— Приходи, Володька,— подтвердила Майя.— Тебе, наверно, удобнее зайти в Коптельский, ближе от дома? Я позвоню, и мы договоримся. Хорошо?

— Хорошо,— промычал Володька и заспешил прощаться.

Ему было неудобно... Ведь именно в Коптельском и случилось то, видимо, неизбежное. Правда, увы, не совсем так, как снилось ему на Дальнем Востоке, проще и обыкновеннее, без того ощущения невероятного счастья, но было... И вот он стоял минуту назад перед ее мужем, не таким старым, как она говорила, стоял смущенный, чувствуя себя виноватым.

Почему Майка не прошла мимо? Видела же, как рванул в сторону. Зачем познакомила? И была еще такая спокойная, веселая, лукаво на него поглядывала, забавляясь, видно, его смущением. Все это Володьке было неприятно, и на другой день он позвонил ей.

— Зачем ты меня остановила? — сразу начал он.

— Познакомить с Олегом,— не задумываясь ответила Майка.

— Для чего это?

— Глупенький,— пропела.— Олег и верно задумал повесть о разведчиках. Ну и нам спокойнее — школьные друзья. Сможешь заходить когда угодно. Все будет проще.

— Не проще, а наоборот,— вспыхнул он.

— Ревнуешь к мужу? Это уже глупо.

— Я не ревную... Просто неудобно.

— Ну, знаешь,— протянула она.— Тебе в монастырь надо идти,— и засмеялась.— Думаешь, мой Олег —

безгрешный ангелочек? Отнюдь... Приходи к нам и ни о чем не беспокойся.

— Я не приду, Майя,— сказал он твердо и повесил трубку.

Слова Майки, что ее муж не ангел, не сняли с Володьки чувства какой-то виноватости перед этим человеком, и даже мелькнула мысль, не прекратить ли вообще с ней встречаться, хотя и понимал, как трудно ему будет.

Вечером он сидел у себя в комнатке, курил и думал об этом. Потом его мысли перескочили на повесть о разведчиках, которую собирается писать Майкин муж. Он недоумевал, как же ее писать с чужих слов, не испытав, что это такое — вылезти на освещенную ракетами нейтралку и ползти, ползти, укрываясь то за одним трупом, то за другим, прижимаясь и ежесекундно ожидая пулеметной очереди, которая то ли минует тебя, то ли нет... Да, нейтралка всегда полна убитых — и наших и немцев, ведь в этой войне не было никаких перемирий, хотя бы на час-два, чтобы каждая сторона могла убрать своих, а попытки сделать это всегда кончались новыми жертвами. Но убитые помогали разведчикам: переползая от одного к другому, прячась за ними, и удавалось незаметно добираться до немецких траншей. Да, помогали, но трудно было отделаться от мысли, что и ты можешь остаться на этом поле вместе с ними...

Потом Володька подумал: что разведка? Вот рассказать бы о штрафном! И его мысли перекинулись к тому страшному рассвету...

...После слов Генки Атласова «Была не была!» разговор угас. Все молча смолили самокрутки. Через полчаса вернулся капитан Ширшов и сказал:

— Наше предложение командованием принято.

Он не сказал «мое предложение», сказал «наше», и всем в землянке показалось, что и верно, они все надумали эту предрассветную отчаянную атаку без перебежек.

— Начнем затемно. Вначале ползком, пока немцы не обнаружат. Надеюсь, метров двести — триста мы таким макаром продвинемся, ну а потом... Потом только бегом, молча, без «ура» и перебежек,— тихо, но отчетливо произнес Ширшов.— Сейчас комбат и его заместитель доводят до всех это решение. Итак, товарищи, все зависит от нас самих. Возьмем деревню, возможно, искупим свою вину. Понимаете?

— Ясненько, капитан,— воскликнул Генка.

— Мне надо быть первым,— вырвалось у Вадима, видать, непроизвольно, так как он сразу смутился, покраснел и опустил голову.

— Даешь, младшой,— усмехнулся Генка.

— Всем надо быть первыми,— спокойно и веско бросил Ширшов, словно точку поставил.

Заснуть Володька не мог. Не спали, как казалось ему, и остальные. Так, подремывали, может, с потухшими сигарками в зубах. Часто ворочался и покряхтывал подполковник, несколько раз постанывал Вадим, иногда глубоко вздыхал Атласов. Капитан Ширшов сидел у печурки, глядел в огонь и беспрерывно курил.

Тихое «подъем» сразу подняло всех на ноги. После тепла землянки обожгло холодом. Холодом изнутри и снаружи — наступает самое главное. Сейчас они выйдут к полю и... поползут... А затем атака!

В штрафбате, хоть и числился он батальоном, было около полутораста человек — негусто... Подтянувшись к кромке леса, держа интервал, по шепотливой команде «вперед», передаваемой по цепи, они поползли...

Поле было в серой предрассветной дымке... Немецкие ракеты все реже и реже взлетали в небо, уже бессильные пробить своим светом предутренний туман. Батальон полз, полз быстро, умело хоронясь за трупами, и Володьке думалось, что метров на двести, если не больше, они продвинулись. Деревня все яснее и яснее вырисовывалась острыми крышами изб... Скоро, скоро надо будет подниматься в атаку... Рядом полз Генка, с другой стороны Вадим, подполковник приотстал — возраст.

— Ну, значит, в последний, решительный? — прошептал Генка, криво усмехнувшись.

И сразу же после его слов с левого фланга немецких позиций застрочил трассирующий пулемет. Красные нити заматались над людьми — надо подниматься. Без всякой команды, как один, поднялись с земли и побежали... Поначалу бежали молча, потом кто-то выматерился, а за ним и другие...

Немцы усилили огонь. Вся немецкая передовая расцвятилась огоньками выстрелов, но рев матерных вскриков, густо нависший над полем и перекрывающий, пересиливающий пулеметный бред, дал понять немцам, какое подразделение прет на них, и огонь начал угасать, а мины,

перелетая, рвались уже позади батальона. Володька видел, как немцы стали покидать свои позиции — оружие, с разодранными ртами и налитыми кровью глазами штрафники приближались к их окопам.

Володька бежал, запыхавшийся от быстрого, безостановочного бега, но внутренне почему-то очень спокойный, почти уверенный, что его сегодня не убьют... Соскочив в немецкий окоп, он наткнулся на здорового фрица, бросившегося к нему с винтовкой, нацеленной штыком в живот. Вот когда впервые за всю войну пригодилось Володьке фехтование на штыках, которым с увлечением занимался в дальневосточном полку, он отбил вниз винтовку немца, и ее штык только чуть скользнул по ноге. Ударом приклада по виску свалил его, а потом выстрелил в упор. Из всего этого оставалось в памяти лишь одно — аккуратная заплатка на брюках немца, которую увидел, когда распахнулась шинель. Выскочив из окопа, он побежал дальше, догонять других, уже забрасывающих гранатами избы деревни...

Немцы выбегали полураздетые, отстреливались, но штрафников уже не остановить — минут через двадцать деревня, за которую положили столько жизней, была взята!

Несколько десятков человек в запале боя бросились преследовать немцев уже за деревней, но их остановили. Подоспевший к тому времени станковый пулемет расстреливал бегущих в спину, пока не добежали они до небольшого леска и не скрылись в нем... Все было конечно. Была победа!

Володька снял сапог, хотел задрать штанину, но рана оказалась почти у самого бедра. Пришлось спускать бриджи. На левой ляжке, залитой кровью, он увидел рваную полоску сантиметров в пять, но, по всей видимости, не очень глубокую. Достав индивидуальный пакет, он перевязался сам и, чуть прихрамывая, пошел к капитану Ширшову, стоящему рядом с командиром штрафбата. У того было радостное раскрасневшееся лицо, кубанка набекрень еле держалась на голове, а выбившийся светлый чуб полоскало ветерком.

— Вышло, черт возьми! Вышло! Ну, капитан, прошла твоя задумка. Благодарю, — говорил он Ширшову, а когда увидел прихрамывающего Володьку, спросил: — Что, долбануло? Сильно?

— Ерунда. Царапнуло штыком ляжку...

— Все равно искупил кровью. Иди в тыл... Надо же, взяли все-таки! Эту деревеньку чертову! Взяли!

Володька побрел уже спокойным, неспешным шагом через то поле, по которому они неслись всего полчаса тому назад, и даже не верилось в это, будто все во сне... Потерь в батальоне было немного, но все же несколько убитых увидел он на поле. И среди них Вадима. Он лежал на спине с полуоткрытым по-детски ртом, раскинув как-то беспомощно руки... Володька нагнулся, закрыл ему глаза, накрыл лицо шапкой. Потом взял его винтовку и двинулся дальше. Очень жалко, конечно, этого мальчика, но столько смертей уже видел Володька, что притупились чувства, да и знакомы-то были они всего два дня...

— Погоди, старшой! — услышал он сзади крик, сразу узнал голос и остановился.

Генка с перевязанной рукой подошел и с расплывшейся по всему лицу улыбкой обнял Володьку.

— А молодцы мы! А? Разве не так? Здорово мы их, гадов, разделали!

— Здорово! — ответил Володька. — Тебе свернуть?

— Да. Самое время покурить.

Они присели прямо на землю и запалили. И только тут почувствовал Володька огромное облегчение — бой позади, вину искупил... Теперь неделька санбата, а там резерв, формирование... На месяц-два уйдет от него война. А красноармейскую книжку, выданную ему, как и остальным, где записано: звание — старший лейтенант, должность — рядовой, подразделение — штрафной батальон — сменят на офицерское удостоверение.

— Повезло нам, Генка! — Володька хлопнул его по плечу.

— И не говори...

...Кто-то ухватил Володьку сзади и ладонями закрыл глаза.

— Кто? — спросил он, стараясь освободиться от крепко держащих его рук.

— Не узнаешь, командир? — прошепелявил знакомый голос.

— Гошка! — радостно вскрикнул Володька, узнав своего бывшего разведчика.

— Он самый, командир! Во где встретились! — Гошка отпустил руки, повернул Володьку к себе. — Живой, значит? С рукой что?

— Отняли полпредплечья.

— В штрафном долбануло?

— Нет. Там я легко отделался... А тебя-то как выходили? Вроде бы мертвогс приташили — две пули в грудь, одна почти у сердца. Мне в санвзводе говорили — не выживешь.

— Живучий я оказался... И еще воевал.

— В разведке опять? — спросил Володька.

— Где же еще мне? Сами знаете, разведчиком был классным... А что вытащили тогда с поля, век буду помнить.

— Брось выкать, Гошка. Не в строю.

— Привык, товарищ командир. Уважал я вас очень. Вот выпьем сейчас на брудершафт, тогда, может...

— С деньгой у меня туговато, Гоша...

— А я на что? Думаете, у Гошки денег нет? Во-во, — он похлопал по оттопыренному карману гимнастерки. — И у вас, командир, будут. Я такое дело открыл...

— Ты проездом в Москве?

— Нет. Живу у одной девахи... Ладно, командир, где тут шалман поближе? Зайдем, и Гоша все по порядку вам выложит.

— Пошли. У бывшего торгсина «деревяшка» есть.

Они быстренько дотопали до пивнушки. Гоша оглядел незавидное сие заведение, поморщился:

— Мне, командир, хотелось угостить вас в хорошем месте, чтоб посидеть можно было, а тут... — он брезгливо махнул рукой.

— Не будь фрайером, Гоша. Сойдет и это, — усмехнулся Володька.

— Нет, лейтенант... «Бабки» у Гоши есть, такая встреча и... в забегаловку. Не пойдет. Я вас в ресторан поведу, а пока поговорим где-нибудь.

Они отошли от пивной и направились к бульвару... По дороге поговорили о делах минувших, о ребятах, которые неизвестно теперь где, живы ли, покалечены ли или уже и косточек не сыщешь, потому как война долгая еще была после того, как расстались они. Выйдя к Сретенским воротам, присели на скамеечку. Гоша развалился, небрежным жестом вынул пачку «Беломора», протянул Володьке.

— Теперь о деле, командир. Ты только не брезгуй. Дело чистое. Ни обмана, ни воровства — одна солдатская находчивость... Я же завязал, хватит! Надоело по тюрьгам

сидеть, да и война мозги прочистила. Я себя на ней только человеком и почувствовал — нужным, знаменитым даже. Сам знаешь, полковники за ручку здоровались... А за того обера сам комбриг расцеловал. Помнишь?

— Помню,— улыбнулся Володька, которому было хорошо с Гошкой.

— Так что дело чистое, командир... Ну, конечно, временно все это. Вот распишусь я с дивчиной этой, получу прописку и на работу буду устраиваться, а пока и погулять можно. Можно, командир? Разве не заслужили?

— Заслужили... Девчонку-то хорошую нашел?

— Любовь закрутил настоящую, командир. Поздравь...— в его голосе была нежность и даже какое-то удивление.

— Поздравляю, Гоша...

— Засохли мы, командир, без баб на войне... Ведь она, женщина, не только для тела нужна — и для души тоже. Я баб с пятнадцати лет знал, да что толку, не то все это...— Гоша задумался, а для Володьки внове были Гошины рассуждения. Таких разговоров в разведвзводе не вели. Там не до лирики.— Ну, пойдём,— стряхнул с себя задумчивость Гошка.

— Куда?

— К трем вокзалам. Время есть?

Володька кивнул — чего-чего, а времени у него вдосталь.

От Казанского вокзала они взяли вправо и вышли к военному продпункту, расположенному в деревянном домишке. У окошечка толпилась очередь из военных — командированных, демобилизованных, раненых из госпиталей... Гоша, бесцеремонно растолкав всех, пробрался к окошку, таща за собой Володьку, и кого же он там увидел?! Надюху!!!

Она, сразу узнав Володьку, посмотрела на него расширенными, растерянными глазами, потом заулыбалась.

— Лейтенантик... Живой... Не зря, выходит, молилась я вроде за тебя,— сказала она, стараясь за небрежной шутливостью скрыть волнение и радость.

— Знакомы вы, оказывается,— нахмурился Гоша, и недобрый огонек зажегся в его глазах.

Он как-то резко вынул пачку, рванул папиросу и задымил.

— Что же проститься тогда не зашел? — спросила Надюха.

— Неожиданно я как-то уехал... раньше срока...

— И подо Ржев свой? Говорил мне Егорыч.

— Да, туда... к своим.

— Как же живым остался? — покачала она головой.

— Остался... Вот только, — показал глазами на пустой рукав.

— Не горюй, лейтенантик. Не такими возвращаются, это ерунда. Тебе руками не работать. Учиться же пойдешь?

— Наверно, — ответил Володька.

— Гошку-то откуда знаешь? — наконец спросила Надюха, поглядев на жадно курящего, насупившегося Гошу.

— Так он из моего разведвзвода, — сказал Володька.

— Я же говорил тебе, Надюха, — сумрачно вступил Гошка. — Он мне жизнь спас. Ребята на поле оставили, думали, убитый начисто, да и немец их в такой перехлест взял, еле ноги унесли. А он сам пошел за мной и ребят заставил, приволокли меня...

— Вот какие дела, надо же... И встретились, — протянула она. — Выходит, лейтенантик, спас ты для меня Гошку, — и стала вытирать глаза.

Сзади загудела очередь:

— Хватит трепаться... Давай работай... На поезда мы... Заговорились.

— Сейчас, мальчики, сейчас, — захопотала Надюха. — Потом, ребята, поговорим. Я закроюсь скоро. К нам пойдем. Купи, Гоша, в коммерческом для встречи.

— Кому говоришь? Будто сам не понимаю...

К магазину шли молча... Гоша все так же часто затягивался папиросой, какой уже по счету, и Володька понял, что рассказала Надюха про него и Гошка переживает. Неожиданно Гоша остановился.

— Значит, так, командир. С Надюхой больше ни-ни. Что было, то было, но все. Понял? — Гошка в упор взглянул на Володьку.

— Конечно, Гоша... Случайно у нас было, по пьянке... — смутился Володька.

— Случайно не случайно, а поминала она тебя часто, все уши прогудела. Так что слово, командир?

— Слово, — подтвердил Володька и протянул ему руку.

В магазине Гоша легко и небрежно выложил двести рублей за бутылку водки, столько же за закуску и за

ослепительно белый батон. Володька с некоторым удивлением смотрел, как просто выкладывал Гоша купюры, суммой больше половины материнской зарплаты. На обратном пути тот посвятил его в «дело», которое проводил вместе с Надюхой. Оно было простым. Демобилизованным, командированным и прочему дорожному люду выдавались талоны на продукты. Они имели определенный срок действия, просроченные были уже простой бумажкой, которую можно выкинуть. Вот эти-то талоны и скупал Гоша за бесценок, обменивал на махру или вообще выпрашивал. Надюха же отоваривала их задним числом. Буханка черняшки на рынке стоила двести, за полтораста отрывали с руками, и таких буханочек у Гоши выходило в день около десятка.

— Вот видишь, командир, никакого мошенства, даже ловкости рук не треба. И никакого обмана. И никто не внакладе, потому как не просрочь талон солдат, он эту буханочку съел бы... Кумекаешь?

— Да.

— Талоны будем вместе раздобывать,— как решенное заявил Гошка, а когда заметил колебание на Володькином лице, добавил уверенно: — Голодуешь же сейчас.

— Почти.

— Сколько пенсии положили?

— Триста пятьдесят...

— Гроши!

— В институте стипендию дадут, рублей двести.

— Все это не деньги, командир, по нынешним временам. Мусор! — резанул рукой Гошка. — Ну, решили?

— Не знаю пока... Противно все это,— проямлил Володька.

— А лапу сосать не противно?! Ты, лейтенант, это фрайерство брось! Четыре года под смертью ходили. Расею, можно сказать, своей кровушкой спасли! И голодовать после этого! Нет уж...— горячился Гошка.

— Так все сейчас неважно живут, Гошка,— сказал Володька.

— Нет, не все! В коммерческом народа сколько? Некоторые гады разбогатели, пока мы с тобой жизни ложили, кровью заливались. Не хочу к старому возвращаться, а то бы копнул кой-кого. Видал же, осетрину берут, балычок, икру... А мы что с тобой на передке лопали? Пшенку-жидню! Помнишь, как я перед каждым поиском пятак бросал — орел — решка?

— Зачем, кстати? — спросил Володька.

— Мы, урки, в приметы верим. Три орла выходило — иду в дело спокойно... Да сам знаешь, мандража никогда не давал. А в тот раз три решки, ну и схлопотал две пульки... — Гошка призадумался, вспомнив, видать, безнадежные глаза склонившихся над ним врачей. — Не жил я, Володька... Не жил... Многие мы не добрали в жизни, так хоть теперь... — мечтательно закончил он.

Когда они подошли к продпункту, окошечко было уже закрыто. Гоша постучал в дверь, Надюха открыла, сказала: «Сейчас я...» — и вскоре вышла в нарядном платье, подкрашенная, взяла их обоих под руки, и тронулись они к Домниковке.

Во дворе памятного Володьке дома сидел Егорыч и смолил самокрутку. Постарел он здорово за эти годы, лицо покрылось сеткой мелких морщинок, пробилась и седина в волосах. Узнав сразу Володьку, пустил слезу, запричитал:

— Живой, браток, живой. Уж и не чаял тебя увидеть, раз ты под этот проклятый Ржев подался. Совсем не чаял. Знаешь, полюбил я тебя, склеились мы как-то за твой отпуск... Помнишь, как пивко в автомате попивали?

— Помню, Егорыч, помню, — что-то сдавило Володькино горло.

— Ко мне пойдем, Николай Егорыч, — пригласила Надюха.

И стали они подниматься по деревянной полупрогнившей лестнице, и всколыхнули Володьку воспоминания о лете сорок второго, об уходе Юльки, о встрече с Тоней, в общем, о всех тех днях его отпуска.

— А я с «Калибра» ушла, — сказала Надюха. — Заболела сильно, истощение нервной системы, в больницу угодила, а оттуда с бумагой вышла — только на легкую работу годна. Вот на этот продпункт и устроилась. Вернее, устроили меня по знакомству. Подружка там работала. Ну и жизнь совсем другая стала.

Володька посмотрел на нее — поправилась, похорошела... А он хорошо помнил ее вдавленный живот и острые бедра...

— Вот уже месяц, как с Гошей познакомилась... Хороший он парень, лейтенантик?

— Лучший разведчик был, — ответил Володька.

— Разведчик разведчиком, а человек-то хороший? — спросила Надюха, будто Гоши и не было в комнате.

— Сама разберешься,— засмеялся Володька.

— Я ей все рассказал, командир... И что завязал, знает,— сказал Гоша.

— А я вот не завязал, Володька,— дрогнув голосом, горько произнес Егорыч.— Выпиваю... Сдал я, наверное, за эти годки?

— Да ничего, Егорыч,— ободрил его Володька.

— Рука сохнет. Видишь? На поправку надежды уже никакой... В сторожах работаю. Сутки отдежурил, двое гуляю. В общем-то ничего, голодно, правда, ну так у всех такая житуха.— Егорыч глядел, как накрывает Надюха стол, как выставила бутылку, и ее блеск отразился в его глазах.

Глядел на стол и Володька, глядел на банки с тушенкой, на селедку с картошкой, но в основном на хлеб, которого было много. Очень много. От него-то и не мог оторвать взгляд — от хлеба.

Сели за стол... За победу, конечно, выпили, за новую, мирную жизнь, хотя и не знали точно, какая она будет, ну и братишек погибших помянули. Володька закусывал жадно, но тщательно пережевывал, так же, как смаковали они еду на передовой, когда перебой с жратвой бывали, а пил мало — не хотелось почему-то.

— Что не пьешь, лейтенант? — спросила Надюха.— Помнишь, в сорок втором мечтали: окончится война, и наступит праздник на всю жизнь.

— У тебя-то, Надюха, каждый день праздник,— пробурчал Егорыч.— Тебе грех жаловаться.

— Что каждый день? Выпивка? Так это еще не праздник, Егорыч. Потому и выпиваем, чтоб праздник в душе почувствовать. Да и недолго я на своей работе собираюсь быть. Вот Гошка устроится, и кончу. Я ж заводская, а не фартовая. Перебьемся это времечко, и к черту! Верно, Гоша?

— Конечно, Надюха. Это дело ненадежное, временное,— кивнул он.

Обратно домой Володька шел, раздумывая о Гошкином предложении, не зная, принимать его или нет, но буханка хлеба на Надюхином столе неотвязно маячила перед глазами.

Мать была уже дома и ждала его к ужину. Володька, конечно, видел, что лучшие куски отдавались ему, что мать ела очень мало, а она ведь работала и, как он ни протестовал, как ни старался заставить ее съесть лишний кусок,

твердо отказывалась, убеждая его, что сыта. Володька, сказав, что уже поел, принудил мать съесть весь хлеб... Он смотрел, как отрезала она тоненькие ломтики и медленно ела, запивая жидким чаем с сахаром вприкуску, и сердце сжималось жалостью... Подозревал, что мать сдает кровь, замечал, как приходила несколько раз очень бледная и сразу ложилась на диван, говоря, что устала, а после этого появлялось на столе несколько картофелин, кусочек сала и лишний сахар. За сданную кровь платили триста рублей и в день сдачи кормили обедом. Но что за эти триста купишь на рынке?

И на другой день рано утром Володька пришел к Надюхе, она была уже на работе, а Гоша сидел перед зеркалом, брился трофейной бритвой «золлинген».

— Пришел? Ну и правильно... Сейчас добреюшь и потопаем.

— Знаешь, Гоша, вчера посмотрел на мать... Доходит она у меня. С работы как тень возвращается... Ну и решил.

— А ты еще — подумаю... Чего тут думать? Подкормишь мать, сам подкормишься. Ну, поехали,— добавил он, протирая лицо одеколоном.

Добрались до вокзала, подошли к Надюхиному окошку, к которому вилась серо-зеленая очередь, стали спрашивать, у кого есть просроченные талоны. Таких оказалось много, ведь поезда ходили без расписания, опаздывали, на вокзальных продпунктах солдаты не успевали отовариваться, и просроченные талоны оказывались почти у каждого второго. Кто-то отдавал просто так, другие недоверчиво спрашивали «зачем тебе?» и заламывали цену, но Гошка прибаутками и блатными присказками сбивал и цену и недоверие. Через каких-то полчаса у них было уже полно талонов. Гошка юркнул в дверь продпункта и вскоре вынес два мешка. В многолюдности, суете и спешке никто не обратил на это внимания. Передав один мешок Володьке, он коротко скомандовал:

— Теперь на Центральный.

Торговлю Гоша вел умело, много не запрашивал, и через минут двадцать их мешки были пусты, а Гошины карманы набиты деньгами.

— Делим на три части. Третья — Надюхина,— объяснил Гоша.

— Разумеется,— Володька был поражен легкостью и быстротой «операции», суммой, врученной ему Гошей.

— Можно и на второй заход, но я не люблю зарываться,— сказал Гоша.— По домам, командир, или как?

— По домам,— Володька спешил в коммерческий, чтобы купить сливочного масла, сахара и чаю.

Одну буханку он себе оставил еще до распродажи. Вечером мать была изумлена, откуда такое богатство, но Володька уже придумал объяснение: встретил фронтового друга, который вернул ему долг.

— На месяц-два хватит, мама. Будем жить, как боги. И ты у меня поправишься.

Мать пила крепко заваренный чай с сахаром внакладку и ела хлеб, густо намазанный сливочным маслом. Володька глядел на нее и думал, что как ни противно «дело», но он будет им заниматься до института, чтобы хоть за эти месяцы подкормить мать.

После встречи с Майкиным мужем Володька очень долго не звонил ей — было как-то неловко. Позвонила она сама.

— Куда пропал?

— Никуда,— ответил, немного растерявшись.

— Почему не звонишь?

— Да как-то так... Дела...

— Что у тебя за дела? Не ври, Володька. Я понимаю, почему не звонишь. Но ты мне вот такой и нужен,— она вздохнула.— Знаешь, я, наверное, разойдусь с Олегом...

— А литерный паек? — усмехнулся он.

— Как-нибудь проживу... Не так это для меня важно. Приходи сегодня вечером в Коптельский,— попросила она.

Володька долго не отвечал.

— Не хочется? Боишься?

— Хорошо, приду,— согласился он.

— Вот и прекрасно. Поговорим, и ты кое-что поймешь.

Вечером, когда он пришел к Майке, она сразу начала:

— Ты, наверно, удивляешься, что я, совсем девчонка, выскочила за сорокалетнего?

— Вообще-то да,— пожал он плечами.

— Ты же знаешь, как я любила литературу. И разумеется, обалдела, когда Олег обратил на меня внимание. Смотрела снизу вверх, ловила каждое слово. Короче, втюрилась по уши,— она помолчала немного.— Вернее, мне казалось, что втюрилась... В общем, он, как выяснилось, не тот.

— Почему?

— Ну не тот, и все.

— Хороший он хоть писатель?

— Наверное, без таланта. Но, знаешь, когда мы познакомились в конце тридцатых, он был в какой-то растерянности, ничего не писал. По-моему, просто не знал, о чем... Теперь-то все начнут о войне. Ну и он тоже...— с оттенком некоторого пренебрежения сказала она. Потом, подумав, добавила: — Сейчас, мне кажется, нет в нем чего-то.

— Чего же?

— Не знаю... Какого-то стержня, что ли,— пожалала она плечами.

Они пили чай с вкусным печеньем, покуривали Майкин «Казбек». Она была очень грустная и часто поглядывала на Володьку как-то внимательно и очень серьезно. Когда он спросил, где ее мать, и, узнав, что в гостях, подошел и попытался обнять, Майя отодвинулась и резко сбросила его руку.

— Не надо.

— Почему? — недоуменно спросил Володька.

— Я позвала тебя, чтобы поговорить... Ну и успокоить твою чересчур нежную совесть,— она усмехнулась и протянула руку к папиросам.— Ты должен знать, что мой муженек не очень-то верен мне, ну и вообще...— она закурила.

— Что вообще?

— Понимаешь,— задумчиво начала она,— мужчина всегда должен быть выше женщины. Для меня так. Ну а он не такой. Не знаю, найду ли лучшего в нынешние времена, но с ним я, наверно, порву...— она поглядела на Володьку.

Он почему-то отвел глаза.

Вернувшись домой, Володька застал мать не одну, рядом с ней сидела взволнованная и радостная мать Витьки-бульдога — соседа по лестничной клетке, которого в сорочном втором провожал в армию. Милая, но болтливая женщина в свое время очень переживавшая, что Витька после семилетки не пожелал учиться дальше, а пошел в ФЗУ «Вы подумайте, Ксения Николаевна, какие метаморфозы ребята из простых семей жаждут учиться, а мой, начитанный, интеллигентный мальчик, решил стать токарем...» — чуть не плача, жаловалась она Володькиной матери.

...Сейчас она сияя потрясала Витькиным письмом, в котором тот сообщал, что наверняка получит три месяца отпуска, после чего его, конечно, демобилизуют и он вернется на свой завод.

— Окончились наши муки, Ксения Николаевна, эти бесконечные ожидания писем.

— Не только писем,— заметила Володькина мать,— ждали самого страшного... той бумаги, которая могла прийти,— она не решилась назвать похоронку.

— Да, конечно! Мы счастливицы, Ксения Николаевна! Гляжу на себя в зеркало и не узнаю — совсем другие глаза. Что там глаза! Походка стала другая,— восторженно лепетала она, переводя взгляд с Володьки на его мать.— Володя, ты обратил внимание, какие теперь лица у женщин на улицах?

— Обратил... Совсем другие, чем в сорок втором.

— Разумеется! Вы ходили в «Хронику» смотреть «Парад Победы»? Это потрясающе! Особенно момент, когда бросают немецкие знамена! Такое в душе поднялось! Обязательно сходите... А Сталин на трибуне,— продолжала она,— немного постаревший, но такой довольный, уверенный...

— Вот вы переживали, что Витька в ФЗУ пошел,— переменял тему Володька,— а ведь он вернется кормильцем. Мне же трубить еще пять лет.

— Да, кормильцем...— задумчиво повторила она.— Но, надеюсь, поумнел за эти годы и захочет все же учиться.

Видимо, до сих пор не примирилась с тем, что ее начитанный мальчик — простой рабочий. Володька улыбнулся, он подумал, что, скорее всего, Витька, возвратившись, не учиться пойдет, а женится на какой-нибудь первой встречной...

На другой день Володька вытащил Деева из дома и отправились они в знакомую «Хронику» у Сретенских ворот, чтобы посмотреть «Парад Победы». Как только на трибуне появился Верховный, раздались аплодисменты и долго не утихали. Володька и Деев хлопали вместе со всеми и так же, как и все, внимательно вглядывались в лицо Сталина. Его в кино люди давно не видели и сейчас перешептывались, делясь впечатлениями. Он действительно постарел и выглядел утомленным, что и понятно — четыре года такого напряжения.

Володька смотрел, как проходили колонны, как бросали к Мавзолею немецкие знамена. Как же долго шли они

к этому параду! Что перетерпели, что вынесли! И вот наконец-то. Деев хлюпал носом, у Володьки тоже были на глазах слезы. Он вспомнил Витебск. Как вошли в этот почти до основания разрушенный город и как встречали их измученные, плохо одетые и голодные жители. Вот за эту встречу стоило перетерпеть все: и ржевские болота, и обреченные наступления, и ночную разведку, и эту последнюю безымянную высоту под Невелем, и тяжелые бои перед самым Витебском... Все, все ради вступления в первый освобожденный им город, за благодарные слезы жителей...

Из кинотеатра выходили все заплаканные, но радостные. Правда, заметил Володька нескольких женщин со слезами горя — война окончилась, а их близких уже нет.

— Ну как? — спросил Володька Деева.

— Впечатляет, — сдавленным голосом ответил тот.

Они медленно — Володька примерялся к шагам Деева — пошли по Сретенке. Сегодня Володьке спешить было некуда: вчера позвонил Гошка и сказал, что Надюха заболела — что-то женское. Видать, надорвалась в войну на своем «Калибре», подумал Володька.

Через неделю снова позвонил Гошка и попросил о встрече. Они встретились, и Гошка сразу приступил к делу:

— Ты говорил, дружок твой в пивной на Сретенке работает. Раз на таком месте устроился, значит, связи у него есть. Сходим к нему, поговорим... Можно и в ресторанчик пригласить ради такого случая — вдруг пристроит меня куда? Время, лейтенант, такое, что поближе к хлеборезке надо быть, тем более специальности у меня никакой, а Надюхе нужно питание.

— Конечно, ходим, — сразу согласился Володька, а сам подумал, что такие, как Гоша и Толик, не пропадут, а вот что будут делать его школьные ребята? Разве на стипендию проживешь? Ну, у кого руки-ноги целы, те на разгрузке товарняка подработать смогут, а кто инвалидом вернется, тому как? Разумеется, жизнь будет налаживаться — и карточки отменят, и коммерческих магазинов с их бешеными ценами не будет. В это все верили, но сколько еще до этого существовать? И тут Гошка мечтательно протянул:

— Эх, лейтенант, кабы платили за «языка» хоть тыщонку, я бы жил. Каждую ночь притаскивал бы, но войны нет, и никому моя сноровка да ловкость не нужны. Махнем к твоему дружку, может, что и выйдет.

Они махнули к Толику, поговорили, и Толик обещал поспособствовать, свести кое с кем, предупредив, правда, что стоить это будет немало. Гошка на это ноль внимания. Видно, денежки у него имелись.

Вскоре и произошла деловая встреча в ресторане «Нарва», куда был приглашен и Володька. Толик привел какого-то типа, назвавшегося Ильей Петровичем, с которым Гошка и вел втихаря переговоры о своем устройстве. Влетела эта встреча Гошке в две тысячи, но расплачивался он спокойненько. Видимо, переговоры прошли удачно. Денька через четыре он позвонил Володьке и сказал:

— Порядок, командир. Можешь поздравить Гошу.

Куда устроил его этот тип, Гошка говорить не стал, но по его веселому голосу Володька понял, что туда, куда он хотел, то есть поближе к «хлеборезке».

— Ну а ты как жить будешь? — спросил он Володьку под конец разговора.

— Как-нибудь... С голоду не помру.

— Не помрешь, конечно, но разве это жизнь? Что бы придумать для тебя такое?

— Нечего придумывать, Гошка. Скоро институт.

— И на кой он тебе, этот институт? — воскликнул Гошка.— Окончишь его, а все равно от полочки до полочки — зубы на полку.

— Мозги засохли, Гоша... Одни уставы в голове. Что-то другое узнать хочется.

— Ладно, валяй учись. Если с монетой будет худо, завсегда пожалуйста. Для тебя у Гошки в любое время... Понял?

Позвонил Виктор, брат Тони... У Володьки екнуло сердце — неужели она в Москве? Нет. Витька звонил, предлагая встретиться и прошвырнуться куда-нибудь, отметить знакомство. Володька постеснялся сказать, что у него нет денег, но по его молчанию Витька, видимо, догадался и быстро добавил: «Я приглашаю». Договорились встретиться на Тверском бульваре у памятника Пушкину. Виктор сказал, что будет в штатском, но Володька его узнает, так как он здорово похож на Тоню или,

точнее, она на него. Они действительно сразу узнали друг друга, крепко пожали руки и отправились вниз по Тверской... Елисеевский был полон народа. У «Коктейль-холла» стояла очередь. Володька было приостановился, но Витька повел его дальше, сказав, что охота вкусно поесть, и потому идут они в ресторан «Москва», что при гостинице. Он был в сером, хорошо сшитом костюме, ладно на нем сидящем, но выправочка военная чувствовалась.

— Я писал Тоне о твоём возвращении...— начал Витька.

— Что она ответила? — быстро, с легкой дрожью в голосе спросил Володька.

— Приедет к сентябрю... Рада, что ты вернулся.

— Что еще?

— Больше ничего,— немного смущенно ответил Витька.— Почему ты ей не писал так долго?

Володька поколебался, сказать ли Витьке правду, но решил — ему можно.

— В штрафной угодил. Ну и про это,— кивнул на руку,— не хотел...

— В штрафной?! — Витька уставился, ожидая, видно, подробностей, но, увидев, что Володька отвернулся, сказал: — Ладно, потом расскажешь.

В ресторане «Москва» Володька никогда не был, и его поразил огромный зал, расписанный высокий потолок, шумный оркестр. Они сели за столик, за которым уже сидел сильно пьяный пехотный капитан с девицей и шел крупный, громкий разговор.

Виктор заказал какой-то салатик, бифштексы по-гамбургски. Когда официант отошел от столика, капитан вдруг прохрипел своей соседке:

— Сука ты все-таки! Пристрелить мало.

— Что ты, Алешенька, ну за что? — лепетала та.

— Знаешь за что, стерва,— капитан неверной рукой налил себе и залпом выпил.

— Ты, Алешенька, не пей больше... И не говори так. Что люди подумают?

— Плевать я хотел на этих...— особо зло глянул капитан на Витьку.— Все равно тебе не жить,— он тупо уставился на девицу мутным, тяжелым взглядом, под которым она вся сжалась и побледнела.

— Не дури, капитан,— сказал Виктор.— Дай людям посидеть спокойно. Скандалить дома можно.

— Заткнись, падла тыловая! Пока мы там... вы здесь... Молчать! — вдруг вскрикнул он.

Виктор спокойно вынул из кармана офицерское удостоверение и сунул капитану под нос.

— Смотри, какой я тыловик. Тоже капитан. И брось выкобениваться, — уже с угрозой произнес Виктор.

— Я выкобениваюсь! — поднялся капитан. — Да я вас всех, гадов, сейчас в расход пущу, — и с удивительной для пьяного ловкостью вырвал из кобуры пистолет, мгновенно оттянул затвор, загнал патрон в патронник. — Сперва с ней разделаюсь, — и направил ТТ на девицу.

Та взвизгнула, отшатнулась с ужасом в глазах. Виктор перехватил руку капитана, пригнул книзу. Тот нажал спусковой крючок, раздался выстрел и пуля ушла в пол. Володька резко и одной левой рукой завернул руку капитана за спину, тот замычал от боли, а Виктор, воспользовавшись этим, вырвал пистолет и привычным движением вытащил обойму.

Сбежался народ, несколько официантов... Володька, продолжая держать руку капитана, бросил девице:

— Давай чеши отсюда!

Та вскочила и побежала к лестнице.

— Отпусти, — хрипел капитан.

Володька отпустил. Виктор налил стакан нарзана и дал капитану.

— Выпей и успокойся... Товарищи, — обратился он к окружающим столикам. — Это случайный выстрел. Капитан думал, что пистолет не заряжен, ну и...

— Случайный... — пробормотал один из официантов. — Почитай каждый вечер такие случаи. Вызови патруль, — обратился он к молоденькому официанту.

— Не надо, — попросил Виктор. — Ничего же не произошло, обыкновенная случайность. Верно, капитан? Просто хотел попугать девчонку, пошутил?

Капитан, выпив нарзана, немного отрезвел, а отрезвев, струсил.

— Да, да, товарищи, — крутил он головой. — Чистая случайность... Ну, дырка в полу... я заплачу... Сколько должен? — он полез в карман, вытащил пачку денег. — Берите, сколько нужно!

— Пять сотен хватит? — спросил Витька. Официант кивнул. — Отсчитывай, капитан, нечего базар разводить.

— Ладно... — официант спрятал деньги в карман. — Только водки я капитану больше не подам.

— Конечно,— подтвердил Виктор.— Ни грамма!

— Не буду я больше,— и капитан угрюмо налил себе воды.

Заиграл оркестр, народ отошел от их столика, начались танцы...

— Ну и болван ты, капитан! В войну живым остался, хватил в пехтуре до верха и под трибунал сам лезешь. Чего далась тебе эта девка? Ну, смазал по физике, если заслужила. Держи пистолет, магазин не отдам. Запиши адрес, приедешь завтра,— и Виктор протянул пистолет.

— Черт с ним! Что же это я, братцы, совсем управление потерял, из сознания вышел? Развезло. Спасибо, что удержали и пистолет отняли. Спасибо. А где Сонька моя?

— Вон стоит у лестницы,— показал Володька.

— Пока, ребятки... Спать пойду... Спать,— и пошатываясь он пошел к своей Соньке, которая уже улыбалась ему.

— Ну, слава богу. Теперь хоть поговорим спокойно,— сказал Виктор.— В институт пойдешь?

— А куда же?

— Я в армии останусь. Наша семья военная уже в каком поколении. Дед генералом был, отец империалистическую штабс-капитаном закончил, ну а в гражданскую сперва полком, потом бригадой командовал... Надеюсь, в академию попаду. Кстати, в то время, когда ты подо Ржевом был, мы совсем недалеко стояли, южнее только. Хватил я там тоже. С «сорокапятков» начинал, на прямой наводке, с пехотой в одном ряду. Ну, давай,— поднял он рюмку.

Володька чокнулся с удовольствием. Ему нравился Виктор, и не потому лишь, что был Тониным братом.

— Знаешь что, будем дружить независимо от того, как у меня с Тоней выйдет?

— Будем,— обрадовался Виктор и хлопнул Володьку по плечу.— Ты настоящий парень...— и вдруг спросил: — Володька, а ты в штрафной не из-за той девчонки попал? Юли, кажется?

Приметив Володькино замешательство, Виктор поспешно добавил:

— Если не хочешь, не рассказывай.

— Я расскажу, Виктор,— не сразу ответил Володька.

...После того письма, где Юлька писала, что понравилась какому-то майору, она долго молчала... Потом при-

шло наконец: «Дорогой Володька! Я на передовой! Тут, конечно, страшно, но зато вокруг очень хорошие ребята, здесь все мои братишки. Один сержант часто приходит к нам в землянку с гитарой и поет мне песенку про «девушку в шинели не по росту», которая «друг, товарищ боевой...». Да ты знаешь эту песню... Близость смерти очищает людей, и здесь ко мне никто не пристаёт... А тому майору я залепила пощечину. Надо было, разумеется, пойти к комполку и доложить обо всем, но я этого не сделала... Через несколько дней меня отправили на передний край в стрелковую роту, но ты не беспокойся, мы стоим в обороне, у нас хорошие блиндажи, а когда перебивает провод, то мальчишки идут поправлять поврежденные за меня...»

Бодрится Юлька, успокаивает его, думал Володька, зная, что такое стрелковая рота, хотя и в обороне, и в крепких блиндажах. Один-два обстрела тяжелой артиллерией или самолетная бомбежка, и разворочены будут все эти надежные блиндажи... Не успокоило Юлькино письмо, а осело тяжелым камнем в душе, и не было часа, чтобы не думал о ней.

Еще раз заикнулся он комбату о хотя бы двухдневном отпуске, чтобы смотать в Юлькину часть, но тот отказал вежливо, ссылаясь на то, что формирование закончено и вот-вот может быть приказ об отправке на передовую... Пришло еще одно письмо от Юльки, где писала она почти то же самое: хорошо ей здесь, ребята берегут ее, называют сестренкой, а кто постарше — доченькой... А через неделю другое, написанное ее подругой: Юльку убили, она захоронена около штаба полка... Остались у подруги письма Юльки и дневник, но по почте это посылать нельзя. Может, он придет?

Володька бросился к комбату и молча дал ему письмо. Тот прочел, ничего не сказал, только посмотрел на него, наткнувшись на мертвые, погасшие Володькины глаза, и вызвал начштаба.

— Выпиши Канаеву отпуск на два дня...

— Есть, — вытянулся дисциплинированный Чирков.

— Благодарю, товарищ майор, — тихо сказал Володька.

Через час, получив сухой паек, он широким пехотинским шагом шел уже к большаку, чтоб поймать попутную машину... Сделав по дороге три пересадки, к вечеру был уже в расположении дивизии и спросил там, как найти

полк. Двенадцать километров до штаба полка прошел он за полтора часа и стал разыскивать начальника связи. Того не оказалось на месте. Но нашлась девушка, писавшая ему о Юле. Звали ее Люда. Она провела Володьку к могиле... В горле застрял ком, и он не мог говорить, слушал Люду, рассказывавшую, как любили все Юльку и какая она была хорошая...

Володька стоял у рыжего холмика, машинально запоминая ориентиры, по которым можно будет разыскать могилу после войны. Стоял сгорбившись, все еще не представляя реально, что он больше никогда не увидит Юльку и что вот здесь, под небольшим слоем земли, лежит она...

— Бомбежка или артналет? — спросил наконец у Люды.

— Нет, пуля... Исправляла поврежденную связь, — тихо ответила она, вытирая глаза.

— Веди к этому майору.

Люда смешалась, опустила голову:

— Я не знаю, где он... — а потом добавила: — Может, не стоит, товарищ старший лейтенант?

— Найди! Не бойся, я просто поговорю с ним.

— А я боюсь... Вы что-нибудь с ним сделаете, — пробормотала она, — не надо, прошу вас, не надо... Юля тоже не захотела бы этого.

— Я что тебе сказал, — прикрикнул Володька. — Все равно разыщу его. Пойдем, — он резко повернулся.

Они пошли к штабу, и около него среди группы стоявших военных Люда показала на полноватого немолодого майора.

— Ладно, — сказал Володька. — Теперь уходи.

Люда отошла, а он направился к майору.

— Разрешите обратиться, товарищ майор, — спросил Володька совершенно спокойно.

— Слушаю вас, — повернулся майор.

— Я офицер связи. Требуется поговорить конфиденциально. Отойдите в сторону.

— Хорошо, — согласился майор и пошел за Володькой.

Тот завернул на тропу, ведущую к кустам, и, пройдя несколько шагов, откуда они уже были не видны из избы, где расположен штаб, остановился.

— Донесение из соседней части? — спросил майор.

— Так точно. Сейчас... — Володька сделал вид, что открывает планшет, а потом снизу ударил майора под ложечку.

Майор сразу сломался пополам, и единственное, что Володька запомнил, удивление, а потом страх в его глазах. Видимо, понял он, кто этот старший лейтенант и зачем появился. Перегибаясь пополам, майор все же потянулся к кобуре, но Володька резко ладонью рубанул по руке, а потом снизу в челюсть... Уже не помня себя, он бил его по лицу и прямыми и сбоку, бил тяжелым сапогом по голове, когда тот упал, забыв святое правило марьино-рошинской шпаны — лежачего не бить...

Очнулся он, лишь когда несколько человек схватили его за руки и заломили назад... Кто-то вырвал из кобуры его пистолет, кто-то ударил. Затем оттащили от лежащего окровавленного майора.

Володька не сопротивлялся, и вскоре ему отпустили руки. Только молодой капитан, скомандовавший перед этим: «Врача к майору», держал его за локоть и с любопытством поглядывал на Володьку.

— За что вы его так? И вообще, откуда вы? — спросил капитан.

— Он знает за что, — махнул головой Володька. — Я приехал из соседней части... У вас убита моя подруга... школьная, — еще не отдышавшись, глухо произнес он.

— Ваша должность?

— Командир разведвзвода.

— Понятно... — протянул капитан. — Били вы со знанием дела.

— Он, гад, за пистолет схватился... Пришлось.

— Что ж, будет тебе штрафной, — вроде с сочувствием сказал капитан, отпуская Володькин локоть. — Не убежишь?

— Зачем? — пожал плечами Володька. — А штрафной будет, — примиренно пробормотал он. — Мне сейчас все равно, где подыхать, капитан. Разведвзвод, сам знаешь, не курорт.

Володьку отвели на полковую «губу» — сырую маленькую землянку, сняли ремни и передали двум часовым... Ну а дальше, как в тумане. Приезжал начштаба Чирков хлопотать за Володьку, стараясь спасти его от трибунала, но ничего не вышло — майор лежал в госпитале в тяжелом состоянии.

Валяясь в вонючей землянке, безостановочно куря махру, которой снабжали его часовые, в тупом безразличии ждал он трибунала — будь что будет... На войне мож-

но несколько месяцев находиться на передке даже не поцарапанным, а можно и в глубоком тылу погибнуть от самолетной бомбежки или нарваться на пропущенную саперами мину, можно и в штрафном отделаться легким ранением, искупить кровью. Поэтому Володька не сожалел о содеянном и вспоминал с каким-то странным сладострастием, как бил он майора, мстя за Юльку... Обидно было только, что, если останется живым в штрафном, не попадет уже в свой батальон, к своим ребятам.

...Закончив рассказ, Володька долго молчал... Виктор налил ему еще водки.

— Понимаешь, после этого я не мог писать Тоне... Все время перед глазами стояла Юлькина могила, этот рыжий холмик...— тихо сказал Володька.

— Да, конечно...

Они еще немного посидели... Недалеко от их столика опять назревал какой-то скандал, и опять суетились официанты, ругаясь и бормоча, что ни одного вечера нет покоя... Публика фронтовая, нервишки потрепаны. Особенно пехотные офицеры, чудом в живых оставшиеся и более других на войне хватившие, те с ходу за пистолеты, чуть что не по ним. Понять все это можно, тем более что как ни скрытно отправлялись эшелоны на восток, но знали об этом. Знали, что впереди еще война, а какая она будет, неизвестно,— малая или большая? Да и на малой все равно убивают...

Юлькин дом находился всего в одном квартале от Володькиного, но шел он это близкое расстояние довольно долго, все время помня предупреждение матери не проговориться, что Юлька пошла в армию добровольно. Честно говоря, был бы рад, не застав Юлькиных родителей дома, представляя ясно, что его ждет. Он не сразу решил позвонить и долго топтался у знакомой двери, пока не искурил целую папиросу... Открыла ему Юлькина мать.

— Володя...— тихо произнесла она.— Мы давно ждем вас. Проходите.

Он вошел в комнату. Сильно постаревший Юлькин отец поднялся ему навстречу и обнял. Потом его усадили за стол и начался тихий, печальный разговор, от которого у Володьки ломило грудь. В этой комнате весь воздух был

пронизан негромким, без слез и рыданий горем. Так же, как и в мае сорок второго при проводах Юльки, ее отец дрожавшей рукой разлил водку, и так же, как и тогда, горлышко бутылки билось о края рюмок и дробное, тоскливое дребезжание царапало душу — они поминали Юльку...

Ее родители не могли сейчас поехать на могилу дочери. Еще не давали отпусков, и они просили Володьку проводить их, когда это станет возможным, без него ведь не найти им. Володька обещал, хотя сам был не очень уверен, отыщет ли тот небольшой холмик: прошло два года, время могло стереть его с лица земли, а запомнившиеся ориентиры — сосна слева, большой сарай сзади — исчезнуть.

Володька сидел за столом, пил жидковатый чай, думая о том, что эта встреча оказалась не такой уж тяжелой и страшной, как ему думалось. Было горе, но с ним уже смирились. От этого оно не стало меньшим, оно было велико, но примиренность, тихость его как-то успокаивающе подействовали на него. Он-то, зная, как погибла Юлька, до сих пор не мог смириться с ее смертью. Был виновник, которого, попадись он и сейчас ему на глаза, Володька жестоко наказал бы, как и в тот осенний день сорок третьего.

Получив пенсию, Володька шел по Сретенке, как всегда поглядывая по сторонам — вдруг встретит кого-то. Проходя мимо Селиверстова переулка, решил зайти в бар, отметить получение пенсии парой кружек пива. Большого он позволить себе не мог — еще не выкуплен паек по карточкам.

В знакомом баре около камина в углу сидел безногий инвалид с аккордеоном и что-то наигрывал. Стоял кислотоватый запах пива, над каждым столиком вились дымки, сквозь которые Володька не сразу разглядел сидящую в глубине зала девушку в военной форме и тоже не сразу узнал в ней Лелю, о которой говорила ему Майка и к которой он так и не собрался зайти. Она действительно сильно изменилась, была очень худа, а ярко накрашенные губы только подчеркивали бледность ее лица. Леля сидела одна с папироской в зубах, на столике перед ней стояли пустая стопка и недопитая кружка пива. Володька подошел:

— К тебе можно, Леля?

Она резко подняла голову, почему-то покраснела и натянуто улыбнулась.

— Володька... Очень рада. Садись, конечно,— сказала она хриловатым голосом.— Кто-то из девочек говорил, что видели тебя.

Пожимая протянутую Лелей руку, он ощутил, как жестковата и неухоженна она.

— Заказать еще? — спросил Володька, садясь за столик.

— Что же, закажи... Ради встречи.

Пришлось заказать и себе, а это сразу опустошило его карман на восемьдесят рублей. Ладно, подумал он, столько лет не видались...

— Как ты меня узнал? Я здорово изменилась,— сказала Леля.

— Ничего ты не изменилась,— соврал он.— Узнал сразу.

— Врешь, Володька. Сама знаю...

Тут официант принес заказанное, Леля подняла стопку:

— Ну, давай за встречу.

— Давай,— поднял свою и Володька.

Она привычно, по-мужски резко чокнулась, так же по-мужски лихо опрокинула стопку. Закусывать было нечем. Они запили пивом, а потом задымили.

— Я в начале сорок второго в армию пошла. Сперва зенитчицей в Москве служила, а потом...— она взмахнула рукой,— на фронт. Да чего болтать, сам все знаешь... У меня ребенок, Володька.

— Слышал...

— Осуждаешь?

— Нет, Леля,— ответил он не задумавшись правду.

— Любовь, да еще необыкновенная,— горько усмехнулась она, а потом рассмеялась, пропев: — «Обещал он, конечно, жениться, оказался же сам при жене». Все ясно?

— Ясно.

— Институт, разумеется, к черту! В кассирши подалась,— она отхлебнула пива, задумалась.— А помнишь, как меня в школе дразнили?

— Лелька-интеллигентка,— улыбнулся Володька.

— И вот в кассиршах буду вместо университета,— она опять усмехнулась.

— Поступи на заочный,— предложил он.

— Куда там! Времени и так не хватает... Проживу и без университета. Не до жиру сейчас, как говорится, быть бы живу.

— Это так,— согласился Володька.

Они долго молчали... Володька не знал, что сказать, а ей, видимо, вообще говорить больше не хотелось.

— Мальчик у тебя или девочка? — наконец спросил он, чтоб разрядить неловкую паузу.

— Парень... К счастью. Вам, мужикам, жить легче.

— Наверно... Хотя я что-то совсем не представляю своего будущего. Безразличие какое-то...

— Устали мы, Володька, на войне. Мне тоже как-то все равно. Помнишь, на фронте говорили — будь что будет? Сейчас я тоже — будь что будет...— она затянулась папиросой.— Мужика мне, конечно, не найти. Видишь, какой выдрой стала. Да и ребенок к тому же...— глотнула пива, потом задумчиво сказала: — Теперь иногда думаешь, может, зря так туда рвалась? Мужики, мат, смерть...

— Была же любовь, Леля,— попытался Володька смягчить ее воспоминания.

— Ты же знаешь, какая там любовь? Временная... Обреченная с самого начала. Так и получилось,— она медленно допила пиво, задумалась, потом подняла голову.— У меня такое ощущение, Володька, что подхватила нас в сорок первом какая-то огромная волна и понесла... И должны мы были обязательно доплыть до далекого берега и плыли, поддерживая друг друга, сцепившись руками... И вот доплыли, расцепили руки, и каждый в свою сторону,— она немного помолчала.— Надо, конечно, опять плыть куда-то, а сил уже нет, да и желания...— Леля бросила докуренную папиросу, достала другую, снова закурила и уставилась отрешенным взглядом в мутное окно.

— Что-то вроде того... Это ты верно, Леля.— Володька тоже задумался.

Она поднялась, одернула гимнастерку и короткую юбку. Он бросил взгляд на ее длинные ноги, обутые в тяжелые кирзовые сапоги.

— Пока, Володька. Спасибо за угощение... Кого из наших встретишь, особо обо мне не распространяйся. Хорошо?

— Разумеется, Леля.

— Это я перед тобой что-то разоткровенничалась, а

другим — «все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо». Ну, бывай,— закончила она мужицким фронтовым словечком и, крепко пожав ему руку, пошла из бара.

Володька посидел еще немного... Ему вспомнилась тоненькая длинноногая девочка с точеным породистым личиком, какой была Леля в школе... Нет, подумал он, война, конечно, не для девчонок, недаром ему всегда было нестерпимо жалко их — в нескладных шинелях, в кирзачах чуть ли не сорокового размера среди загрубелого фронтового люда...

Инвалиду с аккордеоном либо подносили пива, либо давали деньги, заказывая сыграть что-то любимое... Володьке захотелось вспомнить немудреную песенку о девушке в серой шинели, и он подошел к безногому, спросил, знает ли тот ее. Тот кивнул и сразу стал вспоминать мотив... Володька пошел за пивом, принес кружку, а по залу уже разносилось: «И пошла ты прямо, не сутулясь, со всеми равно смелая в бою, не посмела вражеская пуля посягнуть на молодость твою...» И дальше: «...девушка в шинели не по росту, ты товарищ-друг мой боевой...» Инвалида поддержали, стал подпевать и Володька, но к горлу что-то подкатывало, и он перестал. Вернувшись к столу, он сел и вдруг, как никогда до этого, его пронзило: Юльки нет и не будет! И наверно, всю жизнь ему будет не хватать ее, ее любви, ее преданности, наивности, ее чистоты... Всю жизнь! И Юлькины слова: «Володька, вот окончится война, и вокруг тебя будет много разных девчонок, но тебе они будут неинтересны, тебе просто не о чем будет с ними говорить, а у нас с тобой будет великое, незабываемое — война...» — как живые прозвенели в этом прокуренном, наполненном хриплым разноголосьем и стонами трофейного аккордеона зальчике пивного бара.

Володька закрыл лицо руками.

— Что-то от Сережи давно нет писем,— сказала мать.— Ты бы позвонил ему. Возможно, он уже вернулся?

С Сергеем Володька почти не переписывался. Ксении же Николаевне Сергей писал регулярно, и друг о друге они узнавали от нее.

И Володька позвонил.

— Ну, сэр, у тебя дьявольская интуиция, я ведь только что ввалился и вот-вот хотел звонить тебе. Приходи немедленно. Кстати, сейчас должен зайти Левка Тальян-

цев — случайно ехали в одном вагоне, — голос Сергея был радостен и бодр.

— Сейчас приду, — коротко ответил Володька.

У дверей квартиры Сергея он недолго постоял, потом, улыбнувшись, позвонил: два длинных, один короткий — их условные еще с юности звонки. Сергей открыл сразу. Он прекрасно выглядел в новом добротном обмундировании. К «Звездочке», полученной на финской, прибавилась еще одна и медаль «За боевые заслуги». Они обнялись... Взгляд Сергея, брошенный на безжизненную Володькину руку, был сочувственный, но никаких жалостных слов он не сказал.

— Пошли в комнату, Левка уже у меня.

С Тальянцевым Володька не виделся с тридцать девятого, а до этого их компания часто собиралась у него, потому что Левкин отец бывал в постоянных командировках, мать где-то дежурила и вечерами комната была свободной... Помнил Володька, как перед армией распивали они необычный ликер «Арктика» с горкой льда внутри бутылки.

Тальянцева он узнал с трудом. Перед ним стоял перетянутый ремнями майор с боевыми наградами на груди. Ордена Красного Знамени и Кутузова — награды очень высокие — сразу бросились в глаза. Левкино лицо приобрело значительность и некоторую надменность. Он как-то снисходительно похлопал Володьку по спине и вроде бы шуточно, но со скрытым довольством в голосе представился:

— Командир отдельного саперного батальона майор Тальянцев к вашим услугам.

— Дает... — иронически улыбнулся Сергей. — Всех переплюнул! Володька до старшего только дотянул, я в лейтенантах хожу, а тут майор! Командир отдельной части! По стойке «смирно» так и хочется встать.

— Бросьте, ребята! Обыкновенно все получилось, я же войну лейтенантом начал. Взвод, рота, ну и батальон — нормальное продвижение по службе, — с не совсем искренней скромностью произнес Тальянцев: дескать, конечно, обыкновенно, но не у всех так вышло, и такие награды тоже не все заработали.

— Ты демобилизуешься? — спросил Володька.

— Что ты? Я же кадровый, в армии до конца дней... Видимо, в академию направят. А сейчас в командировке. Вот жену демобилизовал, она у меня военврачом в ба-

тальоне была... Знаете, ребята, странно как-то, только двадцать шесть стукнуло, а чувствую себя... ну, не старым, конечно, а...

— Созревшим начальником,— перебил Сергей, усмехнувшись.

— При чем начальством? Не подковыривай. А человеком созревшим, что ли. Ведь полутора тысячами командовал — не шутка. Понимаете, ответственность какая?

— Понимаю,— сказал Володька.

Тальянцев солидно помолчал, сел, достал пачку «Казбека», просунул друзьям.

— Спраздновать бы встречу, но мне...— посмотрел на трофейные швейцарские часы,— через час в наркомат. Очень рад, что вас повидал.

Какой-то холодок и натянутость были в этой встрече. Не мог Тальянцев скрыть до конца чувство превосходства перед школьными товарищами, и, когда он распрощался и ушел, Володька облегченно вздохнул, сказав:

— Ну и важен стал... Странно, чем это он отличился, в школе не блистал.

— Службист по натуре,— небрежно бросил Сергей.

— Не без этого... Но все же хорошо, что встретились, ничего не напишешь — прошлое, юность.

— Да...— задумчиво протянул Сергей,— у нас уже есть прошлое. Даже немного грустно.

— Деев без ноги. По самое бедро,— сообщил Володька.

— Очень печально...— Сергей затаился папиросой.— У меня два случая было, когда загнуться мог. Один — при сильной бомбежке, второй — немцы к штабу прорвались, пришлось круговую оборону организовывать и отстреливаться. Кстати, за это вторая «Звездочка». А вообще-то везло.

— Штаб полка — не передок,— заметил Володька.

— Я и не сравниваю. Знаешь, когда я в военкомат пришел, мне сразу предложили на курсы военных переводчиков. Отказываться было глупо, и ты понимаешь почему — получу звание, денежное довольствие и возможность помогать отцу.

— Понятно... Как отец?

— Болен... Не знаю, дотянет ли до конца.— Сергей помрачнел, но быстро взял себя в руки и продолжал обычным бодрым голосом: — Еле удалось демобилизоваться. Начштаба хорошим мужиком оказался, ну и оско-

лок в ногу помог. Мне, Володька, и года нельзя терять, и так потеряна уйма времени...— он помолчал немного, потом спросил: — Как ты думаешь, изменится что-нибудь после войны? — лицо стало напряженным.

— Как-то не задумывался об этом, Сергей.

— Я надеюсь... И очень,— вздохнул он.— Должно же быть...

Надюха выписалась из больницы и позвонила Володьке.

— Заходи, лейтенантик, поговорить надо,— пригласила она.

Володька пошел на Домниковку... В комнате Надюхи уже был накрыт стол, блестели жестянки консервных банок, на блюде лежал нарезанный большими ломтями хлеб, на тарелке белел кусок сала, ну и четвертинка стояла.

— Присаживайся... Что-то осунулся ты, бледненький стал,— оглядела она Володьку.— Не хватает еды?

— Не хватает,— признался он.

— Давай угощайся...— и подвинула ему тарелку.

— Как здоровье, Надя?

— Вроде подлечили. Через три дня на работу выхожу... Вот что я думаю: Гошка сейчас работает, занят цельный день, давай без него с талонами провертывать? Как ты на это?

— Не знаю,— пожал он плечами.— Я торговать, Надюха, не умею.

— И про это думала. Егорыча подключим,— деловито сказала она.

— Тогда пожалуй...— не очень уверенно согласился Володька.

— Со мной делиться не надо. Мы с Гошей хорошо живем. Это для тебя я...

— Ну что ты, Надюха! Неудобно мне...

— Неудобно портки через голову надевать. Брось ты! Нету у тебя хватки, как у Гошки, а сейчас жизнь такая... Это тебе не «ура» кричать да в атаку людей поднимать. Теперь вертеться надо уметь, а ты не умеешь. Ну, Володька,— подняла она рюмку,— за наши успехи.

После второй рюмки ослабевшая после болезни Надюха захмелела, глаза замутнились, по лицу блуждала какая-то странная улыбка.

— Не забыл, как целовались мы у Егорыча? — вдруг спросила она.

— Помню...

— Повторить не хочешь? — засмеялась Надюха.

— Девушка друга — святыня, — шутливо ответил он, вспомнив выдуманный Сергеем еще в юности афоризм, когда они опасались, что влюбятся в одну и ту же девочку.

— Святыня, говоришь? — задумчиво повторила она. — Только я не Гошина, хоть и расписались мы с ним. Подвернулся он, выбрать не из кого.

— Значит, ты не любишь его?

— Любишь, не любишь... Какая теперь разница. Есть мужик, и слава богу, что не одна... Глупенький ты еще, — она провела ладонью по его лицу. — Вопросы задаешь — любишь, не любишь? Слово только по любви люди живут. Разве по-другому не бывает?

— Бывает, наверное...

Надюха опять коснулась рукой его щеки и потрепала, как маленького, как раз в этот миг неожиданно ввалился Гошка. Остановился и мутными глазами, в которых таилась угроза, уставился на них.

— Милуетесь, значит? — процедил он.

— Здорово, — сказал Володька, поднимаясь со стула.

— Здорово, но не здорово... Свиданку без меня устроили? Понятно.

— Чего тебе понятно? Иди-ка спать. Лыка не вяжешь, — грубовато оборвала его Надюха.

Гоша подошел к столу и уперся взглядом в Володьку.

— Я же предупреждал, командир... Пусть я тебе и жизнью обязан, но не вздумай с Надюхой путаться. Дракой дело не кончится, тут кровушкой пахнуть будет, — он взял со стола початую четвертинку и прямо из горлышка влил в себя.

— Дурак ты, Гошка! — прикрикнул Володька. — Забыл, что ли, слово тебе давал? Иди проспись. Кровушкой меня не испугаешь.

— Не испугаю? — ухмыльнулся Гошка. — А это видел? — и в его раскрытой ладони оказалась знакомая Володьке финка с красивой наборной ручкой.

— Сам знаешь — видел, — спокойно сказал Володька. — Если бы кто другой меня на такой понт брал, врезал бы, — и опустил на стул.

— Врезал бы? — вдруг засмеялся Гошка. — Другому

врезал бы, а мне не хочешь? Любишь, значит, Гошку? — переменял он тон.

— Знаешь же... Брось, Гошка, эти замашки свои. Убери финку,— добавил Володька тихо, не приказным голосом.

— Ладно, командир, это я сдуру,— примирительно сказал Гоша и спрятал финку.— Дай пять.

— Держи,— протянул руку Володька.

Когда Гоша окончательно успокоился, Надюха рассказала ему о своем предложении Володьке.

— Валяй,— сказал Гошка.

И Володька начал «валять»... Снова на столе у Канаевых появились буханки хлеба, консервы, купленные в коммерческом, масло, сахар, чай, иногда и мясо с рынка, а в Володькиных карманах шелестели мятые червонцы... Но опять надо было придумывать для матери какое-то объяснение, и Володька долго ломал голову, что бы изобрести вразумительное. Кроме займа денег у Сергея, он ничего не придумал, но того надо было предупредить, и они встретились у Ботанического сада — место, приблизительно одинаково удаленное от их домов. Прошли в сад, всколыхнувший в обоих детские воспоминания: оказывается, водили их матери сюда в одни и те же годы, когда им было по пять-шесть лет.

Ботанический, огромный для них тогда, представился сейчас очень маленьким. Аллейка, казавшаяся бесконечной, всего-то тянулась метров на триста. Там в теньке они и присели на скамейку.

— Значит, так, Сергей... Ты дал мне взаймы тысячи три. Для моей матери. Понимаешь? — начал Володька.

— Не совсем...

Володька рассказал о своих «делах» с Надюхой и Егорычем, закончив словами, что ему, конечно, очень противно заниматься этими махинациями, но что делать?

— Подумаешь, какие махинации? — усмехнулся Сергей.— Вы, сэр, забудьте о той святой и прочее русской литературе, на которой мы имели счастье быть воспитанными. Это в тихих дворянских усадьбах хорошо было рассуждать о нравственности, честности, высокой и чистой любви. Прошла кровавая война. Жизнь тяжелая и еще долго будет такой. А кто-то разбогател, кто-то

устроился, как всегда бывает при всех войнах. Сантименты надо отбросить, Володька.

— Мой Гошка говорил, что в такое время все тянутся к хлеборезке.

— Твой Гошка не дурак,— рассмеялся Сергей.— Ты его слушай. У тебя же ни черта нет практической жилки, а время действительно не такое, чтобы витать в эмпиреях.— Сергей помолчал немного, потом спросил: — Что у тебя с институтом?

— Не знаю еще, куда перевестись из архитектурного. Придется в гуманитарный какой-нибудь. В технических черчение... А вообще-то, если откровенно, никуда мне не хочется,— вздохнул он.

— Как это так? — удивился Сергей.

— Мне кажется, Сергей, что главное я в своей жизни сделал, а остальное все не то уже. Остальное несущественно...

— Это вы загнули, сэр! Самое главное и самое интересное в нашей жизни только начинается. Появилась возможность показать, каков ты есть и на что способен,— горячо сказал Сергей.— Война — это пропавшее время. От человека требовалось лишь одно — воевать! И никому не нужен он был как личность.

— Наверно, не совсем так, Сергей,— заметил Володька.

— Именно так! У нас засохли мозги, мы не прочли не единой книги, мы интеллектуально отстали на пять лет. Это главное в жизни, а не ползать на брюхе под пулями.

— Ты и не ползал.

— Не ползал в эту, ползал в финскую,— обрезал он Володьку.

— Ты просто не так устал, Сергей...

— Возможно. Но это пройдет. Нам же всего по двадцать пять и уже двадцать пять. Для науки, которой я собираюсь заниматься, это много. Придется наверстывать бешеными темпами.— Сергей говорил убежденно, резко, уверенный в своей правоте.— Понимаешь,— продолжал он,— мы должны доказать и себе и другим, что способны на большое. Может, черт побери, и на великое!

— Мне что-то ничего не хочется доказывать,— вяло произнес Володька, завертывая самокрутку.

Сергей внимательно посмотрел на него:

— Мда... Прости, у тебя все сложнее. Ушел архитектурный... и с ним многое, о чем мечтал...

— Ни о чем я особо не мечтал,— протянул Володька безразлично.

— Как же?! А твои проекты загородного ресторана? Я помню.

— Это было мальчишество, Сергей.

— Но тебе же хотелось создать что-то оригинальное? Мы же с тобой не обычные люди, Володька!

— Ну, хотелось... Когда это только было? А насчет неординарности не знаю... Я в армии стремился как раз быть, как все, так было лучше.

— Слушай, Володька, а как твои дела с Тоней? — в глазах Сергея мелькнула догадка.

— Она в Германии... С отцом...

— Понятно... Из наших видел кого-нибудь?

— Майку... И Лелю, помнишь?

— Ну как тебе Майка? — живо спросил Сергей.— Правда, шикарная женщина?

— Да... Она красивая.

— Обязательно позвонить надо. Я говорил тебе, что у нас в сорок втором была мимолетная, так сказать, встреча. Очень приятная, кстати.

— Приятная? — переспросил Володька, и что-то кольнуло, он вспомнил Майкин вопрос: не говорил ли чего Сергей про нее?

— Очень. Чему ты удивляешься? У нее старый муж, и вообще она человек свободных взглядов.

— У тебя же Люба,— сказал Володька.

— Ну, ты действительно увяз в девятнадцатом веке,— он засмеялся, хлопнул Володьку по плечу.— Проснитесь, сэр!

— Ладно, пойду я...— поднялся Володька, ему неприятен был этот разговор, и он холодно глянул на Сергея.

Что это, ревность? — думал он, возвращаясь домой. Нет, конечно, просто какое-то разочарование в Майке. Ведь то, что было у них, Володька объяснял ее прошлой влюбленностью в него. Он вообще думал, что у женщин все может быть только по любви. Мужчины — дело другое... Правда, в Иванове чуть пошатнулась в нем эта наивная вера, но он отмахнулся — шла еще война.

— Мама,— начал он разговор в один из вечеров,— тебе не кажется, что все то, чем мы с тобой жили,— одно, а настоящая действительность — совсем другое?

— С чего это у тебя вдруг? — спросила мать, кинув внимательный взгляд на Володьку.

— Начал размышлять... Знаешь, вроде бы шесть лет армии, из них три года войны, должны были что-то значить, а оказалось, что у меня нет никакого жизненного опыта. Я научился лишь воевать, понимать и дружить с теми, кто рядом, ну а в остальном остался, наверное, таким же мальчишкой.

— Меня это не очень огорчает, Володя, — улыбнулась мать.

— Но я же ни черта не смыслю в том, что вокруг меня!

— Что именно? — спросила она спокойно.

— Ничего не понимаю!

— Володя, после войны жизнь всегда сложна. После окончания гражданской и военного коммунизма для многих был непонятен нэп. Жизнь сразу наладилась, откуда-то появилась масса товаров, но появились огромные деньги у одних и весьма скромный заработок у других... Сейчас, конечно, все иначе, но какие-то нечестные люди умудрились нажиться на трудностях и несчастьях других. И что из этого? При чем здесь «придуманные мифы»? Порядочность всегда останется порядочностью, а не...

— Опять ты за свое, — перебил Володька. — Порядочность, непорядочность. Это чересчур прямолинейно. Жизнь не укладывается в эти два понятия.

— Ты так решил? — она посмотрела на него. — Объясни тогда.

— Чего объяснять? Жизнь каждый день подчеркивает относительность всего этого, — махнул рукой он.

— Нет, дорогой, человечество дорого заплатило и еще дорого заплатит за то, что сочло абсолютные истины за относительные, — сказала мать убежденно.

— Ты веришь в абсолютные истины?

— Без них нельзя жить, Володя.

— А «не убий»? И война? Нет, мама, ты не права, — он поднялся и стал ходить по комнате, громяхая сапогами, потом остановился. — Понимаешь, мама, во время войны у каждого был смысл жизни — победить. А сейчас?

— Жить честно, — спокойно сказала мать.

— Опять — честно, нечестно! Честно я не мог сходить даже в ресторан, чтобы отпраздновать возвращение. Ходил на чужой счет — то угощал Деев, то Гошка...

— Кто этот Гошка?

— Мой бывший разведчик. Разве я не говорил тебе о нем?

— Нет... Володя...— она помолчала, словно колеблясь.— Ты что, действительно взял займы у Сережи и на эти деньги мы так шикуем?

— Спроси у него,— стараясь придать уверенность голосу, ответил Володька.

— Я и спрошу,— не сразу сказала она.— Хотя, конечно, вы уже сговорились.

Володька ушел в свою комнату с неприятным ощущением, какое всегда бывает после вынужденного вранья. Кроме того, слова матери если не убедили его окончательно, то дали толчок к мыслям тоже нелегким. И тут позвонила Майя.

— Как поживаешь, Володька? — спросила она небрежно.

— Так себе...— пробурчал он.

— Смотрю, у тебя неважное настроение?

— Вроде... Знаешь, Майка, я, как вернулся в Москву, начал делать что-то не то...

— К этому «не то» отношусь и я? — шутливо осведомилась Майка.

— В какой-то мере,— ляпнул он прямо.— Потому что это один из целого ряда непорядочных поступков, мною совершенных.

— Боже, как длинно и непонятно! — воскликнула она.— Неужели ты надеешься прожить, всегда поступая порядочно?! Это смешно, Володька! Господи, насколько же я старше тебя! Надо ведь вернуться с войны таким невинным агнцем,— она рассмеялась.

— Не такой уж я невинный,— угрюмо сказал Володька.— Просто в войну всегда делал то, что надо. А сейчас делаю не то...

— Я как-то не замечала, что ты страдаешь рефлексией. Что ж, позанимайся этим, только не слишком всерьез. Я больше не буду тебе звонить, а то получилось — связался черт с младенцем. Не хочу быть этим самым чертом... Но, когда будет плохо, звони,— она резко повесила трубку.

Володька, вспомнив про разговор с Сергеем, набрал Майкин номер:

— Мы не закончили разговор, Майя.

— Разве?

— Что у тебя было с Сергеем? — спросил он в упор.

— Вот в чем дело? — протянула она. — Что он тебе рассказал?

— Что очень приятно провел с тобой время.

— Если ему было приятно, при чем здесь я? Никаких приятностей я ему не доставляла. Посидели в «Коктейле», вот и все.

— Правда, Майка? — произнес он с облегчением.

— Я не врушка. Ну, теперь все? — и, не дожидаясь ответа, повесила трубку, но уже не так резко.

— Привет, сэр! — окликнул его Сергей около букинистического магазина, находящегося вблизи Сретенских ворот. — Почему не звонишь?

— Так...

На самом же деле Володька был обозлен на Сергея за намеки насчет Майки, и ему не хотелось встречаться с ним. Но сейчас, когда он взглянул на него, у Володьки сжалось сердце — Сергей плохо выглядел, ничего не осталось от того бравого, самоуверенного вида, с которым он встретил Володьку у себя дома. В руках был вузовский учебник по медицине.

— Зачем тебе это? — Володька показал на книгу.

— Пойду в медицинский...

— А химфак?

— Ты газеты читаешь? Чудеса — дезертиры, эти гады, которые воевать не хотели, амнистированы, а... — он замолчал.

— Ну, знаешь, многих же зазря посадили под горячую руку: и от эшелонов отставших, и случайно от части отбившихся, ну и прочих, — заметил Володька.

— Тех — понятно. Но ведь и настоящих дезертиров амнистировали, — Сергей взял Володьку под руку. — Пойдем посидим где-нибудь... Так вот, Володька, не будет мне на химический хода, понимаешь, там все сложнее. Ну а с медициной полегче. Тебе ясно все?

Володька кивнул.

— Попробуем сделать что-нибудь настоящее на этом поприще, — он улыбнулся и сжал Володькин локоть.

Они прошлись до бульварного кольца и присели в скверике.

— Ты не находишь, что в этой войне было... ну, нечто трагическое? — начал Сергей.

— Ты говоришь о тех пяти-шести миллионах наших потерь?

— И о них, конечно. Но не о пяти-шести, их было гораздо больше, Володька.

— Думаешь?

— Предполагаю...— он вытащил папиросы, закурил.— Мда... странный мы народ — русские... Все для будущего,— повторил Сергей то, о чем часто твердил в сорок втором, и задумался.

— Война — всегда трагедия, Сергей,— сказал Володька.

— Разумеется,— согласился тот, не сразу, видимо, отключившись от своих мыслей.

— Лейтенант...— вдруг услышал Володька знакомый голос и, подняв глаза, увидел того типа, которого ударил около «деревяшки». — Опохмелиться дай,— без просительных ноток сказал тот.

Он стоял перед Володькой в каких-то рваных брюках — «сменке», обутый в галоши, обвязанные веревками, чтобы не сваливались, с бледным, землистым лицом, на котором блуждала ухмылка.

— Это что за явление? — вскинул голову Сергей.— А ну марш!

— Погоди,— остановил его Володька.

— Дай тридцатку, червонец у меня есть. Как раз на стопку получится,— повторил тот.

— Хорошо, дам. Если скажешь, где я тобой командовал. На каком фронте, в каком месте, в какой части?

— Ух ты, сколько вопросов. А если не скажу?

— Не дам,— отрезал Володька.

— А ты, лейтенант, не вспомнил разве меня?

— Нет.

— Ладно, скажу... Готовь монету.

Володька вынул из кармана тридцатку и держал ее, красненькую, в руке.

— Дивизию я не упомянул, а вот про место, где гнал ты нас на убой, скажу...

— Говори! — нетерпеливо кинул Володька.

— Скажу...— и поглядел на Володьку угрюмо, с угрозой.— В сорок втором это было...

Володька вздрогнул, и тот, заметив это, злобно усмехнулся.

— ...на Калининском...

— Не тяни, гад! — не выдержал Володька.

— Подо Ржевом...— выдавил тот и увидел по Володькиному лицу, что бьет не мимо.

— Под какой деревней? — опять не сдержался Володька.

— Тебе и деревню сказать? Давай тридцатку, скажу и про деревню, ежели не забыл. Напомню, все напомню. Давай.

Володька протянул руку, и тот вырвал из его пальцев красненькую, быстро сунул ее в карман.

— Ну вот, на опохмелку есть, — засмеялся. — А если теперь не скажу? Что тогда, лейтенант?

— Изувечу до полусмерти, — процедил Володька, поднимаясь со скамейки.

— Не выйдет! — крикнул тот и бросился бежать, но у него сразу же сорвалась с ноги галоша, и он остановился.

Володька подскочил к нему, схватил за грудки и прохрипел:

— Ну, говори!

— Под Кокошкином это было, — сказал тот. — Вспомнил теперь?

— Не был я под Кокошкином... Рядом был, но не там, — сразу успокоился Володька и отпустил. — Иди.

— Неужто не ты был? — удивился тот. — А ведь похож, такой же соплячок... Знал бы, как меня тогда изувечило, понял бы. Ну, ладно... — он стал надевать галошу, обвязывать ее веревками.

Володька вернулся к Сергею, тяжело дыша.

— Очень занятно, — пробурчал Сергей. — Надо было сразу гнать в шею. Закуривай и успокойся, — он дал Володьке папиросу и спички.

Володька откинулся на спинку скамейки и облегченно вздохнул.

— А если бы ты был под Кокошкином? — спросил Сергей. — Что тогда?

— Не знаю... — пробормотал. — Не знаю...

— Ну, ладно, инцидент, как говорится, исчерпан, — сказал Сергей. — Что ты думаешь о войне на востоке?

— Чего думать? Выиграем.

— Несомненно. К тому же американцы такой сюрприз выдали, — Сергей ждал продолжения разговора, глядя на Володьку, но тот был занят своими мыслями, промышал что-то, поднялся. — Ты вообще понимаешь, что это значит? — спросил Сергей. — Это же...

— Да, понимаю, — прервал его Володька. — Для меня самое важное, чтоб наших меньше побил... Ну, пошли?

— Нет, ни черта ты не понимаешь! — возмутился Сергей. — Они же такую дубинку нам показали!

— Ну и что? Скоро и у нас будет. Звони, Сергей, — он протянул ему руку.

— Будет, но сколько потребуется сил, средств. Нам хозяйство восстанавливать надо, а тут придется... — он взмахнул рукой и уставился на Володьку.

Тот пожал плечами и протянул руку — он как-то еще не мог вникнуть в сказанное Сергеем. Это после Володька задумается всерьез о том страшном, что вошло в мир с атомной бомбой.

Дома Володьку ждал Витька-бульдог в новенькой форме, при медалях, очень возмужавший. Он вскочил, бросился к Володьке с объятиями. Не было уже в нем прежней застенчивости и почтительности к старшему по возрасту, как при встрече в сорок втором.

— Отпустили меня, Володь... Прямо из госпиталя. Дали отпуск на три месяца, но, конечно, демобилизуют. Так что отвоевались мы. С победой, Володь!

— С победой, — улыбнулся Володька. — А что с Шуркой?

— Живой он, Володь! Мы всю войну с ним переписывались... Ты видишь, сержант я. Училище-то не дали закончить, через три месяца сержантами на фронт отправили. А Шурка — старший лейтенант. Наверно, в армии останется.

— Ну а ты куда?

— Как куда? На завод. Я уже заходил к ребятам. Все новые, конечно, но мастер тот же, обрадовался мне. Поработаем теперь, Витек! Слушай, Володь, а как здорово, что больше над нами ни самолетов, ни снарядов, ни мин, ни пуль... Считай, словно заново родились и впереди вся жизнь.

— Витя, пока еще трудно будет жить, — сказала Володькина мать.

— Чего трудного-то? — даже удивился Витька. — Ну, голодно-малость, так нам к этому не привыкать. Правда, Володь?

— Конечно, — еще раз улыбнулся Володька, глядя на загорелого крепкого Витьку, прозванного Бульдогом, а если по-ласковому — Бульдожкой за курносый нос, большой рот и выдвинутую нижнюю челюсть.

— Надо сетку волейбольную раздобыть, повесить

и опять, как раньше...— он споткнулся, замолк, скользнув взглядом по Володькиной руке.

— О ком еще знаешь с нашего двора? — спросил Володька.

— Колька Кирюшин вернулся. Правая рука ранена, нерв поврежден, ну... а об остальных ты еще в сорок втором узнал... Опустел наш двор, конечно. Наверно, везде так...— погрустнел Витька.

Володькина мать принесла чайник и стала разливать чай...

Они помолчали недолго, потом Витька спросил:

— Ксения Николаевна, вы картошку-то посадили?

— Нет, Витя...

— А моя мать много посадила... Осенью тогда поделимся с вами.

— Спасибо, Витя.

— Я же работать через три месяца пойду, начну зарабатывать... Как ты, Володь, думаешь, скоро карточки отменят?

— Вот уж не знаю...— развел руками Володька.

— Как отменят, так и жизнь сразу наладится...— после небольшой паузы Витька опять вернулся к волейбольной сетке.— У кого-нибудь она хранится, наверно, надо разузнать.

— Не будет того волейбола, Витька, кому играть-то?

— Вернутся еще... Не может же быть, чтобы...— он умолк.

Володька понимал его желание возродить дворовый волейбол, вернуть ушедшее детство, от которого оторвала война — безжалостно и сразу, как и всех его сверстников.

— Я приехала,— сказала Тоня в телефонную трубку и, пока ошарашенный неожиданностью Володька собирался с мыслями, спросила: — Ты придешь?

— Конечно. Когда? Могу хоть сейчас.

— Приезжай сейчас,— спокойно согласилась она и повесила трубку.

И Володька помчался... Почти всю дорогу до Самотеки он бежал. Хотел было вскочить в подошедший как раз троллейбус, но, вспомнив, что шелестят у него в кармане денежки, бросился в коммерческий магазин и, растолкав очередь, схватил коробку шоколадных конфет за триста

рублей. Бесконечно долго и страшно медленно тянулся набитый людьми троллейбус, у него лопалось терпение, и от Зубовской он опять бежал с колотящимся сердцем, пока вдруг непонятная робость не сковала его. Он приостановился, закурил и уже шагом дошел до Тониного дома. У ее двери помедлил, ощущая сухость во рту и глупое волнение. Наконец, обозлившись на себя, резко нажал кнопку звонка и тотчас услышал дробь Тониных шажков.

Дверь открылась, и перед ним стояла Тоня — статная, с высоко поднятой головой, показавшаяся ему очень высокой, почти вровень с ним, какая-то другая. Не та, что в сорок втором. Повзрослевшая и похорошевшая. Она не бросилась к нему, как прежде, а стояла неподвижно, пристально глядя на него.

— Здравствуй, Володька,— наконец сказала она не холодно, но как-то бесстрастно.— Проходи.

Наверно, надо было подойти к ней, обнять после трех-летней разлуки, поцеловать, но Володьку что-то удержало: то ли какая-то напряженность в Тонином облике, то ли бесстрастность ее приветствия. И он прошел в коридор, потом в комнату, которая, несмотря на то, что в ней ничего не изменилось, показалась незнакомой и чужой.

— Садись,— предложила она.

Володька сел, торопливо достал мятую пачку, вырвал из нее зубами папироску и закурил. Тоня села напротив.

— Да, вот...— протянул он коробку конфет.

Она небрежно положила ее на стол и еще раз оглядела Володьку.

— Ну, рассказывай...

— О чем, Тоня?

— Обо всем... Начни с того, почему почти полгода не писал, а когда начал, то это были какие-то маловразумительные письма. Я ничего не могла понять,— она достала пачку американских сигарет и закурила.

— Ты стала курить? — удивился он.

— А что, не идет? — чуть улыбнулась она.

— Идет,— он посмотрел на нее.— Ты здорово изменилась. Даже не верится, что я с тобой целовался,— усмехнулся Володька, стараясь развязностью скрыть свое смущение.— Сейчас мне даже боязно к тебе подойти.

— И не надо,— спокойно ответила она.

— Почему?

— Так... Ну, рассказывай.

Но Володька медлил. Он не был готов отвечать на ее

вопросы, он не решил еще, говорить ли о штрафном — кто знает, как примет она такое? И вообще не думал, что встреча начнется с выяснения отношений.

— Я жду,— напомнила она.

— Тоня, ну зачем так сразу? Со временем я все тебе расскажу, но сейчас... Зачем?

— Нет, Володька, надо все сразу... Что-то ведь надломилось, я чувствую это.

— Может быть, мы просто отвыкли друг от друга? Ведь было всего пятнадцать дней и... три года.

— Да, всего пятнадцать дней,— задумчиво протянула она.— Но какие это были дни... Все же рассказывай, Володька,— попросила она.

— Ладно,— решил он,— не знаю, поймешь ли... Честное слово, я и сам не во всем разобрался... Понимаешь, я просто не мог писать тебе после того, что... что случилось с Юлькой...

— Это я понимаю.

— Ну а потом был... штрафной...

— Штрафной?! — воскликнула она, побледнев.— Из-за Юли?

— Да...— опустил он голову.

— Эх, Володька, Володька...— покачала она удрученно головой.— Ты опять ни о ком не подумал.

— Да, опять...— уныло согласился он, но потом поднял голову.— Я не мог тогда думать, Тоня. Не мог,— добавил уже окрепшим голосом.

— А когда ты мог думать о других? По-моему, никогда.

— Не надо, Тоня...— тяжело вздохнул он.

— Нет, надо,— жестко сказала она,— надо же когда-нибудь поставить точку над i.

— Не нужно никаких точек, Тоня.

Она посмотрела на него, затянулась сигаретой... Володьке вдруг захотелось подойти к ней, обнять, прижать к себе, сказать что-то нежное, хорошее, но ее отчужденность мешала ему.

— Ты знаешь, что я поняла, Володя,— начала она,— по-настоящему ты любил Юльку. Сейчас я еще больше понимаю это,— она поднялась, прошла по комнате, затем остановилась против него.— А я не могу так, Володька. Либо ты весь мой, либо ничего мне не надо.

— Юли нет... А я... я очень ждал твоего приезда.

— Ждал ли? — спросила она, странно взглянув на него вроде бы всезнающим взглядом.

Он весь напрягся — неужели о Майке? Да нет. Быть не может.

— Почему ты не писал из госпиталя?

— Я же не мог... рука...

— Матери ты писал... Эх, Володька, Володька,— повторила она.— Только ли Юля? — она достала вторую сигарету, закурила.

Он потупился. Что ни говори, как ни оправдывай себя тем, что Тоня и в Иванове и в Москве была для него такой далекой, почти нереальной, но ведь он виноват перед ней. Пусть это была не любовь, пусть никакого чувства не испытывал он ни к Клавье, ни к Майке, но были измены. И, если бы такое совершила Тоня, наверно, он не простил бы ей.

— Говори уж, Володька,— с грустной усмешкой сказала Тоня.

— Что говорить? — потянулся он к папиросам.

Тоня снова прошла по комнате, Володька молчал. Он не умел врать и знал, что, если начнет, Тоня, безусловно, увидит и поймет его вранье. А сказать правду? Нет, это невозможно! Он потеряет ее! Что же делать? Тоня продолжала ходить по комнате, и стук каблуков не давал ему сосредоточиться. Наконец она остановилась около него, положила руку ему на голову.

— Ладно...

Он схватил ее руку и прижал к лицу. Рука пахла какими-то незнакомыми духами. Она отняла руку и села.

— Что собираешься делать?

— Ты об институте? — обрадовался он смене темы.— Переведусь из архитектурного куда-нибудь.

— Бросишь наш институт?!

— Ты же видишь,— протянул он искалеченную руку.

— Научишься левой.

— Когда это будет? Я и пишу-то еще как курица лапой. Нет, переведусь.

— Выходит, ты...

Он перебил ее, сказав, что ничего «не выходит», а просто ему стал неинтересен архитектурный и что вообще он как-то не может задумываться о будущем, будь что будет... Она выслушала его внимательно и после недолгого молчания спросила:

— А сейчас что?

— Ничего... Шатаюсь по Москве. Иногда встречаю своих ребят...

— И это все?

— Что мне еще делать? — с некоторым вызовом буркнул он.

Тоня посмотрела на него и покачала головой.

— Что-то случилось с тобой, Володька... Да, случилось,— задумчиво сказала она, не отводя от него взгляда.

В коридоре зазвонил телефон, и Тоня вышла. Володьке был слышен разговор, хотя он и не очень прислушивался.

— Нет, сегодня не могу,— говорила Тоня.— Завтра? Тоже не знаю. Нет, почему же? Просто мне надо решить некоторые вопросы... Какие?.. Ну, об этом вам необязательно знать,— рассмеялась она.

Володька слушал обрывки ничего не значащего вроде разговора и вдруг почувствовал себя очень далеко от Тони, от этой большой, хорошо обставленной квартиры, в которой идет совсем другая, не похожая на его и чужая ему жизнь. И даже запах духов и сигаретного дымка, стоявший в комнате, показался чужим и неприятным.

Когда Тоня возвратилась, он спросил с натянутой улыбкой, грубовато:

— С кем это ты?..— хотел добавить «трепалась», но удержался.

— С одним знакомым,— вскользь бросила Тоня.

— И много появилось у тебя знакомых за это время?

— А у тебя? — не задумавшись отрезала она.

— Какие у меня знакомые...— он усмехнулся.— Наверное, с каким-нибудь адъютантиком своего фатера болтала?

— Нет,— спокойно ответила она и взяла сигарету.

Он смотрел на нее, нарядно одетую, холеную, на ее тонкую шею с висящим на золотой цепочке кулоном, на длинные маникюренные пальцы, небрежно держащие сигарету, и все больше ощущал ее отдаленность от себя — такого еще не устроенного, с неопределенным будущим, в чем-то даже убогого, занимающегося сейчас нечистым делом и на эти денежки шикнувшего коробкой шоколадных конфет, на которые она и внимания не обратила. И это ощущение было так остро и горько, что он почти непроизвольно поднялся, шагнул к выходу, потом остановился, глухо сказав:

— Я пойду, Тоня...

Она удивленно уставилась на него:

— Что это вдруг?

— Зачем я тебе такой? — вырвалось у него.

— Нет, милый, я тебя не отпущу так,— заступила она ему дорогу.— «Зачем я тебе такой»? Ты казанскую сироту из себя не строй.

Он обошел Тоню, но она опять встала перед ним. Тогда он отстранил ее и быстро вышел из комнаты. Открыв входную дверь, выскочил на лестницу и побежал. На миг обернувшись, увидел Тоню, стоявшую у двери. Сейчас окликнет, подумал, но она этого не сделала. Выбежав на улицу, Володька побрел по Пироговке, но почему-то не в ту сторону — не к Садовой, куда ему было нужно, а к Новодевичьему и очнулся лишь у самого монастыря. Постояв минутку, он закурил и пошел обратно.

Поначалу ему захотелось позвонить Майке. Вспомнились ее слова: звони, когда будет плохо. Но потом подумал, что не поможет ему сейчас благополучная Майка, а если расскажет ей о Тоне, возможно, обрадуется, что все так получилось... А что, собственно говоря, получилось? — задал он себе вопрос. Но сразу отбросил — ему не хотелось ни о чем думать, потому что он уже понимал, что в чем-то виноват сам... Нет, Майке звонить он не будет. Ему нужен сейчас кто-то другой. И, уже сидя в троллейбусе, он знал, что едет на Колхозную, к Леле...

Он ввалился к ней с оттопыренными карманами, наполненными опять в том же коммерческом магазине, и с бутылкой водки.

— Мне Лелю,— хрипло сказал он открывшей ему дверь сухонькой старушке с тонким лицом.— Она дома?

— Кажется... дома,— неуверенно произнесла та.— Вы подождите, я узнаю.

Володька остался стоять у двери и краем уха слышал какие-то шептания, а потом громкий голос Лели:

— Какой еще военный? Не жду я никого!

Потом она вышла, удивленно взглянула на него.

— Это ты... Чего это решил зайти? — спросила не очень-то любезно.

— Так... Захотелось тебя увидеть.

— Ну, раз захотелось, проходи. Мать уже решила, не мой ли приперся, разволновалась... Я-то знаю, не придет, а она все надеется.

Володька прошел в маленькую, забитую вещами комнату.

— Это Володя из нашей школы,— представила его Леля матери и пригласила сесть.

— Погоди, возьми все это.

— Ба, да ты с гостинцами! — удивилась она, забирая у него свертки.— Шикуете, товарищ лейтенант.

Лелина мать сразу засуетилась, стала собирать какие-то сумки, бормоча, что ей надо в магазин, и вскоре исчезла. Володька сел на продавленный, покрытый облезшим ковром диван. Леля села напротив и спросила:

— Зачем пришел?

— Поговорить с тобой хочу...

— Давай поговорим, раз пришел...— и посмотрела на Володьку.— Случилось у тебя что?

— Так, ерунда...

— Случилось,— и, еще раз скользнув взглядом по его лицу, поднялась, стала накрывать на стол.

— Старая у тебя мать,— сказал Володька.

— Да, поздногато меня родила... Без меня ей бы войну не пережить. Когда под Москвой служила, посылки часто с кем-нибудь посылала. Так самое тяжелое время она и просуществовала. Ну, давай,— подняла стакан, стукнула о Володькин и лихо выпила.— Чего смотришь? Пью по-мужицки?

— Да нет...

— Знаю, погрубела... Что ж делать, надо было подстраиваться. Пришла-то цыпочкой, недотрогой, от каждого матерного слова уши затыкала, морщилась, краснела, потом вижу — такой здесь не приживешься. Теперь могу любого мужика так послать, что обалдеет. И не отвыкну никак, вошла, так сказать, в образ,— она усмехнулась.— Помнишь, за мной Генка из вашего класса ухлестывал? Втюрен было по уши, записками любовными завалил.

— Помню, конечно.

— Так вот, встретились с ним. Он еще в сорок четвертом по чистой вышел... Ну, шла я на встречу с какой-то надеждой, сердечко трепыхалось — а вдруг? Он мне в школе тоже нравился. А как увидел меня, так в лице изменился... Понимаешь, разочарования скрыть не смог. Я вижу такое дело, сматываться надо поскорее. И убежала,— она задумалась, провела рукой по щеке.— Неужели, Володька, я и вправду такой лахудрой стала? А?

— Что ты, Лелька, какой была, такой и осталась.

— Врешь ты... Налей еще.

Володька налил. Леля так же лихо выпила, крикнула по-мужски и раскраснелась.

— До войны по улице идешь, так мужика не было, чтоб не остановился и вслед не обернулся, а сейчас... Сейчас будто мимо пустого места проходят. Хоть бы один взглянул,— она рассмеялась.— Так что не ври, Володька.

— Закусывай,— напомнил он, видя, что Леля ничего не ест.

— Жратвы вкусной накупил. Откуда у тебя деньги-то? Пенсию, что ли, тратишь? — спросила, взяв кусок колбасы.

— Нет, не пенсию,— не стал вдаваться в подробности Володька.

— Ну, говори, что с тобой, фронтовичок? Какая-нибудь фифочка от ворот поворот дала? Говори, мне можно,— добавила усмехнувшись.

— Вроде,— усмехнулся и Володька.

— Подумаешь... Значит, утешаться ко мне пришел? А по адресу ли?

— Брось, Лелька, этот тон... Захотелось почему-то именно к тебе. Ты же своя.

Леля поглядела на него, задумалась.

— Это хорошо, что я для тебя своя. Очень хорошо...— она неожиданно всхлипнула, потом закрыла лицо руками и заревела уже по-настоящему.

Володьке стало нестерпимо жалко ее. Он обнял Лелю.

— Что ты, глупенькая? Выдумала все... Красивая ты, как и была. И все еще у нас впереди. Очнемся малость от этой войны и еще как заживем,— он гладил ее по голове, по пепельным, коротко стриженным волосам.

Она вдруг как-то жалко и беспомощно прильнула к нему, тоже обняла и приблизила к Володьке свое зареванное, мокрое от слез лицо с полуоткрытыми, словно бы ждущими губами, и он... поцеловал ее. Не мог не поцеловать, чувствуя, что нужен Леле его поцелуй как подтверждение слов, что она красивая, может нравиться, быть желанной. Володька целовал ее, а между поцелуями бормотал что-то невнятное, но хорошее и доброе. Она перестала плакать.

— Ну, хватит... Обслюнявил всю,— отодвинулась от него, улыбнулась и стала вытирать слезы.

— Успокоилась?

— Разумеется,— и потрепала Володьку по щеке.— Какие вы все же мужчины идиоты... Дай подымить.

Он тоже взял папироску, закурили. Долго сидели, окутанные дымком, и молчали.

— А где твой пацан? — спросил он наконец.

— У сестры... Маме нездоровится последние дни,— она лениво потянулась, поднялась и пошла к зеркалу поправлять волосы.— Ну и видок у меня...— Леля повернулась к нему.— Ты иди, Володька, а то мать вернется, подумает черт-те чего.

Володька встал, хотел было подойти к Леле, решив, что, наверное, надо поцеловать на прощанье, но она остановила его, махнула рукой.

— Ты иди, Володька... Иди.

И ему ничего не оставалось, как сделать такой же прощальный жест и выйти из комнаты.

Проснулся Володька поздно... Трещала голова, противно было во рту и на душе. Дотянувшись до папирос, он закурил, но стало еще противней — затошнило. Загасив папироску, долго не вставал с постели, лежал и думал... Конечно, на кой черт он нужен Тоне такой, растрепанный, совершенно не знающий, как жить дальше... На фронте как-то не приходилось решать что-либо только для себя, думать лишь о себе. Когда перед ним ставилась какая-то задача, думалось в первую очередь, как решить ее с наименьшими потерями. О себе тогда не очень-то беспокоился. А сейчас вот надо решать именно свою собственную судьбу, свое будущее, но как? Он не привык к этому и слабо представляет, как такое делается.

Наконец он встал, выпил воды и поплелся к трем вокзалам, где ждал уже Егорыч, чтобы отоварить у Надюхи талоны, тем более что после вчерашнего денег у него не осталось. Провернув дело с Надюхой, они отправились на Центральный рынок. Егорыч с «товаром» пошел туда, а Володька стал поджидать его на Цветном бульваре, но... не дождался. Забеспокоившись, ринулся на рынок, пробежал по всем рядам, но Егорыча не нашел...

«Забрали!» — и Володька с тяжелым сердцем пошел домой, а к вечеру подался на Домниковку.

Егорыч сидел у Надюхи... На столе чекушка, но веселья не заметно.

— Что случилось? — спросил Володька.

— Амба, лейтенант! Больше я этим делом не занимаюсь. Еле-еле из милиции выбрался, пристали: где хлеб достал? Ну, я врал, конечно, что дружок фронтовой вернулся, а выпить нечего, вот и дал мне две буханочки на

водку сменять... Не знаю, поверили или нет, но, поломавшись, отпустили, больше я на Центральный ни ногой. Вот так, Володимир... Надо это дело бросать,— решительно закончил Егорыч, взмахнув рукой.

— Ну и бросим,— без особого сожаления сказал Володька.

— Как жить будешь? — спросила Надюха.

— Как все...

— Опять все? Твердил тебе Гошка, твердил,— досадливо бросила она.

— Прокручусь как-нибудь. Мне эти дела, кстати сказать, вот где.— показал он на горло.

— Да, это я знаю,— вздохнула Надюха.

Егорыч допил оставшиеся полстакана и поднялся... Встал и Володька.

— Погоди маленько, поговорить надо,— остановила его Надюха.

Володька опустил на стул. Егорыч махнул на прощание рукой и пошел к себе в комнату.

— Я о Гоше хотела...

— А что? — спросил Володька.

— Психованный он все-таки. Не знаю, война ли ему нервы потрепала или другое что? Как выпьет, скандал. То к тебе приревнует, то еще к чему-нибудь придерется, и финочка сразу в руках. Надоело,— со вздохом закончила она.

— Поговорю я с ним. Он парень хороший, но ничто, Надя, даром не проходит. Представь, каково почти каждую ночь на нейтралку идти, под пули себя подставлять и самому... Этой финочкой, Надюха, не одна жизнь порешена... Пусть вражеская, но, пойми, без следа это не проходит.

— Да я понимаю...— вздохнула опять Надюха.— Ты приходи... Ну, если с хлебом худо и вообще... На одном же пайке сидеть будешь.

— Привыкать мне, что ли? — улыбнулся он.

— Почему ты не сказал, что приехала Тоня и что ты был у нее? — спросила мать в тот же вечер.

— Откуда ты знаешь? — встрепенулся он.

— Она звонила, Володя...

— Что говорила? — спросил быстро, стараясь скрыть дрожь в голосе.

— Сказала, что ты очень изменился... Какой-то сломанный. Разве это так, Володя? По-моему, ты просто несколько растерян... Кстати, я ей это и сказала.

— А она?

— Звонила перед отъездом, спешила... Сказала только, что надеется, следующая встреча будет иной...— мать посмотрела внимательно на него и вздохнула.

— Наверно, не будет ее... следующей встречи.

— Почему, Володя?

— Ну, что я сейчас из себя представляю, мама? Как ни странно, в сорок втором при полной неизвестности, останешься ли живым, было будущее. Даже романтическое будущее,— добавил он.— Сейчас вступила в права самая обыденная житейская проза: мужчинам надо добывать хлеб насущный, женщинам искать мужа, который этот хлеб будет добывать наилучшим образом. Ты понимаешь меня?

— Да.

— Что я могу дать Тоне?

— Любовь, если она у тебя есть,— сказала она очень серьезно.

— Ты знаешь, мама, что женщины прекрасно могут и без всякой любви?

— Предполагаю,— тут она улыбнулась.

— А я знаю! — воскликнул он.— И пусть Тоня выходит замуж за кого-нибудь из устроенных. Звонил ей при мне один такой...— презрительно бросил Володька.

— Мало ли кто ей может звонить,— спокойно сказала мать.

— Давай больше не будет об этом, мама,— попросил он.

— Хорошо, поговорим о другом... Решил ли ты, в какой пойдешь институт?

— Пока нет...

— Я хочу предложить тебе подумать о полиграфическом...

— Что это за институт? — удивился он.

— В нем есть редакционно-издательский факультет с двумя отделениями — литературное и художественное. Ты поступай на литературное, но посещай и занятия по рисунку. Если что-то получится у тебя, переведешься. Художественный талант не в руке, Володя, а здесь,— она показала на голову и сердце...— Если не выйдет с рисунком, то, во всяком случае, получишь гуманитарное об-

разование. И находится он недалеко, на Садово-Спаской.

— А что? Я подумаю, мама. Главное, недалеко.

— Подумай. Времени осталось не так много... Теперь еще одно... Звонила тетка твоего отца. Она обижена, что ты ни разу не навестил ее. Это раз. Во-вторых, заболела женщина, которая ей помогает по дому и ездит за пайком. Она просила тебя, если можешь, конечно.

— И ты сказала, что могу? — улыбнулся он.

— Сказала... Она совсем одинока, и ты должен ей помочь, тем более дел у тебя пока никаких.

— Ладно, мама.

Тут появился Витька-бульдожка с какой-то сумкой.

— Мать скороспелку посадила. Подкапывать уже начали. Попробуйте, — он передал сумку Ксении Николаевне.

— Зачем, Витя? — начала было отнекиваться она, но Витька решительно прервал:

— Ксения Николаевна, помните, обещал я. Никаких отказов.

— Сетку волейбольную не достал? — улыбнулся Володька.

— Нет! Спрашиваю всех, никто не помнит. Кто-то из ребят взял, спрятал еще в сорок первом, а кто? Но я раздобуду.

Без особой охоты Володька приехал на другой день в Гнезниковский переулок, где жила тетка, боясь, что начнутся соблезнования, разные там вздохи и охи... Но ничего этого не случилось. Тетка, маленькая, сухонькая старушка с добрым лицом, но твердыми глазами, обняла его, поцеловала и сразу же усадила за стол.

— Сперва перекуси, Володя, а потом поговорим.

На небольшом столике с мраморной доской уже приготовлена была еда, да еще какая! Володька не стал ломаться и присел за стол. Уминая бутерброды, он оглядывал большую комнату с альковом, в которой давно не бывал. Целую стену занимали шкафы с книгами, где кроме художественной литературы в основном была литература политическая — собрания сочинений Ленина, Сталина, протоколы съездов партии. Тетка работала в Институте Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Было много и ее собственных книг. Она лично знала Ленина, дружила с Крупской, с Фрунзе, участвовала в москов-

ском восстании, занимала крупные должности в Иванове. В общем, живая история, и если бы Володька был полюбознательнее, то как много бы он мог получить от общения, но сейчас ему было не до этого.

— Почему ты не навестил меня тогда, в сорок втором? — спросила она.

— Даже не знаю... Понимаешь, я был под Ржевом — безудачные бои, огромные потери... Не хотелось об этом вспоминать.

— Да, потери... — задумчиво сказала тетка. — Скажи, Володя, что, на твой взгляд, помогло нам выиграть войну? Именно на твой взгляд.

— Патриотизм, тетя Варя, — не задумываясь сказал он. — Воевали ведь хорошо и те, у кого судьбы складывались трудно.

— Да? Это очень интересно... У тебя есть примеры?

— Сколько угодно.

И Володька стал рассказывать о тех, с кем воевал вместе... Тетка слушала внимательно, заставляя его повторять некоторые случаи, а со стены глядели на них прищуренные глаза Владимира Ильича, и казалось, будто и он прислушивается к Володькиным словам.

— Говорили вы на фронте о Сталине? — неожиданно спросила она.

— А как же? — удивился Володька. — В атаки с его именем ходили. Хотя... — задумался он, вспоминая, — пожалуй, чаще кричали просто: за Родину...

— Скажи, чем вы объясняли неудачи первых месяцев войны?

— Чем? — этот вопрос тоже удивил его. — Кто как... В основном неожиданностью нападения, отмобилизованностью немецких войск, их техникой... Короче, каждый по-своему... — начал было он, но она прервала его:

— Расскажи теперь, как вообще живешь? Какие планы на будущее?

— С сентября институт...

— Да, твоя мать говорила... Вот видишь, сразу в институт, а кто-то сразу на завод пойдет. К счастью, после этой войны не будет того, что получилось после первой мировой.

— А что было после той?

— Разве не знаешь? Не читал?

— Да, вспомнил... Инфляция, безработица, люди пришли с войны и не могли найти себе места.

— Именно,— подтвердила тетушка.— Ты наелся?

— От пуза, говоря по-солдатски,— улыбнулся он.

— Так вот, Володя, карточки... Поедешь, я дам тебе адрес, и там на первом этаже найдешь, где выдают продукты. Захвати рюкзак, а то в одной руке тяжело будет нести. Паек на целую неделю.

— У меня вещмешок.

— К тебе еще одна просьба. Ты сможешь приходить хотя бы два раза в неделю и читать мне? Я сейчас очень плохо вижу, а для своей книги мне нужно кое-что перечитать. Я буду платить тебе или отдавать часть пайка. Как захочешь.

— Что ты, тетя Варя, зачем? Я и так...

— Не спорь. Это работа, и ты должен получать за нее вознаграждение. Договорились?

— Да, но, право, ни к чему какая-то оплата, мы же родственники.

— Повторяю, не спорь. Я упрямая старуха. Будет так, как я решила,— и в нотках ее голоса пробились старобольшевистская твердость.

На обратном пути Володька не раз поправлял вещмешок, оттягивающий спину. Когда приволок все это в тетчину квартиру, она, поблагодарив, стала откладывать часть продуктов для него. Володька пробовал протестовать, но тетка не желала ничего слушать:

— Грудинку я не ем, Володя... Жирную рыбу тоже... Это мне не нужно. Крупа у меня осталась...— и так далее и тому подобное.

Половина принесенного попала в его вещмешок. Это было целое богатство, и хотя чувство некой неловкости присутствовало при этой дележке, все же он был рад, что принесет что-то в дом, тем более никаких прибавок к карточному пайку у него не будет...

Но мать этой радости не разделила, наоборот, возмутилась тем, что Володька принял подношение.

— Ты обязан помочь ей без всякой «благодарности» с ее стороны. Больше этого не делай,— сказала она с необычной для нее резкостью.

— Я отказывался, мама...

— Значит, плохо отказывался!

— Но она предложила мне работу: приходить к ней два раза в неделю и читать нужные ей книги. Сказала, что каждая работа должна быть оплачена. Возможно, то, что я принес, аванс, так сказать...

— Это другое дело.

...Теперь Володькина неделя была заполнена двумя вечерами у тетки и днем получения продуктов. Однажды, выходя из ворот серого дома на набережной, он натолкнулся на пьяного инвалида, который попросил прикурить, а прикурив, бросил взгляд на Володькин мешок.

— Откуда прешься? — спросил хмуρο.

— Это я для тетки...

— Знамо, не для себя... Кто у тебя тетка-то? Начальство какое?

— Старушка она, персональный пенсионер. Революцию делала.

— Революцию, говоришь, делала? Старенькая уже, значит... Ну, она-то заслужила,— сказал инвалид.— Ладно, бывай...

Тянуть с институтом больше было нельзя, и Володька отправился на Садово-Спасскую поглядеть полиграфический, поговорить с поступающими, разузнать все подробно и, если понравится, подать заявление о переводе. Он потолкался среди будущих студентов, в большинстве сопливых девчонок, худеньких, неважно одетых, некоторых с косичками — прямо детский сад. Он старше их на семь лет, это же чертовски много! Закончит институт в тридцать! Тридцатилетние на фронте казались уже пожилыми мужчинами — и жены были почти у всех, и детишки. А он, Володька, только на ноги встанет, только институт к этим годам окончит.

Он прошел по институтским коридорам, заглядывая в аудитории, и как-то не представлялось, что скоро сидеть ему за столом с карандашиком и записывать лекции... Все это казалось смешным и страшно несерьезным... Он тоскливо огляделся в надежде увидеть хоть одного фронтовика, чтоб перекинуться словом, и наткнулся на парня, стоящего у стены в форме, в «кирзашках» и с палочкой. Тот тоже выглядывал, вытянув шею, кого-то из фронтовой братии и, заметив Володькин взгляд, заковылял к нему.

— В какой курятник попали! А? Хотя чего я, не курятник — цыплятник,— сказал он, кивнув на щебечущих в коридоре девчушек.

— Да, чудно...— вздохнул Володька улыбнувшись.

— Ты на какой факультет поступаешь?

— Я перевожусь... Из архитектурного. Наверное, на редакционно-издательский пойду.

— На художественное отделение?

— Видишь,— протянул Володька руку.— Пока на литературное, если что выйдет, научусь левой, перейду.

— А у меня кость на ноге раздроблена. Гноится до сих пор рана. Говорят, надолго это. Ну, давай знакомиться. Коншин... Лешка. Пойдем перекурим это дело,— он улыбнулся и взял Володьку за локоть.

Они вышли на улицу... К Коншину подошла девушка в военном, но без погон.

— Ну как, Леша, решил? — спросила она.

— Решил,— почему-то грубо ответил тот и добавил: — Иди домой, я вот с товарищем поговорю.

— Я подожду, Леша,— она отошла в сторону.

— Незачем ждать. Иди домой,— опять удивил он Володьку своим грубоватым, пренебрежительным тоном.

У девушки повлажнели глаза. Она резко повернулась и пошла от них. Володька хотел было спросить, почему Коншин так, но постеснялся. Коншин начал сам:

— Вот не знаю, что делать. Понимаешь, в одной части служили, ну и любовь... А ранило меня, ни одного письма в госпиталь не прислала. Зато дружок мой один все обрисовал... Со всеми подробностями — с кем, когда и где... Она клянется, что наврал тот, а у меня нет оснований не верить — фронтовой дружок-то.

— А может, сам пытался? Не вышло, и со зла...— предположил Володька.

— Она то же самое говорит. Так кому верить-то?

— Ну уж это тебе самому надо решать,— сказал Володька и начал свертывать сигарку.

— Ловко у тебя получается. Кстати, когда я был в руку ранен, тоже научился. Под Ржевом долбануло.

— Под Ржевом?! — воскликнул Володька.— Я же там в сорок втором был!

— И я в сорок втором. Вот здорово-то!

И выяснилось в разговоре, что были не только подо Ржевом, но под одними и теми же деревнями и в одно и то же время, только в разных стрелковых бригадах. А было в этих бригадах уже так мало народу, что ни Володька, ни Коншин не заметили и не знали, что в том черновском лесу, не таком уж большом, километра три в длину, а в глубину и меньше километра, находились две стрелковые бригады — 132-я и 136-я.

— Ну, Володька, вместе нам надо быть. Такое, что там было, не забыть, да и не все выбрались. Мы с тобой счастливики,— сказал Коншин, горячо пожимая Володькину руку на прощание.

— Да, конечно, Леша... Как здорово, что в институте хоть один свой парень будет,— радовался Володька, решив, что раздумывать нечего, надо в институт переводиться, и никаких гвоздей!

Они простились, договорившись о встрече.

На другой день Володька принес в институт документы и встретился с Коншиным. Около комнаты приемной комиссии они познакомились еще с одним фронтовиком, бывшим лейтенантом Игорем Степным. У него было тяжелое ранение в позвоночник, он сильно хромал, но настроение бодрое.

— Я, ребята, учусь уже. В Тимирязевке на экономическом, но решил и сюда, на заочный. Хочется параллельно и гуманитарное получить,— сказал Игорь, когда они вышли на улицу и пошли вниз по Садовой.

— А зачем тебе гуманитарное? — спросил Володька.

— Хочу о войне писать.

— Вот оно что,— протянул Коншин.

— А написал что-нибудь? — поинтересовался Володька.

— Нет еще. Если бы написал, я в Литературный подал бы. Но в голове столько всего...

— У нас у всех полна войной голова,— заметил Коншин.— Да разве сумеешь описать все.

— Надо! — горячо воскликнул Игорь.— Вот в теории подкуюсь малость и начну.

Дойдя до бывшей Мясницкой, ребята повернули, решив проводить Игоря до дома, расставаться не хотелось. Жил он в Комсомольском переулке, и по дороге можно было еще о многом поговорить. Игорь начал высказывать свои мысли.

— У меня друг есть, в медицинском учится, так мы надумали после окончания куда-нибудь на периферию податься, в какой-нибудь небольшой городок...

— И бросишь Москву? — недоверчиво спросил Коншин.

— Что Москва? Тут народа хватает.

— Понятно,— засмеялся Володька.— Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе.

— Нет, ребята, другие соображения. Хотя, конечно,

в провинции выделиться легче. Но мы поедем, потому что просто там мы нужнее. Хотим создать кружок местной интеллигенции...

— Это ты серьезно? — усмехнулся Коншин.

— Вполне...

Проводив Игоря, они пошли обратно. Коншин несколько скептически отнесся к мечтам Игоря, но Володьке тот понравился, он верил в его искренность. Расставшись на Колхозной с Коншиным, Володька двинул к родной Сретенке, на которой что-то давно не бывал... Первым встретился ему ковыляющий Деев.

— Как жизнь, Вольдемар? — весело спросил Володька, протягивая руку.

— Хреновая, — мрачно ответил Деев. — В троллейбус залезть проблема, пройтись куда-нибудь — тоже. Костыли эти очертенели, а без них никуда. — Деев сплюнул, махнул рукой, а потом вдруг мечтательно протянул: — Знаешь, что я часто вспоминаю как самое необыкновенное и приятное из довоенной жизни?

— Что?

— Помнишь, мы из школы к своим шефам в Наркоминдел на вечера пробежки делали? По 1-й Мещанской, по Сретенке, всю Лубянку, и все бегом... Даже во сне снится.

— Помню, — сказал Володька.

Больше ответить ему было нечего, не слюни же разводить по этому поводу? Тут Деев взял и начал крутить пуговицу на его гимнастерке, была такая привычка противная у него, и чем дольше он ее крутил, тем яснее становилось Володьке, что Деев намеревается сказать что-то наболевшее, но не решается.

— Отцепись. И говори.

— Слушай, Володька, — начал Деев, отпустив пуговицу. — Нет у тебя на примете какой-нибудь знакомой девахи, с которой можно было бы по-простому, без всяких там антимоний... Понимаешь?

— Понимаю, но нет такой.

— Жаль... — протянул Деев. — Я знакомиться не умею. Застенчивость идиотская до сих пор. Вроде мужик уже, а подойти не могу, заговорить боюсь.

— Найдет тебя какая-нибудь, — обнадежил Володька.

— Ну да, найдет! Не очень-то я такой нужен, — скривил губы Деев.

— Брось ты! Какой такой!

— Значит, никого нет на примете? — повторил Деев.— Ну, ладно, пока,— и тяжело заковылял на непривычных еще костылях.

Поздно вечером неожиданно позвонила Надюха.

— Выручай, Володя. Гошку забрали! В двадцать вторым сидит. Приходи скорей!

Володька, как по тревоге, влез в свои «кирзашки», схватил ремень и бегом, буркнул что-то на вопрос матери «Куда ты?».

У отделения милиции его ждала взволнованная, растерянная Надюха.

— Поговори с начальником. Подрался Гошка в пивной. И забежал-то на минутку, ждала я его... Смотрю, с милиционером выходит. Финка при нем, понимаешь?

Володька бросился в кабинет к начальнику. Вытянулся, шелкнул каблуками.

— Разрешите обратиться, товарищ майор? Старший лейтенант Канаев, бывший командир взвода разведки, где служил Георгий Селюков, которого вы задержали. Вот мои документы,— протянул Володька.

Майор мельком взглянул на документы, поднял глаза на Володьку.

— Плохо вы воспитывали своих солдат... Что же это получается? Трех человек изувечил. Мало того, холодное оружие при нем оказалось. Да и меня матом обложил... Судить завтра будут вашего разведчика: за хулиганство по семьдесят четвертой и за ношение холодного оружия.

— Товарищ майор, ведь вы, наверное, тоже фронтовик. Гошка, то есть Селюков, лучшим разведчиком был. У него наград полно.

— Знаю. Бахвалился он. Может, суд учтет. Но зачем финку, дурак, таскает?

— Память же фронтовая... Он с ней в разведку ходил.

— Сейчас-то он не в разведку с ней направился, а в пивную. Вот такое дело, старшой... Кстати, у самого-то оружия дома нет?

— Нет.

— А то навезли, черти, трофеев. У кого вальтер, у кого браунинг, у кого ТТ, а у кого и парабеллум. Разбирайся тут с вами. Вызывали одного, сигнал получили, что

пистолет у него. Говорю, сдай добровольно, ничего не будет. Ан нет, отрицал. Пришлось с обыском, ну и что? Лежит пистолетик, заржавелый весь, хоть бы в тряпочку масляную завернул. На кой ляд он ему нужен? Оформили, сидит. А инженер, вроде с понятием человек, не бандюга, дался ему этот пистолет.

— Товарищ майор,— просительно начал Володька.— Может, без суда обойдется? Ну, навешайте Гошке пилюль, заберите финку и штраф там влепите. А, товарищ майор?

— Не могу. Оформлено дело. Идите завтра в суд к десяти ноль-ноль. Может, выслушают как бывшего командира, учтут боевые заслуги вашего Гоши... Вот и все, что могу.

— Товарищ майор...— заскулил опять Володька.

— Все, старшой. А если пистолетик имеется, советую немедля в свое отделение сдать.

— Да нет у меня...

— Что-то не очень уверенно говорите. Смотрите, два года — не малина.

Володька вышел к заплаканной Надюхе:

— Ничего не вышло. Завтра в суд пойдем.

— Засудят его, засудят... Финка еще эта,— запричитала она.

— Не реви. Мне с другом посоветоваться надо. Иди домой, я сейчас ему позвоню, а завтра в суде встретимся. В десять утра.

Надюха пошла домой, а Володька бросился искать телефон-автомат. Позвонил Сергею, рассказал про Гошку.

— Мда... Значит, так. Райку из нашего класса помнишь? Она юрист. Кое-что мне советовала в свое время. Иди сразу к ней. Адрес дать?

— Давай,— и Володька записал адрес.— Спасибо, Сергей. Сейчас побегу к ней.

Было уже около двенадцати ночи... Неудобно, конечно, в такой час врываться к Рае, но что поделаешь — фронтовой друг в беде.

— Володька! — воскликнула Рая, одетая в какой-то замызганный фланелевый халатик.— Очень рада, но почему так поздно? Мама уже спит.

— Всего на два слова, Рая. Нужен твой совет. Юридический.

— Пошли на кухню,— сказала она и повела в тесную коммунальную кухню, заставленную столами и керосинками.

Володька торопливо рассказал о Гоше.

— Контузия у него была? — спросила Рая.

— При мне вроде нет, но вообще-то вполне могла быть.

— Ты должен увидеть его перед судом и сказать, чтобы напирал на контузию. Дело отложат, пошлют на судебно-медицинскую экспертизу на определение вменяемости. Пройдет какое-то время. В Дзержинском суде будет слушаться?

— Да.

— Чего-нибудь придумаем.

— Спасибо, Рая... Ну, как живешь?

— Как сейчас живут? — улынулась она. — Зарплата маленькая. Я юрисконсультом работаю, мама на моем иждивении. Трудновато... Замуж никто не берет... и не возьмет, наверное...

— Ты знаешь, что Вовка Деев в тебя влюблен был?

— Неужели? Я и не догадывалась... Господи, как это было давно... Школа, вечера... Детство, юность... — она вздохнула. — А я почему-то чувствую себя уже старой... Старая дева... — печально досказала она и вздохнула еще раз.

— Брось, Райка, мы еще молодые, — утешил ее Володька, но, поглядев на нее, увидел, как поблекла она за эти годы. — И все еще впереди.

— Это у вас, мальчишек, все впереди, а у нас, увы... Сколько вас осталось-то?

— Маловато, наверно.

— В том-то и дело... Ладно, Володька, ты заходи как-нибудь просто так, без дел. Посидим, вспомним школу... Хорошо?

— Обязательно, Рая, — пообещал он и попрощался.

Вечерняя Сретенка, точнее уже ночная, была почти безлюдна, и Володька, успокоенный обещанием Рая, шел не спеша, покуривая... Главное — выиграть время, а там Гошка и сам что-нибудь придумает. Не такой он, чтобы за мелочь в тюрьму попасть. Но простят ли финку? Холодное оружие, как сказал майор. Есть статья определенная. Но по-человечески-то должны понять, что для них, фронтовиков, не холодное оружие это, а память о войне, о том, что свершили они на ней... Володька свой вальтер сдавать не собирался. Он уже давно завернул его в промасленную тряпку, обернул газетой и зарыл на чердаке, где жильцы дома сушили стиранное белье. Найти пистолет можно только с миноискателем, ну и доказать, что это его писто-

лет, вообще невозможно. Конечно, доля мальчишества была в странном желании сохранить пистолет во что бы то ни стало, но было и какое-то ощущение права владеть оружием, да и привычка — как же без него?

По дороге он думал, что скажет на суде в защиту Гошки, если не сработает контузия. Вспомнил, сколько «языков» приволок Гоша, как бесстрашно и спокойно собирался в поиск, с улыбочкой колдуя над пятаком — орел — решка, — как не раз, легко раненный, отказывался идти в санроту, отлеживался несколько деньков в землянке, а потом сам предлагал: «В порядке я, командир. Можно меня в дело». Да что там, ордена и медали сами за себя говорят. Должен учесть это суд.

На другой день в половине десятого Володька был у здания нарсуда на Сретенке. Вскоре подошла Надюха, подурневшая, с припухшими глазами, но подмазанная, поздоровалась молча за руку. Гошу привели два милиционера — на скуле ссадина, в зубах папироска, вид бодрый. Не верит, видать, что за такую малость, за обыкновенную драчку в пивнухе могут его, орденосца и лихого разведчика, засудить.

— Чего ты? Порядок будет, — буркнул он Надюхе. — И тебя взбаламутила? — спросил Володьку.

— Ты, Гошка, про контузию не забудь. Ведь не помнишь ничего, что вышло? — сказал Володька четко, чтобы Гошка усек значение этих слов.

— Конечно, не помню, убей меня бог, — сразу же сообразил тот.

— Так и говори. Понял? — с напором произнес Володька.

— Как было, так и скажу, — подмигнул он, таясь от милицейских взглядов, но те на разговор ноль внимания — не уголовщина тут, а простое хулиганство.

Дав Гоше докурить папироску, они повели его в здание суда. Надюха и Володька за ним. Подошли к залу номер четыре, а там на двери уже бумажка, какие дела будут разбираться. Пробежал Володька глазами: «Селюков Георгий Иванович по обвинению по статье 74, ч. 1», — и ойкнул обрадованно — статьи за ношение холодного оружия не было! Значит, майор в протокол про финку не записал! Хорошим мужиком оказался. Отлегло от души, хотя 74-я, часть I грозила годом с лишением московской прописки после отбытия.

Но вот вызвали в зал. Гошку милиционеры провели за

барьер — на скамью подсудимых, а Надюха с Володькой в зале уселись, поближе к суду. Там и свидетели обвинения, помятые, с подбитыми физиономиями, которым, на Володькин взгляд, только одного хотелось до смерти — опохмелиться. Володька подсел к ним.

— Как же он вас троих один? — спросил он.

— Ловкий, гад, — промычал тот, кто постарше.

— Что же вы в милицию сразу? Сами накостылять не смогли?

— Да мы ему дали, — сказал молодой. — Но участковый как раз появился, давайте, говорит, его в отделение. Еле скрутили черта.

— Так он разведчик бывший, — сказал Володька.

— Оно и видно. Приемчики применял.

— Ребята, — начал Володька, — засудят же парня. Давайте придумаем что. Ну, подрались по пьянке, а кто виноват, кто начал, не помним. После суда выпьем как следует, освежим голову.

— В самый бы раз, — вздохнул один.

— Конечно, все пьяные были, но он первый задрался. Ко мне прицепился...

— Чего там счеты сводить, — положил Володька руку на плечо пострадавшего. — Разопьем мировую, и все дела. Ну как?

Но ответить тот не успел, вышла секретарша и:

— Встать, суд идет.

Все поднялись, потом сели, когда судья, приятная молодая женщина, с заседателями за дубовым столом устроилась. Ну и началась процедура...

— Подсудимый Селюков, расскажите, что произошло вчера вечером в пивной.

Гошка поднялся, сделал невинное лицо и честные-пречестные глаза.

— Ничего не помню, граждане судьи. Ей-богу! Помню, как в пивную зашел, а дальше ничего.

— Сильно пьяные были?

— Нет. В том-то и дело. Всего сто пятьдесят перед этим выпил. А в пивной как затмение нашло. Утром в отделении проснулся, говорят, в суд собирайся, а я, хоть убей, ничего не понимаю.

— На фронте были?

— А как же! Всю войну в разведке! Награжден орденами и медалями. Жена принесла мою орденскую книжку. Покажи, Надя.

Надюха подошла к судейскому столу, выложила.

Судья рассмотрела, передала заседателям.

— Что же произошло? Вы так хорошо воевали, столько наград и... хулиганство? — спросила судья, поправив красивые рыжие волосы.

— Так говорил я, не помню ничего, — развел руками Гошка.

— У вас были ранения, контузии? — голос судьи был мягок и доброжелателен.

— И не упомню сколько! — воскликнул Гошка. — Вот тут мой бывший командир сидит, скажет... И контузия сильная была, без памяти несколько ден валялся.

Володька встал, хотел было выступить, но судья сделала ему знак рукой, чтоб сел, и стала шепотом о чем-то совещаться с заседателями. Володька почти успокоился. Понравилась ему судья, ее спокойный голос, и не верилось, что такая приятная особа засудит Гошку. Пошептавшись с заседателями, судья поднялась, поднялись и все.

— Суд принял решение направить обвиняемого Селюкова на судебно-медицинскую экспертизу. Из-под стражи освободить. Взять подписку о невыезде. Получите направление, Селюков.

Сияющий Гошка подошел к судейскому столу, взял направление. Из суда вышли все вместе. И «пострадавшие» тоже.

— Что же вы, лярвы, в милицию меня? — не зло, а скорее добродушно спросил их Гошка. — Да ладно, айда в шалман — угощаю, а там поговорим.

В пивной на Сретенке пробыли недолго. Гошка поставил «пострадавшим» по стопке и по пиву, уговорил их не показывать насчет того, что матерился. Тогда, разъяснил он им, будет просто драка, а ежели мат, то хулиганство, статья семьдесят четвертая, год лишения верняком и прощай, Москва. Ребята, опохмелившись, подобрили и обещали насчет матюжка свои показания изменить, которые в милиции давали, пьяные были тоже, не помним, дескать, что подписывали... Расстались друзьями...

— А начальничек-то, майор, мировой мужик. Про финочку ни-ни. Жаль, не отдаст, конечно, но черт с ней, — сказал Гоша при выходе из пивной.

— Это, наверное, мой разговор подействовал, — заметил Володька.

— А ты говорил с ним? — спросил Гошка. — Ну, спасибо, — растрогался он, похлопав Володьку по спине. —

Невменяемым меня не признают. Но ничего, с этими ребятами выпью еще перед судом, и будет порядок. А ты, Надюха, скисла. Не из таких переделок выходил Гоша, — самодовольно закончил он.

— Опять в командировке? — спросил Володька Тальянцева, столкнувшись с ним на улице.

— Да... — рассеянно ответил он, чем-то, видно, озабоченный. — Вызвали. Неприятности у меня, понимаешь... Выпить хочешь? — спросил вдруг.

— Да нет.

— Проводи меня тогда. Поговорим.

— Пошли, — согласился Володька.

— Комбриг у меня новый... Ну а новая метла, сам понимаешь... Не поладили с ним, короче. Да история еще у меня... Помнишь, я говорил, что жену демобилизовал, чтобы не путалась под ногами в части. Меня же она обманом женила. Сказала, беременна, командованию сообщит, ну и пришлось... А люблю я другую. Старый комбриг знал, оставлял это дело без внимания, а новый аморалку шьет... На повышение я должен идти, батальоном уже накомандовался, хватит... Хочешь выпить? — опять неожиданно спросил Левка.

Володька мотнул головой, ему и вправду не хотелось в хороший, ясный день затуманивать голову хмельным.

— А то посидим где-нибудь? Ты поддавал на фронте?

— Нет... Очень редко.

— А мне приходилось. Иной раз, бывало, по несколько ночей не спал. Только этим и держался. Когда переправу мастеришь, сам командуешь. Тут тебе и самолетные бомбежки, и артобстрелы. Нервишки на пределе. Да чего там, сам хлебнул...

Володька кивнул, хотя и знал, что война Тальянцева была полегче его собственной, саперы — все же не пехота, но и им доставалось.

Дойдя до Сретенских ворот, Тальянцев повернул налево, за ним и Володька, которому делать было нечего. Он только спросил:

— Ты куда?

— К Кировскому метро, — ответил Тальянцев, посмотрев на часы.

— Свидание?

— Вроде... Кстати, Володька, у тебя нет знакомых,

у кого бы комнату снять можно? Понимаешь, она здесь, но жить негде.

— Кто — она? — не понял сначала Володька.

— Я ж говорил тебе, — нетерпеливо бросил он.

— Ах да... Подумаю, но, по-моему, нет таких. Ты Сергею позвони. К ней, значит, идешь? Может, мне обратно?

— Иди со мной. Хочу показать. Обалдеешь.

Они дошли до Кировской. Тальянцев еще раз посмотрел на часы и повел Володьку за здание метро. Там они сели на скамейку, закурили. Из метро выходил народ, и Тальянцев напряженно вглядывался... Он был взволнован и не мог скрыть этого. Наконец от толпы выходящих отделилась женская фигурка и, цокая каблучками, побежала к ним. Тальянцев поднялся, и его лицо озарилось такой радостью, что стало совсем мальчишеским, потеряв на время свою значительность.

— Левочка! — немного театрально, как показалось Володьке, вскрикнула женщина и, подбежав, бросилась на шею Левке. Он прижал ее, поцеловал, не стесняясь окружающих, и усадил на скамейку. — Наконец-то я с тобой! Боже, как я соскучилась, — зашебетала она, не выпуская Левкиной руки из своей.

— Познакомься, Люся. Мой школьный друг Владимир.

— Вы с Левочкой в школе учились? Как интересно! — сверкнула она черными, цыганскими глазами.

— Ну как, хороша? — спросил Тальянцев, улыбаясь счастливой улыбкой и восхищенно глядя на свою Люсю.

— Хороша, — протянул Володька, приглядываясь к смуглому красивому лицу, в котором было что-то твердое, самоуверенное.

— Как не стыдно! При мне. Что ты, Лева, неудобно же.

— Удобно, — усмехнулся Тальянцев. — Пусть завидует, что у меня все экстра-класс, — сказал шутливо, но Володька подумал, что и верно, хотелось Левке похвастать.

Он поднялся... Тальянцев не стал его удерживать.

На обратном пути около табачного магазина на Сретенке Володька увидел Женьку Казакова, который почему-то отвернулся от него и прошел мимо. Все же произвольно Володька окликнул его. Тот остановился.

— Привет, — буркнул Женька. — Провырываешься?

— Да...

Женька сильно похудел после той, первой встречи и был чем-то озабочен.

— А я вкальваю... Ну, чего новенького? Никто из на-

ших не попадался? — спросил он вскользь, без особого интереса.

— Никто... Видно, что вкальваешь, осунулся.

— Осунешься, жратвы-то не хватает, а потом... — махнул рукой.

— Что-нибудь случилось?

— Неохота рассказывать, Володька... Курить есть? Давай.

Они закурили.

— Ладно, пройдем до бульвара, присядем... — сказал Женька, видно, решил все же поделиться с Володькой.

До бульвара шли молча, а когда присели на свободную скамейку, выплюнув искуренную папиросу, Женька отрывисто сказал:

— Полетело у меня все к чертовой матери. Вот что.

— Что полетело? — не понял вначале Володька.

— Все! Понимаешь, все! Не ждала она меня по-настоящему! Путалась с кем-то! Чуть не убил, — он выругался и потянулся к Володьке за новой папиросой.

— Мда-а, — промычал Володька, не зная, что сказать.

— А мы с тобой на Дальнем Востоке целочками ходили, потом фронт — не до баб. Я и в госпитале ни с кем не крутил, а возможности были, еще как липли, — хрипло выбросил он.

— А что она тебе сама-то сказала?

— Чего-чего. Выдумала историю, будто на студенческой вечеринке напоили ее, заснула, ну и воспользовался какой-то гад... Сейчас она чего угодно наплетет, чтоб жалость вызвать. Я ее в первую ночь и выгнал прямо на улицу. На другой день приползла — слезы, рев, прости, родненький, люблю же тебя, ну и прочее. Но я все! Обрезать, так сразу. Я и немцев так. Одним ударом. Странно, вояки были крепкие, а ранят, как поросята визжат. Наш, пусть плюгавенький какой, долбанет его — молчит, только постанывает. Чудно, правда?

— Да, я тоже замечал это, — Володька был рад, что разговор перекинулся на другое, но Казаков возвратился к своему:

— Раз она для меня первая, значит, и я для нее должен быть первым. Понимаешь?

— Понимаю, Женька... Но, может, правда, не виновата она?

— Не виновата! — повторил он. — На гулянки не ходи, когда твой в окопах вшей кормит. Вот и не будешь виновата

та ни в чем. Ты это брось! Такое не прощается. Ведь каждую ночь будешь мучиться, что вот она с кем-то так же, как с тобой... Нет, все! Да и развелись уже,— он помолчал немного, затем добавил, усмехнувшись: — Говоришь, похудел я? Так кроме работы еще гуляю напропалую. Девчат у нас в лаборатории полно, ну... вот и отыгрываюсь за все годы. Да со зла еще. Если хочешь, могу познакомиться. Есть девочки — класс!

— Нет, Женька, неохота что-то.

Они сидели еще недолго, поговорили о том о сем, вспомнили о Дальнем Востоке, об однополчанах и разошлись. Под конец Казаков сказал:

— Вот так, Володька. Все мои мечты о тихой семейной жизни вдребезги. Ни одной бабе теперь верить не буду. Вчера один тип в пивной стихи читал, не знаю уж чьи, но запомнились: «Нет, не надо считать Мадонною ту, которую полюбил, ни одного расставанья со стоном — взял, переспал, забыл...» Здорово?

— Ничего...

— Я теперь так и буду — взял, переспал, забыл... Ну их всех!

Утром после самомассажа Володька приподнял левой рукой половину предплечья правой, и — о радость! — на какой-то миг задержалось, не упало плетью, как прежде. Он бросился к матери.

— Мама, смотри, держится! Не обманул, выходит, врач, когда говорил, что прорастет нерв.

Почти целый день Володька занимался одним — приподнимал предплечье, стараясь усилием воли удержать его в этом состоянии, и на какие-то секунды фиксировалось. Значит, рука будет жить! Он ликовал. Как угнетала его до этого она, безжизненная, все больше сохнущая. Теперь он станет упражнять ее, остановит атрофию, может, и возвратит силу мышцам.

Прервал его радость телефонный звонок. Звонила Майя.

— Я не хотела звонить,— сказала она.— Но все же решила. Нам надо встретиться.

— Что-нибудь случилось? — встревожился Володька.

— Нет, ничего,— спокойно ответила она.— Ты выходи сейчас, я недалеко от твоего дома.

Когда Володька вышел из парадного, Майка уже не

спеша подходила к нему — нарядная, без следа какой-либо озабоченности на красивом лице. Да и что могло случиться с уверенной в себе Майкой? — подумал он.

— Пройдемся или зайдем к тебе? — спросила она.

— Как хочешь.

— Давай к тебе. Не люблю курить на ходу.

Они поднялись на третий этаж, и Майка уверенно остановилась около Володькиной двери.

— Разве ты была у меня? — удивился он.

— Нет... А помнишь открытки, которые получал от неизвестной поклонницы? Я опускала их вот сюда,— показала она на почтовый ящик.

— Значит, это ты? Такие смешные старинные открытки.

Они прошли в комнату, Майя села на диван, небрежно положив ногу на ногу, закурила, оглядывая комнату.

— Смешно... Когда-то я мечтала попасть к тебе, посмотреть, как ты живешь. И вот у тебя,— она еще раз огляделась, а потом спокойно с улыбкой объявила: — Я беременна, Володька.

Он даже отшатнулся от неожиданности.

— Не может быть...

— Удивительный вы народ,— засмеялась она.— Всегда для вас это неожиданность. Причем не очень приятная. Так?

— Я как-то не думал об этом...

— Разумеется... У тебя сейчас милый вид. Такой, как я и предполагала.

— Что же делать, Майя? — растерянно спросил он.

— Вот об этом я и хотела поговорить с тобой,— она улыбалась, что никак не вязалось с серьезностью взгляда ее серых глаз.

Володька нервно закурил и начал вышагивать по комнате, абсолютно не зная, что и как говорить. Майя следила за ним глазами и так же улыбалась. На миг Володьке подумалось, что она его разыгрывает, это успокоило, и он остановился.

— Ты разыгрываешь меня?

— Увы, милый, к сожалению, нет... Думай.

— А что думать? — глупо спросил он.

Майка опять рассмеялась:

— Если я оставлю ребенка, он будет твой и не твой, а... Олега. Вот и подумай,— сказала она, затянувшись папирсой.

— А он мой, Майя?

— Наконец-то догадался! — она перестала улыбаться и сказала устало: — Зачем же мне было приходиться к тебе, Володька? Ребенок твой... Оставлять его или не оставлять, вот что мы должны решить. Понял ты?

— Я... не знаю... — растерянно сказал он.

Майя поднялась с дивана, медленным движением потушила папиросу.

— Господи, ну чего я от тебя могла ждать, кроме «не знаю». Ладно, кончим на этом. Я пойду...

Володька пошел проводить ее. У двери она погладила его по щеке небрежным, но ласковым жестом.

— Мальчик ты, мальчик... Какой из тебя отец, — сказала тихо и стала спускаться по лестнице.

Володька еще постоял у двери, прислушиваясь к стуку ее каблуков, к звуку захлопнутой двери в парадном, и только тогда вернулся в комнату. Он сознавал, что вел себя не так, что Майя ждала от него каких-то мужских слов, а он нес чушь и глупость. Но он действительно был растерян, даже потрясен так, что плохо, совсем плохо сообщал, ведь такое с ним впервые... Ему вспомнилось, как при посадке в эшелон, когда уже знал точно, едет на фронт, где возможна смерть, у него вспыхнуло яркое, но странное желание — хорошо, если бы у него был ребенок от Юльки. Тогда он усмехнулся про себя: заработал инстинкт продолжения рода... И вот сейчас это реальность, у него может быть ребенок, а что-то невнятно бормотал, испугавшись, видимо...

Вечером после некоторых колебаний он решил рассказать все матери. Нельзя сказать, что она обрадовалась, но, не раздумывая, твердо сказала:

— Если ребенок твой, ты обязан жениться на Майе.

— Она замужем, мама, — промямлил он.

— Ну и что из этого? — спросила мать. — Ты понимаешь, в какое положение она попала! Если Майя — порядочный человек, то как...

— Ты опять, мама... Порядочный, непорядочный, — перебил Володька.

— Да, опять, — повысила голос мать. — Ты пойми, изменить мужу — это одно, а обманывать его всю жизнь, заставить содержать и воспитывать не его ребенка, это другое. А потом, разве ты сам согласишься, чтобы у твоего ребенка был чужой отец?

— Но как мы будем жить, мама?.. Ты же знаешь...

— Как-нибудь проживем,— тут уже мать прервала его.— Надо уметь отвечать за свои поступки. Честно говоря, мне трудно понять твои колебания,— жестковато добавила она.

— Хорошо. Я сейчас позвоню ей.

— Да, иди и звони.

Володька пошел в коридор к телефону, набрал Майкин номер... Очень долго никто не подходил, наконец взял трубку ее муж.

— А, Володя... Добрый вечер. Почему не приходите к нам? Майя у своей матери, позвоните туда.

Володька позвонил в Коптельский, долго слушал длинные гудки, а когда подняли трубку, голос был не Майкин:

— Ей нездоровится. Кто спрашивает?

Володька назвал себя.

— Сейчас узнаю, сможет ли она подойти.

Спустя несколько минут, показавшихся ему очень долгими, услышал Майку:

— Что скажешь?

— Майя, прости меня... Я растерялся, но... но, наверно, тебе надо разойтись с Олегом, а нам...

— Поздно, Володька,— перебила она.— У нас уже никого нет.

— Как нет? Не понимаю!

— Повторяю,— приглушив голос, сказала она,— никого нет. Теперь понял, глупенький?

— Понял,— глухо ответил он.— Как ты себя чувствуешь?

— Неважно... Я пойду прилягу. Пока, Володя.

Она повесила трубку, а Володька, понутив голову, вернулся в комнату.

— Сказал? — спросила мать.

— Мама, она говорит... она говорит, что уже никого нет,— упавшим голосом тихо произнес Володька.

— Господи...— прошептала мать и достала папиросы.

Володька пошел в «купе», как называл он свою комнату при кухне. Лег на кушетку с тяжелым ощущением непоправимости. Ему вспомнилась Майкина усмешка, когда она сказала: «...ну чего я от тебя могла ждать...» А наверно, ждала, иначе зачем было приходиться? Ждала хотя бы каких-то серьезных, мужских слов, а не маловразумительного бормотания.

На утро следующего дня он позвонил ей — как чувствует себя?

— Ничего, но на работу не пошла.

— Я приду к тебе,— с полувопросом сказал он.

Она долго не отвечала.

— Если очень хочешь.

— Хочу,— быстро ответил он.

Майя открыла ему дверь сама, но была очень бледна и, впустив его в комнату, сразу легла на диван, укрывшись пледом.

— Я очень виноват, Майя,— горячо начал Володька.

— Не надо,— тихо сказала она, устало махнув рукой.— Не надо...

О чем говорить дальше, Володька не знал. Он пришел просить прощения, каяться, но она этого не желала слушать. Он сел на стул и закурил.

— Володя, смени воду в грелке,— она вынула из-под пледа грелку и подала ему.— Холодную надо.

— Я сейчас,— обрадовался он и бросился на кухню.— Вот, холодная-прехолодная.

— Спасибо... Может, ты и чайник на плитку поставишь? — слабо улыбнулась она.

— Конечно. Что еще надо? — он был рад заняться каким-то делом.— Может, за хлебом нужно сходить? Я мигом.

— Все есть, Володя. Заваришь чай, и будем завтракать,— она вдруг поморщилась.

— Болит? — участливо спросил он, ощутив опять укол вины.

— Немного... Хорошо, что врач знакомая, бюллетень дала. Отлежусь три дня. Лишь бы осложнений не было.

— А могут быть? — встревоженно спросил он.

— Не знаю... Я же в первый раз...

Затем они стали пить чай. Володька подал чашку и тарелку с хлебом и колбасой Майе в постель. Ей, видимо, были приятны его ухаживания, хотя делал он все довольно неумело, нескладно.

— Это ты здесь сделала? — спросил он с трудом.

— Нет... Еле до дома доплелась. Мать, наверно, догадалась, но ничего не спросила. У нас с ней такие отношения — каждый сам по себе. Как и с Олегом, кстати,— грустно добавила она.

— Ты его не любишь?

— Глупенький... Если бы любила, ничего бы у нас с тобой не было. Неужели не понимаешь?

— Тогда, Майя... тогда...— Володька запнулся.

— Что тогда? Ты делаешь мне предложение? Так я поняла?

— Так! — отрубил Володька решительно.

— Чтобы искупить свою вину? — она улыбнулась.

— Не только... — Он хотел продолжать, но она остановила его:

— Не говори больше ничего. Не надо, — и легонько потрепала его по щеке. — Все остается по-прежнему. Ох, какой идиотский вид у тебя был вчера, — она тихо рассмеялась.

— Я серьезно, Майя...

— Признайся, милый, отлегло от души? Не смущайся, я понимаю... Ты иди, Володя... Знаю, как не любят мужчины сидеть у больных.

— Почему не любят?

— Уж не знаю, — она чуть улыбнулась, но тут же лицо дернулось от боли. — Уходи, Володька, — повторила она немного раздраженно.

— Я буду звонить и заходить, — пообещал он.

— Спасибо, — совсем тихо сказала Майя и отвернулась.

Гошку, конечно, признали вменяемым, несмотря на то, что Володька, проштудировав курс психиатрии и вычитав там о патологическом опьянении, советовал Гошке напирать, что выпил всего сто пятьдесят и после этого потерял память. Но забыли они оба, что в своих показаниях в милиции говорил Гошка совсем другое и речь шла о бутылке... Но Гошка не волновался. Он не один раз угощал «пострадавших», и те обещали показывать на суде, что мата не было.

За несколько дней до суда зашел Володька к Рае, принес ей десяток пирожных из коммерческого. Она смущенно благодарила, говоря «зачем это?», но поглядывала на пирожные с умилением, признавшись, что не ела их с довоенного времени. Сказала, что красивая рыжая женщина судья — ее однокурсница, что она, вспомнив дело, объяснила: учитывая фронтное прошлое подсудимого, можно применить условное наказание, хотя такое к семьдесят четвертой применяется редко, в исключительных случаях. Володька успокоился сам, успокоил Надюху, ну а Гошку нечего было успокаивать, тот был уверен, что выкрутится.

Но все повернулось по-другому... Видать, судебная

экспертиза написала в своем заключении, что Гоша пытался симулировать патологическое опьянение, а судью возмутили измененные показания «пострадавших», она поняла, разумеется, что обработал их Гоша. Пригрозила возбудить дело о лжесвидетельстве, и те, струхнув, начали маяться, нести что-то несусветное: забыли, не помним, сами пьяные были и тому подобное. Красивая судья все хмурила и хмурила брови, и в результате короткого совещания с заседателями приговор! Один год лишения свободы!

Надюха вскрикнула. У Володьки упало сердце, а к скамье подсудимых уже подходили два милиционера, чтобы взять Гошку под стражу.

— Ну вот,— сказала Надюха, когда вышли они из здания суда.— Доигрался Гошка. Теперь в Москве не пропишут, опять я одна буду.

— Погоди, Надюха, надо адвоката взять на пересмотр дела в горсуде,— сказал Володька.

— Возьму, конечно, да вряд ли что выйдет... Вообще-то устала я от него. Пока, Володька,— подала холодную, вялую руку.

Черт возьми, как нелепо все получилось, думал Володька, и неожиданно, главное. Гошка, конечно, в лагере не пропадет, но Москвы ему не видать. Проходя Селиверстов переулочек, он машинально завернул к бару — размочить горе, выпить кружку пивка. Народу было полно. Сильно хмельной инвалид с аккордеоном безбожно перевирал мотив «Землянки», но ему все же подпевали, путая слова... За столиком в углу шумели. Приглядевшись, Володька увидел Вовку Деева, какую-то девицу и Левку Тальянцеву — это они громыхали разговором.

— Засранец ты! — со вкусом выкрикивал Деев любимое свое словцо.— Думаешь, майора схватил — умнее других стал? Врешь! Ты же троечником в школе был. Меня же к тебе Зинаида прикрепил, чтоб я поднатаскал по математике. Не помнишь? А сейчас нос кверху, орденами похваляешься. Знаю я, как «звездочки» хватают!

— Очнись! Ты что сказал?! И кому? Мне?! — оборвал его Тальянцев, побледнев.— За такое, знаешь, и врезать можно.

— Попробуй! Меня теперь можно! Мне на одной ноге не устоять.

— Думай, что говоришь!

— Я думаю! Кстати, мне есть чем думать-то. Я в архи-

тектурный с первого захода поступил. Канаев срезался, а я поступил. Понял?

— Теперь ты хвастаешься,— примирительно сказал Тальянцев.— Хватит лаяться, дружили же в школе.

— Ладно,— успокоился и Деев.— Знаешь, почему я завелся? Вот из-за такого же майора, который выслуживался, меня и долбануло. Послал, гад, в безнадежное дело. Ты хоть ранен-то был?

— Контузия сильная была.

— А меня пулькой разрывной! Чуешь разницу?

— Кончай базар! — крикнул Володька, подходя к ним.— Чего завелись? Подсесть можно?

— Конечно... Садись...— Оба, видно, обрадовались приходу Володьки, разрядившему обстановку.

— Знакомься,— ухмыльнулся Деев, показывая на девуцу.— Тамара.

Девушка вблизи оказалась совсем не девицей, а вполне зрелой полноватой дамой восточного типа с красивым, но вульгарным лицом, к тому же сильно накрашенным.

— А ты все постишься? — подмигнул Деев и захохотал.— Тамарка, заказывай еще! Разочтусь. Угощаю я сегодня!

— Чего это щедрый такой? — усмехнулся Володька.

— У меня сейчас вроде свадебного путешествия. Маршрут: бар — постель, постель — бар,— опять загоготал Деев.

— Володичка,— укоризненно сказала Тамара.— Зачем ты сообщаешь всем такое?

— А чего? Свои же ребята.

...Потом они волочили Деева домой. Он вырывался, ругался, обзывая их своим любимым словечком. Около дома, уставившись мутными глазами, вдруг почти трезво объявил:

— Вот увидите, скажет Деев свое слово в архитектуре! Скажет! Всем вам сопли утрет!

Доставив Деева и его подружку домой, Володька пошел провожать Тальянцева. Тот всю дорогу молчал, а когда Володька спросил его, как он нашел деевскую даму,— брезгливо поморщился.

— А мне почему-то его жалко,— сказал Володька.

Тальянцев неопределенно пожал плечами. Видно, его мало занимало сейчас это. Только у своего переулка, прощаясь с Володькой, сказал угрюмо:

- Знаешь, наверно, демобилизуют меня...
- Почему?
- Разное сплелось... Ну и Люся, конечно...

После того, что случилось, Майя переселилась к матери, и Володька часто бывал у нее. Заходил вечером, и они шли шататься по улицам, где можно было поговорить обо всем. Дома присутствие Майкиной матери их стесняло.

Это были тихие хорошие вечера...

— По-моему, Володька, ты стал ко мне по-другому относиться,— как-то раз сказала она.

— Да, Майка...

— Ты знаешь, я многим нравилась, но возбуждала в ребятах, увы, отнюдь не платонические чувства, и это мне было неприятно, даже унижало как-то... Кстати, и ты, Володька, поглядывал на меня тоже довольно гадковато. А мне хотелось совсем не этого.

— Сейчас все иначе, Майка,— поспешил сказать он.

— Надеюсь,— улыбнулась она, потом задумчиво произнесла: — Может быть, Володька, не надо было ничего?..— и заглянула ему в глаза.

— Почему? — запротестовал он и начал что-то сбивчиво говорить, так и не сумев выразить свою мысль.

В одну из таких вечерних прогулок Володька спросил:

— Ты насовсем переехала к матери?

— Не знаю...

— А как Олег относится к этому?

— Он любит свободу. По-моему, не очень переживает. А мне он сейчас как-то не нужен,— ответила она.

Больше о Майкином муже они не говорили, но зато Володька рассказал ей про Тоню. Теперь, когда отношения с Майей перешли в какое-то другое качество, стали спокойными, более дружескими, он мог уже говорить о Тоне, тем более что хотелось ему с кем-то поделиться — Тоня еще не ушла от него.

— Тебе все-таки нужно с ней встретиться,— подумав, сказала Майка.

— А ты этого не хотела бы? Да? — спросил он.

— Почему? — спокойно отозвалась она.— Я хочу, чтоб у тебя все было хорошо.

— Спасибо,— он легонько пожал ее руку.

Как ни странно, к близости они сейчас не стреми-

лись — ни Володька, ни Майя. Да и негде было побыть вдвоем, кроме как на улице. Днем она работала, вечерами их матери были дома. Эти тихие встречи продолжались и тогда, когда Володька хлопотал о Гошке.

Адвоката Володьке порекомендовал Сергей. Тот запросил три тысячи и уверил, что дело в горсуде выиграет. Володька, как мог, ободрял Надюху.

— Брось ты меня успокаивать. Я так думаю: рано или поздно все равно Гошка в тюрьму угодит. непригодный он для мирной жизни, а пьяный — вообще дурной... Знаешь, бивал он меня... — говорила Надюха.

— Что же раньше не сказала? Вправил бы ему мозги, — возмущался Володька.

— Ну да, вправил... Из-за тебя и выходило все. Дура была, что рассказала...

Посоветоваться насчет Гошки зашел Володька к Толику Лявину. Тот уже не стоял за стойкой — завел буфетчицу, а сам пополнил, поважнел и не предложил Володьке стопку или пива, как делал это раньше.

— За три тысячи никакой стоящий адвокат не возьмется, — заявил Лявин, когда Володька рассказал про Гошку. — Это дело на десять кусков тянет. А таких денег у тебя нет.

— Разумеется, нет.

— Нечего тогда и затевать... Жаль, конечно, Гошку, но сам, дурак, виноват. Мы с ним только одно дельце наладили, и вот тебе на...

— Какое?

— Закуски-то в моем заведении нет, так он вяленую рыбку обещался поставлять. По десятке за штуку пошла бы. Разумеешь?

— Чего тут не разумеешь, — усмехнулся Володька. — Ты, как вижу, процветаешь?

— Это только начало... Деньгу поднакоплю, тогда развернусь. Тогда погуляем, — добавил он, хлопнув Володьку по плечу, компенсируя этим «погуляем» зажатое сегодняшнее угощение.

От Толика Володька направился к Сергею поговорить об адвокате, стоит ли вообще брать. Сергей встретил его своим обычным «салют», крепко пожал руку и провел в комнату. На письменном столе лежала груда вузовских учебников.

— Штудирую, — показал Сергей на книги. — Столько позабыл, даже страшно. Понимаешь, только в тридцать

окончу институт, два года аспирантура, защита — уже тридцать три будет... Черт побери, столько потеряно времени! И самые лучшие годы!.. Ну и что тебе этот Гоша? — спросил Сергей, когда Володька рассказал о разговоре с Лявным.

— Как что? Он же был моим разведчиком, — неприятно удивился Володька небрежности, с какой произнес это Сергей.

— Именно был. Теперь он тебе никто.

— А фронтовая дружба навек? — усмехнулся Володька.

— Да, она была. И на войне, наверно, нужна. Но война-то окончилась, Володька! Зачем тебе теперь этот бывший урка? Что общего? Настоящая дружба требует какого-то одинакового интеллектуального уровня. А с Гошкой только водку пить, больше ничего.

— Он был моим разведчиком. Мы вместе под смертью ходили, — упрямо повторил Володька. — Такое не забывается.

— Ладно, не будем спорить. Ты просто пока не можешь уяснить, что война окончилась и все, что с ней связано, уходит в прошлое. И слава богу, кстати. Наступило другое — настоящая жизнь! Соображаешь?

— Для меня и та была настоящая, — возразил Володька.

— Может быть, может... — махнул рукой Сергей, потом обернулся к нему и в упор: — Тебе что, нравилось на войне?

— Не то слово, Сергей... На войне я ощущал свою значимость. Понимаешь?

— Не понимаю! И не принимаю! — выпалил Сергей. — «Значимость» пушечного мяса, — он горько рассмеялся. — Брось, Володька!

— Я не был «пушечным мясом», — покачал головой тот. — Я был личностью, от которой много зависело.

— Значит, не считал себя винтиком?

— На войне я себя им не чувствовал.

— Но фактически ты им был, винтиком военной машины, — разгорячился Сергей.

— Не знаю... Я этого не ощущал.

— Выходит, не желаешь быть винтиком? — не отставал Сергей.

— Вообще, неверно это, по-моему.

— Ого, — засмеялся Сергей... — Наконец-то слова не

мальчика, а мужа! Все-таки, Володька, мы были самыми умными в классе и кое в чем разбирались даже тогда, на заре туманной юности...

Надюха и Володька медленно брели по Каланчевке из горсуда. Адвокат не помог, и приговор районного суда оставили в силе. Гошка помахал им рукой со скамьи подсудимых, довольно бодро улыбнулся — где наша не пропадала, — и был уведен милиционером. Надюха всплакнула, но вскоре оправилась и сейчас шла с Володькой более или менее спокойная.

— Зайдешь? — спросила она, когда подошли к дому.

Он согласился... На кухне столкнулись с Егорычем, варившим картошку.

— Ну как? — но, увидев их лица, махнул удрученно рукой. — Загремел, значит, Гошка... Ты, Надюха, особо не расстраивайся. Не пара он тебе и буянил часто последнее время.

— Проходите ко мне, Николай Егорыч, четвертинка есть, — пригласила она.

Глазки Егорыча поживели, и он ждать себя не заставил. На троих четвертинки было маловато, и, выпив, они сидели, понуриив головы, и помалкивали, в общем, как на поминках. Егорыч, правда, пытался успокаивать Надюху, говоря, что найдет она еще себе, но та отмахивалась.

— Бросьте, дядя Коля... Чего уж там, — а потом, горько рассмеявшись, добавила: — Где уж нам уж выйти замуж, я и так уж вам уж дам уж.

Володька попробовал улыбнуться, но не вышло. Посидев еще недолго, он распрощался.

— Не забывай меня, лейтенантик, — сказала Надюха. — Заходи иногда.

— Слушай, черт бы вас подрал! Что произошло? — с досадой спросил Виктор по телефону, позвонив Володьке поздно вечером. — Я только ввалился, и вот номер.

— Тоня, значит, вернулась?

— Давно. Но почему-то не звонила тебе? Ты что-нибудь оторвал?

— Ничего я не «оторвал»... Ей кто-то позвонил, ну и я...

— Психанул? — перебил Виктор.

— Да нет... Просто... знаешь... Тоня, наверно, поняла, почему я ушел.

— Ты очень ясно выражаешься,— насмешливо заметил Виктор, а потом скомандовал: — Придешь завтра. И не вздумай брыкаться.

— А Тоня?

— Что Тоня? Я тебя зову. Жду,— он повесил трубку.

...На другой день Володька отправился на Пироговку со смутным, неясным чувством напрасности этой встречи и с боязнью, что Тоня опять заведет речь про Юльку.

Тоня встретила его очень сосредоточенная и какая-то напряженная. Ну, подумал Володька, разговор предстоит, видать, серьезный. Она молча провела в комнату, где витал сладковатый дымок американских сигарет, усадила на диван, сама села на стул против него.

— Приготовься к большому разговору, Володька,— начала она.

— Чую...— пожал он плечами.

— Нам нужно во всем разобраться.

— Наверно,— подтвердил он.

— Ответь мне, только правду... Когда на фронте ты садился писать мне письмо, тебе сразу вспоминалась Юля? Да?

— Как ты угадала?

— А о Юле вспоминать было тяжело, поэтому и писал редко? — продолжала она.

— Здорово ты во всем разобралась... Наверно, было действительно так,— согласился Володька, грустно усмехнувшись.

— Скажу больше, Володька. Не только письма, но и мысли обо мне сразу связывались с Юлей?

— И это правда,— он опустил голову.— Гибель Юльки — мое первое настоящее горе... И вина,— добавил он.

Тоня достала сигареты, протянула ему. Они закурили.

— Помнишь, в сорок втором я говорила тебе, что ни перед кем не чувствую себя виноватой, даже перед Юлей?

— Помню...

— А когда она погибла, почувствовала. И у меня, Володька, часто перед глазами встает холмик рыжей земли, о котором ты писал...— она задумалась, потом вскинула голову, у нее вырвалось: — Что же нам делать?

— Не знаю,— опять пожал плечами.

Володька более или менее понимал Тоню. Ей нужно было найти какую-то значительную причину того, что случилось. Почему ушло все куда-то? Почему встретились почти чужими? И она нашла — Юлька! Но, наверно, все

было гораздо проще и обыкновеннее — время. Те долгих три года, которые прожили они совершенно по-разному, совсем в других измерениях. У Тони была одна жизнь, у него другая. Если бы удалось им встретиться хоть один раз за эти годы, может, все было бы иначе?

Послышался скрип открываемой двери, и в комнату ворвался Виктор. Бросился к Володьке, стиснул его руку, хлопнул по спине.

— Бегал на Усачевский! Ждем тебя, а в доме пусто. Но и на рынке ничего такого не оказалось. Ну, как вы здесь, ребятки? Договорились?

— Договорились...

— Что таким загробным голосом, Тоня? Погодите, я сейчас вами займусь! А пока, сестренка, поставь-ка чайку.

Тоня вышла на кухню.

— Ну что? — наскоком спросил Виктор.

— Ничего...

— Как это ничего?!

— Вот так, Виктор.

— Ладно, все будет в порядке, — бодро улыбнулся он.

Тоня вернулась, но не села, а стала прохаживаться по комнате.

— Еще в сорок втором, — остановилась она напротив Володьки, — я предчувствовала, что Юля рано или поздно встанет между нами... И вот...

— Опять начала! — воскликнул Виктор. — Вчера весь вечер об этом долбила, — повернулся он к Володьке. — Тоже мне эти дамские тонкости.

— Да нет, Виктор, наверно, действительно так, — решил тот поддержать Тоню, хотя все яснее понимал, что дело в другом.

— Вы что, братцы, всерьез? — возмутился Виктор, переводя взгляд с Володьки на Тоню. — Ну, ладно, Тонька — девчонка, но ты-то солдат! Юли нет, и ее не воскресишь. И какие вы себе вины выдумали? Какого черта...

— Перестань! — остановила его Тоня. — Перестань.

— Не перестану! — ударил он кулаком по столу.

— Прекрати! Или я попрошу тебя убраться из комнаты, — вдруг сорвалась она, и ее резкость, даже грубоватость неприятно поразили Володьку.

Виктор замолк, надулся, и Володька увидел, что, несмотря на свою шумливость и голосистость, находится

он под каблучком у своей сестры. Что командует в доме она. Виктор суетливо зашарил по карманам, вытащил папиросы и так же суетливо закурил. Тоня вышла на кухню.

— Все и проще и сложнее, Витя,— сказал Володька.

— Выдумываете вы сложности,— проворчал он.— Ну вас к черту! — Он уселся, положив ногу на ногу, показывая, что умывает руки.— Разбирайтесь сами.

Тоня принесла чайник и стала накрывать на стол. За чаем шел вялый разговор ни о чем. Виктор выпил чашку и поднялся, объяснил, что нужно к кому-то зайти. После его ухода Володька сказал:

— Как ты все разложила по полочкам...

Тоня вскинула на него глаза и быстро проговорила:

— Я очень долго думала. И вот...

— Это и видно...— протянул он и встал из-за стола.— Ну, ладно...

— Ты уходишь? — в ее глазах что-то мелькнуло, то ли испуг, то ли боль, но удерживать его не стала, только сжала губы и немного побледнела.

Володька посмотрел на нее и двинулся к выходу. Она пошла за ним. В коридоре они остановились.

— Но разве не так? Разве я не права? — как-то торпливо спросила она.

— Все, наверно, так, Тоня... Ну, пока...

— Пока...— прошептала она.

Выйдя, он поглядел на Тонин дом, на Пироговку и мысленно попрощался и с этим серым домом, и с этой улицей. Боли не было. Было лишь очень и очень грустно. Ушел в прошлое небольшой, но очень яркий кусочек его жизни. И будет ли еще такое, неизвестно. Наверно, нет...

На Колхозной Володька увидел Деева и его даму. Они, по-видимому, прощались. Володька хотел пройти мимо, но Деев заметил его, окликнул.

— Володичка, миленький, не могу сегодня к тебе. Ты отдай деньги, я же платила, а у нас «гамбургский счет», как договорились, и я пойду,— услышал Володька, подойдя к ним.

— Да отдам завтра. Знаешь же, нарочно с собой не беру.

— Ну хорошо, Володичка, я побежала. Не забудь, завтра.

— Ладно,— махнул рукой Деев и повернулся к Володьке.— Новость знаешь?

— Какую?

— Тальянцева вроде из армии поперли... Второй день в баре сидит и ни слова ни с кем. Меня словно не видит. Теперь покрутится...

— Ты словно злорадствуешь? — оборвал Володька.

— Да нет, что ты. Вообще-то, знаешь, хорошие люди так быстро в начальники не выбиваются. Кстати, о Левке мне один лейтенант-сапер в госпитале рассказывал, в училище с ним был. Левку отделенным назначили, так знаешь, ребята ему темную устроили после окончания. Значит, хорош был отделенный! А потом, помнишь, как нос перед нами задирали — мелочь вы, дескать, дальше лейтенантов не пошли.

— Во всех ты, Вовка, недостатки ищешь... Со школы причем у тебя это,— сухо сказал Володька.

— А я неудачник, Володька. С рылом мне не повезло, сами Кобылой прозвали, с отцом тоже, в войну не везло. Пустяковое ранение вот чем обернулось.

— С институтом зато повезло.

— Нет уж, дудки! Тут не везение было, а упорство. Ты перед экзаменами девками занят был, с Сергеем ночами ходил, философствовал, а я вкалывал.

— Какими девками? — удивился Володька.

— Если я чего добьюсь, то тоже работой ломовой... Начну заниматься, Томку эту побоку. Сейчас за войну догуливаю. Да и не было у меня женщин, она первая. Дорвался, так сказать.

— Ладно. Зайду я, пожалуй, к Тальянцеву,— сказал Володька.

— Соболезнование выразить? Пошлет он тебя! Ему теперь без адъютантов да ординарцев несладко.

— Все равно надо зайти.

— Валяй,— и Деев заковылял в сторону своего дома.

Дойдя до переулка, где жил Тальянцев, Володька заколебался: может, действительно не стоит, может, и верно, пошлет его Левка? Но, возможно, и другое — нужна ему сейчас какая-то поддержка. И он завернул в переулок.

Открыла незнакомая женщина с растерянным, помятым лицом.

— Мне Леву,— сказал он.

— Его нет. А вы кто? — спросила она, разглядывая Володьку.

— Школьный товарищ...

— А, школьный... Не знаете, наверно, ничего?

— Слышал, что уволили его из армии.

— Да... А из-за чего, знаете?

— Нет.

— Может, говорил он вам про... — она замялась.

— Нет, не говорил, — быстро сказал Володька.

— Ладно, чего скрывать? У меня с ним все кончено. Из-за этой... все и получилось, а сейчас, когда его уволили и стал он никем, бросила его, в свою Молдавию укатила. Где он сейчас пропадает, не знаю. Пьет. Страшно пьет. Родители в таком горе, замучилась с ними... Ну вот, все вам выложила, чтоб знали, каков ваш школьный приятель, — добавила она с болью и злобой.

Несколько раз звонила Надюха, приглашала к себе. Володька отнекивался, но все же пошел — обидится. Встреченный по дороге Егорыч шепнул, что переживает она очень, прикладываться стала частенько.

И верно, не успел Володька зайти в комнату и поздороваться, как небрежно одетая Надюха вытащила из буфета пиво и закуску.

— Не побрезгуешь? Садись тогда... — сказала вяло и как-то без выражения. — Неужто занятый такой стал, что и зайти не можешь? Ведь в институте еще не начал заниматься.

— Не начал, но читаю, кое-что вспомнить надо, — он и вправду стал много читать.

— Понимаю. Без интереса тебе ко мне хаживать, о чем с заводской бабой говорить?

— Что ты, Надюха? Я тебе за многое благодарен. Я почти ни с кем сейчас не встречаюсь. Надо как-то собраться перед институтом. — Помолчав немного, спросил: — Пишет Гошка-то мой?

— Пишет, — равнодушно сказала она. — Да что толку? Боюсь, он своих дружков там встретит и по новой пойдет. Не пойму я этого суда — за такую пустяковину, а человек опять по кривой может. Я на него надежд не возлагаю, видать, отрезанный он ломоть... Тоскливо мне, лейтенантик, жить... Тоскливо...

Пива Володьке не хотелось, но и обидеть Надюху было нельзя, пригубил немного. Она же, выпив, уставилась

глазами в одну точку и затянула какую-то тягучую песню, которую вошедший Егорыч начал подтягивать.

Володька сидел, подперев рукой голову... Старинные русские песни возвращали его всегда в долгие эшелонные дороги, где пели их солдаты заунывными голосами, выхлестывая из души предсмертную тоску, сжимавшую горло, как в те страшные минуты перед атакой, когда нету уже пути назад, а впереди малюсенький отрезок жизни длиной всего-то в поле, расстилающееся перед ним. Сколько же лет будет томить это? Сколько еще просыпаться ему в холодном поту после военных снов?

— Хватит, ребятаки,— не выдержал наконец он.— Таковую тоску нагнали.

— А ты без тоски прожить хочешь? — усмехнулась Надюха.— Нет, лейтенантик, нам с Егорычем радоваться не отчего. Вот и облегчаем душу... Ладно, кончим. Верно, дядя Коля? А то как бы Володька у нас от тоски не помер. Давай веселую!

Егорыч веселую не захотел, поговорим лучше. Но разговор что-то не пошел, и Володька, посидев еще недолго, стал прощаться. Как ни отказывался он, но всучила ему Надюха полбуханки хлеба и банку консервов.

— Не ломайся, лейтенантик. От чистого сердца я, да и не обедняла пока хлебушком, а тебе небось не хватает.

Володьке, разумеется, не хватало — у матери карточка служащая, у него рабочая, Р-4, скудно было, а в конце месяца случались дни и действительно пустоватые: жидкий чай без сахара да хлеб.

— Деньги есть? — услышал Володька резкий командный голос за своей спиной.

Он обернулся. На него смотрел Тальянцев, весь какой-то почерневший, подергивающийся, в мятом, измазанном чем-то штатском костюме.

— Ни рубля,— пошарив в кармане, ответил Володька.

— Достань,— так же резко, без просьбы бросил Левка, добавив уже тише: — Видишь, какой я?

— Вижу. Дай подумать,— сказал Володька, хотя думать было вроде нечего: у матери денег нет, Майка на работе. Но вспыхнуло вдруг.— Пойдем.

— Куда?

— На Сретенку.

— Пошли.

Они повернули назад. Володька вел Левку на Сретенку, к Толику, который отпустит, конечно, стаканчик в долг. Проходя мимо гастронома, бывшего торгсина, он, чтобы разрядить тяжелое молчание, сказал:

— Помнишь, мальчишками на французские булки через витрину любовались, слюну пускали?

— Да...— хмуро буркнул Тальянцев.

Они вошли в пивную, Володька остановился, ища глазами Толика, но того нигде не было. Вот черт возьми! Он подошел к стойке и спросил у буфетчицы, где Толя. Та усмехнулась:

— Нет твоего Толика.

— Как нет? Перевели куда?

— Перевели на... Таганку. Подойди ближе,— перешла она на шепот.— Зарвался твой дружок. Он, кобель, со всеми бабами, директорами продмагов, крутил, ну они ему карточную водку и сплавляли, а барыш пополам. Хорошо, не знала я про его штучки, а то бы и меня загребли. Не знаю уж, выкрутится твой Толик или нет.

Володька отошел от стойки... Погорел, значит, Лявин. Что же с Левкой делать? Он обвел шалман глазами, знакомых не видно. А кое-кто из завсегдаев-фронтвиков должны были ему еще с тех пор, когда он сюда частенько заглядывал. Но как назло — никого. Что же придумать? Буфетчица в долг не даст. Не такая баба...

Решение пришло неожиданно, когда наткнулся взглядом на здорового мужика в засаленном пиджаке. Подошел к его столику.

— Погнуться не хочешь? — выставил Володька левую руку.— На сто пятьдесят и кружку пива?

Тот поглядел на Володьку и презрительно фыркнул:

— Пацан ты... Хочешь, я сейчас тебя на вытянутых руках из этого шалмана вынесу? Шенок, а еще гнуться!

Мужику было за тридцать, и Володька чуял, что тот вполне может это сделать, но при перегибании рук сноровка нужна, техника.

— Чего ж тогда боишься? Давай,— подзадорил Володька.

— Я боюсь? — выкатил тот глаза и засмеялся.— Грабить тебя не хочу.

— Слабак ты,— кинул небрежно Володька, цепляя мужика на последнюю наживку.

— Дурачок, я же кузнецом работаю. Деньги-то есть?

— Есть,— как можно тверже ответил, глядя прямо в глаза кузнецу.

— Готовь монету.

Володька знал, что, если проиграет, мордобой неизбежен, и уж метелить его этот кузнец будет по-настоящему. Да и Левку, который стоял рядом, еще больше почерневший.

Кузнец выставил руку с большой, тяжелой кистью, грязноватой от въевшегося в кожу металла, и проворчал:

— Ну, валяй, гни.

Володькина, тоже немаленькая, кисть утонула в лапе кузнеца, который сразу же начал сжимать Володькину, стараясь придавить до боли. Володька тоже сжал свою кисть и, почувствовав, что здесь они на равных, немного успокоился. Пока тот сжимал ему кисть, Володька резко нажал всем предплечьем неожиданно для кузнеца, и рука у того поддалась чуть вправо, но он быстро выправил положение. Руки обоих стояли ровно. И тут кузнец начал давить... Володька держался с большим трудом, изо всех сил, понимая, что стоит только уступить несколько градусов и — хана. Так прошло минут пять. Лица у обоих покраснели и покрылись потом. Оба тяжело дышали. Теперь кто быстрее устанет. Прошло еще две-три минуты, напор руки кузнеца чуть ослаб, и Володька мог держать его руку, не напрягая всех сил, тем самым давая себе отдых. Но кузнец, перестав жать, тоже давал руке отдохнуть. Теперь нужен, наверно, рывок, подумал Володька и резко нажал. Рука кузнеца опять немного поддалась вправо... Надо жать, жать! Но давил Володька уже из последних сил, понимая, что если не перегнет сейчас, то уже не выправится, но эти чуть-чуть Володька не смог... Рука кузнеца пошла влево, и опять они были на равных, но потом... Потом медленно, но верно Володькина рука пошла вниз, пока не легла на стол.

— А ты силен, парень...— отдышавшись, сказал кузнец.— Давай отвечай. Иди за водкой.

Володька молчал, тоже тяжело дыша...

— Понятно... На шермачка хотел взять? Знаешь, что за это? — с угрозой сказал кузнец.

— Знаю,— коротко бросил Володька.— Бей.

— Это успеется... Знать хочу, зачем на понт шел?

— Другу,— кивнул Володька на отошедшего от столика Тальянцева.— Видишь, плохо ему.

— Фронтной?

— Нет, школьный.

Кузнец помолчал, видно думая о чем-то, потом полез в карман и вытащил две тридцатки.

— Рисковый ты парень... Хотя рука у тебя ничего. Был миг, когда засомневался я. Но у меня же вес. Килограммов на тридцать больше тебя тяну, наверно. Весом и взял. Держи, опохмели друга,— и он протянул Володьке деньги.

— Спасибо... Спасибо,— дрогнувшим голосом сказал Володька и бросился к Тальянцеву.— Бери покупай.

Тот удивился, но деньги взял и к буфету. Володька вернулся к столику.

— Где в войну служил? — спросил кузнец.

— В пехоте... Одно время разведвзводом командовал.

— Ого,— протянул кузнец.— Значит, там силенки и поднабрался.

— Там...

— Может, сам выпить хочешь? — совсем размяк кузнец.

— Нет.

Подошел Тальянцев со стопкой водки и маленькой кружкой пива. С жадностью выпил. Прошла землистая бледность, отвердел взгляд, высокомерно задралась голова.

— Поблагодари дружка-то,— сказал кузнец.

— Разочтемся мы... И с вами я рассчитаюсь. Будьте завтра в это же время,— сказал Тальянцев сухо.

— Не будет меня в это время... Ну, бывайте, хлопцы...— он забрал с собой остатки закуски и вышел из пивной.

— Мужик каков! — кивнул вслед кузнецу Володька.— Я думал, бить начнет.

— Ну, бить я ему не дал бы,— сказал Левка, хлопнув себя по заднему карману, и Володька понял, что там пистолет.

— Не сдал?

— У меня именной...— небрежно бросил тот.— Спасибо, малость полегчало.

— Ты что, сейчас здорово закладываешь? — спросил Володька, но сразу по выражению Левкиного лица понял — не надо было.

— С чего это решил? — процедил Левка.— Просто перебрал вчера.

— Ничего я не решил, спросил только.

— Спросил? — протянул тот. — Думаете все, пропадет Тальянцев? Не из такого я материала. Понял?

— Кто это «все» так думают?

— Думают... некоторые. Дескать, взлетел высоко — сильнее брякнется. Знаю я. Завидовали мне многие, Володька. Сейчас радуются.

— Про кого ты, Левка?

— Знаешь, про кого... Деева в баре видел. Ухмыляется так противно. Сам еле до лейтенанта дотянул, а тоже мне — оставлю след в архитектуре... Ни фига он нигде не оставит.

— Брось, Левка, кажется тебе это. Закуришь?

— Давай, — Тальянцев прижег папиросу, жадно затянулся. — Вообще-то, Володька, я же на войне хозяйном был. Понимаешь? Но не только это. Я себя на месте чувствовал. По мне все было — и напряжение дьявольское, и мгновенные поиски решения боевой задачи, и риск... Полной жизнью я жил. На всю железку. Ну а сейчас... — он безнадежно махнул рукой. — Люсю мою помнишь?

— Конечно.

— Бросила! Как в запас уволили, так и ушла. В погонах я ей был нужен, вот что! А уж слова какие говорила, вилась вокруг меня, как змея, — он резко кинул окурок и растоптал.

— И черт с ней! — сказал Володька.

— Не получается... Вот барахло разное продам и махну к ней в Молдавию... — он посмотрел на Володьку, криво усмехнулся. — Что, не похоже на меня?

— Не похоже.

— Сам диву даюсь. Как опоила чем... Из-за нее и с армией... Ну, пока, — резко и неожиданно сказал он, круто повернувшись.

В этот вечер, выйдя из дома, чтоб пойти к Майке, Володька неожиданно столкнулся с Толькой Лявиным. Тот был обстрижен под машинку, лицо опало, скулы подвело, но взгляд плутоватых глаз бодр.

— Все в порядке? Отпустили? — спросил Володька.

— Пока на поруки, но, думаю, обойдется... Сейчас на адвоката деньги собираю. Знаю, у тебя нет, но может, у кого из знакомых. Отдам точно.

— Нет, Толя, у меня таких знакомых, к сожалению.

— Вообще-то я наберу, конечно... Ты как узнал про меня?

— Буфетчица сказала...

— Она меня и заложила! Но про нее тоже материалчик есть, поплачет еще...

— Значит, думаешь выкрутиться?

— Выкручусь... Доказанных фактов-то нет. Адвоката надо ловкого.— Толик помолчал, вытащил папиросы, предложил Володьке.— Ну а ты куда?

— В полиграфический перевелся... Скоро занятия.

— Значит, пять лет лапу сосать? — усмехнулся Толик.— Нет, такое не по мне. После этой войны пожить хочу. Я же постарше тебя на два годка, двадцать семь стукнуло, а жизни пока не видел.

— Веревочка, Толька, недолго вьется,— заметил Володька.

— Кто как сумеет... Я неопытный еще, вот и промазал, да и спешил. А зарываться нельзя, помаленьку надо. Знаешь, «жадность фрайера сгубила»? Это надо всегда помнить. Ну и с людьми, конечно, обхождение блюсти, чтоб не обижались... Вот так, без спешки годиков через пять можно и в директора ресторана выйти... Ну, конечно, придется торговый техникум заочно кончить...

— Целая программа-максимум.

— А что, каждый тоже свою пятилетку должен иметь,— ухмыльнулся Толик.

— Ну, валяй,— сказал Володька на прощание...

С Майей он встретился на Колхозной и пошел провожать ее до дому.

— Если мамы нет, тогда зайдем, посидим... Ужином тебя угощу,— сказала она, беря его под руку.

Но Майкина мать оказалась дома.

— Может, еще пройдемся? — предложил Володька.

— Устала я. Постоим, покурим...— она помолчала немного, потом спросила: — Что у тебя с Тоней?

— Я же рассказал тебе.

— Но я думала...— она не закончила, поглядела на Володьку и грустно протянула: — Да, прошлое не возвращается. Я поняла это. А ведь хотела вернуть, и ничего не по-лу-чи-лось...— четко отделила она слоги.

— Получилось, Майка. Мне хорошо с тобой...

— Правда? — радостно спросила она.— А помнишь, как не принял меня вначале? «Как это в войну можно хорошо жить?!» — повторила его слова и рассмеялась.

Улыбнулся и Володька... Прошло около трех месяцев после его возвращения в Москву, а сколько всего уже

случилось, подумал он. Они докурили, попрощались, и Володька направился домой.

На углу Колхозной увидел Лелю. Она была не в военном, а в каком-то дешевеньком, но милом платъице и в туфлях на высоком каблуке. Шла с подругой, оживленно болтая, а около них брел малость подвыпивший лейтенант простецкого вида, пытающийся, видно, заговорить с ними и познакомиться, но делавший это неумело, неуклюже от стеснительности, и Леля с подружкой что-то острили в ответ, смеялись, а лейтенант туповато улыбался, не постигая, наверно, блеска острот московских девиц.

Увидев Володьку, Леля отвернулась, сделала вид, что не заметила, и прошла мимо. Он не стал ее останавливать, но, обернувшись, поглядел вслед. Она шла, цокая каблучками, смело покачивая бедрами... Увалень лейтенант сделал попытку взять ее под руку, но она увильнула, что-то сказала, и девушки громко рассмеялись, а лейтенант обиженно пожал плечами, но не отставал.

Тут Леля повернула голову и, заметив, что Володька стоит и смотрит на них, вдруг совсем по-девчоночьи сооронила гримаску и... показала язык. Володька рассмеялся — ожила Лелечка. Ему стало как-то легко на душе, будто сбросил что-то, и, пожалуй, впервые за эти месяцы он так ясно, радостно ощутил, что война-то позади и что впереди целая жизнь, в которой обязательно все будет хорошо...

И, когда на другой день утром ему позвонил Коншин и предложил сходить в Третьяковку, он с радостью согласился, удивившись, как же ему раньше не пришло это в голову, он так любил Третьяковку и часто ходил туда до армии.

— Ты часто, а я каждую неделю, — ответил Коншин.

Они встретились на Колхозной и пошли к Кировскому метро. По дороге Володька спросил:

— Неужто каждую неделю ходил? Зачем?

— Понимаешь, Третьяковка меня как-то тревожила, вдохновляла. Приходил домой и сразу за холст и масло. Аж дрожал, так хотелось писать, запах масляных красок вдыхал, как амбру. — Коншин засмеялся.

— Раз так, тебе в Суриковский надо было.

— Я сдавал туда. Не прошел. Рисунок у меня слабый. С натуры рисовать не любил, все больше фантазировал...

— Что же фантазировал?

— Разное, — опять засмеялся Коншин. — Когда гого-

левский «Портрет» прочел, наверно, года два старика этого писал, с глазами его мучился. А после Герцена, где, помнишь, он о взгляде Николая I писал, стал императора изображать с его змеиным взглядом. Конечно, не получилось, мальчишкой же был. Надо бы с натуры побольше писать, а мне скучно — всякие там античные головы или натюрморты... Короче, брался за многое, а ничего не заканчивал. Вроде Райского из «Обрыва»...

Они недолго помолчали, потом Володька спросил:
— Тебе охота в институте заниматься?

— Охота, — не задумываясь ответил Коншин. — Я и литературой увлекался, но все бессистемно, а в институте по порядку начнем — с антиков.

— Мне тоже надоело болтаться.

В метро Володька хотел было спросить Коншина, как у него с той девушкой, которая поджидала у института, но постеснялся. По переулку, идущему к Третьяковке, они шли притихшие, в предвкушении того прекрасного, что ожидает их там. Такими же притихшими и сосредоточенными вошли в залы. Древнюю живопись они проскочили, особо не задерживаясь, так же быстро прошли и восемнадцатый век, торопились к передвижникам... Тут все было знакомо, близко, но, к удивлению обоих, прежних восторгов они не вызвали. Заспешили дальше и тут, поднимаясь по лестнице, вдруг увидели сверху что-то ослепительно светящееся. Что это?! — воскликнули оба, потому что не видели этого полотна раньше. То был левитановский «Золотой плес»! Они стояли и смотрели на эту напоенную воздухом, пронизанную золотым светом заходящего солнца картину, и таким бесконечным покоем охватило обоих, что они долго ничего не могли сказать друг другу, а стояли и стояли, тяжело дыша, и только поглядывали друг на друга, передавая взглядами свои ощущения. Наконец Володька еле слышно произнес:

— Необыкновенно...

— Да... Знаешь, вдруг стало страшно: убило бы и не увидели... Ты тоже в первый раз видишь этот «Плес»? — спросил Коншин.

— В первый... Перед войной, наверно, в запаснике лежал. У меня другое возникло: не победили бы — все пропало бы, все немцы уничтожили бы.

Эта в общем-то не новая для них мысль — знали же, что немцы сделали с Ясной Поляной и с Михайловским, — вдруг обрела страшную конкретность: всего, всего, что

они здесь видят, любимого и дорогого с детства, могло и не быть!

— Знаешь, Алексей,— сказал Володька,— я как-то поначалу, когда вернулся в Москву, не чувствовал себя победителем. Даже сказал об этом знакомой девушке...

— А сейчас почувствовал? — улыбнулся Коншин.

— Да... И вот что интересно: просматривал на днях русскую хрестоматию Галахова и там попались стихи Вяземского... Слушай: «А мы остались, уцелели из этой сечи роковой, по смерти ближних оскудели и уж не рвемся в жизнь, как в бой...» Вот это — уже не рвемся в жизнь,— оказывается, естественное состояние людей после войны. Занятно, правда?

— А Вяземский разве воевал?

— Стыдно признаться, но не знаю.

— Я тоже... А рваться в жизнь все-таки надобно хотя бы для того, чтобы знать, воевал ли Вяземский,— засмеялся Коншин.

Потом Коншин повел Володьку к своим любимым художникам — к Нестерову, Серову, Коровину, Малявину и, конечно, к Врубелю. Но к левитановскому «Плесу» они возвращались не раз. На обратном пути Коншин больше помалкивал. Видно, думал о чем-то и только на Москворецком мосту сказал:

— Помнишь, говорил тебе, что разбрасывался в юности, ни черта не заканчивал? Сейчас такого не будет! И знаешь почему? — улыбнулся он.— Койки армейские заправлять обучен, да так, что с закрытыми глазами смогу, и без единой морщинки! Ерунда вроде, а с такой мелочи...

— Забыл другое, Леша...— перебил Володька.

— Не забыл. Ты про войну, про то, что кровь из носа и прочее... Но началось-то с койки! Вот ходили мы с тобой по Третьяковке. Какие мастера! Сколько труда за каждой вещью! Знаешь, в институте филоныть нельзя. Вкалывать надо! Иначе ни черта из нас не получится!

— Тебе хочется, чтоб получилось? — усмехнулся Володька.

— Ни о чем таком не мечтаю. Я не честолюбив. Просто мужик должен знать свое дело и уметь его делать. Пока я ни черта не умею!

— Ты прав,— подтвердил Володька, подумав с горечью, что и он пока ничего еще не умеет, кроме как воевать. Вспомнил, как завидовал ребятам на фронте, которые

имели за плечами не десятилетку, а техникум, какие-то конкретные знания и специальность.

Придя домой, Володька рассказал матери о Третьяковке и о разговоре с Коншиным. Мать внимательно его выслушала и серьезно сказала:

— Пригласи его к нам. Наверно, вам надо подружиться,— она взяла табак и стала завертывать сигарку.— Знаешь, Володя, твой друг прав. Для мужчин важно хорошо знать свое дело. Я замечала, что не любят работу люди, плохо ее знающие.— Она закурила и, улыбувшись, спросила: — Значит, с Вяземским оконфузились?

— Да, мама,— рассмеялся Володька.— Скажешь?
— Нет,— засмеялась и она.

— Володька,— остановил его голос Деева, но изменившийся, странный.— Я звонить тебе хотел...

— В чем дело? — обернулся к нему Володька и увидел бледное лицо.

— Левка умер...

— Что?! — Володька оцепенел.

Они долго стояли молча друг против друга, не находя слов. Такое обычное и обыкновенное на войне — смерть — сейчас показалось не только нелепым, но почему-то очень и очень страшным. У Володьки пробежал озноб по телу. Он выдернул папиросу, жадно закурил:

— Отчего... умер?

— Не знаю... Мне сейчас его сосед по дому сказал... Завтра похороны. Пойдешь?

— Конечно. Надо ведь.

— Да, надо...— с трудом повторил Деев.— Приходи к двенадцати в морг у Склифосовского... Сергею позвони...

У морга стояли несколько военных, пожилой мужчина с измученным лицом, наверно, Левкин отец, а чуть поодаль группа немолодых женщин, среди которых Володька узнал мать Тальянцева и его жену, с которой говорил совсем недавно... Он подошел к матери. Та узнала его, молча кивнула. Кивнула и жена Тальянцева... Спустя немного появились Деев на костылях и Сергей в военном...

На таких похоронах Володька не был с тридцать шестого года, и вся обстановка — молчавшие родные, ожидание гроба с покойником, сам морг, — все было тяжелым, гнетущим... Здесь смерть была событием, а не тем простым и обычным, как на фронте. Володька подумал, что там она была легче.

Когда гроб вытащили из лифта, эта механизация показалась Володьке кошунственной, и смотреть, как открывались дверцы лифта, как появился там гроб, было страшнее, чем видеть раздетые до нижнего белья трупы под Ржевом. Гроб поставили на стол. Первой к нему бросилась мать и, склонившись, стала целовать сына. Отец стоял окаменев. Жена с сухими, широко раскрытыми глазами... Какие-то старушки, видать дальние родственницы, крестились. Военные положили цветы. Деев сморщился и захлюпал носом, вспомнив, наверное, свои споры с Левкой...

Тальянцев лежал в военном, при всех орденах и медалях... Обострившееся лицо потемнело, и не было в нем покойнического покоя. Оно было напряженным, страдальческим... Началась процедура прощания. Поцеловал Левку в лоб и Володька. Губы обжег холодок смерти, который он еще долго ощущал на своих губах, как ни протирал их носовым платком.

Хоронили Тальянцева на Пятницком кладбище... После того как могилу засыпали, к Володьке подошла жена Тальянцева.

— Вы Левины товарищи по школе. Его мать приглашает вас... помянуть...

— У вас и так много народу,— стал отнекиваться Володька.

— Да, конечно... Мы помянем его сами,— поддержал Володьку Сергей.

— Как хотите,— равнодушно сказала жена, добавив: — В армии не было у него настоящих друзей. Видно, и в школе...

— Ну зачем вы так? — вспыхнул Володька.

— Простите... Но никто же не помог. Видели, гибнет человек, а никто... Что я могла? Только умолять. Просила не ехать его за этой... Нет, поехал. Вернулся и...

— Застрелился? — спросили они почти все разом.

— Да... Прятала я от него этот чертов пистолет, прятала, нашел-таки...— она замолчала.— Ну, пойду, поминки эти еще...

— Мда...— протянул Сергей, когда они остались втроем.— Такого не ожидал.

— Ну что, Деев, перестал себя считать неудачником? — спросил Володька.

— Иди ты... Ребята, а помянуть Левку надо. Пошли в бар? Муторно на душе, мочи нет...

— Не то слово... Нелепость это! Нелепость! — воскликнул Сергей.— Провоевать всю войну, остаться живым... И вот... Надрыв, потеря воли к жизни, перенапряжение? Что это?

— Есть и другое,— заметил Володька.

— Знаю, но это побочные причины,— отмахнулся Сергей.— Может, в этой нелепости есть своя закономерность?

— Опять начал философствовать. Брось, Сергей,— остановил Деев.— Не то все говорим! Пошли помянем,— он вытер глаза.

После похорон Володька до вечера бродил по улицам... Случившееся не укладывалось в голове. Он вспоминал встречи с Левкой, стараясь припомнить какие-то мелочи, которые могли дать повод ему предположить такой конец, но ничего не вспоминалось, да и был Левка довольно скрытен, особо о своих делах не распространялся.

Домой он пошел через черный ход, выходящий во двор. Пройдя ворота, сразу увидел натянутую волейбольную сетку и Витьку с мячом. Тот перебрасывался с пареньком лет четырнадцати, которого Володька не знал — либо тот был слишком мал, когда Володька уходил в армию, либо вообще новый жилец.

— Володь...— крикнул Витька.— Раздобыл все же...— он хотел еще что-то сказать, видимо, предложить Володьке поиграть, но вовремя остановился.

— Вижу... Сегодня не до того мне, с похорон иду, а на днях, может, поиграем.

— Правильно, Володь, левую потренируешь,— обрадовался Витька.— Ничего, скоро соберем команду, придут ребята,— добавил он, кидая мяч своему партнеру.

Володька вошел в квартиру. Мать была уже дома. Он не хотел говорить ей о смерти Тальянцева, но она сразу углядела что-то в его лице.

— Что-нибудь случилось, Володя? Где ты был?

Он помялся немного, но потом рассказал все.

— Господи,— прошептала мать.— Я хорошо помню Леву... Господи, как же это произошло? — Затем она подошла к Володьке вплотную, заглянула в глаза и спросила: — Володя... У тебя ведь тоже есть... пистолет?

— Да, мама...

— Я прошу тебя, Володя... Может, это глупость, но мне было бы спокойнее, если бы ты его выбросил...

— Хорошо, мама,— сразу согласился он, потому что все время, пока шатался по улицам, почему-то думал о своем пистолете.

— И, если можно, Володя, немедленно... Где он у тебя?

— На чердаке...

Володька не сразу нашел место, куда закопал пистолет. На чердаке было темно, и он на ощупь считал стропила, чтобы найти то, где зарыт вальтер. Разрыв опилки, усталые на полу, нащупал сверток, развернул газету, потом промасленную тряпку, и скользкий от смазки тяжеловатый пистолет приятно лег на руку. Он потерял его, сунул в карман и, спустившись по лестнице, вышел на улицу.

Вначале он решил поехать к Москве-реке и выбросить там, но подумал, зачем же так далеко, когда можно в пруд в Ботаническом... Сад был уже закрыт, и ему пришлось долго искать дырку в заборе. В темноте Ботанический показался незнакомым, даже таинственным, и Володька порядочно плутал по аллеям, прежде чем добрался до пруда.

Пруд был жутковат и мрачен, ни одного огонька не отражалось в его иссиня-черной воде. Володька вспомнил, что здесь в тридцатых годах утонул сосед по лестничной клетке. Значит, глубоко тут и место надежное. Он сделал замах и бросил пистолет, легкий всплеск на самой середине, и трофейный вальтер, за которым полз когда-то через все овсянниковское поле, замирая при вспышке ракет и хоронясь за убитыми, пошел на дно пруда того самого Ботанического сада, где играл он с ребятами в далеком детстве в казаки-разбойники и в индейцев с оловянным пугачом в руках. Бросив пистолет, Володька словно бы покончил с войной — и с той, мальчишеской, и с этой, настоящей, с которой чудом вернулся живым. И чувство какого-то глупого сожаления о выброшенном и навеки утраченном вальтере и вместе с тем огромного облегчения охватило его.

— Ну вот... Вот и все... — прошептал он со вздохом.

Не знал еще Володька, что война, с которой, как показалось ему, покончил он, не оставит его никогда. Не знал и того, что эти четыре года останутся навсегда самыми главными в его жизни.

Но пока прощай, война...

КРАСНЫЕ ВОРОТА

РОМАН



«Откуда столько денег у народа? Откуда?» — думал Коншин, продираясь сквозь толпу около коммерческого гастронома на Петровке. А глянул налево, на Петровские линии, там у дверей ресторана «Аврора» тоже людно, чуть ли не весь переулок запружен. Такое не только сегодня, уже несколько дней народу на улицах тьма, все магазины — и коммерческие, и комиссионные, и промтоварные — облеплены очередями. Позавчера видел он, как на бывшей Никольской в магазине «Оптика» брали нарасхват бинокли. Прекрасные цейсовские бинокли — мечта всех средних командиров на фронте — покупали теперь какие-то бабенки, мужички, и брали не один-два — десятками, по сто рубликов за штуку. Уже неделю, как в сберкассах толкотня, кто вносил деньги, кто брал, не известно же никому, чем реформа обернется и как лучше...

Ну а вечерами рестораны коммерческие штурмовались с боя, крики, брань, чуть ли не потасовки у дверей. И девочки накрашенные крутились стайками небось в надежде, вдруг пригласит кто для компании, все равно же старым деньгам пропадать, не сегодня завтра — реформа!

Конечно, по вечерним улицам Москвы бродили не только те, кому деньги потратить надо. Других, как и Коншина, подхватила какая-то тревожная и в то же время праздничная волна — все гуляют, ну и интересно пойти посмотреть. А кто-то просто последние сотню-две решил спустить, потому как начнется новая жизнь, с новыми деньгами и без карточек, чего уж старые деньги беречь. Коншин с раздражением, особо не церемонясь, расталкивал очередь у гастронома, на него шипели, ругались, а он мог ответить лишь злым взглядом. Злым, потому что был он голоден и в карманах не было ни копейки.

Донашивал он зеленый армейский бушлат, в котором вернулся из госпиталя, и кирзовые сапоги, порядком побитые, в них были заправлены гражданские брюки. На голове — кепочка еще довоенная, с маленьким козырьком, а под бушлатом — немецкий пиджачок из какого-то эр-

заца, купленный на Тишинском рынке. Рубашка тоже довоенная, стираная-перестираная ковбойка. Он прихрамывал, так как раздробленные осколком кости ступни постоянно воспалялись и побаливали.

Теплилась у Коншина туманная надежда встретить в центре кого-нибудь из знакомых и перехватить сотню, поэтому перешел он на другую сторону улицы и прошагал вдоль очереди в «Аврору», хотя вряд ли кто из его дружков мог в ней находиться. Не те у него приятели, почти все, как и он, перебиваются на пенсиях инвалидов и стипендиях студенческих, не до коммерческого ресторана ребята. Но занять хотя бы сотню просто необходимо. Голод мучил почему-то всегда перед сном и мешал заснуть. А сегодня еще хуже будет: наглядится на жрущих и пьющих через ресторанные стекла и на тех, кто из магазинов со свертками выходит. К тому же и курева нет, нечего будет пососать перед сном, забить голод. Да что там, читал Коншин гамсуновский «Голод» — похоже очень... А до зарплаты целая неделя.

Вышел он к Театральной площади. И там людно, будто праздник. В общем-то, конечно, отмена карточек и должна быть праздником, это же возвращение к старой, довоенной жизни, которая за войну и за послевоенные два с половиной года, тоже тяжелые, представлялась просто распрекрасной, сытой, благополучной, и не верилось даже, что возвратится она, эта жизнь. Но замечал Коншин на лицах прохожих и растерянность, вроде хорошо, что карточки отменяют, что деньги свою цену станут иметь, но и тревожно, как от всяких перемен, а будет ли лучше, вдруг цены на продукты высокие назначат? Никто ж ничего не знал, как и что.

Не только Коншин поглядывал с неприязнью на толпы около магазинов и ресторанов. У большинства народа также не было денег, как и у него, и эти люди, посматривая на очереди, недоуменно покачивали головами и кривили губы — откуда же столько ловкачей оказалось, сумевших на беде народной нажиться, столько деньжищ прибрать к рукам?

Коншин покрутился в скверике около Большого театра. Болтались там замерзшие раскрашенные девицы — на себя-то надеть нечего, так хоть физиономии прикрасить, потом прошелся вдоль очереди в «Метрополь», высматривая — а вдруг кто попадется? Но никто, конечно, не попался, и потопал он к Дзержинке, чтоб оттуда по Лубянке

и Сретенке направиться домой, где хоть шаром покати. И тут на подходе к Никольской встретился наконец ему приятель — Колюня Крохин. Знакомство с ним произошло в одной из сретенских забегаловок, а закрепилось обменом коншинского патефона на старую пишущую машинку «Эрика» еще дореволюционного производства.

Крохин представлялся и механиком по пишущим машинкам, и часовщиком, но нигде вроде не работал — имел вторую группу военной инвалидности. Смуглый, чернявый, похожий на цыгана, с курчавыми волосами и лицом в оспинах. На фронте, как говорил он, служил в разведке и, видно, не брехал, потому что наград имел много. Крохин радостно заулыбался, увидев Коншина, и сразу спросил:

— Выпить хочешь по поводу праздничка?

— Не хочу, Колюня, а вот сотню попрошу до двадцать пятого. Если ты при деньгах, конечно.

— А когда я без них бываю? — самодовольно ухмыльнулся Крохин, обнажив крупные желтые зубы. — Для тебя — битте-дритте.

У Коншина отлегло от сердца — неделю теперь он протянет, главное, с куревом будет.

— Держи, — широким жестом протянул Крохин деньги. — А то зайдем куда? Видишь, гуляют все. Завтра на новые деньги начнем жить. Я и цены уже знаю, какие будут. Папиросы в два раза выше довоенного, пиво семь рубликов, а водочка дороговата будет. Зайдем?

— Куда зайдешь, очереди везде.

— Ежели я предлагаю, ежели сказал... — бросил Крохин многозначительно.

Он вообще любил напускать туману и окружал свои действия таинственностью, но и верно, почти всегда был при деньжатах. Много у него не водилось, но на выпивку и закуску — завсегда пожалуйста. В магазины и питейные заведения любил он проникать с черного хода, со встреченными знакомыми при других говорил всегда шепотком, многозначительно отводя их в сторонку.

— Не пойду, Коля... Работать завтра надо, — отказался от приглашения Коншин.

— Как хочешь. Мое дело предложить товарищу... Слушай, а на кой черт тебе машинка понадобилась?

— Так... Захотелось записки, стихи отпечатать.

— И кому это нужно?

— Никому, — пожал плечами Коншин, не сказав Кро-

хину про то радостное изумление, когда увидел он строки своих стихов напечатанными на старой «Эрике».

— Перепечатал?

— Да.

— Ну и не нужна больше машинка? Давай загоним завтра, клиент есть, хорошую цену даст.

— Да нет, вдруг пригодится еще,— Коншину почему-то не хотелось расставаться с машинкой.

— Как хочешь. А записки про войну у тебя?

— Есть и про войну.

— Ох, мог бы я тебе порассказать кое-что, Алеха,— вздохнул Крохин.

— Да у меня самого голова этой войной — доверху,— отмахнулся Коншин.

— А вообще-то чего про нее писать? Кто был, тот не забудет, а кто не был — не поверит. А потому правду о ней никогда не напишут,— с уверенностью закончил он.

— Почему?

— А зачем? Кому это нужно?

Они повернули обратно, к Охотному, и около улицы Горького распрощались. Крохин шепнул таинственно, что нужно ему в одно местечко, по делам... Коншин решил дойти до Садовой, а там сесть на троллейбус. С сотней в кармане чувствовал он себя спокойней и уже без особого раздражения прошел мимо очереди в «Коктейль-холл» и мимо такого же хвоста в «Арагви». Здесь он приостановился закурить — дал ему несколько папиросок Колюня — и, когда прикуривал, подошла к нему какая-то курносовая девчушка.

— Товарищ, вы не проведете меня в ресторан, а то меня одну могут не пустить? — спросила она, моргая светлоголубыми, наивными глазами.— У меня очередь вот-вот подойдет,— быстро добавила, заметив недоумение на лице Коншина.

— У меня, милая, денег нет на ресторан,— ответил он, делая шаг.

— Погодите,— заступила она ему дорогу.— У меня есть деньги!

— Так это у тебя,— он захотел ее обойти, но она схватила его за рукав бушлата:

— Понимаете, я... я гуляю сегодня, ну и... приглашаю вас. Понимаете? А деньги у меня есть. Не верите? — она раскрыла сумочку, где лежала солидная пачка.

— Я не привык, чтоб меня угощали незнакомые девичьи,— хмуро ответил он.

— А мы познакомимся! — живо воскликнула она.—
А потом вы отдадите мне.

Коншин усмехнулся. Его начала забавлять эта девчонка.

— Ладно, пойдем, только отдать я тебе смогу лишь двадцать пятого.

— Пойдете? Вот здорово. А деньги — неважно, когда будут, тогда...— она взяла его под руку и потащила к очереди.

До заветной двери народу было немного, но пришлось подождать. Девушка вытасила папироску и потянулась к Коншину прикурить.

— Ты куришь? — неодобрительно покачал он головой.

— Я сегодня только... Я же сказала — гуляю.

— И в честь чего гуляешь?

— А так. Деньги же пропадут, так хоть посидеть, потанцевать... К тому же день рождения у меня сегодня,— добавила со смешком.

— Придумала? — не поверил он.

— Ей-богу, правда!

Бородатый важный швейцар открыл дверь и пропустил их. Раздевшись и спустившись в зал, они с трудом нашли столик. Играла музыка, пахло пряными кавказскими закусками, жареным мясом. У Коншина заныло в желудке и рот наполнился слюной. Усевшись, девица с важным видом взяла меню, просмотрела, но ничего, видимо, не поняв, передала Коншину.

— Заказывайте, что хотите. И не стесняйтесь,— бросила с небрежностью, скрывая ею растерянность и смущение, и понял Коншин, в ресторане она впервые.— Какое вино самое хорошее?

— А черт его знает, я не специалист.

Коншин стал заказывать, что подешевле, невольно поеживаясь, представляя, сколько это будет стоить, и она, заметив его неуверенность, раскрыла свою сумочку и незаметно передала ему деньги. Ощувив в руках нетонкую пачку, он успокоился.

— За что чокнемся? — спросил Коншин, поднимая рюмку.

— За то... за то, что я гуляю,— рассмеялась она.

— А откуда у тебя денежки?

— А вот это спрашивать неудобно. Я вас угощаю, а вы...

— Верно... Надеюсь, не краденые?

— Не-е,— беззаботно ответила она.— Мне брат подарил, давно еще, на день Победы... Меня Женей звать.

— Хорошо, Женя. Ты мне телефон оставь, отдам я тебе свою долю.

— Вы свой оставьте, сама позвоню.

— Валяй, записывай.

Она достала из сумочки совершенно новенький блокнот и с важностью записала его телефон.

— А теперь давайте гулять,— со смешной серьезностью заявила она.

И они начали «гулять»... Коншин навалился на еду, а Женька больше глазела по сторонам, рассматривала публику, задерживаясь взглядом на женщинах — как одеты. Сама-то она была в простенькой кофточке и короткой юбочке... Принесенный официантом счет на восемьсот двадцать рубликов смутил Коншина, но денег хватило и даже кое-что осталось. Женька спокойненько глядела, как он расплачивается, и ни капли сожаления не было на ее курносой мордашке.

— Куда тебя везти? — спросил он, когда сели они в старенькую «эмку».

— Не знаю... Некуда мне ехать, то есть поздно уже, заругают...

— Кто? Родители?

— Не-е, сестрица у меня строгая... А к вам можно поехать? — лягнула вдруг без особого смущения.

— Ну, Женька... — протянул удивленно Коншин.— И не боишься?

— А чего бояться? Вы — хороший...

— Хороший я или нехороший, должна же понимать. Ты глупенькая, что ли, совсем?

— Я не глупенькая... Ну, поехали?

— Смотри, дурочка.— Он сказал шоферу свой адрес, подумав, может, девчонке действительно ночевать негде, но решил не трогать ее, не связываться с этой глупышкой.

К дому они подъехали со двора, чтоб пройти через черный ход. С парадного дверь их квартиры запиралась на все замки, а с черного оставалась лишь на одном английском. Когда шли через темный, мрачноватый двор-колодец, а потом стали подниматься по такой же темной, без единой горящей лампочки лестнице, Женька прижалась к нему и восхищенно прошептала:

— Интересно как... Будто в романе.

Коншин усмехнулся... Не сразу попав ключом в замоч-

ную скважину, он долго возился с замком, моля бога, чтоб дверь не оказалась запертой еще на один замок. Тогда придется стучать, будить соседей, выслушивать раздраженное бормотанье, а наутро еще и нытье Марьи Ивановны, матери восемнадцатилетней дочки на выданье, особы весьма любознательной что касалось жизни соседей, которая непременно усечет, что Коншин вернулся поздно и не один.

...Вообще их квартира, как, впрочем, и многие коммунальные квартиры, представляла собой явление любопытное. Было в ней четыре комнаты и одна маленькая при кухне, для прислуги. Когда в двадцать втором году Коншины въехали сюда, самую большую занимала Марья Ивановна с мужем, рабочим-трамвайщиком, коммунистом с еще дореволюционным стажем. В другой комнате, поменьше, жила бездетная пара, он — продавец на Сухаревском рынке, то ли в частной лавочке, то ли в государственной (этого никто не знал), она — прямо с обложки модного тогда романа «Наталья Тарпова», в кожаной куртке и красной косынке, рабочая-выдвиженка, подвизавшаяся на ниве общественного питания в нарпите. В третьей комнате обитал самый настоящий нэпман Ляпушкин, полный, краснолицый мужчина, почти всегда под хмельком («угар нэпа»), предчувствующий, видимо, печальный конец своей деятельности, с женой — худенькой блондинкой из дворян и с сыном, одногодком Коншина. Ну и в четвертой, бывшей спальне, жили Коншины. Нэповскую жизнь Коншин помнил плохо. Остались в памяти шумный Охотный ряд с обилием всяческой жратвы и бывший «Мюр-Мерилиз», где были куплены ему за семь рублей какие-то необыкновенные ботинки ярко-желтого цвета. В году двадцать девятом исчез Ляпушкин, а его жена переехала к матери, но вряд ли по своему желанию — комнату, наверно, просто у нее отобрали, и вселился в нее уркаган Сучков с беременной женой. Побушевал он на кухне, грозясь перерезать всех «буржуев», но не успела супружница разродиться, как посадили его за квартирную кражу, и попал он, как говорили, в знаменитые в ту пору Соловки. Больше его не видали. Сухаревский рынок перенесли к тому времени с площади на пустырь за кинотеатром «Форум», и продавец Барляев торговал уже в государственном магазинчике, поскольку частные лавочки ликвидировали. Жена его перестала ходить на Наталью Тарпову, она заведовала столовой нарпита и шеголяла не в кожаной куртке, а в мехо-

вом манто. Забыта была и красная косынка. Она стала краситься, завивать волосы и вскоре сменила затрапезного Барляева на какого-то начальника из того же нарпита.

Марья же Ивановна после смерти мужа, сгоревшего в чахотке, ударилась в религию, повязала черный платок, что не мешало ей подворовывать продукты у соседей, подслушивать у дверей и сплетничать. Мать Коншина долго уговаривала ее уступить им комнатку при кухне, но та не соглашалась и, чтоб досадить Коншиным, сдала безвозмездно ее в домоуправление. Коншиным комната все же досталась, что вызвало новый приступ ненависти со стороны Марьи Ивановны, впрочем вскоре утихшей, так как всех ее родичей в деревне признали кулаками. После этого она уже остерегалась скандалов, потому что «чистая» пролетарка Сучкова могла обозвать ее «кулачкой».

...К счастью для Коншина, дверь черного хода открылась, и он, прислушавшись и убедившись, что все тихо, шепотом пригласил Женьку пройти. В кухне, разумеется, было темно, они, что-то задев, прошмыгнули в его купе, размером три на полтора, узкое, как келья, где помещались лишь столик, тумбочка и кушетка. Он зажег лампу и буркнул — раздевайся. Женька сняла пальтишко и усеялась на кушетку в довольно независимой позе и с какой-то не то глуповатой, не то плутоватой улыбкой смотрела на него.

— Ну, располагайся... Белье под матрацем,— сказал он, собираясь уходить.

— А вы куда?

— В другую комнату.

— А мне одной страшно будет.

— Ты воображаешь чего-нибудь? Восемнадцать-то хоть исполнилось?

— Сегодня. Я ж говорила — день рождения у меня, потому и гуляли... Свет погасите.

Если бы был Коншин голоден и трезв, послал бы эту девчонку ко всем чертям и ушел бы, но сейчас, когда погасил свет и услышал шелест стягиваемой Женькой одежды, выпитое ударило в голову — нечасто выдавался ему в скудной, почти монашеской жизни такой случай, и он стал тоже раздеваться...

...В шесть утра, невыспавшийся, с головной болью и противным ощущением от случившегося, он вывел по

черной лестнице Женьку. Она выглядела значительно бодрее и даже улыбалась, что привело его в раздражение.

— Ну, дурочка, и зачем все это было? Знал бы я, что поперлась ты ко мне невинности лишаться, я б и на порог тебя не пустил,— и жалко ему ее было, и злился на нее.

— Зачем вы так? — лениво попрекнула она.— Ну чего теперь говорить?

Верно, говорить сейчас и глупо и бестактно, тем более что у Женьки был вполне довольный вид, будто совершила она все задуманное,— и когда он, выплескивая досаду, опять начал выговаривать ей, она махнула рукой и таким же ленивым, снисходительным тоном, улыбаясь своей дурацкой улыбкой, заявила:

— Еще вчера вечером сказала же — гуляю я...

— И в это «гулянье», значит, входило...

— Ага,— прервала она.— Я так решила, понравится кто, тогда... Ну а вы — ничего. Я к вам приходить буду, хорошо?

— Нет уж, дудки,— выпалил он.— Этого мне еще не хватало.

— Разве я не понравилась вам? — удивилась она.

— При чем здесь понравилась, не понравилась? Девчонка ты сопливая.

— Я не сопливая... Можно подумать, вам уж очень много лет.

— Много, милая. Двадцать семь уже.

— Подумаешь,— небрежно бросила она.

На улице было темно и холодно. Призывно светила лампочка над палаткой «Пиво — воды» на углу Божедомки и Выползова переулка. Знакомый Коншину продавец Костик иногда не уходил домой и ночевал в своем заведении, если не ушел и сегодня, то, возможно, он приютит их до рассвета, ну и утолит Коншин жажду. Он потянул Женьку к палатке, но тут удивила их огромная очередь в сберкассу, которая, судя по замерзшему виду людей, установилась с середины ночи, если не с позднего вечера.

Напрасно Коншин стучал и в дверь, и в закрытые ставни палатки, Костика, видимо, не было.

— Куда же нам? — поеживаясь от холода, спросила Женька.— И зачем так рано мы ушли?

— Соседи,— буркнул он.

— Подумаешь, соседи. Я спать хочу.

Коншину хотелось того же, но вести ее обратно к себе

он не мог, и так, наверно, идут на кухне пересуды, что у него кто-то был, и он повел Женьку вниз к Екатерининскому парку, где можно хоть присесть на скамейку.

Екатерининский парк был пуст, только редкие прохожие, жители Лавровских переулков, трусили по аллеям, спеша на работу. На скамейках же — никого, не май месяц. Они очистили одну от снега и присели. Коншин задымил, а Женька, прижавшись к нему, вроде надумала вздремнуть. Он поглядел на нее, и ему опять стало жалко доверчиво принившую к нему глупую девчонку. И что с ней делать?

— Ты где живешь? Далеко?

— Не-е... Но домой я сейчас не пойду,— сонно ответила она, открыв глаза.

— Куда же мне тебя деть? — не без раздражения начал он.— Мне, милая, работать надо. Не сдам двадцатого, не получу ни шиша, и не из чего долг будет тебе отдать.

— Ну и не надо,— безразлично сказала она, потягиваясь.— Замерзла я... Поехали к трем вокзалам? А? Там буфеты уже открыты,— предложила она.

— Работать мне надо. Поняла?

— Подумаешь, работа...— пренебрежительно пробормотала она, а потом, повернув к нему голову, неожиданно лягнула: — Давайте поцелуемся?

— Еще чего надумала!

— Что вам, жалко? Давайте,— и она, приоткрыв рот, приблизила лицо к нему.

— Ну, давай,— он небрежно притянул ее к себе и поцеловал в губы... И снова охватила его жалость и даже какая-то нежность к этой девчушке.— Ладно,— решил он,— пойдём на рынок, погреемся там в павильоне.

Он взял ее под руку и побрели они по пустынным, занесенным снегом аллеям парка в сторону Самотеки. Не успели и на рынок войти, как узнали — реформа! Оказывается, еще вчера вечером по радио сообщили.

— Ой, пойдём хлебушка купим! — воскликнула Женька.— Говорили, что после реформы булки французские продавать будут, такие же, как в коммерческих были! Побежим?

От Женькиных денег осталось рублей двести. Теперь, как узнали, это — двадцать! Однако на хлебушек и еще на кое-что хватит. Булочную только открыли, но народу много, все больше женщины. Ходили около прилавка, глядели

на разные сорта хлеба, охали, ахали, разводили руками, удивительно же, все как до войны! Почти все брали хлебушек белый — батоны и булки, черный-то за войну надоел, хоть и его не хватало, а теперь бери сколько хошь, аж не верится.

— Ой, булочки какие! — восторгалась Женька, даже в ладошки захлопала. Покупатели понимающе заулыбались.

После булочной зашли в продуктовый — и тут всего навалом! И масло, и сыр, и колбаса! Чудо прямо-таки! Конечно, колбаски купили, целых полкилограмма! Стоило это на новые двенадцать с полтиной, а на старые, которыми расплачивались, — сто двадцать пять! Хлебушек тоже оказался не очень дешевым, в два раза дороже, чем до войны, но разве для них, привыкших к сумасшедшим ценам на рынках да в коммерческих, это дорого? Главное, всего полным-полно, глаза разбегаются...

Теперь надо приткнуться куда-нибудь, не на улице же есть купленное. Вспомнил Коншин про пивнушку — «сидячку» на Трубной улице, где посидеть можно, и повел Женьку туда. После вчерашнего «Арагви» пивнушка выглядела затрапезно, грязный пол, невытертые столики, да что с нее взять, забегаловка, она и есть забегаловка, но хоть тепло, а когда поднабралось народу, еще теплей стало. Мужички оживленные, разговорчивые. Конечно, речи все о реформе, что сколько теперь стоит. Сетовала братва, водочка много дороже довоенной оказалась, шестьдесят рубликов, а до войны шесть была, только после финской подорожала, но не намного, на три рубля всего... Почти у всех посетителей с собой та же колбаска, розовая, аппетитно пахущая.

Присели за столик, Женька отламывала от батона и жевала, причмокивая, а колбасу им в магазине порезали — бери ломтик, и в рот.

— Здорово! Никаких карточек! — восхищалась Женька. — Иди и покупай, что хошь. Я и забыла вроде, что было так когда-то.

— Да ты и не можешь помнить, глупышка, — рассмеялся Коншин.

— Я машинку пишущую у вас заметила. Вы что, писатель?

— Какой к черту писатель! Студент я. Понимаешь? Ну и прирабатываю в издательствах.

— Студент, — немного разочарованно протянула она.

— Да, и если ты, милая, на что-нибудь рассчитывала, то зря — пустышку тянешь. Видишь, армейское донашиваю.

— Ни на что я не рассчитывала. Зачем так обо мне думать? — обиделась она.

— Слушай, Женька, ты кто? Учишься или работаешь? Денежки у тебя откуда?

— Я говорила... — отмахнулась она. — А работать мне рано еще, я погулять хочу.

Коншин посмотрел на нее и подумал, что появилось у него какое-то чувство ответственности за эту девчонку, неудобно ему бросить ее сейчас, но ведь действительно работать надо.

— Ладно, Женька, ты иди гуляй, а мне домой пора.

— Уже? — вздохнула она.

— Да, пора... Тебе идти, что ли, некуда?

— Есть, только неохота. Начнет сестрица морали читать... А к вам обратно нельзя?

— Нельзя, Женя. Я работать должен.

Она погрустнела и потянулась к пачке «Беломора», долго разминала папироску, но так и не закурила.

— А ты на что надеялась? Думала, я с тобой утром в загс побегу?

— Нужен мне загс! — отрезала она. — Ничего я не думала! Ладно, пойдемте, — и она поднялась.

Коншину стало стыдно, ну зачем он так, должен же понимать, что значит для девчонки эта ночь, а он талдычит ей про свою работу.

— Я провожу тебя, — сказал он мягко, положив руку ей на плечо.

— Спасибо. До Колхозной проводите, там я сама...

2

Марку работалось хорошо. Каждый мазок, казалось ему, ложился на место, был выразительным, и за два дня и две ночи он сделал очень много, даже сам удивлялся. За все это время он ничего не ел: и не хотелось, да и не было ничего, кроме сухарей и пачки кофе, этим и подкреплялся.

И сейчас, собираясь работать третью ночь, он заварил кофе, надорвал последнюю пачку «Норда» — до утра должно хватить, — присел к столу и большими глотками

отхлебывал обжигающий губы, не очень-то настоящий, но крепко заваренный кофе. Ноги гудели, да и немудрено: отстоял двое суток у мольберта. Марк не любил высоких слов, никогда не называл свою работу «творчеством», да и словечко «вдохновение» тоже не из его лексикона, но то, что он ощущал в эти дни, наверное, можно назвать вдохновением. Все удавалось, все выходило! И композиция, и фигуры, и цветовая гамма. Четко обозначились характеры, а это он считал важным. И была — драматургия. А станковой картине она необходима. Короче, ему почти все нравилось, что бывало чрезвычайно редко. Даже эскизность и некоторая небрежность. Лишь бы не перемучить, не пересушить...

И пленный солдат в отчаянном замахе киркой на немецкого охранника получилась именно таким, каким ему и хотелось, да и сам охранник неплох уже тем, что не походил на звероподобное существо с бычьей шеей, каким изображался в большей части наших картин. Нет, он другой у Марка, с неглупым, даже интеллигентным лицом, и мог быть до войны и учителем, и бухгалтером или квалифицированным рабочим.

Остальные фигуры тоже вроде получились... Выявлен и страх пленных, понимающих, чем это им грозит, и удивление, даже оцепенение второго охранника, которому невозможно и представить, что русский Иван решился на такое.

Выпив кофе, Марк закурил и подошел к мольберту. Вообще-то живописцы не работают при искусственном свете, но он делал только подмалевки на уголь, а в цвете картина уже решена в эскизе. Комната не позволяла отойти на большое расстояние и оглядеть композицию в целом, и Марк подумал, нужно искать мастерскую, так работать невозможно. Ну а сейчас надо продолжать...

К середине ночи послышался ему какой-то невнятный разговор. Говорили о нем. Марк с неохотой оторвался от мольберта и посмотрел во двор — в противоположном окне флигеля их же дома, расположенного буквой П, он увидел две головы. Одна — Толика, студента Строгановки, приходящего иногда к нему со своими работами, вторая — матери Петьки Егорова, дворового приятеля, сгинувшего на войне. Толя сказал:

— Смотрите, как у Марка Викторовича здорово получается. И какая работоспособность, третью ночь работает.

На что Петькина мать хриплым, осипшим голосом пробурчала:

— Какой он тебе Марк Викторович? Маркелом его дразнили, и такая же шпана был, как и мой Петька. Вместе у дамочек в подворотнях рэдики дергали.

— Путааете вы что-то, Марк Викторович большой художник и...

— Какой он художник! — перебила старуха. — Три года после войны прошло, а он все голодранцем ходит, шинелишку донашивает... А картины, которые он рисует, — все насмарку. Истопник наш рассказывал, принесет цельный сверток и — в топку.

Марку разговор этот не мешал, забавлял даже, хотя особо он и не вслушивался. Не показалось ему странным, что в такой поздний час стоят соседи у окна кухни и ведут беседу и почему-то только о нем и что слышит он явственно их слова, хотя окна закрыты и расстояние между флигелями немалое — целый двор. Ладно, пусть болтают, если делать нечего и не спится.

Разговор тем временем продолжался.

— Слушай, Анатолий, а руки-то у твоего Марка дрожат. Как он это свою кистю держит?

— Ничего подобного! Видите, как мазок кладет, точно, как в яблочко.

— Скажешь тоже... Как в яблочко, надо было во фрицев стрелять, а он где был, знаешь? В плену-у... Небось немцам голых баб рисовал. Мой-то голову за Родину сложил, а энтот все кисточками балуется и девок водит.

— Каких девок? — возмутился Анатолий. — Это я к нему со студентками приходил.

— Я через окошко всю его жизнюгу вижу, не говори. Хоть бы занавески какие купил, прикрылся. Денег, что ли, нет или на нас плюет, глядите, дескать, я весь на виду?

— А Марку Викторовичу скрывать нечего... Вы поглядите, как у него солдат получается! Какое лицо! Характер! А вы про какие-то занавески.

— Какое лицо? Роба, да еще кривая.

Последние слова немного смутили Марка — неужто на таком расстоянии разглядеть можно?

— И вообще все у него кривобокие и вытянутые, — продолжила старуха.

Это пренебрежительное высказывание заставило его

отойти от мольберта и внимательно поглядеть на картину.

— Все верно, так и должно быть,— пробормотал он, осмотрев работу.— Пропорции и должны быть нарушены.

И тут Анатолий, словно услышав его бормотанье, сразу же подтвердил мысль Марка, причем более четко, чем она представлялась ему самому.

— Понимаете ли, Пелагея Петровна, в том мире, где происходит действие картины Марка, нарушены все человеческие законы, там все изуродовано фашизмом. Что такое фашизм, понимаете?

— Ты что, политграмоте вздумал обучать? Знаем мы...— проворчала она.

— Фашизм — это бесчеловечность, а раз так, то даже формы человеческого тела нарушены. Не только души, но и тела. Поняли теперь?

— Мудрено что-то...

— Да, конечно, вам трудно это... Марка Викторовича не понимают даже его коллеги-художники... Для изображения кошмара фашизма нужны новые формы, вот над этим и бьется Марк Викторович.

Что-то раньше не замечал Марк «блеска» Толиного интеллекта, да и никогда не говорил с ним на эти темы. Приносил ему Толик довольно посредственные рисуночки и примитивно разглагольствовал об искусстве, и вот вдруг — такое. Ай да Толик! Марку даже захотелось подойти к окну и приветственно махнуть ему рукой, поблагодарив за понимание, но, глянув в окошко,— никого не увидел. Ушли, значит. Он посмотрел на часы, был третий час ночи...

К утру Марк обессилел. Он сел в кресло, вытянул ноги и уставился в картину. Разумеется, это еще была не картина, но в главном все решилось. Пожалуй, надо пройтись немного по лицу пленного, ожесточить чуть складку у губ, а у немца-конвоира кроме испуга показать и другое, может быть, презрительную полуусмешку неверия — не решится эта руссиш швайн на такое, не хватит силенок, право, смешно, чтоб русский поднял руку, не может этого быть, майн готт, это же просто глупость!

Да, это будет психологически более точным, только не переусилить усмешку, не сделать ее чересчур уверенной, все же в глубине души у немца страх... Марк закурил, и тут неожиданно со двора грохнула музыка, очень громкая... Какой идиот ни свет ни заря патефон завел? —

пробормотал Марк. Он поднялся и глянул в окно: дворник спокойно убирал снег и даже головы не поднял вверх, откуда, как казалось Марку, и шпарила музыка, с третьего или четвертого этажа. Мелодии были знакомыми, почти весь репертуар довоенных пластинок — и Козини, и Утесов, и Шульженко, и Джапаридзе, но вдруг в одну из утесовских песенок ворвались новые, не очень-то приличные слова, но легшие как-то к месту и в рифму. Марка это развешило, хоть и удивило. В следующей песенке — то же самое, но уж совсем похабщина, ловко вложенная в подлинный текст. Марк стал прислушиваться, но музыка начала стихать и вскоре замолкла...

Проснулись соседи, захлопали двери, по коридору стали ходить туда-сюда, на кухне разговаривать, греметь посудой. Эти утренние шумы раздражали Марка, он отложил палитру и взялся мыть кисти — уже не до работы, да и выдохся он. В коридоре зазвонил телефон. Марк к телефону первым никогда не подходил, не стал подходить и сейчас. Трубку взяла соседка и начала с кем-то разговаривать. Он не прислушивался, но вдруг услышал свое имя, и не из уст соседки, а из... трубки — незнакомый женский голос:

— Елизавета Петровна, скажите, где Марк?

— Наверное, дома... Позвать его?

— Да... Хотя нет, не надо...

— Тогда, может быть, ему что-нибудь передать? — как всегда мягко и вежливо, поинтересовалась Елизавета Петровна.

— Передайте ему... что он подлец!

— Что вы! Марк порядочный человек. Я не буду передавать такое.

— Не будете? Ладно, он услышит сам — подлец! Подлец! Подлец!

Марк выскочил из комнаты. Черт побери, что это? Неужто от трех бессонных ночей и черного кофе у него так обострился слух, что он слышит то, что говорят в телефонной трубке? Доработался, черт возьми! И что это за дама, обозвавшая его подлецом?

— С кем вы разговаривали, Елизавета Петровна? — спросил он в упор.

— Почему тебя это интересует, Марк? — улыбнулась соседка. — Кстати, доброе утро.

— Доброе утро, — поспешно пробурчал он и почти грубо спросил еще раз: — Так с кем вы говорили?

— С одной знакомой,— недоуменно пожала плечами соседка.

— Вы говорили обо мне?!

— О тебе? Господь с тобой. Откуда ты решил?

— Я слышал. Обо мне.

— Марк, милый, не надо меня разыгрывать. Я говорила с одной знакомой, которая вообще тебя не знает.

— Но я же слышал,— обескураженно прошептал Марк.

— Ну как ты мог слышать то, чего и в помине не было,— она мило улыбнулась и собралась уходить, но остановилась, внимательно посмотрев на него.— Марк, а как ты спал ночь?

— Никак. Я работал.

— И ты действительно слышал разговор о себе? — уже обеспокоенно спросила она.

— Да.

— Ты, видимо, переутомился, и тебе померещилось... Ты знаешь, медпункт через дом от нас? Зайди к врачу.

— На кой черт мне врач,— бросил он и пошел в свою комнату.

Там он присел, закурил последнюю папироску и задумался. Конечно, такое обострение слуха ненормально. Наверно, надо зайти в медпункт, спросить, может ли быть такое от трех бессонных ночей и черного кофе? Докурив, он оделся и вышел на улицу.

Марка и так била дрожь, а утренний морозец сразу прохватил до костей, он поднял воротник пальто, нахлобучил шапку на уши и не услышал, как его окликнул шедший навстречу Коншин:

— Привет, Марк. Куда в такую рань?

Когда Коншин подошел вплотную, Марк недовольно поморщился, говорить ни с кем не хотелось, но пришлось ответить Коншину, куда он направляется. Тот вызвался его проводить, и, как Марк ни отнекивался, он пошел с ним.

Медпункт располагался прямо в подъезде большого старого дома в небольшом помещеньице, устроенном когда-то для привратницы. Сбросив шинель и отдав ее Коншину, Марк сразу, как вошел, с ходу спросил у врача, возможно ли такое обострение слуха, при котором он, находясь в комнате, слышит голос из телефонной трубки в коридоре. Докторша подняла голову и внимательно огля-

дела Марка, задержавшись взглядом на его немного дрожащих руках.

— А что было до этого? — спокойно спросила она.

— Я три ночи не спал, работал, ну и кофейком себя подбадривал. Может, от него?..

— Ели что-нибудь?

— Не хотелось, да и в доме ничего не было, а в магазин сходить — не мог оторваться от работы.

— Так уж и не могли? — улыбнулась она. — Что же за работа такая?

— Я — художник, — не без высокомерия заявил Марк. — Пишу картину. Долго не получалось. И вот вдруг пошла работа.

— Какую же картину? — поинтересовалась докторша.

— Долго рассказывать, — сухо зато ответил он.

— Я не из любопытства спрашиваю.

— Понимаю, но распространяться не буду. О войне.

— О войне? Опять? Мы так устали от нее, хотим забыть. Может быть, не стоит и не нужно о ней напоминать? — сказала она.

— Это о войне-то не нужно?! — взорвался Марк.

— Нервишки-то у вас, вижу, неважные, — покачала она головой. — У невропатолога давно были?

— Не хожу я по врачам. Некогда. Мне работать надо. Понимаете — р а б о т а т ь! — он поднялся. — Вы мне скажите только, бывает такое от неспяных ночей и кофе? Ежели бывает, то — ауфвидерзеен.

— А контузия у вас была?

— Да, сильная.

— В каком году?

— В сорок втором.

— Запишите, Настя, — повернулась она к сестре.

Впервые глянул на сестру и Марк, и что-то знакомое показалось ему в лице девушки. Он глядел на нее, мучительно стараясь вспомнить, где и когда мог ее видеть, но не вспомнил и вдруг неожиданно для себя брякнул:

— Послушайте, сестрица, вы не согласились бы позировать мне часика два? Лицо ваше мне что-то напоминает, да и нужно мне как раз такое для одной вещи.

Когда Марку было что-нибудь нужно для работы, он действовал бесцеремонно и напрямик, порой с улицы за-таскивал к себе людей, поразивших его внешностью и нужных для типажа. Сестра удивленно посмотрела на него и ничего не ответила.

— Я серьезно. Вы, бога ради, не подумайте чего. Вы мне для р а б о т ы нужны,— выделил он слово «работа».

— Больно вы сразу,— улыбнулась врачиха.— Так и смутить девушку можно. Кстати, ее Настей зовут.

— Чего смущаться? Я ведь не обнаженной прошу ее позировать. Мне лицо ее нужно. Я заплачу за сеансы,— напирал Марк, не замечая, что звучит это довольно двусмысленно.

— Мало ли что вам надо. Мне это не нужно,— наконец произнесла Настя, слегка нахмурившись.

— Почему же вам не нужно? — искренне удивился он.— Вы можете мне создать картину, ваше лицо будет запечатлено на века.

— Так уж и на века? — снова улыбнулась докторша.

— Разумеется! Я поденкой не занимаюсь,— гордо заявил Марк.

Врач перестала улыбаться и пожала плечами. Марк пожалел о сказанном: еще подумает, что у него шизоидная оценка собственной персоны.

— А что было перед работой? — суховатый тон вопроса подтвердил мысль Марка. Он усмехнулся:

— Встряска. Приятель один перед реформой гонорар свой спускал, ну и меня пригласил.

— Значит, пили? И сколько эта «встряска» продолжалась?

— Это имеет значение?

— Да, конечно.

— Три дня... Вообще-то я почти не пью. Не до этого, как, впрочем, и до многого другого,— глянул он на Настю.

— Пить-то вам нельзя — контузия. Наверно, говорили врачи?

— Говорили.

— Настя, приготовьте хлоралгидрат... Это снотворное. Выпейте и постарайтесь уснуть. О работе не думайте. Выспитесь как следует и... ну это обострение слуха должно пройти. Вы как будто пришли не один, я слышала разговор?

— Да. А что?

— Попросите того, с кем вы пришли, на минутку ко мне.

— Зачем? — удивился Марк.

— Мне нужно. А пока выпейте.

Настя протянула ему стакан воды, в котором было

размешано лекарство. Он поблагодарил и выпил залпом, поморщившись от горечи.

— Значит, доктор, такое может быть? — спросил он еще раз, чтоб успокоиться.

— Да... — как-то неопределенно ответила она. — Но надо вам обязательно к невропатологу. Даже если это пройдет после сна. Сходите, прошу вас.

— Если просите, ладно уж, схожу, — снизошел Марк. — Вы ведь воевали, наверно? И вообще вроде хорошая.

— Уж не знаю какая, но воевала, — она грустно улыбнулась.

— Всего доброго. Спасибо... А вы, Настя, подумайте, — повернулся он к ней. — Мне очень нужно ваше лицо, прямо позарез.

Коншин пробыл у врача не минутку. Хорошо, что Марк нашел в кармане коншинского бушлата пачку «Беломора» и с наслаждением закурил.

— Что она тебе сказала? — спросил Марк, когда Коншин с нарочито безразличным лицом вышел из кабинета.

— Чтоб я проследил за тем, как ты ляжешь баиньки, что тебе необходимо отоспаться и вообще бросить работать ночами. Ну, пошли, я провожу тебя.

— Не надо, — отмахнулся Марк.

— Слово дал хорошему человеку, — Коншин взял его под руку. — Выходит, ты три ночи не спал.

— Да... Вроде начало что-то получаться.

— Ну, у тебя всегда все получается... У меня бы так, — вздохнул Коншин.

— Не всегда, Алексей... Что же касается тебя... — Марк задумался.

— Что? Безнадежно? — выдавил улыбку Коншин.

— Я этого не сказал... Занимайся тем, чем занимаешься.

— А может, я хочу заняться другим? Бросить плакат и всерьез взяться за живопись.

— Не стоит, сэр.

— Почему?

Марк повернулся к нему и сказал жестковато:

— У тебя нет сверхзадачи, а без нее художник не может состояться. — Марк помолчал немного, а потом спросил: — Откуда ты шел так рано?

Коншин поколебался немного, но все же рассказал о вчерашнем. Марк слушал с отчужденным лицом, а когда

Коншин закончил натянутым смешком: «Вот такое происшествие...», Марк брезгливо процедил:

— Гаденькое происшествие, даже подленькое... Сколько раз я твердил тебе: бабы, вино — все это дым. Только то, что на бумаге, на холсте, даже какой-нибудь натюрмортик ерундовый, — это останется. А все остальное... — махнул он рукой.

— Понимаю, — удрученно пробормотал Коншин, которому и до слов Марка было тошно. Он закурил.

— А теперь говори правду. Что сказала тебе врачиха?

Коншин замялся и повторил то, что говорил до этого.

— Не ври, Алексей, я понял, у меня были слуховые галлюцинации... Всю ночь. Но как работалось! — воскликнув это, Марк остановился вдруг, провел рукой по лбу. — А может, и это тоже мне казалось? — произнес упавшим голосом и заторопил Коншина: — Пойдем скорее, посмотрим.

Когда Коншин увидел, то не смог скрыть недоумения. Почти все в картине Марка было ему непонятно и чуждо. И изломанность форм, и небрежность мазка, и серовато-коричневый колорит.

Марк же, рассматривая картину, удовлетворенно приговаривал: «Так-с... Это все верно... Что-то нашел я за эти денечки... Не зря, значит, не зря три ночи не спал...»

Коншин помалкивал, хлопая глазами. Марк посмотрел на него, иронически усмехнулся и закрыл полотно.

— Ну, ты иди, я спать буду, — сказал, зевнув.

Возвратившись домой, Коншин не смог заставить себя сесть за работу. Он вяло стал прибираться в своей комнатке, где стоял еще запах дешевых Женькиных духов, и сожаление о случившемся опять кольнуло его: ну зачем связался с девчонкой? А сегодня встреча с Наташей, и она, конечно, что-то почувствует...

Наташу он встречал у Красных ворот. Он хорошо помнил эти ворота. Они были первыми, что его поразило в Москве. Это было в детстве, когда ехали с Курского вокзала на извозчике. Теперь их нет, осталось только название, но место, где они стояли, всегда пробуждало в нем туманные детские ощущения чего-то огромного, давящего и загадочного. И не знак ли судьбы, что встречи с Наташей бывали чаще всего именно здесь, где ловил он ее на дороге с работы к дому. Он не всегда предупреждал ее по телефону, и порой ожидания были напрасны, но в них что-то из довоенных мальчишеских лет, когда он часами

маячил около дома какой-нибудь из девчонок, ожидая с трепетом ее появления. И за одно это, за воскрешение чувств далекой юности, за войну забытых, должен он быть благодарен Наташе.

Сегодня нельзя было не пойти, договорились заранее. И вот.

— По-моему, вы опять барахтались в мутной водичке,— сказала Наташа, заметив, как он и опасался, его помятый вид.

— Почему вы решили? — как можно непринужденной ответил он и попытался взять ее под руку, но она отстранилась.

Тогда, засунув руки в карманы бушлата — перчаток у него не было,— он зашагал с ней рядом. Разговор не клеился. Проронили несколько слов о Новом, наступающем сорок восьмом годе, кто где собирается встречать. Коншин заикнулся, что хорошо бы вместе, но Наташа заявила, что любит встречать этот праздник дома.

— Но это значит с родителями,— робко заметил он.

— Ну и что? Родители, возможно, уйдут.

Но вот и Наташин дом. Зашли в парадное, надо уже прощаться, но Коншин медлил и, чтоб отодвинуть расставание, пробормотал, что, дескать, они так ничего и не решили насчет Нового года.

— Еще есть время,— небрежно бросила она, а потом вроде бы равнодушно спросила: — Так в какой же мутной водичке вы вчера побарахтались?

Коншин смущенно переминался с ноги на ногу, долго доставал папиросы, прикуривал и наконец ответил:

— Один товарищ пригласил в ресторан... Ну а я насиделся на сухомытке и... не смог отказаться.

— В ресторане не только еда.

— Разумеется. Выпили малость.

— И не только вино.

— Что ж еще в ресторане? — с фальшивым смешком спросил он.— Не понимаю вас, Наташа.

Она ничего не ответила и протянула руку. Коншин подержал ее в своей, но поцеловать не решился.

— Когда вернутся в Москву ваши родители? — неожиданно спросила она.

— Наверно, стройка через полгода окончится. Почему вы заинтересовались?

— Так... По-моему, вам еще рано жить самостоятельно. Ну, до свиданья,— Наташа вошла в лифт, вот и вся встреча...

Он постоял еще немного в подъезде, докуривая и стараясь разобраться — почему так нескладно получается с Наташей? Ведь прошлым летом была незабываемая поездка за город на чью-то дачу, где бродили они полночи по лесу, целовались и где, казалось, было все возможно... На другой день Коншину нужно было в Москву сдавать работу, на утренний поезд он не успел, а следующий шел только вечером, о чем его никто не предупредил, и он рвал и метал, упрекая всех, что он останется теперь без полочки. Наташа глядела на него тогда странным, похолодевшим взглядом, а он не понимал, как бестактно себя ведет — ведь это были их п е р в ы е поцелуи и какая к черту полочка могла его волновать... Вот с тех пор Наташа с ним другая, какая-то далекая и отчужденная. И почти при каждой встрече разговоры о «мутной водичке», в которой он будто бы барахтается, а какие это «барахтанья»? Просто в день выплаты гонорара отправлялся он вместе с другими художниками в ресторан поесть горячего, ну и немного выпить, но «выходы» эти были без девиц, в сугубо мужской компании. Но сегодня-то пришлось соврать.

Выйдя из парадного, он медленно побрел домой... По дороге вспомнились последние Наташины слова, что ему рано еще жить самостоятельно, и он подумал, верно она сказала, если бы он умел «жить», то ему вполне могло хватить тех, правда, от случая к случаю, заработков к стипендии и пенсии, но он привык на войне жить часом и продолжал жить так же, не очень думая и заботясь о завтрашнем дне. Да и деньги, кажущиеся по довоенным представлениям большими, для нынешних цен, увы, такими не были и мгновенно исчезали из карманов, ведь даже обычный обед в коммерческом ресторане влетал в сотню, а когда этих сотен получалось в полочку всего пять-шесть, то неудивительно, испарялись они быстро.

Пройдя Колхозную и свернув на 2-ю Мещанскую, он окинул взглядом строящийся большой дом. Строили его пленные немцы. Днем он видел их — обыкновенные рабочие мужики, работавшие споро и вроде в охотку, и как-то странно было представить, что и он стрелял в этих людей, и они в него...

3

Вернувшись с работы, увидела Настя: валяется Женька на диване, укрывшись с головой старым стеганым одеялом, и не шелохнулась даже, когда окликнули ее.

— Ты где ночь пропадала? — уже громче спросила Настя и сдернула одеяло.

Женька приоткрыла глаза, зевнула и сонно пробормотала:

— У Лидки я ночевала... А что, нельзя?

— А почему на занятия не пошла?

— Праздник же, Настя, отмена карточек, — растянула Женька в улыбке рот.

— Праздник-то праздник, но пропускать занятия нечего... Всего сотня у нас в доме, по новым деньгам десятка, не дотянем до полочки.

— Зайдем где-нибудь, — беспечно проворковала Женька. — Теперь же жизнь хорошая пойдет, как до войны. Верно же?

— Не знаю, не знаю, — вздохнула Настя. — Дороги пока продукты по нашим-то деньгам, очень дороги.

— Так я слыхала, снижать обещались... Настя, а я сегодня колбасу ела! И булку белую! Вкуснота! — она потянулась, зевнула опять и стала одеваться.

Отец с работы, а работал он в типографии, приходил поздно, и они сели обедать без него.

Комната у них большая, метров двадцать пять, но заставлена плотно. К старой, еще дореволюционной мебели придвинут трофейный сервант с поблескивающим через стекла сервизом и рюмками, на грубо сколоченной тумбочке возвышался бронзовый рыцарь в латах, с копьем и на коне. Это все Петр привез после войны, когда на побывку приезжал.

За обедом рассказала Настя, что приходил к ним в медпункт какой-то странный художник, просил к нему прийти, рисовать ее хочет.

— Ну а ты? — живо, с интересом перебила Женька.

— Что — я? Не нужно мне это.

— Вот и зря! Познакомилась бы. Художники, они хорошо зарабатывают. Да и вообще пора тебе о жизни подумать, а то в старых девах так и останешься.

— Прекрати, — повысила голос Настя. — Мала еще уму-разуму учить.

— Я не мала. Я, может, больше твоего в жизни понимаю. Я так, как вы, жить не собираюсь.

— А как мы живем?

— Скучно живете. Один Петр из нас чего-то в жизни повидал, а мы... — махнула она рукой.

— Мы честно живем. Понимаешь — честно.

— А что толку! — хихикнула она.— С хлеба на воду перебиваемся.

— Так война же была, все так жили.

— Ну да, все! Видала, какие очереди в сберкассы? Значит, есть что менять. Это у тебя сотня, а у других небось тысячи!

— Нечестные тысячи-то,— покачала головой Настя.

— А в магазинах не спрашивают какие...— Она поднялась.— Я пройдусь, Настя?

— Заниматься надо, раз прогуляла.

— Охота по магазинам пошляться, что чего стоит теперь. Интересно же. Ну, отпусти, Настя,— начала она канючить.

Настя нехотя разрешила, и Женька, мигом одевшись, упорхнула.

Спустия немного пришел с работы отец, как всегда уставший, но сегодня со светлым и даже помолодевшим лицом. В руках — газета.

— Вот, доченька, и дождались,— широко улыбнувшись, сказал он, помахивая газетой.— Это надо же, и трех лет не минуло после войны, да еще какой, а карточки отменили. Большое спасибо надо Иосифу Виссарионовичу сказать, большое... Это все он о народе думает. Хотел было четвертиночку по такому случаю к обеду купить, но водочка-то кусается. Может, и правильно ее дорогой сделали, меньше баловаться будут.

— У меня пайковой чуть осталось, на рюмку хватит.

— Налей, ежели есть. Грех не выпить, радость-то какая. Уж больно тяжкий сорок седьмой год был, думал, не выдюжим, но дожили все-таки до светлого дня, дожили...

Он разделся, присел к столу. Настя достала из серванта крошечную рюмку, налила отцу.

— За новую жизнь, Настюшка. За хорошую жизнь,— растроганным голосом произнес он и выпил. Закусив, оглядел дочь сожалеющим взглядом и добавил: — Теперь, Настя, легче будет, пора тебе и о себе подумать, жизнь устроить.

— Опять, отец? Говорила же, не уходит Андрей из сердца, не уходит.

— Понимаю, но сколько годков-то прошло. Что ни говори, а живым живое. Андрея не воскресить, не век же убиваться по нему. Подумай, Настенька, подумай...

Ничего она не ответила, а вечером, перед сном с мучительной ясностью вспомнилось ей, словно не в сорок третьем то было, а вчера, как приползла к ней Андрея мать со страшной бумагой, где черным по белому было написано, что пропал Андрей без вести. Вспомнила, как просидели они до самого комендантского часа, обнявшись и почти ничего не говоря... А потом почему-то проплыло мимо лицо приходившего сегодня художника, с воспаленными, лихорадочно блестящими глазами, и слова его требовательные прозвучали: «Вы нужны мне, очень нужны»... Эх, кабы действительно нужна она была кому-нибудь — побежала бы, наверно, не задумываясь... Но художнику-то нужна она для картинки какой-то, для баловства, не для жизни...

4

Игорь медленно ковылял, опираясь на палку, к Институту курортологии, где он два раза лежал после тяжелого ранения в позвоночник, где и познакомился с Ниной. Она до сих пор работала там, и сейчас он шел к ней. На днях он дал почитать ей свой рассказ и очень волновался, прочла ли, понравился ли? Ему самому казалось, что рассказ получился, но все же, все же...

Писать он начал еще в школе, дневники вел чуть ли не с детства, а в восьмом классе написал пьесу и несколько рассказов. Возможно, кроме внутренней потребности высказаться, какую-то роль сыграло и то, что жил он на одной лестничной площадке с известным писателем, был с ним знаком, давал читать свои опусы. Писатель находил в мальчишке способности.

Дойдя до Института курортологии, он присел на скамейку у входа и стал ждать Нину. Зная, что вовремя она не выйдет, он закурил и приготовился к долгому ожиданию. Вышла она, разумеется, не одна, с подружками, что-то щебеча и смеясь, его не заметила, и лишь после того, как одна из девушек подтолкнула ее: «Вон твой рыцарь сидит», она повернула к нему лицо. Но и увидя, не бросила сразу подруг, прошла с ними немного, распростилась, сострила что-то напоследок, вызвав дружный смех, и только тогда направилась к нему.

— Давно ждешь, Игорек? — спросила весело и, не дожидаясь ответа, взяла его под руку. — Погодка изумительная, снежок. Пройдемся пешочком.

Игорю погода не казалась особо подходящей для прогулок, ходить ему было трудно, провожать же Нину надо до Каляевской, но он покорно согласился, и они вышли на Садовую. По дороге он терпеливо ждал, когда она начнет о рассказе, но она болтала о всяких дурацких госпитальных историях, совсем ему неинтересных, но он слушал, поддакивал, что-то спрашивал, надеясь, что вот-вот выговорится она наконец и приступит к главному для него, а она все щебетала и щебетала... Воспользовавшись короткой паузой, он спросил:

— Ты прочла, Нинуша?

— Что? — ошарашила она его.

— Как что?! Мой рассказ.

— Ах да, совсем забыла! Прочла, разумеется...

— Ну и как? — выдавил он с трудом, потому как после этого «прочла» она вроде ничего не собиралась говорить.

— Ничего вроде, — протянула она без выражения.

Игорь недовольно повел плечами и нахмурился.

— Негусто, — буркнул он. — Может, ты заметила, что я совсем не описываю внешность героини, но ее представляешь. Разве не так?

— Не знаю, Игорь... Но не очень-то, — она отвела глаза.

— И ты не узнала ее? — спросил он упавшим голосом.

— Если ты пытался изобразить меня, то ничего не вышло. Я другая.

Игорь остановился и полез в карман за папиросами.

— Не обижайся, Игорек. Я же не умею притворяться. До тебя у нас один журналист лежал, ИФЛИ окончил, и уж как я ни была в него влюблена, но его писанину на дух не принимала. Помню, в одном рассказике у него было: «Он ее поцеловал, она его поцеловала, они поцеловались, потом опять целовались». И так без конца. Я от смеха умирала. Взрослый уже мужчина, а ни о чем, кроме поцелуйчиков, писать не может. Знаешь, как он на меня злился? «Глупая девчонка, ничего не понимаешь, это не хуже, чем у Бунина... Хотя что я, ты его же, конечно, не читала...» А я как раз и читала! И меня бунинские женские лодыжки тоже раздражали. Мне Буслай говорил...

— Что за Буслай? — перебил он хмуро.

— Наш учитель по литературе, вот кто! Так он говорил, что у меня абсолютный литературный вкус. Понимаешь,

абсолютный! Есть музыкальный абсолютный слух, а у меня вкус. И ничего тут не сделаешь.

— И ты уверена, что твой Буслай прав? — натянуто улыбнулся Игорь.

— Уверена. Буслай очень умный был.

Игорь усмехнулся, пожал плечами. Через некоторое время спросил нарочито небрежно:

— Ну и как на твой абсолютный вкус финал пришелся?

— Прости, Игорек, — смутилась Нина. — Не дочла я до конца. Понимаешь, отвлекло что-то. Прости.

— Ну, знаешь, Нина, это уж неуважение какое-то, — развел он руками.

— Прости, виноватая я, — она действительно чувствовала себя виноватой, и ей стало жалко Игоря. — Ну, брось дуться. Сказала же — виновата, — она потрепала его по щеке. — Хочешь, поцелую? Ну?

— Мы на улице, — отвернулся он.

— Ну и подумаешь, на улице... Я тебя, конечно, понимаю. У тебя такая фамилия, что и псевдонима не нужно — «Игорь Степной, роман в двух частях»! Звучит-то как! — сказала без иронии. — Ты же знаешь, закон природы: близкие люди никогда не могут оценить гения...

— Не будем больше, — перебил он. — Для меня это все очень серьезно. Конечно, наверняка в рассказе есть слабые места, я и дал тебе читать, чтоб всерьез поговорить, а ты...

— Бедный мальчик, — теперь она перебила. — Знаю, ты серьезный и очень умный, но почему вы все, мальчишки, рветесь в поэты или в писатели? Знаешь, за войну сколько ребят мне читали свои вирши или рассказы? Жуть. А стихи какие! Умереть можно!

— Где у тебя рассказ? Отдай мне.

— Придем домой, отдам... Ты что, по-настоящему расстроился?

— При чем здесь расстроился? Просто мне важно твое мнение, а ты... ты так легкомысленно отнеслась...

— Я дуручка, Игорь! Самая настоящая. Другая бы, конечно, такие восторги тебе излила, что ты и неделю не очухался, а я — правду-матку! И главное, прекрасно же понимаю, любви ко мне у тебя от этого не прибавится, а наоборот. Но меня будто какой чертик за язык тянет. Рассказ-то твой, возможно, совсем неплохой, а я... — она рассмеялась, но, быстро оборвав, спросила: — А кстати,

откуда у тебя герой такой сознательный взялся? Прямо куча достоинств! Уж не ты ли сам? А? Где ты таких видел? Вот я и не поверила,— досказала уже серьезно.

Игорь ничего не ответил. Он поднял воротник шубы и еще больше ссутулился. Если разговор был бы другим, возможно, он не ощущал усталости, но такой... Да еще мокрый снег, которым восторгается Нина, да еще скользота на тротуаре, а дошли они лишь до Маяковской...

Около кинотеатра «Экран жизни» толпился народ, шло «Сказание о земле Сибирской», на афише лицо Дружниковы, улыбающееся, красивое. Нина приостановилась.

— Он был хорош в «Без вины виноватых», а здесь... здесь душка какой-то,— небрежно взмахнула она рукой.

У Каляевской она сказала, если он устал, то может не провожать, но Игорь пошел. В подъезде он закурил и стал греть руки на батарее отопления. Она ждала, что вот-вот он попросит ее прийти в субботу, а ее эти размеренные субботы, когда его мать уходила куда-то, порой тяготили своей обыденностью, не такой представлялась ей любовь, и она уже приготовилась под каким-либо предлогом отказать, но Игорь молчал, попыхивая папироской, и отрешенным взглядом уставился в потолок. Ей стало жалко его, и она корила себя, что резала «правду-матку», огорчив Игоря. Ну, что ей стоило чуток покривить душой и похвалить рассказ?

— Ну, пока... Перед субботой созвонимся,— сказала она.

Лицо Игоря посветлело немного. Она наскоро чмокнула его в щеку и легко взбежала на несколько ступеней лестницы, оттуда махнула рукой и исчезла за дверью. Он слышал, как стучали ее каблуки в коридоре.

Домой вернулся сумрачный. Мать, заметив это, сразу же спросила, что с ним.

— Ничего,— пожал он плечами.

— Нине не понравился твой рассказ? — догадалась она.

— Она не дочитала,— кисло усмехнулся он.

— Не огорчайся. Ты знаешь, я хорошо к ней отношусь, но она еще такая девчонка. Ты покажи Александру Георгиевичу, я уверена, он даст прекрасный отзыв.

Александр Георгиевич был тем самым известным писателем, жившим в их доме.

— Я покажу, но не сейчас. Надо кое-что подправить. Нина высказала несколько вроде бы верных мыслей.

— Не преувеличивай ее интеллектуальные возможности,— улынулась мать.— На мой взгляд, у тебя все получилось.

— Это на твой взгляд,— уныло сказал он.

Чего-чего, а критического отношения к своим литературным опытам у Игоря было не отнять. Не переоценивал он свои возможности, потому и учился в Тимирязевке, а в заочный полиграфический поступил, потому что хотел получше знать литературу. Если не выйдет ничего с его писаниями, будет он наверняка хорошим экономистом, а это сейчас очень важное дело — надо же поднимать хозяйство и восстанавливать страну.

5

Просидев безвылазно два дня и две ночи, Коншин сдал работу к положенному сроку, только не успел подписать ее в одной инстанции. Это беспокоило, в редакции могли не оформить счет, тогда пролетит он мимо полочки и к Новому году останется без копыя. Конечно, сотню-две можно будет где-нибудь перехватить или выпросить пенсию до срока.

Но заведующий плакатной редакцией работу принял и подписал счета. Он вообще неплохо относился к Коншину, помогал советами, а иной раз и сам исправлял в плакате кой-какие мелочи, чтоб не гонять его по пустякам в редакцию. Сегодня же он был мил и любезен, пожалуй, более обычного.

— Счет я вам оформляю, Коншин. Понимаю же, впереди Новый год. Но вы обязательно на днях подпишите плакаты. Договорились?

— Разумеется, Анатолий Сергеевич.

— Вот и ладненько... Ну а как, нравится вам у нас работать?

— Да. Я очень благодарен вам.

— В будущем году у нас большой план, и, я думаю, вы сможете иметь более или менее постоянную работу. У вас не все еще получается, но научиться работать можно, лишь работая. У главного художника были претензии к некоторым вашим плакатам, но я отстоял вас. Людей на плакате вам надо стараться делать с натуры, вы еще не набили руку. Попросите кого-либо из товарищей попозировать. А остальное у вас идет хорошо.

Коншин действительно был благодарен Анатолию Сергеевичу, тот взял его, можно сказать, с улицы, без всяких

рекомендаций, и вот уже полгода Коншин имеет заработок. Может быть, подумал он, надо пригласить Анатолия Сергеевича посидеть в ресторане, и он заикнулся об этом.

— Нет, двадцать пятого я не смогу, но на будущее — не возражаю, тем более нам и верно надо поговорить в свободной, так сказать, обстановке, — улынулся Анатолий Сергеевич.

Из редакции Коншин вышел сияющий. И получка будет к Новому году, и обещание Анатолия Сергеевича насчет постоянной работы — все это радовало. Уж больно унизительны эти хождения по издательствам с просьбами, нет ли какой работенки, равнодушное рассмотрение работ, и по тому, как их возвращали, и по тому, как цедили обычное — «позвоните через месяцок», было ясно, впечатления его плакаты не произвели, и вряд ли стоит звонить или заглядывать сюда еще раз.

У пивного бара на Пушкинской увидел Коншин группу студентов литинститута и среди них одного, с которым познакомил его когда-то Костя Саничев, бывший одноклассник, ныне учившийся в Литературном.

Саничева он очень давно не видал и подошел к ребятам спросить о нем. Они потупились. А тот, с кем он был знаком, отвел его в сторонку и шепнул, что Константина месяц тому «взяли» и что не надо о нем спрашивать. Шепнул и быстро вслед за своими шмыгнул в дверь бара. Коншин не успел даже спросить — за что? Он стоял ошеломленный, будто взвизгнула рядом пуля и шмякнулась сзади в кого-то. Бывало на войне так. И обернуться боязно — кого же шлепнуло, не друга ли? Саничев не был близким товарищем, но разве в том дело? «Взяли» же инвалида войны, безногого, сверстника. Вот что подействовало и в сознание не укладывалось. Слетело мигом радостное настроение, побрел медленно к дому, прихрамывая больше обычного, так как стрельнуло болью в раненую ногу.

Около сберкассы на Божедомке тянулась огромная очередь. Старые деньги меняли до двадцать второго декабря, а сегодня двадцатое, и очередь бурлила. Стояли-то, конечно, те, кому было что менять, из-за нескольких сотен или даже тысячи стоять с ночи до вечера резона нет. Стало быть, большие деньги меняли, а откуда они? — подумал опять Коншин.

И вдруг он заметил Лилию из его дома. Она отвернулась и скрылась за спиной какого-то мужчины, но, идя дальше, увидел он и ее отца, и мать, и даже младшую сестренку.

Выходит, всей семейкой стоят. Коншин не знал, где работал во время войны ее отец, но вот нахапал деньжищ, а казался вроде порядочным человеком. Коншин сплюнул и выругался про себя. Вот кого сажать надо, а не... И вернувшись мыслями к Косте Саничеву.

На другой день, встретившись в институте со своим нынешним другом — Володькой, с которым познакомились в сорок пятом, Коншин рассказал ему об обещании своего шефа из редакции по поводу постоянной работы. Володька поздравил, но выразил опасения, не засушит ли себя Коншин плакатом.

— Мне говорили об этом, но что делать? — пожал плечами Коншин. — Работать-то надо. Да и надоело военное донашивать. Давно хочу Наталью куда-нибудь пригласить, но куда в таком виде с приличной девицей?

— Все это так, — понимающе кивнул Володька. — Но как бы на халтуре руку не испортить.

— Не до жиру, Володька... И почему обязательно испортить? Я не считаю плакат халтурой.

— Смотри, тебе виднее...

После занятий, как всегда, шли вместе, тут и рассказал Коншин о Косте Саничеве. Володька выслушал внимательно, а потом, усмехнувшись, спросил:

— А когда брали старшее поколение, тебя не поражало?

— Не так. Видишь ли, старшие-то родились до революции, могли чего-то недопонимать, чем-то быть недовольны, ну а мы? Мы-то родились при Советской власти, мы четыре года воевали за нее, и вот... — Коншин задумался. — В сознание не укладывается...

Володька ничего не ответил. Какое-то время шли молча и лишь около Института Склифосовского Володька спросил:

— Помню, рассказывал ты мне о полковом комиссаре. Не знаешь, что с ним?

— Не знаю... На днях в троллейбусе его дочь увидел, да не узнал сразу. Когда она выходит на Самотеке стала, вспомнил. Бросился за ней, а двери закрылись. Так неловко вышло. Она-то меня узнала, глянула в упор, а потом резко отвернулась, решив, наверно, что не желаю я ее узнавать.

— Да, неудобно получилось, — покачал головой Володька.

— Сходить, что ли, к ним?

— Сходи обязательно, это надо,— нажал Володька на последнее слово.

Разумеется, надо, думал Коншин вечером по дороге на Садово-Самотечную, где жили комиссаровы дочки. Уж более трех лет минуло с той поры, а не уходил этот человек из памяти, нет-нет да вспомнится крупное, иссеченное морщинами лицо, обстриженная седая голова, плотная фигура в лагерном ватнике — и взгляд, полный отчаянного непонимания, что же случилось с ним и как произошло. И всегда при этих воспоминаниях томило Коншина чувство неясной вины, особенно тогда, когда вспоминалось, как тянулся комиссар перед ним, бывшим младшим лейтенантом, мальчишкой, как робко спросил при первом знакомстве, где воевал Коншин, и как с дрожью в голосе благодарил за такие вроде бы мелочи, как передачи писем и посылок от дочерей.

Дом Коншин помнил, чуть выше автодорожного института, ближе к Лихову переулку, да и заметный был дом, красивый, в стиле модерн. Номер квартиры он позабыл, но этаж-то вроде четвертый или пятый, в войну лифт не работал и взбирался по лестнице как будто высоко. Сейчас поднялся на лифте до пятого и дверь узнал. Позвонил, немного волнуясь. Открыла одна из дочерей, как раз та, которую в троллейбусе видел. Поздоровался, извинился, что не узнал при встрече сразу...

— Много лет прошло, да и стоило ли узнавать? — сказала она и пригласила пройти, добавив, что они-то его не забыли.

— Я на минутку. Хотел узнать, что с вашим отцом? Не пересмотрели дело?

— Папа... умер... — очень тихо ответила она, так тихо, что он скорее по движению губ, чем по звуку, понял сказанное.

— Умер? — оторопел он, остановившись.

— Вы проходите. Нам многое надо вам сказать.

Коншин прошел в комнату, сел на предложенный стул, попросил разрешения закурить.

— Курите, — разрешила она и села напротив. — Мы с сестрой хотели разыскать вас, но потом как-то раздумали...

— Почему?

— Ну, понимаете ли, — замялась она. — Может, вам ни к чему такие знакомства... А хотелось поблагодарить вас за все — и за письма, и за посылки, и главное, за то,

что вы как-то скрасили отцу последние дни... Он писал, что становится легче от того, что есть люди, не верящие в его вину, а ведь это про вас... Этот молоденький лейтенант, писал он, единственный человек, с которым я могу быть искренним, он не боится общения со мной... Вот нам и хотелось...

— Разве в этом есть что-то особенное?! — вырвалось у Коншина.

— Наверно, вы по молодости не понимали, чем рисковали, передавая письма, посылки, да и просто общаясь с... заключенным.

— Ну чем я рисковал? Я прошел войну, трижды ранен, награды, — воскликнул он.

— Папа тоже воевал с начала войны. И наград у него, наверное, было больше, чем у вас. Понимаете? — грустно улыбнулась она.

— Нет. Я тогда ни о чем таком не думал. Я видел человека, фронтовика, полкового комиссара, попавшего в беду, ну и...

— За это мы и благодарим вас, — комиссарова дочь немного помолчала, а потом с трудом и с болью в голосе сказала: — Вообще-то мы с сестрой знали, что папа не выдержит лагеря. Он был такой гордый, а лагерь... Да вы сами знаете.

— Да... — тихо подтвердил он, вспомнив последний разговор с комиссаром, о котором не мог рассказать, так как дал слово молчать.

— Кстати, а как вы там оказались? — спросила она и смутилась.

— Разве я не говорил? Мне надо было до института где-то работать, вот и устроил меня отец в Углич, на завод, где главным инженером был его товарищ... Ну а на заводе работали заключенные...

На обратном пути вспомнился Коншину отчетливо, до каждого слова тот разговор, и сейчас, после того как узнал о смерти комиссара, понял еще больше его страшную суть. Стояли они у штабеля бревен, угостил Коншин куревом, комиссар жадно затягивался, а потом поднял глаза, глянул на Коншина как-то растерянно, беспомощно и, тяжело переводя дыхание, сказал, трудно выговаривая слова:

— Знаете, Коншин, до чего я дошел? На какой подлой и страшной мысли ловлю себя? Уж не знаю, как решаюсь сказать об этом, но, видно, сил нету держать в себе... Вот читаю сводки... Радуюсь, разумеется, но думаю...

Было бы на фронтах хуже, может, меня — туда... Хоть рядовым в штрафную... Понимаете ли, я — старый коммунист, комиссар, Родину свою любящий, и вот... вдруг мысли такие... Там бы умереть, в бою, с оружием в руках, а не на барачных нарах... — задрожал голос, и на миг закрыл он лицо руками. — Только, ради бога, забудьте об этом и — никому. Слово дайте.

Пробормотал Коншин тогда, что дает слово, конечно, но что все же не надо отчаиваться, после войны пересмотрят дело... Комиссар безнадежно покачал головой и никакого проблеска надежды не увидел Коншин в его мертвых, потухших глазах...

6

В то же утро первого дня денежной реформы Михаил Михайлович Воронов подходил к своему дому в Борисоглебском переулке с двумя большими сумками — это была натуральная оплата продмагов за срочную работу: новые ценники на продукты. Перед этим он обошел несколько магазинов, что на Арбате и в прилегающих к нему улицах и переулках, устал и был голоден.

— Держи, Таня, — сказал он жене, передавая ей сумки, а сам стал стаскивать с себя старое-престарое кожаное пальто, непонятно уж какого цвета. — На неделю, думаю, хватит, — он тяжело опустился на продырявленный, выдавший виды диванчик.

— Разумеется, хватит, — приняла она сумки и вздохнула. — Но как мы будем жить дальше, Миша?

— Как жили, так и будем, — раздраженно ответил он. — И перестань об этом. Приготовь мне поесть, и я лягу спать, — две ночи он сидел над ценниками.

— Сейчас, Миша, сейчас... — засуетилась жена и начала выкладывать из сумок продукты.

Как жили, подумала она, это была не жизнь. Муж, вернувшись с войны, так никуда и не поступил работать, а потому и не получал продуктовой карточки. Жили на случайные заработки, оформлял Михаил Михайлович стенгазеты в магазинах, писал разные объявления, ценники на продукты, делал кое-что и с убогими витринами, украшая их сооружениями из пустых консервных банок и старыми муляжами. Расплачивались с ним магазины чаще всего продуктами, что было тогда даже лучше, чем деньги, но вот как теперь после отмены карточек будет,

неизвестно. Может, легче, а может, и труднее? Все же на ее мизерную зарплату можно было паек выкупить и по своей, служащей карточке и иждивенческой сына, а сейчас продукты много дороже стали — и как все обернется?

— Миша,— неуверенно начала она,— может быть, все-таки тебе надо в союз сходить? — она говорила о Союзе художников, членом которого был муж до войны.

— Нет, Таня. Ты же знаешь, пока делать этого не следует.

— Сколько же времени прошло,— вздохнула она.

— Давай прекратим этот разговор,— резко сказал он, поднявшись с дивана.— Ты дашь мне поесть или нет? И чего ты все время ноешь? Если бы я не вернулся к тебе, вы бы с голоду подохли за эти годы. И не вмешивайся в мои дела.

— Не сердись, Миша. Я не о нас, мы-то перебьемся. Я о сыне.

— Я люблю его не меньше, чем ты, иначе...— он не досказал, но она поняла — иначе он не возвратился бы к ней.

Она часто заморгала и всхлипнула. Потом, чтоб перевести разговор — да и вспомнив,— сказала, что звонила Антонина Борисовна, их давний друг, поздравляла с отменной карточек и пригласила на Новый год...

— Пойдем, Миша?

— Не знаю.

— Мы совсем растеряли друзей. По-моему, надо пойти,— робко сказала она.

— Не друзей мы растеряли — знакомых. Ну и бог с ними.

Жена стала накрывать на стол. Немного погодя она вернулась к тому, что, видимо, давно не давало ей покоя, сказав, что и Антонина Борисовна, и ее племянница Наташа тоже советовали ему восстановиться в МОСХе.

— Ты опять? Они же ничего не знают до конца. И не лезь ко мне с этим. Я должен решить все сам. Поняла?

7

Новый, сорок восьмой год встречался москвичами радостно, с надеждами. Все самое тяжелое позади. Выдюжили и войну, и тяжкие послевоенные три года, теперь жизнь должна беспрерывно лучше становиться. Хотя цены на продукты после реформы оказались выше довоенных

вдвое, но обещали снижать постепенно, чтоб через несколько лет приблизить, а то и сравнять с теми, что до войны были. В магазинах было всего полным-полно, взгляд радовался, но очередей не видать — туговато с деньжатами у народа, да и цены кусаются, масло сливочное шестьдесят два рубля, мясо — двадцать восемь, так что такие продукты, как сыр, колбаска, брали по сто — двести граммов, ну а деликатесы вроде икорки, рыбы копченой могли себе позволить лишь немногие, да и то в дни получек. Но без этого прожить можно, главное, голод кончился. Ну и промтовары появились; материал бостон четыреста пятьдесят рубликов за метр, костюм мужской — одна тысяча четыреста, полуботинки мужские — двести шестьдесят. Можно уже поднатужиться и купить что из одежды. Кому не лучше стало, так это тем, кто большие пайки получал, литерные А и Б, теперь им не по довоенным ценам паек выкупать, а платить, как и всем, денежки по новому прејскуранту. Но таких немного, всему-то народу лучше стало.

Коншин Новый год встречал у Наташи. Народу было мало — он с Володькой, двоюродный Наташин брат с девушкой и подружка ее для Володьки. Собрали по сто рублей с носа, и стол был таким, за каким они давно не сидели, почти довоенный, даже с шампанским. Но Коншину почему-то грустно. Стукнет ему, да и Володьке скоро двадцать восемь, на фронте ребята таких лет казались им уже настоящими мужчинами, да и редко кто из них был бессмейным и бездетным, а они вот все еще студентики. Коншин хоть подрабатывает что-то, а Володька тянет на пенсии и стипендии и даже эту сотню на праздник пришлось просить у матери. Да, взрослые уже мужики, а все еще несамостоятельны...

Володька вяловато ухаживал за Наташиной подругой. Видно, не очень-то понравилась. А Коншин, как обычно при Наташе, ощущал какую-то скованность. Она же сегодня была оживлена, любезна, как и подобало хозяйке дома, и даже кокетлива.

Когда все тосты за Новый, сорок восьмой год, в котором должно быть у всех прекрасно и хорошо, были произнесены, у Коншина непроизвольно вырвалось про Костю Саничева.

Наступило неловкое молчание. Наташа поджала губы и с досадой бросила:

— Вот всегда у вас так, Алексей, чем-нибудь да испортите. Ну зачем сегодня об этом?

— Простите, не к месту, наверно. Но я все время об этом думаю.

— Ну и думайте про себя! Мы празднуем Новый год и к чему эти разговоры?

— А почему, интересно? Мы же взрослые люди,— вмешался Володька, холодно взглянув на Наташу.

— Потому, что мы собрались не для этого,— отрезала она.

— Вы, наверно, не поняли, Наташа, что встревожило Алексея. Это же первые удары по нашему поколению. По фронтовому! Отдавшему семь миллионов жизней!¹— продолжал Володька.

— Да, Наташа,— мягко начал ее брат,— все это довольно серьезно, и напрасно ты...

— Может быть,— перебила она его,— но у Алексея есть сотни мест, где он может обсуждать это, а не в доме, куда он пришел встречать Новый год. Ну почему у вас всегда так получается? — повернулась она к Коншину.

— Хорошо, больше не буду об этом,— примирительно сказал он.— Можем поговорить о «Последних днях Гитлера» Бергарда Больдта, что печатается сейчас в «Правде».

— Гитлер надоел, ну его...— засмеялся Наташин брат.— Лучше я поставлю Вертинского, благо теперь его можно слушать без опаски,— и направился к столику, где стоял патефон.

Да, Вертинский уже не белоэмигрант, а советский гражданин, пластинки с его «упадочными», как они звались раньше, песенками можно, хоть и с трудом, купить в московских магазинах, а также попасть и на его концерты. Поначалу это было необычно.

— Моя мать ходила на концерт,— сказал Володька.— Но больше смотрела не на Вертинского, а на публику и поражалась, что еще осталась старая московская интеллигенция.

— Чему тут поражаться? — холодно спросила Наташа.

— По-вашему, нечему? — усмехнулся он.

— Ты вроде помалкивала, Наташа, когда твоя тетка удивлялась тому же,— заметила девушка Наташиного брата.

¹ Первая статистика жертв войны.

— Ну, тетя Тоня вообще...— покрутила Наташа пальцем, показывая этим, что тетушка ее с «завихрениями».

Завертелась пластинка, и запел Вертинский: «Сколько вычурных поз, сколько сломанных роз, сколько мук, и проклятий, и слез...» Ну и дальше: «А любовь это яд, а любовь это ад, где сердца наши вечно горят...»

Все слушали внимательно, только у Наташи дрожала снисходительно-ироничная улыбочка. На Коншина же наивные и довольно избитые слова незатейливой песенки почему-то действовали, даже пощипывало на сердце.

— Когда он был запрещен, то казался значительней и интересней,— заявила Наташа.

В излишней сентиментальности упрекнуть ее было нельзя, а возможно, у нее просто лучший вкус на музыку, она же в консерватории ходит, подумал Коншин, вспомнив, как восхищалась она каким-то консерваторским концертом.

Настроение не поднималось, выпили еще по рюмке, потанцевали немного, поговорили о чем-то незначашем, и довольно рано, около двух ночи, стали расходиться. Точнее, ушли Коншин и Володька, остальные остались ночевать у Наташи, благо места в трехкомнатной квартире было достаточно.

— Чего она взъелась? — спросил Володька, когда вышли они на улицу.— Шибко сознательная?

— Не знаю... Ее отец начальник какой-то, видал, квартира. Ну и, наверно, не приняты у них такие разговоры,— ответил Коншин, закуривая.

— Ну и что у тебя с ней?

— Почти ничего,— пожал Коншин плечами.— Платоническая влюбленность, вроде школьных.

— Она мне Тоню напоминает, рассказывал я тебе... Думаю, Леша, такие девицы не про нас.

— Сейчас «не про нас», по-моему, все девицы. Ну что мы из себя представляем? — не без горечи сказал Коншин.

— Ты вроде моих приятелей — Сергея и Деева, все жаждешь чего-то из себя представлять? — уколол Володька, усмехнувшись.

— Да нет, я в том смысле, что мы не имеем твердого куска хлеба.

— Ну, кусок хлеба мы-то имеем. А у тебя вообще сейчас перспективы.

— Я еще неважно работаю... Вот Марк, тот профессионал... а я пока... — он махнул рукой.

— Ты обещал сводить меня к нему, посмотреть картины.

— Сходим... Правда, он нелюдим, но я уговорю.

Дошли до Казанского вокзала. У подъездов толпились люди, рвавшиеся в ночные буфеты. Много инвалидов в потертых шинельках, на костылях, сильно раскрашенных девиц, ну и вообще типичных привокзальных личностей. Все они прилипли к дверям, стремясь в тепло, их не пускали без билетов на поезда, но, видимо, они как-то проникали, иначе чего же толпиться здесь.

На Переяславке Володька спросил:

— Ты был?

Коншин сразу понял, о чем его спрашивают, кивнул и пробормотал:

— Комиссар умер...

— Вот как... — вздохнул Володька. Помолчав немного, сказал, что отец Сергея должен скоро вернуться, его сактировали.

— Что это значит?

— Отпускают по болезни.

8

Радостно, но и хлопотно стало в доме Бушуевых — приехал из Германии старший брат Петр со своим фронтовым другом и сослуживцем майором Иваном Дубининым. В доме, конечно, праздник, бесконечное застолье, вкусная еда, хмельное веселье... Правда, сам Петр не очень-то весел, озабоченный. Приехал он не в отпуск, а на лечение в московский госпиталь. Ранений у него хватало, но одна рана все не заживала, требовалась операция, и неизвестно еще, как она пройдет, будет ли годен он после нее для дальнейшей службы.

Дубинин же приехал в отпуск, светила ему академия, уже готовился он к экзаменам, что летом будут, а потому резвился, с ходу принялся за Настей приударять, понравилась она ему еще в первый приезд в Москву, в сорок пятом, когда гуляли они напропалую, празднуя Победу, не верящие еще, что в живых остались... Не успел ввалиться, как бросился к ней с объятиями:

— Здравствуй, Настенька, невеста моя бывшая! Поцеловать-то разрешишь?

— Ни к чему это,— отодвинулась она от него.

— По-братски, Настенька, по-братски... Ну ладно, неволить не буду. Но ты, гляжу, похорошела, ослепнуть можно.

— Брось, Иван. С чего хорошеть-то? Достался нам сорок седьмой. Пожалуй, тяжелее военных лет оказался.

— Ну а подарочки примешь? — бросился Дубинин к чемодану.— Платье я тебе привез, туфельки... Вот держи...

— Ты что, Иван? Не жена я тебе, не любовница, чтоб такие подарки принимать. Убери,— твердо и строго сказала она.

— Ну, знаешь! При чем здесь жена, любовница? Я тебе как сестре своего фронтового друга дарю, а ты...

— Нет уж, избавь.

Женька, вертевшаяся в комнате, жадными глазками ухватила свертки и заняла:

— Настя, ну давай посмотрим, что товарищ Дубинин привез, интересно же.

— Тебе интересно, ты и смотри,— сказала Настя и вышла на кухню.

— Ну и сестрица у тебя, Петр,— повернулся Дубинин к другу.

— Наша порода, бушуевская... Не покупаемся мы, Ваня. И чего ты разлетелся, я же привез им барахлишка.

— Петр, а мне посмотреть можно? — спросила Женька, кругами приближаясь к чемоданам.

— Посмотреть — посмотри,— снисходительно разрешил брат.

Женька бросилась к чемоданам, раскрыла, вытащила платьице, прикинула сразу на себя, закружилась в вальсе.

— Мировое какое!

— Ладно, хватит,— приказал Петр.— Иван домой на побывку поедет, найдет, кому подарить.

Но Женька расстаться с платьем не могла, прижала к груди и стояла посреди комнаты с затуманенными глазами, пока брат не прикрикнул:

— Положи обратно!

Тогда она очнулась, сникла вся и молча положила его в чемодан. Тут Дубинин и оглядел ее как следует: девчонка что надо, и пробормотал:

— А ты взрослая уже, Женька, и не хуже Насти получила. Помнишь, как у меня на коленях сидела?

— Чего выдумываете? Не было этого никогда,— приснула она и убежала в коридор.

— Слушай, Петр, подарю я девчонке эту тряпку, ну и туфельки. Видал, как загорелась.

— Отставить, Иван,— спокойно, но веско произнес Петр.— Не нищие, слава богу. Я ей тоже кое-чего привез.

— Раз не разрешаешь, слушаюсь,— Дубинин уложил платье в чемодан.— Красивая из нее девчонка вышла.

— А Бушуевы все ничего, разве не заметил? — усмехнулся Петр.

— Ну, твою-то физию на медаль печатать только... Что ж ты, Петя, на нашу врачиху ноль внимания, бабочка-то загляденье. И сохнет по тебе у всех на глазах прямо.

— Вот и возмись,— буркнул Петр нехотя.

— Куда нам со свиным рылом да в калашный ряд. К тому ж не для баловства такая женщина, а жениться мне рано. Вот если после академии...

Вернулась из кухни Настя, стала на стол накрывать. Богатый получился обед, давненько у них в доме такого не было — и закуска рыбная, и шпроты, и селедочка отменная, и щи с мясом, и второе мясное... Женька уж давно на кухне то того, то другого по кусочку в рот запихивала незаметно от сестры, не дотерпев до обеда, к которому пока не приступали, ждали отца с работы и Михаила.

Первым пришел как раз он, худющий мужик с серым, землистым лицом, не похожий совсем ни на брата старшего, ни на сестер. «Не в нашу породу уродился», — говорил о нем Петр.

— Привет победителям! — сказал он, входя в комнату.

— Привет, рабочий класс,— поднялся навстречу ему Петр, протянув руки.

Но поздоровались сдержанно, приобнялись минутно, и все. Видать, отношения между братьями с холодком. Поздоровался Михаил с Дубининым, знакомы они по сорок пятому победному году, когда пригласил всех Петр в ресторан «Москва» на ужин, где они с Дубининым пускали бездумно и с размахом «лебедей», а Михаил жался, представляя, что вот на такие, брошенные на ветер деньжища ему бы с семьей месяц жить безбедно, прикупая на рынке мясо и маслице, ну и хлебушко, конечно.

Петр внимания не обратил, что брат худ и истощен, а Дубинин заметил и спросил сочувственно:

— Что, Миша, работаешь много?

— Приходится... На войну четыре года без выходных

вкалывал, теперь на восстановление. Это вам не раз, два, три...— добавил усмехнувшись.

— Это ты брось,— обрезал Петр.— Не только «раз, два, три» у нас. Достается. Не знаю как кому, а мне в мирной армии трудней служить.

— Не равняй. У вас там и паек и зарплата, а мы всю войну на Р-4¹ жили...

— Ты на Р-4,— прервал опять Петр,— а мы под пулями и снарядами. Знаешь же, сколько раз я в госпиталях валялся, вот и сейчас в госпиталь ложусь.

— Ты, значит, не в отпуск?

— Нет, браток, к помощникам смерти опять, на операцию. И неизвестно, что выйдет. Может, оттяпают ногу. Все время гноится, осколки да кости раздробленные вылезают... Как там один поэт сказал, мы не от старости умрем.

— Уж и помирать собрался? — осклабился Михаил.

— Пока нет,— сухо буркнул Петр, а потом строго поглядел на брата.— Почему редко отца и сестер навещаешь?

— Захожу, когда время выдается, да не больно его много. Устаю я, Петр, устаю... Вымотала война. У вас там на фронте хоть передышки какие-то были, а тут каждый день по двенадцать часиков, вынь и положь. Вот со здоровьишком-то и не очень, побаливаю...

— Тебя в тридцать восьмом призывали в армию, надо идти было, а ты к своему заводишку прилип. В армии закалился бы, а то был хилым, хилым и остался.

— Ты о заводе моем так не говори. Родной он для меня. Без него да без других хрен бы войну выиграли. Не помнишь, что ли, как без техники-то драпали в сорок первом,— обиделся Михаил.

— Конечно, Миша, это мы понимаем, это Петр так,— вступился Дубинин.— Да и ни к чему этот разговор завели. Вот Михаил поприветствовал нас — победители, а ведь он такой же победитель, без него бы...

— Ладно, хватит,— досадливо махнул рукой Петр,— понимаем. Но Михаилу-то под смертью стоять не приходилось, как нам с тобой. И всю войну с бабой в постели теплой спал.

— Сказал бы я тебе, да ладно...— подавляя злость, бросил Михаил и вытащил «Прибой».

Пришел с работы Бушуев-старший, тут уже другие раз-

¹ Рабочие продуктовые карточки.

говору пошли и обедать сели. Старик радовался приезду первенца, любимым он у него был, да и надежды отцовские оправдал, вышел в большие люди, такой громадой людей в войну командовал, а начал-то ротным, и, надо же, комендантом побежденного немецкого города состоял, ну и наград правительственных ему не занимать, вся грудь в орденах, Красного Знамени целых три, а это орден большой. Беспokoило отца лишь, что не женится Петр, все в холостых гуляет. Ну, с Настей дело сложнее, ее одногодков почти не осталось, а Петру только выбирай, любая пойдет, только свистни, но почему-то не желает сын. Слыхал он краем уха, была у Петра любовь на фронте, но погибла та женщина. Хорошо, конечно, что память о ней блюдет, но лет-то сколько прошло... Настя могла бы за этого Дубинина выйти, лип он к ней в сорок пятом и в роде предложение делал, но отказала, и тоже из-за Андрея своего погибшего. Верность-то верностью, но ведь живым — живое, надо им свою жизнь устраивать, не век же Петру в бобылях ходить, а Насте в старых девах.

За столом он об этом и заикнулся — не пора ли старшему сыну своим домом обзаводиться? Петр брови нахмурил, пробежала тень по лицу, ответил тихо, но так, что возвращаться к такому разговору уже не стоило:

— Лучше Катеньки не встречал, а на худшей — зачем?

— Петр у нас однолюб, как и Настя, — фыркнула Женька, но тут же осеклась под тяжелым взглядом брата.

После обеда прошел Дубинин на кухню, где Настя посуду мыла. Присел рядом на табурет.

— Ты что, ежели помогать пришел, так вон вытирай тарелки, — не очень-то любезно предложила она.

— Давай, — взял он полотенце. — Я вот что хочу знать, Настенька, почему ты мне от ворот поворот дала в сорок пятом? Не нравился я тебе, что ли?

— Нравился... Мне тогда все, кто с войны, родными казались. Но торопился ты, Ваня. Знал же, погиб у меня Андрюша, не отболело еще, а ты под юбку сразу.

— Так мы же все шальные были от того, что живыми остались. Нам все сразу взять хотелось, чего в войну не имели. Это не в оправдание, а чтоб поняла. Вот и торопился... — вздохнул он. — Ну а сейчас как? Я о тебе все эти годы помнил...

— Что сейчас? Сейчас тебе помоложе надо. Да и благополучный ты больно, нет у меня доверия к таким.

— При чем тут это? — удивился он. — Тебе, что ж, неудачника нужно, чтоб было с кем маяться? — выдавил он усмешку. — Не понимаю тебя.

— А ты меня никогда не понимал и понимать не будешь. Разные мы с тобой, Иван, ох какие разные.

— Да... — задумчиво начал он, — обидела крепко ты меня тогда, ну и сейчас... тоже. Ладно, обиды не держу, ты ж родная сестра друга, но ведь такой поворот только от тебя получил.

— А до меня отказов не было? — улыбнулась Настя.

— Убей бог, не было, — рассмеялся он. — Может, потому и зацепила ты меня накрепко.

Тут Женька появилась, поглядела лукаво на обоих, хихикнула:

— Любезничаєте? А может, товарищ майор в любви признается? Интересно! Хоть бы мне кто признался.

— Ты чего меня майором величаешь? Имя, что ли, не знаешь?

— А я не знаю — как? Дядей Ваней вроде не то, не маленькая я, Иваном неудобно, а отчества вашего я не знаю, товарищ майор. Давайте так и буду. Тем более, слыхала, в академию вы поступаете, значит, скоро генералом будете.

— Ну это не обязательно и не скоро.

— Будете! Наверняка! Верно, Настя?

— Думаю, будет.

— Ох, наверно, здорово генералом быть?! Всего навалом, деньжищ куча...

— Ты что все про деньги? — прикрикнула Настя. — Сроду у нас в доме про них разговоров не было.

— Разговоров не было, но и денег тоже, — засмеялась Женька. — Так и живем, перебиваемся, все счастливой жизни ждем, про которую отец все уши прожужжал. А ее все нет и нет.

— Хватит, балаболка! Садись-ка да помогай посуду мыть, — сказала Настя раздраженно.

— Это я с удовольствием, особенно если с товарищем майором вместе, — стрельнула она глазами в Дубинина.

А в комнате шел другой разговор. При отце братья старались быть друг с другом душевней и не спорили. Михаил про завод свой рассказывал, что расширяется он, новые цеха строят, через годик-два продукции давать много больше будет, что сейчас, после отмены карточек, настроение у народа поднялось, да и слухи ходят, что зар-

плату прибавят, в общем, жизнь пойдет. Хоть и устали за войну, но работают с душой, ну и верят все, что жизнь вскорости лучше довоенной будет.

— Бессомненно, сынки, лучше будет. Раз такую войну выдюжили, так и хозяйство восстановим,— убежденно поддержал Михаила отец.— Помните, в тридцать пятом карточки отменили и через год-два жизнь наладилась, и недаром с легкой руки товарища Сталина сразу все заговорили: жить стало лучше, жить стало веселей. Эх, кабы не война, сейчас такая жизнь была...— мечтательно протянул под конец.

Настя помыла посуду и пошла на ночное дежурство, остались в кухне Женька с Дубининым одни.

— Значит, не помнишь, как у меня на коленях сидела? — посмеиваясь, спросил он.

— И не было такого,— засмеялась и она.

— Ты прогуляться не хочешь, Москву мне показать? Погуляем, в кафе-мороженое зайдем, а?

Женька ответила не сразу, поглядела на Дубинина задумчиво, чего-то в своей головке прокрутила и согласилась.

9

В середине февраля неожиданно позвонила Женька. Коншин смутился, деньги-то он ей отложил, но потом израсходовал.

— Я с вокзала звоню,— объявила она, словно ему это так важно знать.

— Ну и что делаешь? Опять гуляешь?

— Не.... Я тут с одной девушкой познакомилась, так ей посоветоваться с вами надо.

— Занят я, милая... И что этой девице нужно?

— Воевала она, разведчицей была, а документов нет, вот она...

— Ладно, надо же тебе долг отдать. Только, Женька, пока не весь. Ты на каком вокзале?

Женька ответила, что на Казанском, и ждать будет у главного входа, а насчет долга — это неважно.

До Каланчевки от дома Коншина недалеко, сел на пятидесятый трамвай на улице Дурова, а там по 2-й Мещанской, Безбожному, Каланчевской улице — вот и вокзалы. Еще издали он увидел Женьку, она стояла с независимым видом, руки в карманах старенького пальтишка,

но видно — замерзшая. И опять кольнула Коншина жалость к этой глупой девчужке и одновременно — раздражение от ощущения своей вины.

— Придумала небось про девушку? — спросил вместо приветствия.

— Честное пионерское... Она в зале ожидания сидит.

Прошли туда... Знакомая, будоражащая обстановка вокзала, когда нестерпимо хочется куда-нибудь ехать, слушать перестук колес, видеть пролетающие мимо полустанки, испытывая какую-то неясную тоску при звуках паровозных гудков...

Они с трудом пробившись сквозь толпу, пробрались по узкому, заваленному вещами проходу между скамейками, перешагивая и через чемоданы и тюки, и через ноги сидящих, дремлющих, а то и похрапывающих пассажиров, и дошли наконец до Женькиной знакомой. Она была в сером платке, в черной не новой телогрейке, в валенках и показалась Коншину совсем девчонкой, тем более ожидал он увидеть более взрослую девушку, воевала же. Она повернула к ним бледное невыразительное лицо, потом поднялась и, взяв в руки какой-то узелок, освободила около себя место.

— Вот, Ася, привела я,— с чувством выполненного долга сказала Женька.

— Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Присядете, может? — робковато предложила она.

Коншин присел, оглядел девушку и спросил с сомнением:

— Сколько же вам лет? Неужто могли воевать?

— Мне еще семнадцати не было, когда нас в разведку взяли. А выглядела я дай бог на пятнадцать. Но это и хорошо было, меньше подозрений у немцев вызывала.

— Так вы к ним в тыл ходили?

— Да, в тыл,— устало вздохнула она.— А вот теперь концов не найду, чтоб доказать это. Инвалидности военной и не дают. Вот приехала...

— Понятно,— прервал ее Коншин,— это разговор длинный... Женька, вот мой долг, только тут всего двести, и еще немного. Сходи-ка в буфет бутербродиков купи, ну и лимонаду,— он вынул из кармана деньги и протянул ей.

— Не...— помотала она головой.— Мы же на старые гуляли, а вы мне новыми. Они в десять раз дороже. Выходит, вы мне всего полсотни должны, а не пятьсот.

— Разговорчики. Бери, не глупи,— сунул он ей день-

ги в руку.— И — марш в буфет. А кстати, что ты на вокзале делаешь?

— Сестра в Коломну к тетке послала. За картошечкой.

— Не врешь?

— Не...

— А то я уж черт-те что подумал. Ну, иди.

Женька пошла прежним путем — через ноги и чемоданы, а Коншин спросил Асю:

— Вы откуда приехали?

— Из Пено... Не знаете такую местность?

— Еще как знаю! Бомбили нас на этой станции, век не забуду. В первый раз там фрица мертвого увидел, летчика сбитого. Лежал, светловолосый, горбоносый, в сером свитере... Ну, рассказывай,— перешел он непроизвольно на «ты».

— Все рассказывать дня не хватит,— вздохнула опять Ася.— Ну а если коротко, то в октябре сорок первого вызвала нас секретарь наш комсомольский и сказала: девочки, сами видите, Родина в опасности, знаю, все вы патриотки, но готовы ли на серьезную и опасную работу в тылу врага? Подумайте как следует, это по добровольности. А ты, Ася, еще несовершеннолетняя, ты можешь отказаться. Но это был предварительный разговор, отпустила она нас, а через несколько дней вызвала меня одну, дверь за мной на ключ заперла и тихо так спросила: хорошо ли я все обдумала? Ну я, конечно, уверила ее, что хорошо и на все готова. Воспользовавшись паузой, Коншин спросил:

— Здесь и ночуешь?

— А куда деваться? Знакомых у меня в Москве нету. Уже три ночи здесь... Понимаете ли, не знаю я, где числилась — в разведотделе армии или особый отдел нас оформлял? Тогда не до того было. В Наркомате обороны меня не нашли... А туда идти что-то робею.

— Чего робеть-то?

— Не знаете вы... Некоторым девочкам из нас досталось.

Пришла Женька, бутерброды с колбаской на тарелке принесла, две бутылки лимонада и стаканы. Ася ела медленно, сосредоточенно, из чего понял Коншин, что голодна, а Женька жевала споро, со смешочками. Подвинувшись к ней, он тихо спросил:

— Ты ни о чем не жалеешь, дурочка?

— Не... А о чем? — и устала на него свои наивные

глазки, делая вид, будто не понимает, о чем он.— Так обещался он тебе помочь, Ася? — переменяла тему.

— Еще не поговорили как следует.

— Вот что, Ася, пойдемте ко мне, там не спеша все расскажете, придумаем что-нибудь,— решил Коншин.

— Да нет, что вы? Неудобно, да и стесню вас,— неуверенно, даже с неким испугом ответила Ася.

— Иди, Ася, не бойся, он хороший,— вставила свое слово Женька.

— Право, не знаю... Я здесь-то не спала совсем, конечно. Но ведь я... я в плену была. Не знаете вы об этом, поэтому и говорю.

— Ну и что из этого? — не понял поначалу Коншин.— Не в лепрозории же,— и рассмеялся.

— Не смейтесь, пятно же на мне... Я в ржевском лагере была.

— В ржевском?! Так я воевал там. Выходит, однополчане почти.

— Вправду там воевали? — вроде с облегчением спросила она.— Знаете, значит, что там творилось?

— Еще бы. На собственной шкуре все испытал. И понимаешь, Ася, все, что со Ржевом связано, свято для меня. Ну, пойдешь теперь ко мне?

— А вы кем были — рядовым или командиром?

— Командиром. Начал старшим сержантом, потом младшего лейтенанта присвоили.

— Да ты не сомневайся, Ася. Я же сказала, хороший он,— опять вмешалась Женька, а потом, поглядев на часы в зале, начала прощаться, поезд ее скоро.

— Звони, Женька,— потрепал ее Коншин по щеке.

Она как-то смущенно улыбнулась, размякла на минутку от этой небрежной ласки, но быстро собралась, махнула рукой и зашагала по узкому проходу, сопровождаемая недовольным ропотом сидящих. Видать, не очень-то аккуратно шла.

— Ну, пойдём? — поднялся Коншин.

— Не знаю уж...— колебалась Ася.— Кабы рядовым вы были, я бы не задумывалась, уж больно устала без сна-то здесь.

— Доставалось, видать, от начальников?

— Не очень, но бывало.

— Ладно, идем,— взял он ее за руку.

Не очень-то охотно, но пошла Ася с ним. Под руку он ее брать не стал, чтоб не вспугнуть, да и вдруг повстречается

кто, а он с трех вокзалов с какой-то девицей топает, подумают невесть что.

— Что-то робка ты для разведчицы,— заметил он, когда подошли они к трамвайной остановке.

— После войны и герои-то заробели, а я какой герой,— усмехнулась она горько, и эта горькая усмешка сделала ее старше.

Время было не позднее, девятый час, и Алексей решил вести Асю через парадный вход, все равно соседи пронохают, тем более неизвестно, сколько она у него пробудет. Открыв ключом дверь, он прошел вперед, чтоб зажечь свет в коридоре, и тут, как назло, вышла навстречу из кухни соседка Марья Ивановна. Оглядела Асю подозрительным взглядом и даже приостановилась. Пришлось Коншину сказать:

— Вот однополчанку встретил. Остановиться ей негде, у меня побудет.

— В прошлый раз тоже однополчанка была? — проворчала соседка.— Сколько у тебя их, однополчанок-то?

— В прошлый — знакомая была. Поняли? — почти зло ответил он.

— Да чего мне понимать? Мне дела нет, приводи кого хошь,— и прошелестела в свою комнату.

Ася нерешительно топталась у двери и даже шаг назад сделала.

— Проходи, проходи. Не обращай внимания,— он пропустил ее вперед и проводил в конец коридора, где находилась их большая комната. Большая по сравнению с прикухонной каморкой, а так-то всего пятнадцати метров.

В этот вечер не стал Коншин ни о чем ее расспрашивать, видел, усталая она, спать хочет, да и какая-то насто-роженность не уходила из глаз, все поглядывала на единственный диван в комнате и поживалась. Особой еды у него не было, попили чайку, и когда отвел он ее в комнату при кухне, она облегченно вздохнула и заулыбалась.

— Значит, здесь мне ночевать? — спросила обрадованно.

— Да. И ключ есть, запереться можешь... Правда, разведчиц я побойчее себе представлял,— усмехнулся он.

10

Марк выполнил свое обещание, зашел в медпункт и сказал врачу, что все у него прошло. Зашел потому, что

привык обещания выполнять, да и на Настю хотелось ему взглянуть. Ведь не только строгой иконописностью поразило тогда ее лицо, но и напоминало кого-то.

И сейчас, разговаривая с доктором, посматривал он на уткнувшуюся в бумаги Настю, встречаясь иногда с ее почему-то напряженным взглядом. Прощаясь, сказал под конец, что повторяет свою прошлую просьбу попозировать ему. Настя мотнула головой отрицательно, а врач, улыбувшись, сказала:

— На твоём месте, Настя, я была бы польщена таким предложением. Меня-то не просят об этом.

— Вы бы тоже не согласились,— подняла голову Настя.

— Согласилась, но, увы, в тебе что-то увидели, а не во мне.

— Был бы я портретистом, написал и вас, но миледи нужна мне для картины.

— Никакая я не миледи,— недовольно буркнула Настя и отвернулась.

Марк пожал плечами, кивнул и вышел...

Во вторую встречу лицо Насти показалось ему еще более знакомым, и это тревожило его, потому что поднимало какие-то далекие и тяжелые воспоминания.

И вот недели через две после этого в Екатерининском саду увидел он ее с каким-то высоким военным в подполковничьих погонах...

На миг потемнело в глазах... Марк остановился и, не отрывая взгляда от военного, поджидал их.

— Привет, миледи,— процедил он, шагнув навстречу.

Настя повернула к нему голову и, увидев ожесточившееся, страшноватое лицо Марка с кривой, подрагивающей усмешкой, испуганно отшатнулась и пробормотала:

— Здравствуйте...

— Что же вы ко мне в мастерскую не приходите? Обещались же,— продолжил он, но глядел не на Настю, а в упор на Петра.

— Не обещалась я...— растерянно ответила она.

— Кто это, Настя? — спросил Петр, окидывая Марка холодным взглядом.

— Это один художник, Петр... К нам в медпункт приходил, ну и приглашал меня... портрет мой хочет сделать. Но я отказала.

— А он говорит — обещала.

— Разумеется, обещала,— подтвердил Марк, все так же усмехаясь.

— Ну зачем неправду говорите?! — воскликнула она, не понимая, почему Марк лжет, не понимая странного выражения его лица, только смутно догадываясь, что неспроста не сводит он с брата тяжелого, непримиримого взгляда, что, наверно, было между ними что-то такое, чего не может забыть Марк, но, видать, не помнит Петр, потому как выглядит спокойным.

— Слышали? Не обещала она вам, ну и не приставайте,— сказал Петр и протянул руку, чтоб отодвинуть стоящего перед ними Марка.

— А ну, полегче, подполковник! — резко, с каким-то испуганием отбил он руку Петра.

Петр поначалу удивился беспричинному всплеску злости со стороны незнакомого человека, оглядел внимательно смотрящего на него с вызовом Марка, пожал плечами и, не привыкший, чтоб ему перечили, уже раздраженно и с угрозой в голосе прикрикнул:

— А ну марш с дороги!

— Все еще не накомандовались, подполковник! — с издевкой бросил Марк, не сдвигаясь с места.

— Пойдем, Петр,— схватила Настя его за руку и отвела, чтоб обойти Марка.— Не связывайся, не надо.

Петр буркнул что-то недовольно, но решил не связываться, не в драку же лезть с этим типом, и обошел стороной.

— Так я жду вас, миледи,— крикнул Марк вслед.

Они не обернулись и, выйдя из парка, пошли к Самарскому переулку. Марк постоял еще немного и пошел за ними, ему нужно было узнать, где живет капитан, а теперь подполковник Бушуев.

Настя, оглянувшись, заметила, что Марк идет за ними, но брату не сказала, хотя было ей это неприятно и даже страшновато. Что надо этому сумасшедшему художнику? Она оглянулась еще раз — Марк продолжал идти за ними все на таком же расстоянии, неотступно, шаг в шаг. Она вздрогнула.

— Ты что? — спросил Петр и тоже обернулся.— А, этот тип следует за нами. Ты знаешь, где он живет?

— Да, записывала его адрес. На Мещанской вроде.

— Значит, он прется за нами. Давай подождем, отбрею его как следует.

— Не надо, Петр, пойдем. Мало ли куда ему нужно.

Может, и не за нами идет. Он же малость ненормальный, в медпункт к нам зашел со слуховыми галлюцинациями... Слушай, Петр,— спросила немного погодя,— а не показался он тебе знакомым?

— Нет.

— А вот он смотрел так, будто бы знает тебя,— с тревогой сказала она.— Вспомни, может, встречались где на войне?

— Нет вроде,— немного подумав, ответил он.

Они дошли почти до дому, и Настя опять оглянулась — Марк стоял на противоположной стороне переулка и глядел, как они заходили во двор. Выходит, и верно шел за ними, чтоб узнать, где живут, зачем ему это, подумала Настя, и сердце сжалось в каком-то недобром предчувствии.

А Марк, вернувшись домой, достал из потайного места старый, поцарапанный, выдавший виды ТТ, купленный им на толчке за две тысячи рублей сразу же после войны и показавшийся ему тем самым его пистолетом, из которого не успел застрелиться, когда, очнувшись на рассвете, увидел, как к нему приближаются немцы. Он помнил номер своего ТТ, на этом цифры соскоблены, не разобрать, но вдруг тот самый, и в этом виделось ему какое-то предзнаменование.

Сунув пистолет в карман, он поехал на электричке за город, где, отойдя далеко от станции в лесок, посадил всю обойму в ни в чем не повинную березу, пуля в пулю, бормоча что-то про себя. Разрядившись таким образом, он возвратился домой более или менее успокоенный и, усевшись в кресло, медленно, с каким-то наслаждением вставлял в пустой магазин патрон за патроном, потом втокнул его в рукоятку и, завернув в промасленную тряпицу, спрятал пистолет.

11

Когда утром Коншин вышел в коридор, то увидел, как Ася, подоткнув подол юбки, моет пол.

— Ты чего это? — удивился он.

Она выпрямилась, улыбнулась:

— Я же по-деревенски рано встаю... Ну, делать было нечего, так стала вашу комнату прибирать, соседка увидела и сказала, что водите вы к себе народу много, а общую уборку в квартире не делаете, ни в кухне не убираете, ни в коридоре... Ну, я и взялась. Скоро закончу.

Коншин пожал плечами и пошел в кухню чайник ставить на керосинку.

Завтракали они в большой комнате. Ася оглядывала стены, где висели семейные фотографии, фарфоровые тарелочки, а на полочках стояли старинные статуэтки.

— Красиво у вас,— вздохнула она.— Не то что у нас в деревне.

— Ну, рассказывай.— Коншин расположился на диване и, закурив, приготовился слушать.

— С чего начать-то? — призадумалась она.— Я только по всей правде буду,— добавила решительно, взглянув на него.

— Конечно, Ася.

— Вот Лиза Чайкина погибла и героиней стала, а сколько еще девчат сгнуло, а о них и не знает никто... Так безвестными и пропали, без имени своего и фамилии... Ну и от нас, которые в живых остались, вроде отказываются теперь, не признают, особенно тех, кто в плену побывал. Вот я говорила, что секретарь наш меня вызвала, спросила, все ли я обдумала, а я уверила ее, конечно, что и подумала обо всем, и на все готовая. Тогда дала она мне пакет, сургучом запечатанный, и сказала, чтоб я в штаб двадцать второй армии отправилась... Я и отправилась, а через некоторое время направили меня уже через линию фронта, в тыл к фашистам... Ну и перешла я, значит, линию фронта...

— Погоди, Ася,— прервал Коншин.— Как это перешла, знаю я, что это такое, не речушку перейти.

— Как-то в первый раз я легко пробралась. Видать, большое «окно» было. Показали мне полковые разведчики, куда идти, ну я и пошла... Нужно было мне в деревню Суханы добраться, там войск много немецких стояло, про них и разведать приказали. А перед Суханами, как мне сказали, должна быть деревенька Быстрины...— она помолчала, собираясь с мыслями.— Фронт-то счастливо перешла, а вот перед этими Быстринами на фрицев наткнулась, прямо на меня трое на лошадях ехали, а кругом поле, спрятаться негде. Ой, что тут со мной сделалось! Сердце захолонуло, дрожь по всему телу, как озноб какой. Не знаю уж, как себя в руки взяла, присела, стала ботинок расшнуровывать, один сняла и песок из него вытряхиваю. Делаю все спокойно, на фрицев и не гляжу. Подъехали они вплотную, тут я голову подняла, стараюсь глядеть на них без страха и удивления. А они с подсмешкой: «Русшиш фрейлен не

партизан?» — спрашивают. Я им тоже улыбаюсь, какой, дескать, партизан, не видите, что ли, девчонка обыкновенная. Рассмеялась даже, страх почему-то совсем пропал, уверилась — обойдется все. А они вдруг — «За нами следуй!». Вот тут у меня словно что оборвалось — еще задание выполнять не начала, а уже провалилась. Отвели они меня в деревню, в избу пустую втолкнули, сказали, чтоб отсюда никуда, иначе «пук-пук» будет, а сами ушли. В окно вижу, к ульям они пошли, сбивают их автоматами, мед себе добывают. Стала я горницу оглядывать. Чисто, занавески даже на окнах, только у припечка груды кирпичей, а так все как при хозяевах. Прошла в другую половину избы, смотрю, из окошка лес виден, и не очень-то далеко. Тут я, как-то не думая, открыла окно и спрыгнула в огород, а оттуда к лесу бегом что есть мочи... Больше половины пути, наверно, пробежала, слышу — «хальт, хальт!». Я еще быстрее, да и виляю то в одну сторону, то в другую. Тут и очередь по мне автоматная, упала я и давай ползком, ползком. Потом опять в рост. В лес вбежала и там все бегом и бегом, так разбежалась, что с ходу чуть на большак не выскочила, а там опять немцы. Упала в кусты, отдышиваюсь, но смотрю, какие части по большаку идут, запоминаю, вооружены чем...

— Неужто, только что от смерти уйдя, могла о задании думать?

— Сама удивлялась. Сердце трепыхается, дыхание сбитое, а гляжу, запоминаю. Наверно, когда дело делаешь, о страшном меньше думаешь. Кстати, почти всегда так на заданиях было, только о нем мысли, только бы справиться, а о себе как-то и не думаешь. Отлежалась я, пропустила немцев, и через большак, к селу Суханы. Дошла, а как туда войти, когда немцев там полно, к тому же, может, про меня уже сообщено, что убежала из Быстрин? На мое счастье, гляжу, бабы около села уцелевшую рожь в снопы вяжут, заканчивают уже... Я среди них затесалась, с ними и в село прошла, рассмотрела все, а ночью в придорожных кустах спряталась и все наблюдала, какие войска к передовой идут... На следующий день вернулась к своим, все доложила. Вот такое мое первое дело было. Потом я уже с Людой ходила, а в первый раз вот одна... — она замолчала и попросила закурить. — Вообще-то я не курю, только разволнуюсь когда.

Коншин дал папиросу и смотрел на эту худенькую двадцатитрехлетнюю девушку, представляя, какой была

она шесть лет тому назад, совсем, наверно, цыпленок, а какая выдержка была у девчонки, какая смелость...

— А боялась, что немцы изнасиловать могут? — спросил он, не подумав.

— Больше всего! — воскликнула она и вдруг заплакала.

— Что ты, Ася? Ну, перестань, — он подошел к ней, приобнял слегка, но она резко вырвалась, взвизгнув:

— Руки убери! Не тронь!

— Чего ты, Ася? — опешил он.

— Все вы гады, все! И не подходи!

Он отошел, налил стакан воды, молча поставил перед ней, а сам вышел из комнаты — пусть успокоится. Видать, вспомнилось что-то тяжкое. Тут зазвонил в коридоре телефон, он взял трубку и услышал голос Анатолия Сергеевича. Он сказал, если Коншин не раздумал, то они смогут в день ближайшей получки сходить куда-нибудь поговорить. Коншин обрадованно повторил свое приглашение.

— Что ж, до скорого свидания, — закончил разговор Анатолий Сергеевич.

Коншин вернулся в комнату. Ася, сидевшая с закрытым лицом, медленно отвела их.

— Ну как, успокоилась?

— Простите... Такое вспомнилось, не отойду никак.

— Что же?

— Сейчас не скажу, потом, может, когда-нибудь...

— Что ж, пусть будет у тебя тайна, — улыбнулся он.

— Какая там тайна? Противно просто, не знаю, откуда такие люди берутся.

— Дурочки вы, конечно. Не девчоночье дело война.

— Война что? Хорошо, вам в плену не довелось, плетей не пробовали.

— Я в плену не выжил бы. Я терпеть не умею. Не выдержал бы, вlepил бы кому и в расход пустили.

— Мы тоже так думали, не допустим издевательств над собой, ан нет, терпели, жизни свои ради Родины берегли. Думали, выйдем, сторицей фашистам отплатим, ну и очень на побег все надеялись... И убегали все-таки. Моя подруга из ржевского лагеря убежала, я из вяземского. Правда, поймали. Потом из эшелона удалось, чехи помогли. Из девушек только я да фельдшерница из конницы Белова. Плутали, плутали, все партизан надеялись найти, да не нашли. К нашим все же добрались. Рады были, словами не сказать, да недолго радовались...

— Проверка?

— Что проверка... Мы обратно в разведку просились, а нам — забудьте и думать про это, какие вы сейчас разведчицы, после плена-то немецкого. Может, немцы вас завербовали?.. И что ответишь? Ревела я, ревела, а что толку...

Опять задрезжал телефон в коридоре, Коншин вышел. Звонил Володька, звонил без особого дела, поболтать просто. Поговорили о том, о сем, а когда закончил Коншин разговор и подошел к двери, то услышал, что поет Ася какую-то заунывную лагерную песню. Не блатную, а сочиненную, видно, там, в немецких лагерях:

— ...Пусть не убьют меня, не искалечат,
Пусть доживу до праздничного дня,
Но и тогда не выходи навстречу,
Ты не узнаешь все равно меня.
Все, что цвело,— затоптано, завяло,
И я сама себя не узнаю.
Забудь и ты, что так любил, бывало,
Но отомсти за молодость мою...

Коншин не стал входить, а выслушал всю песню за дверь. Когда Ася закончила, он вошел. Глаза у нее были стеклянные, даже его прихода не заметила, уставила свой невидящий взгляд куда-то, в прошлое свое лагерное, наверно, в которое погрузила ее эта песня... Только тогда, когда сказал он ей, что уйдет часа на два по делам, а нужно ему было в одну редакцию забежать, она очнулась.

— А не боитесь меня в квартире оставлять?

— А чего бояться? Ты же своя, ржевская...

От этих слов навернулись у Аси слезы на глазах, растрогалась и опять попросила прощенья за давешнее.

Воротившись домой, застал он ее в кухне, стояла у керосинки и помешивала в кастрюле.

— Вот щи сварила,— повернулась она к нему улыбувшись.— Узнала у соседей, магазин где, капусты кислой купила, картошки, ну и...

— Молодец, Ася... Я, правда, купил кое-что, но горячее-то лучше.

— Звонили вам тут. Никого не было, я и подошла. Женщина какая-то звонила, спросила, кто говорит, не соседка ли? А я растерялась, говорю, нет, знакомая. Она тут же трубку и повесила.

Редко звонила ему Наташа и вот на тебе, нарвалась на «знакомую». И что ей теперь говорить? Но он скрыл недовольство и даже попытался улыбнуться.

— Ну, давай, хозяйка, обедать.

Щи оказались не ахти какие вкусные, но Коншин давно не хлебал горячего, уминал за милую душу и похваливал Асю.

— Я и в комнате прибралась, пыль везде стерла, пол помыла.

— Вижу, спасибо... Ну, день-то у нас прошел. Завтра пойдешь?

— Вроде смелости еще не набралась. Может, вместе сходим?

— Хорошо,— согласился он.— Слушай, Ася,— возникла у него идея,— а может, напишем мы туда бумагу и по почте пошлем? Как?

— И то верно,— обрадовалась она.— Уж больно идти неохота.

— Надо все подробно: сколько раз на задания ходила, куда, какие сведения приносила, фамилии командиров... Помнишь?

— Помню, но не всех. А потом они же не под своими фамилиями-то были.

— И эти ненастоящие должны быть зафиксированы.

Так они и сделали. Написали, Коншин на машинке перепечатал, а вечером проводил Асю на Октябрьский вокзал, посадил в бесплацкартный, набитый людьми вагон.

— Ты напиши, как ответ оттуда получишь,— сказал на прощанье.

— Конечно. Я вообще, если можно, писать вам буду. Отпишу про все свои мытарства. Ну и спасибо за приют, за хлеб-соль... Вы здесь в Москве хорошо все же живете, не то что мы в деревне, хотя и там жить можно, с военным временем не сравнить...

С Каланчевской площади шел Коншин пешком. Падал небольшой снежок, быстро таявший на тротуарах. Ему было приятно, что сделал доброе дело, приютил девчонку, что память о Ржеве не ушла. Правда, не очень-то он проникся Асиной судьбой, плен есть плен... И нескладно получилось с Наташиным звонком, надо же было ей попасть на Асю...

12

Зимнюю сессию в Тимирязевке Игорь сдал, как всегда, блестяще, здорово устал и очень соскучился по Нине — не видал почти месяц. Это было трудно — отказаться от

встреч, но дело должно быть превыше всего, даже любви, и он гордился, что способен жертвовать личным во имя главного.

Сейчас он шел по Каляевской, к Нинину дому. Она должна выйти к нему, и они пройдутся по вечерним московским улицам, а может, сходят в кино или посидят часок в кафе-мороженом. Увы, пока они, как школьники, побыть наедине могут только на улице.

Еще издали он увидел, что Нина стоит у подъезда своего дома, но не одна. Ошивается около какой-то военной. Игорь замедлил шаг, нахмурился. Всегда вокруг нее увиваются ребята. Что в госпитале было не пробиться к ней, постоянно вокруг ранбольные, что сейчас, не успеет на улицу выйти, как кто-нибудь к ней прилипнет. Он остановился и достал из кармана папиросы. Закурив, поднял голову — Нина бежала к нему. Он вздохнул с облегчением.

— Привет. Это из нашего дома мальчик,— еще на ходу кинула она, предупреждая уже готовый вырваться у Игоря вопрос.— Смешной, верно? Моложе меня на три года, а усы отрастил,— она рассмеялась, взяв его под руку.— Ты, конечно, со щитом?

— Да. Сдал все на одни пятерки.

— Молодец. Есть же такие люди. А я плохо в школе училась. Мне все время гулять хотелось. Знаешь, во мне, наверно, цыганская кровь есть, мне весной всегда куда-то уезжать хочется... А может, монгольская? Они ведь тоже кочевники...

Игорь с улыбкой слушал ее щебетанье, ему было хорошо. Нина весела и, видно, тоже радовалась встрече — вот и вознаграждение за недолгую, но все же разлуку.

— Ты и в школе был отличником? — вдруг спросила она.

— И в школе и в училище.

— Это что, честолюбие?

— Совсем нет. Мне с детства внушили, что учеба это моя общественная обязанность, даже гражданский долг.

— Неужто и верно, ты такой сознательный? — удивилась она.— Хотя в пионерах я тоже была активная, а в комсомол не пошла — терпеть не могла собраний. Понимаешь, президиум, выступления по бумажке или зазубренные, официальщина и такая тоска, что мухи мрут на лету. А тебе не бывало скучно?

— У нас в школе всегда были интересные собрания.

— Вот уж не поверю!

Они перешли Садовое кольцо и направились по Малой Дмитровке, тихой и уютной улочке, к центру. Игорь сжимал теплую Нинину руку. Ему было приятно, но и немного тревожно, что почти каждый встречный мужчина поглядывает на Нину, а кто и оборачивается, провожая глазами, а ведь совсем она не красавица, но чем-то действует. Может, кажущейся доступностью? У нее и в госпитале обожателей хватало. Возможно, это вначале и вызвало у него интерес к ней. Но это вначале. Через неделю он был «втрескан» по-настоящему и отнекивался под всякими предлогами от встреч со школьными подружками, которые навещали его в госпитале.

— Игорь, а почему так рано умер твой отец? — неожиданно спросила она и серьезно.

— Что это тебя заинтересовало? — вздрогнул он.

— Так... — уже своим обычным беззаботным тоном сказала она.

— Я точно не знаю. Он был тяжело ранен на гражданской...

Игорь почему-то не сказал ей правды, он и сам узнал лишь недавно. Проговорилась мамина подруга, и он пристал к матери с расспросами. И вот пришлось ей рассказать. Бывший балтийский матрос, член партии с семнадцатого года, активный участник революции и гражданской войны, в двадцатых годах директор-выдвиженец большого московского завода, неожиданно в двадцать пятом году покончил жизнь самоубийством, без всяких видимых причин. На заводе шло все хорошо, переходящие знамена, но старый матросский наган сделал последний выстрел. Игорь был потрясен, ведь что ни говори, самоубийство — малодушие, и как его, именно его отец мог допустить такое? Мать не очень-то связно говорила, что отец не принял энп, что ему казалось — революция кончена и тому подобное, но это не могло примирить Игоря с нелепой и бесславной гибелью отца. Он старался не думать об этом, а когда появлялись мысли об отце, напряжением воли отбрасывал их от себя. Но почему Нина спросила? Может, откуда-то случайно узнала об этом? Он внимательно поглядел на нее и повторил:

— Почему ты спросила об этом?

— Просто так. Вспомнила и спросила, — пожалала она плечиками.

Игорь немного успокоился и перевел разговор на то, что он переработал рассказ, но, видимо, бросит его, так как в голове сейчас новый потрясающий сюжет, он не будет о нем рассказывать, а то неинтересно будет читать, вот когда закончит, даст ей.

— В нем опять будет шибко сознательный герой? — не без иронии поинтересовалась она.

— Там такая ситуация, Нинуша, в которой очень ярко проявляется советский характер. Думается, серьезный должен быть рассказ.

У кафе-мороженого на улице Горького стояла большая очередь, они встали, но Нина была нетерпелива, не любила ждать, и они повернули обратно, к Страстной, а оттуда бульварами пошли к Трубной.

— Я хотела тебе что-то сказать, но пока не буду. Может, это и не так,— сказала она.

— Что же такое?

— Потом, Игорек, потом...— отмахнулась она, а потом вдруг остановилась, провела рукой по его щекам и сказала задумчиво: — Может, и хорошо, что ты такой сознательный? А?

13

Марк без охоты, но легко и небрежно работал над плакатом для той же редакции, где брал работу Коншин. Там, кстати, они и познакомились. Лепил он плакаты быстро и, если бы хотел, мог зарабатывать уйму, но жалко было времени на пустяки, когда не хватало на главное.

Неожиданно раздалось четыре звонка, это к нему. Кто бы мог? — поморщился он. Он был небрит, в старых лыжных шароварах и в накинутой на нижнюю рубашку блузе. Нехотя пошел открывать дверь.

— А, это вы,— уронил он, увидев перед собой Настю.— Пришли-таки. Ну, проходите... Звякнули бы, предупредили, а то, видите... не в смокинге я.

Он провел молчавшую Настю в свою комнату, усадил в кресло и, буркнув, что покинет ее на минутку, захватил свитер и вышел, чтобы надеть его в коридоре. Вернувшись, уселся напротив и, выдавив улыбку, сказал:

— Значит, все же решили помочь мне?

— Нет... Зачем вы за нами шли по Самарскому?

— Вот что...— усмехнулся он.— Хотел узнать, где вы живете.

— И зачем вам это?

— Как зачем? А вдруг вы смените место работы, ну и я... потеряю ваши следы.

— Вы не из-за меня шли,— уверенно сказала она.

— Помилуйте, из-за кого же?

— Почему вы так на Петра смотрели? На брата.

— Так этот военный — ваш брат? А я думал, ухажер какой-нибудь, даже приревновал,— соврал он неумело.

— Не надо... Показалось мне, знаете вы Петра. И ненавидите. По глазам вашим поняла. Что он вам сделал?

— Все это фантазия, Настя,— ответил он спокойно.— А то, что за ненависть приняли — просто неприязненность, высоких чинов не люблю...

— Честное слово дайте, что не знаете Петра.

— По всяким пустякам слово не даю.

— Не пустяк это для меня... Я же чувствую, чувствую...— она не спускала глаз с Марка.

— Ерунда это все,— поднялся он.— Давайте, помогу вам раздеться и работать начнем.

— Я сказала, не для того к вам пришла,— поднялась и она.

— Тогда работы я вам покажу. Может, поймете, зачем вы нужны мне.

Марк подошел к стоящим у стены подрамникам и стал срывать с них старые, застиранные простыни, которыми они были закрыты. Настя подняла глаза, и ее обступили страшные, странно изломанные фигуры в полосатых одеждах, истощенные до того, что были уж не похожи на людей, какие-то скелеты, обтянутые кожей.

— Вот здесь должны быть вы, Настя,— показал Марк на одно из полотен, где изображена была колонна военнопленных, проходящих через деревню, и ткнул пальцем на белое пятно холста.— У этой женщины должно быть ваше лицо. Поняли теперь?

— Ничего я не поняла. И как вы в таком кошмаре жить можете? — пролепетала она дрожащим голосом.— Неужто все так и было?

— Было,— хрипло подтвердил он.

— Значит, довелось вам весь этот ужас пережить? — сочувственно прошептала она.

— Довелось...

— И как это случилось? — тревожно спросила Настя, почуяв вдруг какую-то еще неуловимую для нее связь между пленом Марка и ее братом.

— Долго рассказывать,— как можно небрежней бросил он, догадавшись, что ухватила она нить женской своей интуицией, а ему это пока ни к чему.— Так будете мне позировать? Это же,— простер он руку к полотнам,— настоящее. Я и выжил там лишь для этого. Кроме меня, такое никто не напишет. Понимаете? Никто!

— А кому такой ужас надобен? Люди только от войны малость очнулись, а вы их — туда, опять в кровь, в кошмар... Не могу больше глядеть. Закройте.

— Ага, подействовало, значит! — вскрикнул он обрадованно.— Нет, глядите! Вот еще, еще...— и он стал вытаскивать новые холсты, а она, не понимая его странной радости, закрыла лицо руками.

— Не надо. Уберите.

— Смотрите, смотрите! — кричал он в каком-то иступлении.— Действует, значит, действует!

Настя резко рванулась к двери, но он схватил ее за плечи, повернул насильно к картинам и продолжал:

— Глядите! Вы должны на это смотреть!

— Да вы сумасшедший,— вырвалась она с трудом из его рук.

— Может, немного есть,— улыбнулся вдруг как-то смущенно, отойдя от Настя.— Но вы не бойтесь и не уходите. Я сейчас...— он стал накрывать полотна, а те, которые нечем было закрыть, поворачивал холстом к стене.— Вот увидели вы все, должны понять. Садитесь, поговорим спокойно.

— Не о чем нам, наверно, говорить,— покачала она головой, но села.— Не понимаю я ничего в этом, то есть в картинах ваших. Страшно мне только, что в таком ужасе живете... И в ненависти. А она мне вообще непонятна.

— Что ж, любить мне эту сволочь?! — кинулся он к одному из подрамников, рванул покрывало и показал на немецкого охранника.— Любить? Я его каждый день убиваю. Видите — убиваю.

Настя отвернулась, но успела заметить, что замахнувшийся киркой на охранника пленный похож на Марка.

— Я его там не мог убить. Так убиваю и убивать буду вот здесь, на полотне! Всю жизнь буду убивать! Понимаете? Всю жизнь!

— Жалко мне вас почему-то,— вздохнула она и жалостливо поглядела на Марка, покачав головой.— Жалко. Очень жалко...

— Это вы бросьте,— засмеялся он.— Я счастливый, у меня талант есть. Я с этими тварями расчитаться могу. Вот не было бы этого — задохнулся бы, не выдержал, а может, и погиб...— уже серьезно, почти шепотом сказал последние слова.

Какое-то время молчали они. Марк закурил и, видать, успокоился, погас в глазах сумасшедший огонек, только чуть губы подрагивали. Настя поднялась, двинулась к выходу, но остановилась:

— Скажите, кабы вам этот охранник сейчас повстречался каким-то случаем, что бы вы сделали? — спросила и с затаенным страхом ждала ответа.— Неужто убили бы?

— А вы как думаете? — спросил он в упор, подойдя вплотную.

— Времени-то много прошло... Может, забыть все пора? — неуверенно начала Настя с неясной надеждой, что подтвердит Марк это.

— Забыть?! — вскрикнул он, и опять глаза странными сделались.— Такое не забывается! Немцев-то не встретить, а вот наших, из продавшихся, может, удастся,— добавил шепотом, сведя пальцы в кулак.

— И что ж тогда? — спросила, уже не скрывая страха, Настя упавшим голосом.

— Вы, миледи, может, в Христа-бога веруете? Это он насчет левой щеки проповедовал.

— Как же вы вот так жить можете? — вырвалось у нее.— Пойду я,— направилась к двери, но снова приостановилась.— Скажите мне по-честному — знакомы вы с Петром или нет?

— А что сам ваш лихой братец на этот счет говорит?

— Говорит, незнакомы.

— Правильно его благородие говорит,— усмехнулся Марк.

14

В этот день Коншин пришел в издательство за гонораром к концу рабочего дня, чтоб не ждать Анатолия Сергеевича, а сразу же пойти с ним куда-нибудь, как они и договорились. Готовиться к выходу в «свет» было нечего, побрился, почистил сапоги, надел свежую рубашку, вот и все дела. Погляделся в зеркало. Конечно, гражданский пиджачок с военными бриджами и кирзовыми сапогами не очень-то вязался, но пока сойдет. Вот начнет зараба-

тывать, купит какие-нибудь брюки и ботинки, двести пятьдесят рублей теперь штиблеты-то.

Получив у кассы деньги, пересчитал. Вычетов порядком — и подоходный, и бездетный, и заем. Вместо тысячи двести на руки лишь девятьсот шестьдесят, но этого вполне, цены сейчас не коммерческие, нормальные — хватит.

Когда вышли с Анатолием Сергеевичем из редакции, предложил Коншин «Арагви». Ресторан солидный, можно посидеть как следует, тем более решил денег в этот вечер не жалеть. Но Анатолий Сергеевич отказался:

— У меня мало времени, давайте лучше в «Коктейль».

В коктейль-холле Коншин был раза два, но чувствовал себя там неловко. Публика ходила туда избранная. И случайные посетители, если удавалось им пробиться, ощущали скованность — куда ни поглядишь, знаменитость.

Очередь у «Коктейля» стояла небольшая, рано еще, но Анатолий Сергеевич постучал в дверь, занавеска на ней приоткрылась, швейцар узнал, видимо, его и открыл дверь. Анатолий Сергеевич сунул ему что-то в руку, и тот почтительно принял у них одежду, у Анатолия Сергеевича — драповое пальто с серым каракулевым воротником, у Коншина — зеленый армейский бушлат.

За стойку не пошли, хотя и кивнул барменше Римме Анатолий Сергеевич, а та улыбнулась ему мило. Выбрали столик у окна. Официантка тоже поздоровалась с Анатолием Сергеевичем. Коншин понял, что бывает тот здесь нередко. Заказали по два коктейля. Пока ждали заказ, Анатолий Сергеевич шепотком знакомил Коншина с посетителями. Вон там, за стойкой бара, сидит популярный поэт-песенник, рядом с ним не менее популярный композитор, ну а этого вы, разумеется, знаете — знаменитый поэт, а вокруг его всякая шушера, ловящая его остроты, а у стены, тоже, наверно, знаете, — молодой актер МХАТа, ставший сразу известным после недавно прошедшего на экранах фильма. Ну а попозже появятся и другие актеры из МХАТа и оперетты, закончил Анатолий Сергеевич.

Коншин посматривал по сторонам и радовался тому, что сидят за столиком, а не у стойки, где его порыжевшие «кирзашки» были бы на виду.

— Ну-с, за ваше здоровье, — поднял Анатолий Сергеевич принесенный официанткой бокал с коктейлем.

Они чокнулись, и Анатолий Сергеевич сразу перешел к делу:

— Значит, так, Коншин, сейчас нам утвердили план,

и я могу вам предложить большую серию плакатов по технике безопасности. Как вы на это смотрите?

— Очень рад, Анатолий Сергеевич. И очень благодарен.

— Серия в двадцать плакатов, расценки знаете — шестьсот рублей за пол-листа. Почти на целый год будете обеспечены постоянным заработком. Два плаката в месяц. Сделаете же?

— Сделаю,— уверенно ответил Коншин, не скрывая радости.

— Ну вот и договорились... Наверно, хочется приодеться? Сколько можно военное донашивать,— улыбнулся Анатолий Сергеевич.— Сочувствую вам, ушедшим на войну мальчишками... Ничего-то вы не видели в жизни, прошли через смерть, кровь, страдания, а вернулись, ну и жизнь пока трудная, тоже не очень-то улыбается... Мы-то, постарше, все же до войны не скажу пожили, но кое-что видели, а вы...— он покачал головой и взялся за соломинку.

Коншин был растроган словами Анатолия Сергеевича, его пониманием и сочувствием:

— После войны казалось, ничего не нужно, главное, живыми вернулись, а потом выяснилось, живому-то надо есть, пить и одеваться. Заботы...

— А к ним не приспособлены,— продолжил Анатолий Сергеевич, все так же улыбаясь.— Я тоже хоть и с дипломом и специальностью, но с трудом включился в мирную жизнь.

Как здорово все понимает Анатолий Сергеевич, подумал Коншин, и вообще мировой мужик, как хорошо, что пригласил он его посидеть.

— Разумеется, все скоро наладится, но годы, годы... Вы еще не знаете, как они быстро летят,— вздохнул Анатолий Сергеевич.— Вы, наверно, мечтаете, вот окончите институт и начнется настоящая, творческая работа, но, поверьте мне, ремесло, которым вы сейчас овладеете, пригодится, верный кусок хлеба... А творчество? Еще неизвестно, выйдет ли что с ним? А годы, годы...

— Мне говорили некоторые, что плакат может засушить художника,— заметил Коншин.

— Ерунда! Если есть талант, ничего не случится, ну а если... Кстати, верите вы в свой талант?

— Не очень-то.

— Похвальная скромность. Наверно, лучше не пере-

оценивать свои возможности, меньше потом разочарованный.

Пил Анатолий Сергеевич неспешно и как-то равнодушно, но зато оглядывал всех входящих женщин. Коншин догадался, что его работодатель не очень-то любитель выпить, интересуется его больше другое. Когда вошла в зал полноватая красивая грузинка, Анатолий Сергеевич даже приподнялся со стула, чтоб ее разглядеть.

— Бывают же женщины! — восхищенно пробормотал он, прищелкнув пальцами.

Коншин свои два коктейля допил и ждал, когда закончит Анатолий Сергеевич, чтоб заказать еще, но тот сказал:

— Вы себе заказывайте, я больше не буду... Мне предстоит еще.

Коншин, не почувствовав ничего от двух вкусных, но слабых коктейлей, заказал покрепче. Ему надо было немножко опьянеть, чтоб стать посмелей и непринужденней.

— Теперь, дорогой Коншин, вот что я должен вам сказать,— начал Анатолий Сергеевич, пристально глядя на Коншина.— С постоянно работающими художниками у нас существует некая... неофициальная договоренность...

— Какая? — прервал Коншин вопросом.

— Не торопитесь... Вы знаете, редакция у нас молодая, растущая, так сказать, расширяющаяся, а потому... разные непредвиденные расходы в связи с организацией, временные, конечно,— поспешил добавить он,— но, увы, в настоящий момент — необходимые. Вы поняли меня?

— Не совсем,— пробормотал Коншин.

Анатолий Сергеевич досадливо поморщился — придется этому недогадливому парню говорить напрямик, а этого не хотелось. Он помолчал немного, закурил, а потом небрежно бросил:

— Эти непредвиденные расходы мы договорились разложить на всех, кто заинтересован в расширении нашего дела и... в постоянной работе. Теперь поняли? — не дождавшись ответа, уточнил.— Это пустяки, всего пятнадцать процентов...— он выдохнул дым и откинулся на спинку стула.

— Да... понял,— покраснел Коншин.— Скажите, а Марк? Он тоже?

— Нет, он мало берет заказов. Он же творит,— снисходительно усмехнулся Анатолий Сергеевич.— Бог с ним. Есть люди, не понимающие, что жизнь коротка.

— Ну, если все... если со всеми так договорено, я, конечно, тоже...— пробормотал Коншин, еще больше покраснев.

— Я другого и не ожидал. Спасибо. Надеюсь, вы поняли, что это все на пользу дела?

— Да, конечно...

— Ну-с, желаю приятно провести время, а мне пора. Ждет дама,— он протянул Коншину руку.— Всего доброго.

Коншин смотрел, как легкой, уверенной походкой шел Анатолий Сергеевич к выходу, и не понимал, что же произошло — хорошее или плохое? Наверно, хорошее, ведь теперь он будет обеспечен работой, но почему так мерзковато на душе, хотя и сказал Анатолий Сергеевич, что все художники пошли на это, а раз все, чего ему... Но неприятное ощущение не проходило, и он заказал еще один крепкий коктейль, последний, решил он, так как сидеть ему здесь расхотелось.

Но тут вошли в зал два долговязых сильно подвыпивших иностранца, похоже американцы. Взобрались на высокие табуретки перед стойкой и, громко разговаривая и смеясь, заказали напитки, а потом, повернувшись к соседям, с хохотком, коверкая русский, сказали:

— Товарищи, ви очень карошо били немцев, ви наши союзники, но почему у вас без конца в газетах, на радио — идейно, безыдейно? Это так скучно, это должно надоеть. Вам не надоело?

Коншин повернулся, с интересом ожидая реакции присутствующих, но все молчали... У композитора остекленели глаза, он делал вид, что ничего не видит и не слышит, поэт-песенник уткнулся в бокал соломинкой, мхатовский актер сполз вниз и пошел к выходу, на губах знаменитого поэта блуждала мефистофельская усмешка, у его жены испуганно забегали глаза. Только у подполковника-летчика, около которого и сидели американцы, сдвинулись брови и побагровело лицо. Остальная публика продолжала пить, перекидывалась словами, будто ничего не происходит.

Американцы сказали друг другу что-то по-английски, расхохотались и опять, уже откровенно издевательским тоном: «Идейно, безыдейно, как скучно! Неужто не надоело?»

— Прекратите! — вдруг стукнул кулаком по стойке летчик.— Товарищи, это же провокация! Вы что все как воды в рот набрали?

Но летчика никто не поддержал, кто-то пробормотал, что это же иностранцы, не стоит обращать внимания, не надо связываться, а то могут быть всякие осложнения. Черт с ними, сказал другой. В общем, вмешиваться никому не хотелось, и это возмутило Коншина, пожалуй, больше, чем пьяные подковыривания американцев. Он поднялся и, тяжело топая сапогами, прихрамывая, подошел к стойке. Он не знал еще, что скажет и что сделает, но не подойти не мог, нужно же как-то остановить бывших союзничков.

Американцы повернулись к нему с улыбочками и ждали, а он, не находя слов, угрюмо глядел на них в упор и молчал. Хотя на пиджаке Коншина не было орденских планок, но по сапогам и армейским бридгам они, видно, поняли, что перед ними бывший солдат. Они перестали улыбаться, один бросил другому что-то по-английски, а затем опять оба заулыбались и затараторили, что русский солдат — хороший солдат, что они «очен» его уважают, но вот что это «идейно, безыдейно» они не могут понять, это же так скучно...

Летчик, побагровев еще больше, хотел было что-то сказать, но тут к стойке подошел молодой мужчина в синем флотском кителе с пустым рукавом и, показывая через спину большим пальцем левой руки в зал, процедил что-то по-английски. Американцы переглянулись, поглядели в зал — из-за дальнего столика поднимались двое в штатском, но с выглядывающими из-под воротников рубашек тельняшками. Американцы кинули на стойку деньги и нехотя сползли со стульев.

Но когда они шли к выходу, те двое заступили им дорогу. Американцы остановились, потом попытались обойти справа, но бывшие морячки тоже двинули в сторону, встав перед ними, американцы тогда влево — моряки опять на дороге. И продолжалось это до тех пор, пока однорукий не крикнул командирским голосом:

— Пропустите, ребята!

Ребята пропустили и пошли за свой столик. Американцы скрылись за дверью.

Тут все облегченно засмеялись.

— Вот тебе и бывшие союзнички,— хихикнул кто-то.

— Скатертью дорожка...

— Так бы сразу...

— Молодец, браток! — хлопнул летчик по плечу моряка.

— Интересно, молодой человек, что вы им такое сказали? — спросил поэт, щуря глаза.

— Что я из морской пехоты и со мной два парня от-тудова. Ну и чтоб проваливали к чертовой матери, — небрежно кинул моряк и обратился к барменше: — Рим-мочка, за коктейли они заплатили?

— Все в порядке, Борис Афанасьевич.

— Мы за это «идейно» четыре года кровь лили, а они, гады... — пробурчал Коншин.

— Опоздали, милый. Надо было им это и сказать, — рассмеялся поэт.

— Ничего, зато он первым к ним подошел, — под-держал Коншина моряк и протянул ему левую, — Борис. Бывший капитан-лейтенант. Морская пехота.

— Коншин Алексей, просто пехота, — пожал он ему руку что есть силы.

— Пойдем к нам за столик?

— Спасибо, я уже закончил, — сказал Коншин и пошел в гардероб.

Швейцарам в коктейль-холле меньше пятерки на чай не давали, и они были до приторности услужливы. Пришлось и Коншину сунуть им бумажку после того, как подали ему бушлат, желали всего хорошего и приглашали заходить еще. А четыре сорок стоила пачка «Беломора», обеспечившая куревом на целый день. Ладно, не каж-дый день по таким заведениям ходишь, успокоил он себя.

Вышел он на оживленную, праздничную улицу Горько-го, но не сразу схлынула с него досада на себя, что стоял столбом перед американцами, а чего сказать — не нашел. То ли этот безрукий бывший капитан-лейтенант — врезал по-английски, те и смотались. Да и от разговора с Ана-толием Сергеевичем непонятный осадок, не поймешь — радоваться ли постоянной работе, которую тот предложил, или не очень?

С Пушкинской площади завернул он на Страстной и пошел бульварами. Народа почти не было, только впереди маячила пара — женщина, шедшая быстрым шагом, а ря-дом коренастый мужчина, пытавшийся, видно, погово-рить с нею и иногда заступавший ей дорогу. Коншин порав-нялся с ними как раз в то время, когда мужчина опять встал на дороге, загородив ей путь. На нем была серая меховая шуба, наверно из волка, фасонистая кепочка, сшитая, безусловно, на заказ, а на ногах оленье унты.

Он что-то говорил, перекатывая длинную «казбечину» с одного угла рта на другой. С севера, видать, подумал Коншин, и хотел было пройти мимо, но женщина окликнула его:

— Остановитесь, пожалуйста! Помогите. Этот человек пристаёт ко мне.

Коншин остановился и повернулся к ним.

— Проходи, паря,— миролюбиво начал мужчина.— Не мешайся, дело у нас личное. Приехал вот с севера, а она тут... Видишь, домой не желает идти...— он усмехнулся, выплюнул папиросу, добавив: — Ты проходи, сами разберемся,— и махнул рукой.

— Он врет! Я не знаю его, в первый раз вижу! — женщина метнулась к Коншину и схватила его за руку.— Пойдемте!

— Так не выйдет,— вроде лениво протянул мужчина, а потом, резко ухватив женщину за плечи, оторвал ее от Коншина.— Дома-то детки ждут, а ты... Нехорошо, милая, нехорошо... А ты иди, кореш, не связывайся.

Коншин стоял, не зная, что делать. Мужчина говорил уверенно и пока миролюбиво, но какой-то опасностью веяло от него, от крепко сбитого тела, скуластого хищного лица с узкими, в ниточку губами и близко поставленными глазами, в которых таилась угроза. Может, и верно, не стоит связываться? Хотя на мужа этой красивой и интеллигентной женщины он не очень-то походил, но может же быть?

— Вы что, не верите мне? — воскликнула женщина, рванувшись опять к Коншину, но мужчина удержал ее.— Или струсили? А еще бывший фронтовик! Отпустите меня! — повернулась она к мужчине и рванулась еще раз.

Коншин покраснел. Обвинение в трусости, да еще со стороны женщины — это уже чересчур. Он шагнул к ним и бросил командным тоном:

— А ну — отпустите ее!

— Шел бы ты подобру-поздорову своей дорогой, паря,— осклабился мужчина, блеснув золотым зубом.— А то я из-за своей жинки могу с тобой такое сделать,— и покачал головой.

— Повторяю — отпусти! — уже разозлился Коншин.

— Уходи, падло,— прошипел мужчина, сузив глаза.

Теперь Коншину стало ясно, кто перед ним. Надо было бить первым и сразу в лицо, чтоб ошеломить, показать силу, но ему всегда было трудно начинать драку, и он

ударил не по лицу, а по руке, державшей женщину за локоть, ударил сильно, ребром ладони.

Она вырвалась и быстро пошла вниз по бульвару, к Трубной, где горели фонари и толпился народ, а Коншин тут же получил два удара — под ложечку и по лицу. Удары были тяжелыми — этот в шубе умел драться, — и Коншин пошатнулся, его перегнуло пополам, и он закрылся, ожидая продолжения драки, но мужчина легко перепрыгнул через чугунную ограду и, перейдя трамвайную линию, скрылся в воротах дома.

— Благодарю вас, — сказала женщина, протянула руку в лайковой перчатке — она ждала его внизу.

— Чего там, — пробормотал он. — Вас проводить?

— Нет, спасибо. Я сяду на трамвай.

15

На день рождения Наташиной тетки, жившей на Сивцевом Вражке, Коншин пришел с опозданием. Еще в коридоре услышал он громкий разговор, в котором выделялся хриловатый, прокуренный голос самой хозяйки:

— Что бы ни говорили, а Ахматова великая поэтесса! Все эти разговоры вокруг нее забудутся, а она останется.

Коншин постучался и вошел. Первой он, конечно, увидел Наташу, лишь затем и других — Михаила Михайловича, Наташиного брата с его девицей и соседку по квартире, пожилую даму из бывших. С ней он был незнаком.

— Вот и Алеша меня поддержит, — бросилась Наташина тетка к нему. — Я говорила...

— Я слышал, Антонина Борисовна, но я плохо знаю Ахматову.

— Стыдно! Совсем не знаете?

— Так, несколько стихотворений, — сознался Коншин.

— И вероятно, считаете себя интеллигентным человеком? — не унималась Антонина Борисовна.

— Ну, не очень, но... считаю.

— Тоня, но что вы пристали к молодому человеку? В школе они этого не проходили, — иронически заметила соседка.

— Какой-то парадокс! В стране произошла культурная революция, а наши детки оказались серее своих родителей. В чем дело? — развела руками Антонина Борисовна.

— Зато дети других родителей стали интеллигент-

ней,— улыбнулся Михаил Михайлович.— Культурная революция делалась не для нас, для народа.

— Да идите вы,— отмахнулась она.— А мы кто? Разве не народ?

— Увы. В том-то и беда,— продолжал, улыбаясь, Михаил Михайлович.

— Когда-то интеллигенцию считали мозгом нации,— вставила соседка.

— Тоже — увы,— повернулся к ней Михаил Михайлович.— По этому поводу были и другие высказывания.

— Бросьте спорить,— остановила их Наташа.— Мы пришли на день рождения.

— Погоди, Наташа... Какие же, интересно, были высказывания? — спросила Антонина Борисовна.

— Наташа права, мы не на дискуссию пришли. К тому же давно миновало время бесконечных споров о судьбах русской интеллигенции... Еще и Ильф и Петров...

— Мне плевать на ваших Ильфов и Петровых! — с присущим ей темпераментом воскликнула Наташина тетка.— И почему миновало время? По-моему, это вечная тема — народ и интеллигенция.

— Это уже анахронизм, дорогая Антонина Борисовна. Думаю, нашим молодым людям это совсем неинтересно. Не так ли, Алексей?

— Алексей, разумеется, скажет, что ему очень интересно,— не дала ответить Коншину Наташа.— Ему страшно хочется казаться умным.

— Да, мне интересно,— сказал он спокойно, угадав причину Наташиного раздражения,— значит, она звонила ему тогда, попав на Асю.

— Что бы ни говорили про нашу русскую интеллигенцию и дворянство, но это они создали нетленные духовные ценности,— продолжала Антонина Борисовна.— У той же Ахматовой есть чудесные и очень патриотические стихи, написанные в войну. И как можно...

— Да, написаны,— перебил ее Михаил Михайлович,— но вы, Антонина Борисовна, поймите,— остатки разбитого революцией класса не могут быть абсолютно верны разбившему их народу. Для них всегда прошлое останется самым лучшим, что было в жизни...

— Господи, какую галиматью вы порете! А вы? А я? Ведь мы тоже «осколки» разбитого вдребезги!

— Что касается меня, вы знаете, я принял революцию сразу и безоговорочно. Но нам известно и то, кем был

Гумилев и за что наказан. А Ахматова — его жена. Как может она относиться к власти, покаравшей ее мужа?

— Но вы же относитесь к ней прекрасно, а вас тоже... — тут Антонина Борисовна осеклась, пробормотав: — Простите...

Михаил Михайлович перестал улыбаться, изменился в лице, но быстро овладел собой и, закурив, продолжил:

— Так вот насчет патриотизма, Алексей...

Но соседка не дала ему досказать. С насмешливой улыбкой она уронила:

— Bravo, Михаил Михайлович, очень мило. По-вашему, выходит, нам вообще нельзя доверять, если для нас самое лучшее было в прошлом?

— Не надо передергивать...

— Передергиваю не я, а вы, Михаил Михайлович. Вы и вам подобные.

— Интересно, кого вы имеете в виду? — усмехнулся он.

— Таких очень много. К сожалению, — сказала соседка и отвернулась.

Разговор погас... Воспользовавшись паузой, Наташа сказала, что, наверно, хватит, никому это не интересно, и предложила тост за здоровье тетки. Пока закусывали, Коншин оглядывал большую, но беспорядочно заставленную старой мебелью комнату, довольно-таки захлавленную. По всем углам свернутые рулонами трафареты для раскрашивания ковров, чем занималась Антонина Борисовна, работая в какой-то артели. Стоял запах масляной краски, а сами тюбики валялись не только на ломберном столике, но и на буфете и на стульях. Эта работа спасла, как она говорила, ее в войну, да и сейчас приносила, видимо, какой-то заработок.

Чтоб объяснить Наташе присутствие в его квартире «знакомой», Коншин стал рассказывать об Асе. Наташа слушала равнодушно, Антонина Борисовна с ее обычными всплесками, а Михаил Михайлович внимательно и вроде бы с интересом.

— Ну и чем вы возмущены? — спросил он, когда Коншин закончил рассказ. — Сколько можно мытарить девочку, которой и так досталось сполна? Плен навсегда останется темным пятном в биографии каждого, кто там побывал. Нет же никаких гарантий, что этих людей не завербовали фашисты.

— Помилуйте, она же крестьянская девочка, комсомолка, пошла добровольно, столько сделала! — взорва-

лась Наташина тетка.— Я поражаюсь, интеллигентный человек и такой ортодокс!

— Ортодокс? Нет, Тонечка, здесь что-то другое,— вставила соседка с той же усмешкой.

— Да, другое. Существует логика классово́й борьбы. От нее никуда не денешься. К сожалению, вы все в этом не разбираетесь...

— И не хочу! И не буду разбираться! — оборвала его Наташина тетка.— У людей есть сердце. Только ему надо верить, а не какой-то там логике.

— Поступок Алексея — тому доказательство,— странно улыбаясь, заявила Наташа.— Он поверил сердцу и, видимо, премило провел время с бывшей разведчицей. Не так ли? — посмотрела она на него.

— Очевидно, если она оказалась недурненькой,— поддержал Наташу Михаил Михайлович со смешком.

— Будь она другой, вряд ли пригласил бы в дом,— довольно натянуто рассмеялась она.

— Не слушайте их, Алеша. Они все опошлили,— заступилась Антонина Борисовна.— По-моему, вы совсем не бабник.

— Тетя Тоня, откуда у тебя такое знание мужчин? По-моему, кроме дяди Жоржа, ты никого не знала.

— Не воображай, что мужчины сложные существа. Достаточно узнать хорошенько одного...

— Не так уж мы примитивны,— заметил Михаил Михайлович.

— Но и не загадки,— отрезала Антонина Борисовна.

— Женщины, увy, тоже.

— Но вы все равно ничегошеньки в нас не понимаете. Скажите, Алеша, Наташа для вас загадка?

— Наверно... В чем-то да... — пробормотал он смутившись.

— Вот видите,— торжествовала она.— Даже моя племянница — загадка,— и рассмеялась.

— В ваши годы,— улыбнулся Михаил Михайлович,— я уже более или менее разбирался в женщинах.

— У них же, бедных,— кивнула Антонина Борисовна и на своего сына,— юность прошла в окопах. Они еще глупые и наивные мальчишки.

— Тетя Тоня, мне кажется, наивна ты, думая так,— сказала Наташа с брезгливой гримаской.

— Что с тобой сегодня, милая? — покачала головой тетка.

— Ничего. Абсолютно ничего,— пожала плечами Наташа.

Михаил Михайлович увел разговор в сторону, спросив Коншина о его делах. Тот громко, чтоб слышала и Наташа, сказал, что у него есть договоренность с одним издательством на большую работу и он уже подумывает, не взять ли свободное посещение в институте или вообще перейти на заочный.

Михаил Михайлович искренне поздравил его, но по выражению его лица Коншин увидел, что дела его самого, видимо, не блестящи. Это было ясно и по его раздраженной реакции на слова Антонины Борисовны, почему он до сих пор не обратился в МОСХ. Он буркнул, это от него не уйдет, а пока ему хватает случайной работы.

Поговорили еще о том, о сем, а затем Антонина Борисовна вдруг вспомнила о похоронах Михоэлса, прошедших месяц тому назад, и выразила недоумение, кому же нужно было убийство этого актера.

— Думаю, Шейнин разберется. Ведь ему поручили это дело,— сказал Михаил Михайлович.

...С Сивцева Вражка шли втроем. Михаил Михайлович у Театра Вахтангова повернул к Собачьей площадке, сказав на прощанье:

— Алексей, вы хотели познакомить меня с вашим Марком. Не забыли?

— Нет. Сходим в ближайшие дни. Я позвоню.

— То, что вы рассказывали про него, меня заинтересовало. Всего доброго. Жду звонка.

Коншин взял Наташу под руку, и они пошли дальше по Арбату хоть и далекому от его дома, но знакомому ему с детства и любимому. В юности приезжал он часто в писчебумажный за бумагой и красками, помнил и довоенную краснеоновую вывеску ресторана «Париж», превратившегося сейчас в обычную забегаловку. Был тихий зимний вечер, и было хорошо идти по старой московской улице, приятно держать руку на пушистом рукаве Наташиной шубки, только зря она не верит ему и думает о нем хуже, чем он есть. Около бывшей «Праги» он неожиданно для себя сказал:

— Наверно, мне надо развестись с Галей...

Наташа удивленно посмотрела — он никогда не говорил о ней.

— Она уехала на три года и вряд ли что-нибудь у нас продолжится.

— Наверно, не просто так она уехала. И так надолго,— Наташа сказала это таким тоном, словно и тут виноват был он.

— Она изменяла мне на фронте.

— Мне кажется, выдумали вы все.

— Есть доказательства — письма друзей. Фронт-вых,— нажал он на последнее слово.

— Разве это доказательства? Вам захотелось или было нужно в них поверить. Вот вы и поверили.

— Зачем? Думаете, я легко поверил? Нет. Если бы хоть одно письмо она написала в госпиталь, а то полгода молчала. Чем я мог это объяснить?

— Не знаю,— безразлично ответила Наташа, а потом вдруг набросилась на него: — Чего вы так расхвастались о своих успехах? Тем более при Михаиле Михайловиче.

— Он спросил... я рассказал,— недоуменно пробормотал он.

— Нет, вы хвастались. Вот, дескать, как у меня все здорово. Стыдно это.

— Не понимаю, Наташа. Вы всегда все перевернете по-своему.

— Разве тетя Тоня ничего вам не говорила про Михаила Михайловича?

— Ничего... особого. А что?

— Да так...— ушла она от ответа.

Какое-то время шли они молча. Коншин думал, что действительно тогда в госпитале он почему-то довольно легко поверил письмам Леньки о Гале... Но нет, начал вспоминать он, совсем не легко, хватало всяких переживаний, и сказал:

— Вы всегда думаете обо мне хуже, чем я есть.

— Вы сами толкаете на это. Вот и сегодня, с этим хвастовством и насчет работы, и насчет этой разведчицы. И все об одном — какой вы хороший.

Коншин не нашел, что ответить. Что-то в словах Наташи, наверно, было правдой: она думала о нем хуже, чем он есть, а он старался изо всех сил показать, что не такой уж он плохой. Видимо, это было заметно. Он закурил, и лишь на Арбатской площади, около метро, промямлил, что, конечно, ему хочется перед ней быть хорошим. Потом он предложил не ехать на метро, а пройти по бульварам, а там сесть где-нибудь на «аннушку», доехать до Покровских, а оттуда прогуляться пешком до Басманной. Наташа отказалась, сказав, что уже поздний час, а завтра ей на работу.

В парадном долго тянул прощанье, не решаясь поцеловать ее, но когда попытался, она отстранилась от него, досадливо поморщилась, сказав:

— Ничего-то вы не поняли,— и нажала кнопку лифта.

16

Володька сидел на заседании научного студенческого кружка, куда пригласил его Сергей, и ничего, разумеется, не понимал в научных докладах студентов-медиков, но была интересна сама обстановка — волнение студентов, горячие споры после каждого доклада, ну и сам Сергей, прекрасно, четко выступивший. Его доклад обсуждался не только студентами, какие-то шибко умные и хорошие слова говорили профессора и научные сотрудники. Сергей был спокоен внешне, сосредоточен, собран и уверенно отвечал на все вопросы. Настолько уверенно, что Володька подумал, не было ли это заранее отрепетировано.

Из мединститута вышли гурьбой, но помаленьку товарищи Сергея разбрелись кто куда, и они остались одни.

— Ну как тебе? — спросил Сергей.

— Блеск. Поздравляю.

— Спасибо... В общем-то это первая победа, выражаясь высоким штилем. Видишь, наверстываю упущенное. Сейчас уже ясно, оставят в аспирантуре.

— Ну а вообще, как живешь? — они давно не виделись.

— Крутимся. Люба работает, дочка подрастает, с переводами у меня не очень получилось, но все же иногда кое-что подрабатываю. И — это самое главное — жду отца... Не видал его с тридцать восьмого. Ты знаешь же, рассказывал я тебе, как это было страшно и тяжело, — голос Сергея дрогнул.

— Да, помню,— кивнул Володька сочувственно.

— Очень жду, хотя знаю, будет много сложностей,— Сергей задумался.— Отец для меня всегда очень много значил. И какой он вернется — не знаю. Не хочу, чтоб оказался сломленным, жалким. Тогда просто не выдержу. В письмах он стал как-то многословно и чуть ли не подобострастно благодарить меня за посылки. Мне это больно. Зачем благодарить, я же его сын, это естественно... — он помолчал недолго.— Ладно, хватит об этом. Конечно, надо бы сегодняшнее событие отметить, но, увы... финансы поют романсы. У тебя тоже?

— Да,— улыбнулся Володька.

— Перед приездом отца нам с тобой надо проверить одну операцию. Поможешь?

— О чем речь,— не задумываясь, ответил Володька, даже не спросив, в чем будет заключаться его помощь.

Сергей хлопнул его по плечу:

— Не забыл, значит, принципы великой мужской дружбы?

— Если друг принес тебе труп и попросил помочь его спрятать, помоги, не спрашивая ничего,— рассмеялся Володька.

— А что? Величественно, хоть и мальчишество,— засмеялся и Сергей.

— Да, юность...— задумчиво протянул Володька.— А интересно было. Помнишь, бродили ночами, рассуждали о смысле жизни?

— Было такое,— вздохнул Сергей.— А потом война, и уже не до смысла жизни, выжить бы...

— И победить.

— Да, и победить, конечно,— поспешно согласился Сергей.— Ну в чем сейчас смысл, по-твоему?

— Не знаю... Разобраться бы в том, что происходит.

— А ты не разобрался? — усмехнулся Сергей.

— Нет... А ты?

— Жизнь после войн всегда очень сложная,— ушел от ответа Сергей.

— Ты не ответил.

— Знаешь, Володька, мне как-то не до раздумий. Институт, приезд отца, в общем, целый вагон всяческих дел. И совсем не до философий. Это прекрасно было на заре туманной юности, а сейчас...— он махнул рукой и добавил: — Наверно, лучше не углубляться. Сложно все, сложно...

Володька понял, что Сергею просто не хочется распространяться на эту тему, и он заговорил о другом...

17

Петр Бушуев, проходя по бывшей Божедомке, а теперь улице Дурова, поравнялся с павильоном «Вина — воды», находившимся напротив старой пожарной каланчи, и, посмотрев сквозь стекла витрины, увидел давнишнего знакомого — дядю Гришу, усатого пожилого грузина, содержавшего при нэпе частную бакалейную лавочку

тут же, на Boжедомке, а после торговавшего уже в государственном магазинчике. Петру вспомнилось, как послала его мать за покупками, и, улыбнувшись детским воспоминаниям, он шагнул в павильон.

— Никак Петя? — узнал его дядя Гриша. — Проходи, дорогой, гостем будешь... Бог ты мой, в каких чинах-то ты! Большим человеком стал.

— Здравствуйте, дядя Гриша. Смотрю, вы все на боевом посту. И в наших краях. Не изменяете нашему району.

— Куда мне отсюда? Я тут всех знаю, меня все знают. Четверть века, не шутка! Ну что, дорогой, коньячку налить?

— Да уж придется за встречу.

— Одну минутку, дорогой. Я и сам в честь тебя капельку выпью, — плеснул дядя Гриша и себе чуток. — Будь здоров.

В павильоне не так уж много народу, но помещение маленькое, дай бог десять — двенадцать метров, а потому тесно. У стены стояли посетители постоянные, знакомые друг с другом, вели неспешные разговоры, а кто забегом, те быстро, пропустят сто граммов и на выход. Петр скользнул взглядом по постоянным, нет ли кого из прежних дружков, но знакомых не было, только заметил, что один из инвалидов на него, Петра, пристально смотрит, будто припоминает что-то. Но Петр его не знал и отвернулся равнодушно, продолжив разговор с дядей Гришей. Тот, конечно, расспрашивал о войне. Поговорив еще немного, Петр простился и пошел к выходу, но инвалид заступил ему дорогу:

— Извините, товарищ подполковник, но личность мне ваша очень знакомая. Не служил ли я у вас в батальоне в сорок втором? Вы, кажись, капитаном тогда были, — и сказал номер бригады. — Под деревней Усово мы стояли.

— Да, верно. Я первым батальоном командовал. А кем вы служили?

— Рядовым, конечно, товарищ подполковник. Я вас почему запомнил. После первого боя меня с донесением до вашего блиндажа послали, так вы мне полкружечки водочки поднесли. Галкин моя фамилия. Вы-то, конечно, меня упомнить не могли, но я вас на всю жизнь запомнил. Сами понимаете, в бою-то страху-ужасу натерпелся, а вы мне — водочки... Отошел я опосля ее малость, полегчало. Ну и закусить дали — кусок конины вареной и чер-

нях. Сами понимаете, что это для солдата значит, да еще после мясорубки той.

— Какой мясорубки? — нахмурился Петр.

— Ну я это... насчет первого боя, товарищ подполковник. Не вышло же у нас тогда ничего...

— Да... захлебнулось наступление,— после некоторого молчания угрюмо подтвердил Петр.

— Вот именно, захлебнулось,— будто обрадовался инвалид этому определению.— Правильно вы сказали... Вот надо же, встренулись. Это же отметить надо, товарищ подполковник. Я, правда, не при деньгах сейчас, но обязательно при следующей встрече угостить вас должен, отблагодарить.

— Ладно, перетерпим это дело,— снисходительно улыбнулся Петр.— А сейчас дядя Гриша нальет тебе...

— Сколько, Петя? — приготовился дядя Гриша.

— Полтораста, наверно, ну и закусить придумайте,— Петр вернулся к стойке расплатиться.

Бывший солдат Галкин хлопнул стакан, поблагодарил и увязался за Бушуевым, засеменял рядом.

— Вы, выходит, в наших краях живете? Разрешите тогда проводить вас до дому?

— Провожай, ежели делов нет,— разрешил Петр, которому приятно было, что запомнил человек сделанное им и забытое начисто «благодеение», как он с усмешкой назвал это про себя.

А Галкин по дороге стал рассказывать, как уважали комбата ребята, потому как справедливый был командир, хоть и строгий, как любовались и гордились им — хоть и не до того было,— когда шагал он поперед батальона, рубя шаг, словно на строевой, под пулями и минами в последнем их наступлении, что об этом Галкин всю войну друзьям-товарищам рассказывал и что не было больше у него такого командира.

Петр слушал не без удовольствия. Ведь льстить сейчас солдату Галкину никакого резона нет, говорит, видать, искренно, ну а раз так, почему бы и не послушать, что о тебе солдаты думали.

Так до дома и проводил солдат Галкин своего бывшего комбата. Распрощались за руки, чему солдат был несказанно рад, чуть ли не прослезился, но тут не без ста пятидесяти, подумал Петр усмехнувшись.

Как пришел, рассказал Насте об этом Галкине, развлечь хотел, да и самому отойти от тягостных мыслей:

боялся он госпиталя, боялся операции, вдруг найдут у него всякие болезни, ведь и простреленное легкое побаливало. На войне штопали быстро, да и самому хотелось обратно в строй, а сейчас вот все и сказывается. Настя рассказ Петра об однополчанине выслушала серьезно, не посмеялась забавной встрече, а спросила обеспокоенно:

— Слушай, Петр, может, ты все-таки служил с этим художником? Раз солдата не запомнил, так и его мог запомнить.

— Какого художника? А, того, что за нами шел... Не, Настя, незнаком он мне. Совсем незнаком,— повторил, но без прежней уверенности — будто шевельнулось что-то в глубине памяти.

— Этот художник в сорок втором в плен попал. Может, это тебе напомнит что?

— В плен?.. Нет,— покачал головой Петр.— У меня в батальоне такого не было. Да чего тебе он дался? Псих какой-то. Сама говорила, с галлюцинациями к вам перся. Давай-ка лучше о Женьке поговорим. Избаловалась она вроде, ветер в голове гуляет.

— Избаловаться ей не с чего. Сам знаешь, как живем. Ну а ветер...— задумалась она.— Не знаю, ветер ли или что иное, но вижу, другая она, Петр, другая, чем мы. Ну и возраст...

— Когда Ванька Дубинин с побывки вернется, я в госпитале еще, наверно, буду, так ты сй с ним гулять не давай. А то начнет водить по всяким кафе-мороженым, он это любит, пыль-то в глаза пускать. А ей не к чему баловаться.

— Я тоже об этом думала... Она на Ивана-то твоего как-то странно поглядывала, будто задумала что.

— Это ты брось, чего ей задумывать,— Петр вытащил серебряный трофейный портсигар, достал папироску, закурил.— Отец-то сдал, Настя...

— А что делать? На пенсию же не пойдешь, на сто пятьдесят рублей.

— Буду подкидывать вам денжат, теперь они настоящие стали.

— Теперь-то, конечно, легче,— вздохнула Настя.

Тут перебила их разговор Женька, вбежала в комнату, раздурманенная с морозца, оживленная, как всегда.

— Есть, умираю! — и, не снимая шубенки, бросилась к буфету, за хлебом.

Отломил горбушку черного, с аппетитом начала же-

вать, раздеваясь на ходу — шапку в одну сторону, варежки в другую, только шубу хоть по-человечески на вешалку повесила. Оглядела родичей и фыркнула:

— Чего это пригорюнились? Серьезные разговоры вели? Вы уж кончайте, у меня настроение хорошее, а вы тоску нагоните.

— Как занимаешься, скажи? — пробасил Петр.

— Ну вот, так и знала... Занимаюсь помаленьку, как все, так и я. Только ни к чему все это.

— Как это ни к чему? Ты что? — сдвинул брови Петр.

— А так... Ну, окончу я это медучилище, ну и какая моя зарплата будет?

— Опять ты о деньгах! — в сердцах воскликнула сестра.

— Опять... В магазинах-то бесплатно ничего не дают.

— Вот что я тебе скажу — драть тебя было некому, — тяжело поднялся со стула Петр и оправил ремень на гимнастерке. — Да, драть. Ты что, не понимаешь, какую войну страна выдюжила, сколько народу потеряла, а тебе, видите ли, зарплата мала. Еще училище не закончила, а о деньгах думаешь.

— Не только о деньгах, — возразила Женька, — я и о жизни думаю. Одна она у меня, а как проживу? Вот так, как жили и живем? Не улыбается.

— Ты улыбок от жизни не жди, свою жизнь строить надо, — покачал головой Петр. — А как ты ее строить собираешься?

— Вот этого-то и не знаю, — развела Женька руками. — И спросить не у кого.

— Спрашивать нечего, ты просто погляди вокруг — на отца, на братьев, на сестру. Честно все живут, отдают себя родине без остатка, о будущем думают, о стране, а ты?..

— А я без остатка — не хочу. Я в войну ничего не видела, обноски Настины носила, голодовала, ну а сейчас войны нету, значит...

— Значит, вынь да положь тебе распрекрасную жизнь? — перебил ее Петр. — Нет, дорогуша, за хорошую жизнь поработать надобно, без работы она к тебе, распрекрасная-то, не зайвится.

— До чего скушное говоришь... Мне Настя все уши такими моральями прожужжала.

— Это на нее Лидка действует, — заметила Настя.

— Что еще за Лидка? Гнать ее в шею!

— Тебе только приказывать. Гнать, тащить да не пущать. Лидка мне не пример, с ней мне не по дороге. Не беспокойтесь.

— Слава богу, хоть это поняла,— обрадовалась Настя.

— А что эта Лидка из себя представляет? Какую такую дорожку она нашла? — допытывался Петр.

— Дворничихи нашей дочь. Да ну ее, и говорить неохота. Компании, вечеринки и все с мужиками старше себя вдвое,— объяснила она.

— Кабы только это,— заявила Женька усмехнувшись и не став, конечно, распространяться, что подружка ее не только гуляет, но обчищает пьяненьких мужиков.

— И на порог эту сучку не пускать! — прогремел Петр, резанув воздух ладонью.— Увижу — выгоню.

Прогремел, а сам задумался, поглядывая на сестренку, на самую маленькую, к которой всегда нежность испытывал. Замуж бы ее поскорей, пока не накуролесила бедовая. Кабы служил в России, да поближе к Москве, подобрал бы ей из своих молодых взводных ли, ротных хорошего парня, ну и устроил бы девке судьбу... Надо будет в госпитале приглядеться и, ежели кто понравится, познакомиться, в дом привести, показать сестренку, подумал он. А работа ей в любой части найдется, ведь диплом фельдшера получит, могут и звание присвоить. Хоть служба армейская и беспокойная, сегодня здесь, завтра там, но муж военнослужащий покрепче будет, нежели какой-нибудь там штафирка, ему не до гуляний, не до выпивок, ему службу надо служить, от звания к званию продвигаться... Потом его мысли перекинулись на Настю и он спросил ее:

— С Иваном-то был у тебя разговор?

— Какой разговор тебя интересует?

— Какой, какой? Знаю же, в сорок пятом в любви он тебе объяснялся.

— Так то в сорок пятом,— усмехнулась она.

— Он и сейчас к ней подъезжал,— выскочила Женька.— Слыхала ненароком.

— Пустое это все, Петр. И не будем больше.

— Почему? Иван мне жизнью обязанный, спас я его от штрафного. Ежели захочу, он все для меня сделает, в лепеху расшибется.

— Во, Петр, ты и прикажи ему на Насте жениться, а то засохнет она в старых девах,— рассмеялась Женька.

— Замолчи, балаболка! — прикрикнула Настя. — А ты, Петр, глупости не говори. Не нужен мне твой Дубинин.

— Подумай все же, Настя, подумай... — заключил Петр со вздохом.

18

Коншин с Володькой поджидали Михаила Михайловича на углу Колхозной и 1-й Мещанской, около ночного известного всем магазина. Не очень-то охотно Марк дал согласие показать свои работы, буркнув, что не любит пустой болтовни об искусстве, которой неизбежно будет сопровождаться этот визит. Михаил Михайлович появился вовремя в своем потертом кожаном пальтишке и какой-то легкомысленной кепочке, похожий чем-то на Шмагу из фильма «Без вины виноватые». Коншин познакомил его с Володькой, и они отправились в Лавровский переулок, где недавно в деревянном особнячке снял Марк мастерскую у вдовы художника.

Марк встретил их без особых эмоций, показал, где раздеться, и провел в мастерскую — большую комнату с огромным окном во всю стену.

— Настоящая, прекрасная мастерская, — заметил Михаил Михайлович, с видимым удовольствием приюхаясь к запаху масляных красок и разбавителей. — Тут можно работать. Сколько платите?

— Пятьсот, — ответил Марк и закурил.

Работы он свои не выставил. И всем стало как-то неловко — может, он вообще раздумал. Михаил Михайлович откашлялся и неуверенно пробормотал:

— Может быть, для знакомства надо было принести чего-нибудь, — и щелкнул пальцами.

— Нет уж, увольте, мы же работать собрались, а не лясы точить, — хмуро ответил Марк.

— Вижу, человек вы серьезный, — улыбнулся Михаил Михайлович.

— Ну, ты покажешь нам? — спросил Коншин.

— Раз пришли, покажу, — и он стал расставлять подрамники.

Михаил Михайлович сразу впился глазами в полотна и молча переходил от одной работы к другой. Лицо его было серьезно и сосредоточенно. Это продолжалось довольно долго. Потом он сел и вынул папиросы. Ребята

ждали, что он скажет, но он жадко курил, делая глубокие затяжки. Марк глядел на всех с легкой, насмешливой улыбкой.

— Мда...— наконец произнес Михаил Михайлович,— могу вас поздравить, Марк. На мой взгляд, есть вещи не слабее «Герники».

— «Герники»? — повторил Марк и рассмеялся.— Пикассо — посредственный художник. Вы не обрадовали меня этим сравнением.

— Ну, это выхватили, до...— Михаил Михайлович попытался сказать это тем же покровительственно-нисходительным тоном, которым говорил с Коншиным, но у него не вышло, и слово «дорогой» в конце он проглотил.

— Он — голый король. Неужто вам это до сих пор не ясно,— продолжал усмехаться Марк.— Простите, Михаил Михайлович, вы что кончали?

— Вхутемас в двадцатых годах.

— Наверно, больше митинговали да спорили, чем занимались?

— Бывало и это, но все же занимались... Кстати, Марк, вот эта деформация фигур в ваших вещах — ведь от Пикассо.

— Ерунда! Это было и у Гойи и у других... Для того чтобы деформировать — надо уметь рисовать. А ваш Пикассо не умеет.

Ни у Коншина, ни у Володьки своих мнений на этот счет не было, и они помалкивали, стараясь разобраться в споре двух художников-профессионалов.

— Давайте останемся при своих мнениях,— предложил Михаил Михайлович.— Мне хочется сказать о колорите. У вас, несомненно, живопись, но выглядит как графика. Вы такую живописную задачу и ставили перед собой?

— Художник должен ставить перед собой лишь одну задачу — нравственную, остальное приложится. Это Фальк в своих Парижах мог позволить себе переписывать десятки раз натюрморт с красным горшочком на черном фоне. Пижонство сие! Да, у меня почти все черно-белое, почти графика, но так выглядел немецкий лагерь.

— Скорее черно-серое, как тюремная одежда,— уточнил Михаил Михайлович.

— Да, черно-серое... Небо, одежда, лица, но кое-что в цвете — трава, клейма на куртках...

— Я и сказал, это живопись, хоть своеобразная... Вы пробовали выставлять эти вещи?

— Наивный вопрос. Кто же их возьмет на выставку?

— Выходит, все в стол, как говорят писатели?

— Нет. Для будущего.

— Уверены, что будущее примет ваши картины?

— Уверен. Примет, как всякую правду о времени.

— Вы мужественный человек, Марк. Вашу руку, — растрогался Михаил Михайлович и протянул руку.

Марк пожал ее с вежливой улыбкой, но прохладно.

— Что ж, юноши, — обратился Михаил Михайлович к ребятам. — У вас есть у кого поучиться. И не только живописи.

— Не сбивайте Алексея. Пусть он занимается своим делом. Ну а Володя, как я понял, не художник.

— Я говорил о жизненной позиции... Увы, в свое время мне не хватило ни мужества, ни веры в себя.

— В свое время вы, наверно, левачили? — спросил Марк.

— Да... Был близок к «Бубновому валету». Кстати, а как вы к ним относитесь?

— Искусству нужны встряски, даже перевороты, это вливает свежую кровь. Из «валетов» мне близок Лентулов. Он останется.

— Да, Аристарх мощный художник, — вздохнул Михаил Михайлович. — Вообще, было очень интересное и многообещающее время. Поиски, споры, всякие завихрения... Но, увы, плодов все это не дало, — вздохнул он еще раз.

— Вы так всерьез думаете? — прищурил глаза Марк.

— Да... Нашему времени нужен подлинный реализм.

— Вот как? Значит, отказались от всего?

— Не я отказался, решило время.

— Выходит, назад к передвижникам?

— Наверно, так, — согласился Михаил Михайлович.

— А что вы под подлинным реализмом понимаете?

Я вот полагаю себя реалистом, но, приведи сюда наших искусствоведов, в чем только не обвинят — и в формализме, и в низкопоклонстве, и в декадентщине, не дай бог.

— Обвинят, — с коротким смешком согласился Михаил Михайлович. — И скажу откровенно, в формализме — не без оснований.

Марк холодно взглянул на него, пожал плечами и демонстративно поглядел на часы. Ребята поднялись, поняв, что пора уходить. Михаил Михайлович начал горячо прощаться.

Из Лавров до самой Садовой шли молча. Ребята видели подавленность Михаила Михайловича, но о причинах могли только догадываться. Наконец, когда повернули к Самотеке, он устало и с тоской сказал:

— Художнику нельзя наступать на горло собственной песне. Это не прошло безнаказанно для Маяковского, многих других... Но в истории есть периоды, когда это необходимо, когда личность должна жертвовать своей сущностью, ломая себя во имя всеобщего дела... Это, безусловно, огромная трагедия, но...— он не закончил.

— Я не очень-то понимаю, Михаил Михайлович, необходимость этого,— начал Володька.— Сломанная личность вряд ли что может дать обществу.

— Это сложный вопрос и долгий разговор, а мы подошли уже к остановке,— улыбнулся Михаил Михайлович.— Давайте до следующего раза.

Посадив его в троллейбус, ребята пошли назад, к Мещанским. По пути Володька еще раз выразил недоумение, почему нужно наступать на горло собственной песне. Коншин не поддержал, его больно ударили слова Марка — «не сбивайте Алексея», они еще раз подтвердили — не считает Марк его художником, ну а раз так, надо обучаться ремеслу, как сказал Анатолий Сергеевич, а для этого работать и работать...

Поразмыслив немного, он рассказал Володьке о «джентльменском» соглашении с Анатолием Сергеевичем.

— Вот этого я от тебя никак не ожидал,— холодно сказал Володька.

— Понимаешь, не до жиру же...— пробормотал Коншин неуверенно.

— В войну тоже было не до жиру,— отрезал Володька.

— Так то в войну... Ты ведь тоже в сорок пятом занимался с Гошкой какими-то делишками с талонами.

— У меня доходила мать.

— А я... я упускаю Наталью... Что же мне примаком к ним идти?

— Потерпи до окончания института.

— А что это даст? Идти в штат хударедом на восемьсот рублей? Все равно надо будет брать работу, а таких, как Анатолий Сергеевич, в каждой редакции, наверно.

— А тебе морду не хочется ему набить?

— Ты знаешь, иногда я испытываю даже благодарность.

— Вот это да! Ты мне казался другим, Алексей. В сорок

пятом ты как-то помог мне прийти в себя, а сейчас...— он не договорил.

— Ладно, бей. Только не говори об этом Ксении Николаевне.

— Матери не скажу, но тебе самому стоит поговорить с ней.

— Ты же знаешь, что она скажет,— тоскливо сказал Коншин.

Дальше шли молча. Возвратившись домой, Коншин увидел на кухонном столике письмо с Южного Сахалина, от Гали...

19

Расставшись с ребятами, Михаил Михайлович не поехал домой. Правда, по привычке он вылез из троллейбуса на площади Восстания, а не на Смоленской, откуда было ближе до Сивцева Вражка.

Антонина Борисовна встретила его, как всегда, радушно и приветливо, хотя застал он ее за работой, в измазанном красками фартуке.

— Не очень помешаю?

— Разумеется, нет. Я чертовски устала, хотела как раз передохнуть. Я не буду убирать со стола, присядем за ломберный...

— Захотелось поговорить...— начал Михаил Михайлович.

— О чем же?

— О том, над чем посмеивался в прошлый раз. О судьбах русской интеллигенции,— улыбнулся он.

— Я говорила — вечная тема,— оживилась она.— Может, чайку? Могу поставить,— она стала вытирать растворителем руки.

— Не надо... Я был с Алексеем у этого художника, Марка, о котором он рассказывал. Помните?

— Помню, конечно. Очень интересно. Валяйте рассказывайте,— она присела за столик и приготовилась слушать.

— Интересный, своеобразный и дьявольски талантливый художник, но...

— Что за «но»? — нетерпеливо бросила она.

— Его вещи, к сожалению, так и не выйдут из стен его мастерской... Это грустно, печально, даже трагично. Но его работы не нужны нашему народу.

— Это вы так решили? — не без иронии спросила Антонина Борисовна. — Если его вещи настоящее искусство — они нужны, а вот всякая халтура и посредственность — никому. Кроме тех, разумеется, кто ее производит.

— Все не так просто, дорогая Антонина Борисовна, — горько усмехнулся он.

— Вы ответьте — это вы решили, что не нужны?

— Да, я... Не нужны так же, как оказались не нужны в свое время и мои работы. Я это понял и примирился, но не смог или не хватило времени перестроиться.

— Вы это серьезно?

— Вполне.

— Очень жаль. По-моему, никому не дано право решать такие вопросы. Это решает время.

— Увы, оно не за нас... Мне скоро пятьдесят. Впереди уже ничего. А сын только в седьмом классе, еще тянуть восемь лет. Вот что осталось главным для меня сейчас, — грустно заключил он.

— Голубчик, — дрогнувшим голосом начала она, — вы провоевали всю войну, у вас награды... Неужели вас не восстановят в МОСХе? Я уверена — восстановят, дадут настоящую работу.

— Еще не пришло время, Антонина Борисовна. А работа?.. Работа меня пока устраивает.

— Она унизительна для настоящего художника! — воскликнула она.

— Никакая работа не унизительна. Я содержу семью...

— Все это так... — вздохнула она. — Я тоже занимаюсь ерундой. Но вы-то совсем другое. Вы же настоящий и талантливый художник. Я помню ваши работы.

Михаил Михайлович долго разминал туго набитую папироску-гвоздик. Антонина Борисовна сочувственно поглядывала на него, не зная, что еще посоветовать, и понимая его больше, чем кто другой, так как знала о нем почти все.

— Но вы хотели что-то о судьбах нашей интеллигенции? — напомнила она.

— А вот они, судьбы... Ваши коврики, мои витрины и стенгазеты...

— Бросьте! Вы забыли, за стеной сидит тоже русский интеллигент, мой муженек, и долбит докторскую диссертацию. Упорно и долго, уже около пяти лет. И ни война, ни голод, ни то, что сын оказался на фронте, — ему были не помеха. Стучал и стучит на своей машинке, забыв,

что у него есть жена, дети... Уникальный экземпляр, не правда ли? — она глухо рассмеялась.

— Ваш муж — особая статья,— поддержал он ее коротким смешком и поднялся.

У двери Антонина Борисовна спросила:

— Как вы думаете, Алексей сильно влюблен в Наташу?

— Откуда мне знать? На эту тему я с ним не говорил.

— А вы спросите при случае. Мне как-то неудобно, я же тетка.

Он пообещал...

20

Когда Петр лег в госпиталь, в доме Бушуевых пошло все по-прежнему, не позвякивали уже рюмки за обеденным столом, да и сами обеды стали постнее, жизнь наступила «опять скучная», как заявила Женька. Отец приходил с работы усталый и сразу же ложился на старый, продавленный диван, чтоб почитать газетку, но, не прочитав и одной полосы, задремывал до ужина. Насте ее дежурства в медпункте казались легкими — сравнить разве с изнуряющей и беспокойной работой в военном госпитале? Но и она утомлялась, тем более что заботы по дому лежали на ней, Женька от всех дел увертывалась.

Однажды зашел в медпункт Марк, о котором Настя если и вспоминала, то редко и всегда как-то беспокойно. Зашел и, наскоро поздоровавшись, с ходу заявил:

— Я по вашу душу, Настя... Надо мне заполнить тот белый кусочек холста, который вы видели. Я сейчас мастерскую снял в Лаврах, так прошу туда. Когда сможете?

Она смешалась, хотела было ответить, что никогда не сможет, но вдруг, неожиданно для себя, согласилась, чем удивила свою врачиху. Согласилась потому, что не уходило ощущение — связана чем-то судьба этого человека с ее братом, так, может, узнает что? Договорились на воскресенье, на десять утра.

Но когда пришел день, ей почему-то расхотелось идти, но данное слово и привычка исполнять обещанное заставили ее пойти. Вертевшаяся рядом Женька, увидев, что собирается сестра куда-то и даже в зеркало глядится, что бывало редко, не замедлила полюбопытствовать:

— Уж не на свидание ли собираешься?

— Хочешь со мной? — вдруг предложила Настя и объяснила, куда она идет.

— Ой, интересно-то как! Конечно, пойду,— живо откликнулась Женька и мигом собралась.

Так и отправились они обе в Лавровский переулок.

Открыв дверь и увидев, что Настя не одна, Марк с недоумением уставился на Женьку.

— А это что за бесплатное приложение?

— Сестренка моя младшая. Увязалась за мной, интересно ей посмотреть.

— И совсем не увязалась. Сама пригласила,— бухнула Женька.

— Понятно,— проворчал Марк.— Остерегайтесь, значит. Напрасно. Я для работы вас пригласил. Ну, ладно, проходите. Только, мисс, не мешать,— предупредил Женьку строго.

Женька, ничуть не смутившись строгости тона, глядела на Марка, вылупив глазенки, с нескрываемым любопытством, а войдя в мастерскую, затараторила:

— И чего это вы Настю надумали рисовать? Понравилась очень? Да? Она красивая. Но я тоже ничего. Правда? Может, и меня нарисуете? А сколько вам за это платят? Говорят, художники большие деньги зарабатывают. Верно?

— Замолчи,— одернула ее Настя.— Предупредили тебя, не мешать.

— Милая, но несколько нахальная непосредственность,— бросил вскользь Марк, устанавливая на мольберте подрамник.— Думается, ваша сестрица далеко пойдет.

— Да, сладу с ней нет... Возраст такой, наверно.

— А куда это я далеко пойду, по-вашему? — задорно спросила Женька, делая глазки.

— Давайте этот вопросик отложим на будущее... Садитесь сюда, Настя... Вот так... Сейчас штору чуть прикрою,— он отошел от Насти, прищурился глазом.— Да, вроде так... Повернитесь немного влево. Так. Ну, хорошо... Теперь, мисс, молчок. Можете смотреть в потолок, в окна, мечтать о чем угодно, но рот не раскрывать. Понятно?

— Понятно. Я мечтать буду,— она закатила глаза и застыла, надеясь этой идиотской позой рассмешить, но Марк уже не видел ее, он видел только Настю, и его рука с углем начала лихорадочно метаться над холстом.

— А мне говорить можно? — спросила Настя.

— Вам — да.

— Я, конечно, в живописи мало понимаю. В школе хо-

дила в Третьяковку, открытки у нас есть. Левитан мне нравится, Нестеров... И всегда мне казалось, что картины должны хорошие чувства возбуждать. Добрые... А вот после ваших картин... мрак на душе какой-то, тоска... Разве правильно это?

— Неправильно,— усмехнулся Марк.— Другая жизнь была, Настя, другая и живопись.

— А раз неправильно, зачем же людям такие вот страсти? И так жизнь не очень-то легкая и от войны мы еще не отошли, а вы...

— Что я? — перебил Марк.— Я хочу, чтоб все знали, что было. И чтоб такого не повторилось.

— Да и не будет такого больше, кончилась же война.

— Война-то окончилась...— неопределенно хмыкнул Марк, а потом попросил Настю повернуться чуть правее.— Так вот... Еще немного вас помучаю, подмалевочек сделаю и отпущу.

Около часа работал Марк. Затем, откинувшись от мольберта, поглядел на сделанное, кинул два-три мазка и сказал, что на сегодня все.

— Посмотреть можно? — поднялась Настя.

— Посмотрите,— без особой охоты разрешил Марк.— Но только это не совсем вы, я же пишу не портрет, а этюд к картине. Понимаете?

Женька тоже вскочила со стула и бросилась к мольберту.

— Ой, здорово как!

Настя же узнавала себя и не узнавала, потому как представляла себя иной.

— Ну-с, дамы,— почти весело, видимо удовлетворенный своей работой, сказал Марк.— Угостить мне вас особо нечем, но кофейком можем побаловаться.

— Ничего нам не надо,— начала отнекиваться Настя, но Женька приняла предложение с восторгом.

Уселись за грубый стол без скатерти и стали пить кофе из старых, но красивых чашек. У Бушуевых дома кофе пить не принято было, то ли потому, что дороговато, то ли просто привыкли к чаю, и Женька пила с удовольствием, наложив сахару без стеснения, и похрустывала вкусным печеньем, на которое навалилась тоже без церемоний, не обращая внимания на укоризненные взгляды сестры.

— А почему вы не женаты? — ляпнула Женька вопрос.

— А кто вам сказал, что не женат?

— Перестань, Женька,— остановила ее Настя.

— Нет, правда? Почему? Я же угадала?

— Не угадали.

— Ну да? Сразу же видно.

— Не приставай, неудобно же это,— опять одернула ее Настя.

И тут в мастерскую неожиданно зашел Коншин.

— Было не заперто, Марк... А, извини, у тебя гости,— огляделся он и, увидев Женьку, смутился, не зная, здороваться ли с ней, догадается тогда Марк, что это за девочка, а подводить Женьку не хочется...

Женька тоже на миг смешалась, что-то на ее мордашке дрогнуло, но она, поднявшись, шагнула к Коншину.

— Здравствуйте, Алексей,— и руку лопаточкой.

Марк нахмурился. Настя глядела на них с удивлением. Коншину ничего не оставалось, как пожать ей руку и пробормотать: «Здравствуй, Женька...»

— Ну, нам пора...— встала из-за стола Настя.

Марк пошел провожать их, а Коншин остался, с беспокойством ожидая возвращения Марка, который выдаст наверняка пару теплых словечек из-за Женьки... И вдруг сорвался, ринулся к двери. Столкнувшись в коридоре с Марком, бросил на ходу, что вернется сейчас, а сам выбежал на улицу, догнал сестер и позвал Женьку. Она подошла.

— Ты почему не звонишь? Я же еще должен тебе остаться.

— А чего звонить? Вы же меня видеть не хотите,— с напускным, на взгляд Коншина, равнодушием ответила она.

— Долг-то я должен отдать.

— Да ничего вы мне не должны, отдали же тогда, на вокзале.

Настя, пройдя немного, остановилась и стала поджидать Женьку. Коншину было неловко, опять стало жалко Женьку, надо что-то сказать хорошее, подумал он, а что — не находил и наконец промямлил:

— Почему ты решила, что я не хочу тебя видеть?

— А чего тут решать? Знаю,— грустно улыбнулась она, пожав плечиками.

Настя, увидев, что разговор сестры затягивается, крикнула, что она пойдет и чтоб Женька долго не задерживалась и к обеду не опаздывала. Женька ответила, что

догонит, но продолжала стоять около Коншина, теребя свои вязаные рукавички и уставившись в землю.

— Ну, пойду я? — не то спросила, не то просто сказала она, подняв глаза.

— Может, проводить тебя? Узнаю, кстати, где живешь...

— Да нет, не надо... Ну, пока,— махнула она рукой и быстро пошла, догоняя Настю.

Коншин выгасил папиросы, закурил и смотрел ей вслед до тех пор, пока они не завернули на 4-ю Мещанскую. На душе было неважно. К Марку он не вернулся...

21

Письма от Гали Коншин получал редко. Всегда они были грустноватыми и поднимали в нем какую-то тоску, хотя виноватым он себя не считал. Теперешнее письмо тоже не было мажорным, она писала, что скучает по Москве, что чувствует себя на чужой сахалинской земле неприятно, что работа не очень-то интересна, да и знаний институтских иногда не хватает. В конце письма она робко просила его перечитать все же письма Леньки Нахаева — может, теперь, более трезвыми глазами, он увидит и поймет, какое это вранье...

Письма-то письмами, подумал он, но кроме них были поступки, которые она не смогла ему объяснить. Почему не приехала к нему в полевой госпиталь, почему не писала?

Ленькины письма хранились, помнил он, в старом планшете, но стоит ли их перечитывать? Все равно уже ничего не изменишь. Но в робкой Галиной просьбе было что-то, тронувшее его, и он разыскал в чулане запылившуюся планшетку, достал пожелтевшие уже листки бумаги, искарябанные затейливым, с завитушками почерком Нахаева. Он пробежал глазами первое письмо, где Ленька сообщал, что награжден медалью «За боевые заслуги», а другие ребята кто — «За отвагу», кто — звездочкой. Посетовав на несправедливость, что уж он-то, Нахаев, заслуживает Звезды, Ленька писал дальше: «Тебя, конечно, интересует вопрос о Галине. Вот я тебе об этом и пишу. Да, Галина находится у нас в разведке. Замечательно выглядит, поправилась, но наряду с хорошим я тебя должен огорчить, есть у нее нехорошие поступки. Я знаю, что ты ей веришь, что ты ее достаточно любишь, но вместе с тем ты в ней ошибаешься и обманываешься.

Я не хотел тебе об этом писать, но решил все же сообщить. Галина ведет себя не так, как подобает, не так, как ты вел себя по отношению к ней. Ведь я знаю, что ты измены не допускал, а она делает допуски, и она, дорогой мой, изменяет тебе. Я беседовал с ней на эту тему, она обещалась больше не делать глупостей. Но это было только обещание. Она мне сама призналась, что влюблена в Володьку Ш. «Я, говорит, не знаю, что меня к нему влечет, чем он меня обворожил?» И ряд еще таких изречений... Она, например, говорила, что я ее ненавижу. Говорил я также с Володькой, это интереснейший тип. Просто говоря, развратник. Дорогой друг! Не огорчайся особенно, забудь об этом, а с Галиной — как хочешь. Не обижайся за откровенность, я не могу поступить иначе, поскольку считаю тебя своим лучшим другом. Да, другом, которому обязан только верностью. Поверь, что это так...»

Коншин прочел, откинулся со стула и с запоздало пугающей ясностью понял, что, конечно, это полуграмотное, хоть и имел Ленька техникум, письмо сплошное вранье, что фальшивы его признания в дружбе, что никакого разговора с Галиной у него не могло быть, что все, все выдуманно, причем не очень умно, и как мог он почти безоговорочно поверить этому письму тогда в госпитале, в сорок четвертом?..

Конечно, совершенно непонятное полугодовое молчание Галины настроило уже его на определенный лад, уже вызвало подозрения. Ну и — фронтовой друг написал! Тогда это казалось таким железным аргументом. Хотя особым другом Ленька и не был, но все равно — фронтовой товарищ.

А может быть, тогда ему хотелось, как почти угадала Наташа, поверить в это? Ведь тянула его к себе тогда пышненькая и доступная на вид палатная сестренка Шурочка, у которой, когда присаживалась на койку, затуманивались глаза, а когда топтались в зале под «Брызги шампанского» и прочие танго и фокстротики, она так недвусмысленно прижималась к нему, что бросало в дрожь... Да и вообще, водоворот госпитальных романов в тот последний год войны, в который вовлечен был весь тыловой городок, постоянные «пикировки» соседей по палате, их разговорчики и хихикание после возвращения — все это не могло не действовать на Коншина, уже малость оправившегося после операции...

А тут молчание Гали и письмо Леньки... Полное смя-

тение. Обида, боль. Но только после второго письма Нахаева, в котором было приблизительно то же самое, отправился он в свою первую «пикировку», на квартиру к Шурочке, да и то обезопасив себя перед этим купленным на базаре самогоном.

И были тут, наверно, не только желание отплатить Галине, но и стремление обрести какую-то возможность простить ей в будущем: изменила ты, изменил я, оба мы виноватые, грязные, но что делать — война... И он простил ей, когда в сорок пятом вернулась она после тифа, похудевшая, наголо обстриженная, жалкая. Простил, но признался, что были у него в госпитале женщины, ну и что вообще «верности до гроба» он обещать теперь не может, раз у них так получилось. Если она согласна на такую жизнь, то что ж, попробуем...

Она согласилась, а что ей оставалось? Но жизнь не пошла, все реже и реже встречались, и как-то затухло все... И вот, окончив институт, завербовалась она на Южный Сахалин.

И что ответить ей сейчас? Что перечел Ленькины письма, убедился, что они вранье, а дальше?.. Ответа он не нашел и спрятал Галино письмо в ящик письменного стола, в самый угол...

22

Задуманный рассказ Игорь написал, но, прежде чем дать его Нине, решил почитать кому-нибудь из приятелей. В Тимирязевке ребят, способных оценить его произведение и посоветовать что-либо дельное, на его взгляд, не было, и вспомнил он о Коншине и Володьке. Они нечасто встречались в полиграфическом, Игорь же учился на заочном, но когда встречались, всегда возникали интересные разговоры, и они долго бродили по московским улицам. То ребята провожали его по Садовой и Мясницкой до его Комсомольского переулка, то он ребят до Колхозной. И всегда расставаться не хотелось, так как споры были нескончаемы.

Игорь позвонил Володьке, тот Коншину. Решили у него и собраться, один живет, без родителей, мешать никто не будет, говори хоть до утра. Когда собрались и расселись, Игорь заметно заробел.

— Ребята, вы учтите, что это же в общем-то первый вариант, не очень-то отработанный, так что по мелочам меня не бейте,— предупредил он.

— Не тушуйся,— ободрил Коншин.

Игорь начал читать, и уже с первых же строчек с ужасом обнаруживал разные корявости, нескладницу и лишние фразы, которые старался проглотить при чтении.

— Здесь я сокращу, ребята,— говорил не раз.— Когда вслух читаешь, кое-что режет.

— Ничего. Давай дальше,— подгонял Коншин.

Дальше шли воспоминания десятилетнего мальчика о Германии, о берлинском вокзале, где его с матерью провожает отец, ставший членом гитлеровской партии и отправляющий свою бывшую жену-еврейку и сына в Советский Союз... Проходит девять лет, начинается война, мальчик становится лейтенантом Красной Армии, воюет и вот во время одного из боев, при взятии узловой станции в плен попадают два немецких офицера — лейтенант, вскоре умирающий от ран, и полковник — пожилой высокий немец. При допросе в немецком полковнике лейтенант узнает своего отца... Командир полка приказывает лейтенанту отвести полковника в штаб дивизии. «При попытке к бегству,— говорит комполка,— имеете право стрелять...» И вот лейтенант ведет пленного...

Володька поначалу слушал с интересом, но по мере того, как прояснялся сюжет, лицо его скучнело. Был он, пожалуй, поискусеннее Коншина в литературе и вкус имел тоньше... Игорь подошел к финалу, читал уже увереннее и с выражением:

«...Мы шли молча. Он часто останавливался и просто так по несколько минут глядел на меня... В одном месте он поднял увесистую железную полосу. Я приказал ему бросить железо. Он отказался. Я поднял автомат, он улыбнулся и произнес:

— Стреляй!

Через какое-то время ему захотелось отдохнуть. Устроившись на стволе сваленного дерева, он спросил:

— Далеко еще?

Я не ответил. Он был чем-то доволен. Даже потирал руки. Хмурое лицо, каменные глаза и вся фигура по-прежнему оставались спокойными, но руки, собственно, даже не руки, а кисти их, выдавали его. Они самодовольно пожимали одна другую, сухая, морщинистая кожа ладоней неприятно шуршала, а пальцы даже похрустывали.

Затем сел на землю, сидел минут десять. Я приказал ему встать, он отказался. Он чувствовал себя господином

положения. Начало смеркаться. Тени в лесу становились гуще, деревья плотнее. Я не знал, что же мне делать, и выходил из себя...

Я был, наверно, страшен, когда вскинул автомат. Он поднялся. Я думал, что он пойдет дальше по дороге, но он вдруг пошел мне навстречу. У этого человека были железные нервы, я видел много немцев, но такого волка впервые. Он приближался медленно, спокойно. Видя, что я не ухожу с его дороги, поднял железную полосу и стал вращать над головой. Воздух тонко свистел. Я вынужден был отойти в сторону. С торжествующей улыбкой он прошел мимо. Темнело...

— Стой! — крикнул я не своим голосом.

Он продолжал идти и только коротко бросил: «Стреляй». Я опустил автомат... Целый час я шел за ним. Он углубился в лес. Дальше со мной начало твориться что-то страшное. Передо мной вдруг возник маленький испанский город Герника, залитый солнцем, весь в зелени. На голубом небе черные точки «юнкеров». Страшный вой моторов. Пронзительный свист бомб, и земля, вздыбленная вместе с осколками зданий, в страшном грохоте рушится на детей. Я вижу маленькую испуганную головку. Ребенок сидит около матери. Откуда-то сверху падают кирпичи и мягко, многопудовой тяжестью расплющивают его...

О, ни одна самая мрачная кинокартина не могла сравниться с тем, что я видел. Одно ужаснее другого, какая-то бесконечная галерея ужасов, причиненных фашистами народам, женщинам, детям...

Я поднял автомат... Через какие-то десять — пятнадцать минут станет совсем темно, и он сможет легко скрыться от меня. Я крикнул ему, что, если он не остановится, я буду стрелять.

— Попробуй, сынок,— услышал я в ответ хриплый голос.— Попробуй,— и он захохотал.

Я... Я нажал на спусковой крючок... Длинная очередь красными точками прорезала мглу. Я услышал крик. Потом все смолкло. Я не стал подходить к нему, я не мог. Медленными, тяжелыми шагами я пошел обратно. Свой долг я выполнил. Страшный, но необходимый долг».

Игорь отложил рукопись и нервно закурил.

— Все, ребята,— выдохнул он.— Жду ваших слов.

Но ребята высказываться не торопились, тоже засмолкли. Игорь напряженно глядел то на одного, то на другого, пытаясь по лицам определить, произвел ли впечат-

ление его рассказ. Лица были серьезными, да и слушали они хорошо, без покашливаний и реплик — видимо, произвел, с облегчением решил он.

— Ну что? — начал Коншин. — Сюжет ты закрутил здорово. Ситуация, в общем-то, вполне возможная, чего на войне не бывает. Слушал я с интересом. Вот коротко...

Игорь вытер лоб платком и глядел теперь на Володьку, что он скажет?

— Неужто все-таки отец с сыном не могли расстаться без пиф-паф? — задумчиво сказал Володька.

— А как же? — быстро спросил Коншин.

— Ну, выбил бы у него железаку, связал бы...

— Мой лейтенант не мог этого сделать, он физически слабее. Я же написал — «матерый волк», — возразил Игорь.

— Но попытку-то хоть мог сделать? А то сразу очередь, да еще длинную... Дал бы по ногам короткую. Не очень-то во все это я верю, — Володька поднялся и прошелся по комнате.

— Ты можешь конкретнее? — напрягся Игорь, следя глазами за маячившим по комнате Володькой.

— Наверно, могу. По-моему, выдумал ты это все от начала до конца.

— Ну и что? — вступился Коншин. — В литературе и не должно быть все как в жизни. Она же — сплав вымысла и правды. А такая ситуация могла быть. И закончиться должна именно так.

— Должна-то так, а вот могла и по-другому, — усмехнулся Володька.

— Тут уж право автора. Верно, Игорь?

— Мне кажется, что тут дело не в праве автора. Мой герой идейный, преданный Родине человек. Он не мог поступить по-иному.

— Почему? Мы что, войну бы не выиграли, отпусти он своего отца на все четыре стороны? — начал горячиться Володька.

— Отпустить врага?! Оберста! Матерого фашиста! Да ты что? — воскликнул Игорь и покрылся красными пятнами.

— От жизни и смерти какого-то оберста итог войны не зависел. — Володька сказал это спокойно и чуть усмехнувшись.

— Если так рассуждать, можно оправдать любое

предательство.— У Игоря начали раздуваться ноздри.— И ты сам так не думаешь, Володька.

— Ладно, не кипятись. Давайте, ребята, прикинем эту ситуацию на себя. Смогли бы мы застрелить своих отцов? Ну, отвечайте. Я бы не смог. Говорю прямо.

— Я тоже...— почесал в затылке Коншин.

— Ребята,— немного растерянно начал Игорь,— я тоже, наверное, не смог бы, но, понимаете ли, когда я писал, я пережил все и не знал сам до самого конца, чем это кончится. Тут уже действовал мой герой, логика его характера. Ну и важна предыстория всего этого. Вы же помните, что мать лейтенанта — еврейка, сидела в концлагере. Она и сын были преданы отцом в тридцатые годы. И сын убивает не только отца-фашиста, но и человека, предавшего его мать, издевавшегося над ней.

— Но вспоминает-то он о Гернике,— заметил Володька.

— Нет, меня немного убеждает, что сказал Игорь, тут же и мать замешана,— не очень-то уверенно сказал Коншин, понимая, что он сам-то своего мнения еще не составил.

— Меня — нет,— решительно сказал Володька.— Мне всю войну почему-то представлялось, что встречу своего друга детства Мишку-немца, хотя и знал, произойти этого не может. Мишка был на Урале в трудовом лагере. И вот до сих пор не знаю, как поступил бы, попадись он мне в руки. Может, отпустил? Не знаю. Во всяком случае, убить бы не смог. А это лишь друг. Не отец...

— Ну, Володька,— повеселел отчего-то Игорь,— у тебя полный идейный ералаш в голове. Рад, что ты высказался. Теперь мне стало яснее, что рассказ мой нужен.

— Не уверен,— пожал плечами Володька и начал развивать мысль насчет того, что в жизни должны быть, наверное, незыблемые и святые человеческие ценности, что узы родства, настоящей дружбы — одни из них, и переступать их нельзя.— Ты задумывался, как будет жить твой герой дальше, после такого? Ведь после совершенного им — уже все дозволено...

— Ну, Володька, давай еще шпарь по Федору Михайловичу о единой слезе ребеночка... Все это мы слышали, знаем. И давно отвергли,— перебил Игорь со снисходительной усмешкой.

— А верно, Игорь,— вмешался Коншин,— как жить-то твой лейтенант будет? Что бы он ни сделал впоследст-

вии, какую бы гадость ни совершил, все будет ничто перед этим.

— Вы что, серьезно, ребята? Есть же много примеров из жизни революционеров, когда ради идеи они рвали семейные и дружеские узы. Ну и примеры из гражданской войны... А помните, что говорил Иосиф Виссарионович Лиону Фейхтвангеру насчет Радека, ведь тот был близким другом Сталина, но...

— Но в отцеубийстве, по-моему, никто из них замаран не был,— сказал Володька.

С этой стороны атаки на свой рассказ Игорь не ожидал. Идею сторону его он полагал безупречной, а потому начал разъяснять ребятам, что у него не только отец и сын, а два непримиримых идейных врага, что один пришел на землю другого с огнем и мечом — и какие могут быть тут сомнения? Он знает, что убить даже врага нелегко, ну а когда этот враг отец, то почти неодолимо трудно, но его герой тем и силен, что сумел преодолеть непреодолимое, ну и так далее и тому подобное...

Володька слушал со скучным лицом, и по его виду было ясно — слова Игоря его не убеждают. Коншину же виделась в них какая-то правда, а как не видеть, когда на этом и воспитаны были с детства, лозунгами: «Если враг не сдастся — его уничтожают» и «Кто не с нами — тот против нас...». Не все принималось им безоговорочно, но западало же в душу.

— Это мы знаем, Игорь,— махнул рукой Володька, когда тот закончил свою тираду.

— Разумеется,— Игорь вытер опять вспотевший лоб.— Меня и удивляют наши разногласия, которые могу объяснить лишь вашей идейной незрелостью,— он добродушно улыбнулся, показав этой улыбкой, что он шутит.— Ну а как, ребята, в смысле художественности? Получились у меня характеры?

— У тебя — два фанатика,— бросил Володька.

— Ну, какие-то душевные переливы Игорь дает и тому и другому,— возразил Коншин.

— Этого мало.

— Знаешь, Володька,— сказал Коншин,— по-моему, самое главное, что Игорь написал. Написал то, о чем можно говорить, спорить, обсуждать. Мы с тобой пока ничего подобного не сделали. Не говорю уж о том, как трудно Игорю это было, ведь в двух институтах вкалывает, а время нашел. Возможно, есть некая прямолинейность

в рассказе, может, что-то в стилистике не очень, но Игорь попытался рассказать о самом главном, что было в нашей жизни, — о войне. А посему — честь ему и хвала. Я без иронии, Игорь, я честно...

— Спасибо, Леша, — растроганно пробормотал Игорь и, повернувшись к Володьке: — А ты знаешь кто? Анархист.

— Анархист? — засмеялся Володька. — Удивительно. Меня в школе точно так же называл Генька Фоминов, был такой деятель. Кстати, вы с ним даже внешне похожи. Это, конечно, плохо — анархист?

— Сам понимаешь, — улыбнулся Игорь, довольный, что нашел определение, которое начисто отметало Володькино мнение о рассказе.

Коншин извинился, что не сможет проводить ребят, надо поработать еще, а то не успеет сдать к получке, и Игорь с Володькой пошли одни. По дороге Володька рассказал историю, которая, на его взгляд, могла послужить основой интересного рассказа. А историю эту узнал он от старшины взвода разведки в сорок третьем году:

— Группа наших разведчиков в составе трех человек, выполнив задание в глубоком тылу немцев, выходила к своим, но из-за того, что командир группы случайно разбил компас, они долго плутали в немецких тылах, ища окно. И вот, выйдя на какую-то полянку, они прямо лицом к лицу столкнулись с тремя... Ты знаешь, ходили наши ребята часто в немецких маскаридах и вооружены бывали немецкими автоматами — и легче, и патроны всегда найти можно. Ну и те, с кем столкнулись, одеты были так и вооружены так же. Какие-то секунды обоюдного замешательства. Немцы не сразу догадались, что перед ними противник, ну и наши тоже — а вдруг свои? Момент для мгновенного короткого боя был упущен с обеих сторон. И тогда старшина, разлыбившись, делает шаг в сторону фрицев и говорит: «Ну, гансы, давайте раухен... Покурим, значит». Немцы, поняв видно, что если затеять сейчас бой, то в живых никому не остаться, и те и другие обучены убивать по первому разряду, у каждого в магазине по тридцать два патрончика девяти-миллиметрового калибра, тоже заулыбались, ну и сигаретки протянули. Старшина берет и «фейер» просит, один из фрицев зажигалочку ему преподносит — битте-дритте. Закурили. И немцы тоже. Постояли минут пяток, подымили, старшина и говорит: «Ну а теперича, фрицы, по домам,

нах хаузе, значит. И ауфвидерзеен. Разойдемся, как в море корабли». И разошлись... Вышли к своим, передал старшина разведанные, но ребятам наказал — молчок об этом, никому, братцы, а то... Вот видишь, как в жизни бывает. Тут ничего не придумано.

— Тут все проще и понятнее,— сказал Игорь.— У старшины расчет был. У меня другое...

— Кстати, о расчете... Давай откинем моральную сторону твоего рассказа, а разберем с точки зрения военной целесообразности. Так вот твой лейтенант должен был всеми способами заполучить от папаши какие-то сведения, оберст должен знать многое. Заполучить, даже пообещав отпустить его. И обошлось бы без смертоубийства, один фриц погоды не сделает, а сведения — это, брат, всегда нужно, это сбереженные солдатские жизни. Вот так-то, Игорек.

— Понимаешь, это я как-то упустил из виду,— задумчиво проговорил Игорь.— Я подумаю об этом.

— Подумай, Игорек. А то пиф-паф, а толку чуть,— хлопнул его по плечу Володька.

23

— А как вы попали в плен, Марк? — решила наконец спросить Настя, когда пришла к нему в мастерскую во второй раз.

— Долго рассказывать, да и неохота... Повернитесь-ка пока маленько влево... Вот так... Спасибо.

В этот раз Настя пришла одна. Марк усмехнулся и пробурчал: дошло все-таки до миледи, что опасаться ей нечего. Она ответила, не в боязни дело, просто она такая, не очень-то боевая, стеснительная, наверно, чересчур, из семьи-то она простой, хоть отец ее и печатник, а из всего рабочего класса печатники народ самый грамотный, начитанный. Она тоже до войны много читала... Тут Марк заинтересовался и попросил рассказать о семье поподробней. Настя насторожилась:

— А зачем вам это?

— О своей модели художник должен все знать,— улыбнулся он.

Она рассказала кое-что. И о матери, и о братьях, и вдруг сказала то, о чем никому не говорила, как после сообщения, что пропал ее Андрей без вести, начала она с его матерью в церковь похаживать и что приносит ей это какое-то успокоение.

— А ведь сразу догадался,— сказал Марк, довольный своей проницательностью.— Помните?

— Да. Я удивилась тогда... Насмехаться над этим не будете?

— Нет, Настя. Я приучен чужие убеждения уважать.

— Тогда вот что я вам скажу... Больно много мы о ненависти твердим, а ее и так много. Так зачем же вы... картинами-то своими?..

— А разве сострадания они не вызывают? — быстро спросил он.

— Да, жалко, конечно, этих пленных, но жалость эта и ненависть к немцам пробуждает. Смешалось у вас все, мне трудно разобраться и объяснить, но вот чувством каким-то понимаю я, что-то плохое есть в ваших картинах, не могу их принять с легкой душой.

— С легкой и не нужно... Но вы говорите, говорите.

— Ничего больше сказать не могу, не очень-то в этом разбираюсь...

— Разбираетесь, Настя, мне ваши суждения интересней, пожалуй, всяких других... Ну-с, передохнем?

За кофе продолжили они разговор. Марк что-то про Петра спросил, она опять насторожилась, но ответила. Марк задумался ненадолго, потом протянул:

— Значит, Петр в семье вашей в героях ходил...

— Да уж все превозносили. Михаил, правда, его недолюбливает, завидует, может, а отец, мать и мы, сестры... Когда с Халхин-Гола с первым орденом приехал, так мы вокруг него суетились, пылинки сдували. Ну и, конечно, в сорок пятом после Победы... У него же ордена важные — Красного Знамени, Суворова, а «звездочек»-то не то три, не то четыре...

— Мда...— промычал, а потом спросил холодно: — А не задумывались, как ордена эти получались?

— Уверена — честно. Петр перед начальством юлить не любил. Он четырежды ранен был. Вот боюсь, как бы инвалидность ему в госпитале не определили, тогда уволят же из армии. Навещала я его недавно. Смурной лежит, мрачный...

— Еще бы,— усмехнулся Марк.— Таким, как он, без чинов не жить.

— Не в чинах дело, военный он до мозга костей... Да откуда вам знать, какой он?

— Сами рассказали, да и знал я таких,— бросил он небрежно.

Настя повернулась к нему и долго смотрела, стараясь заглянуть ему в глаза, но он прятал их за дымком папиросы, которую смолил усиленно, не вынимая изо рта. Настя вздохнула трудно:

— Чую я, чую, знали вы Петра и было что-то промеж вас...

— Не фантазируйте, миледи,— перешел он опять на свой иронично-сниходительный тон.— Пустое это, пустое...

— Не пустое,— убежденно сказала Настя.

— Ладно,— отмахнулся он,— вы лучше расскажите, что ваша сестрица бойкая поделывает.

— А кто пришел к вам тогда? Женька с ним еще поздоровалась. Друг?

— Друзей у меня нет, Настя. А заходил приятель один, начинающий художник.

— Откуда же знакомы они, не знаете?

— Нет.

Сказал «нет», а Насте показалось, знает он что-то, да говорить не хочет. Женьку по дороге спросила, но та лишь одно — знакомы, и все, а где познакомились, когда, ни звука. Но шла домой что-то грустная, не болтала и глупостей не отмачивала. И дома тихая была несколько дней, задумчивая. Фанфаронства у девчонки хоть отбавляй, а опыта-то никакого, хорошего человека от подлеца не отличит, вот и нарвется. Чтоб от тревожных мыслей о Женьке отойти, спросила:

— А почему у вас друзей нет?

— Не знаю,— пожал он плечами.— Я человек трудный. Да и интересных людей маловато что-то стало. Помню, когда тетка жива была, сколько народа к ней замечательного заходило. Сожалею теперь, надо было писать всех...— он задумался.

— Без друзей плохо, наверно?

Марк посмотрел на нее и ничего не ответил, тогда Настя нерешительно, с неловкостью в голосе спросила:

— Женька тогда пристала к вам, да и мне неудобно, но все же, женатый вы или нет?

— Вас тоже, значит, сие интересует? Был женат, миледи, был. Но после войны мою жену, точнее, ее родителей моя биография перестала устраивать. Поняли?

— Как не понять? Только уж больно нехорошо это,— покачала она головой.

Ксения Николаевна, Володькина мать, давно уговаривала Коншина приходить к ним обедать, но он отнекивался: бесплатно неудобно, платить тоже, да и неизвестно сколько. Но сегодня, на воскресный обед он прийти обещался, тем более, сообщил Володька, у матери не то день рождения, не то именины, да и не видал он ее давно.

Перед его приходом Володька сказал матери:

— Надо как-то подействовать на Алексея. Он всерьез занялся халтурой, почти перестал ходить в институт.

— Почему ты называешь его работу халтурой?

— А что она? Какие-то плакатики по технике безопасности,— пренебрежительно дернул он плечом.

— Надо же чем-то зарабатывать? Кстати, Маяковский тоже занимался плакатом... Алеша один живет. Нам вдвоем легче. Я не очень-то понимаю его мать, оставить мальчика одного...

— Ну, какие мы мальчики?! Мужики уже, к тридцати подкатывает,— рассмеялся он.

— Для нас вы навсегда мальчики,— вздохнула мать.

Коншин принес к обеду две бутылки пива, на большее у него перед получкой не было, а с пустыми руками не хотелось. Ксения Николаевна упрекнула, что совсем их забыл, редко заходит. Коншин смущенно пробормотал что-то насчет работы, смущенно, потому что опасался, вдруг Володька — хотя это и непохоже на него — сказал матери про «джентльменское соглашение». Но за обедом говорили о другом. Володькина мать спросила его с улыбкой, неужто у них в институте нет хорошеньких девушек, что-то ее сыну никто не нравится.

— Тебя это очень беспокоит? — буркнул Володька.

— Не очень, но все-таки,— продолжала она улыбаться.

— Есть, и еще какие! — ответил Коншин.— Я-то, увы, вне игры, а что Володька теряется — не знаю.

— Мать вбила-таки в меня свое «порядочно, непорядочно», вот и теряюсь,— усмехнулся он.

— Выходит, я и виновата?

— Разумеется. Жизни нет с такими принципами. Алешке вот легче,— кивнул он на Коншина.

Коншин поежился и даже перестал есть. Володькина мать поглядела вопросительно:

— Почему Алеше легче?

— Спроси его сама, мама.

Коншин сжался, покраснел и после долгого раздумья, словно в воду бросился, взял и рассказал все Ксении Николаевне, закончив жалкими словами:

— Понимаете ли, Ксения Николаевна... ведь не до жиру...

Володькина мать выслушала все внимательно, не перебивая и горестно вздохнула:

— Бедные мальчики... После бескомпромиссных четырех лет приходится идти вот на такое...

— Почему приходится? — вскинулся Володька. — Никто не заставляет, все по доброй воле.

— Жизнь заставляет, — вяло попробовал защититься Коншин, мол, и с ломбардом надо разделаться, и с долгами, ну и работает он еще недостаточно умело, не выдерживает конкуренции с опытными профессиональными художниками, а потом, может, действительно, и не побоиры это, а нужно для дела, а в общем-то, закончит он эту серию и порвет с Анатолием Сергеевичем.

К его удивлению, Володькина мать более терпимо, чем ее сын, отнеслась к этой истории, глядела на Коншина даже сочувственно и вскоре перевела разговор на другое, заговорив о том, что, по рассказам приехавших из Ленинграда знакомых, Зошенко держится очень мужественно, и это неудивительно, он же бывший офицер, воевавший в первую мировую и награжденный солдатским «Георгием», а такая награда офицерам давалась, как она знает, за личную храбрость.

Для Коншина, не читавшего последних зошенковских вещей, в которых касался он своей биографии, это было новостью.

— Зошенко — бывший офицер?! — воскликнул он. — Вот никогда бы не подумал. Он представлялся мне таким же сереньким обывателем, как и его герои.

Это дало повод Ксении Николаевне прочесть целую лекцию, что нельзя отождествлять автора с его героями, что в те годы так и говорили и что не кажется ли им, что пора серьезно заняться русской литературой начала века, так как институтские программы, мягко выражаясь, слишком сокращены и ограничиваться ими — это значит обеднять свой духовный мир, чего не должен допускать интеллигентный человек, и так далее...

Когда она закончила, Коншин задумчиво протянул:

— Да, если Зошенко воевал, это меняет мое отношение к нему.

— Рада слышать, Алеша,— улыбнулась Володькина мать.— Кстати, чем больше вы будете знать, тем меньше поддаваться разным влияниям.

— Осторожней на поворотах, мама,— засмеялся Володька.

— Мы, взрослые, наверно, были чересчур осторожны на поворотах, как ты выразился, оберегая вас от многого. Возможно, перед войной так и нужно было...— тихо произнесла она и задумалась.

25

Институт курортологии к сорок восьмому году стал совсем другим, чем в военное время. Все меньше лежало тут людей после фронтовых ранений и все больше обыкновенных больных. Появились и женщины, ладить с которыми Нине было труднее, чем с ребятами-сверстниками. Одно дело массировать раненого, защитника Родины, чтоб скорей его вылечить, чтоб предотвратить атрофию мышцы, другое — растолстевших — а каким макарон? — сытых баб, попадающих в институт по разным блатам. Нине было это противно, и она пошла к главврачу, пожилому желчному человеку, и заявила: «Посмотрите, какие у меня запястья. Я не могу месить их телеса. И не буду». К ее удивлению, главврач понимающе усмехнулся и дал команду поставить ее на пальпоторный массаж.

Да, работа медсестры уже потеряла тот большой и благородный смысл, бывший в годы войны. Нина уже подумывала, куда бы перейти, а пока поступила на курсы переводчиков с английского. Но пора уже решать и с институтом, только не знает она, в какой поступать.

Десятилетку она окончила в сорок первом. Уже в июле мать осталась без работы, так как эвакуировалось учреждение, где она работала. Да и учиться, когда идет война, казалось Нине чем-то даже безнравственным, надо же помогать фронту, и вот — «рокковские курсы» медсестер, эвакогоспиталь № 5005, а потом Институт курортологии...

Хотя зарплата медсестры оказалась не больше институтской стипендии, могла бы просуществовать и только учась, но Нина не сожалела — в войну была на своем месте. Сейчас она получает четыреста, тоже очень мало по новым ценам. Если в войну на свои двести двадцать она могла выкупить паек, то и теперь, после реформы, на всю зарплату можно было купить приблизительно столько же, что и на карточки. Но это ее как-то мало трогало, ей

хватало... Самым важным было то, что благодаря «дяде Сэму» она была одета. Когда разыгрывали в госпитале американские подарки, ей достались чудные вещицы: светлое пальто из буклированной шерсти, нарядная, тоже шерстяная кофточка, свитер и синие прекрасные босоножки. Ну а ее беличий довоенный жакетик был еще вполне приличен, а ботики с меховой опушкой, полученные по промтоварному талону, тоже ее вполне устраивали. Да, и еще платье клетчатое, очень славненькое — тоже от «дяди Сэма».

Хотя теперешняя работа и не приносила былого удовлетворения, но она стала несравнимо легче... Главное, никто уже не умирал в палатах. А когда умирали после окончания войны — это было всегда очень страшно и больно. Она помнит, каким ударом для всего госпиталя было известие, что лежавший у них с парализованными ногами крымчанин Артем, который носился в своей коляске по коридорам, уверяя всех, что в родном Крыму его обязательно вылечат, не могут не вылечить, застрелился через несколько месяцев после выписки. Умер от гангрены другой ранбольной, лежавший в той же палате вместе с Игорем и Юркой-рыжим, ее дворовым товарищем. Да, из этой палаты, в которой подобрались хорошие и умные мальчишки, любители поэзии, неумные спорщики, в живых осталось лишь двое... Игорь и Юрка-рыжий.

И вот Игорю сегодня надо сказать, что случилось... Правда, казалось ей это пока не очень-то реальным, далеким, впереди же еще столько времени, но все же... Разумеется, Игорек обрадуется, давно ведь твердил, что семья без ребенка не семья, что нельзя быть эгоистами и жить для себя. И конечно, теперь-то он опять начнет канючить, что им необходимо расписаться.

Она вспомнила, когда сказал он ей это в первый раз. Было это в Тимирязевском парке, резвилась она вовсю, искупалась в грязном пруду, где никто не купался и который был инкубатором пиявок, потом залезла в малинник, откуда со скандалом была выдворена сторожем, сопровождаемая «лестными» эпитетами. Все это страшно шокировало Игоря, он надулся и был даже зол, и вдруг — «Я без тебя больше не могу, давай распишемся. И не говори ничего. Все равно я добьюсь этого, пусть даже будет тебе тогда и тридцать или даже сорок лет...»

Она расхохоталась. Сорок лет! Бог ты мой, она вообще больше сорока и жить-то не собиралась! Игорь, не понимая

причин ее смеха, стоял в недоумении, нахмурившись, пока она, душа смеха, не пропела: «Ужель та самая Наина...» — тогда Игорь улыбнулся, сказав, что возраст для него не имеет значения, что он любит ее сущность, а не внешний вид. «Не смейся, как можно любить сорокалетнюю женщину?» — прыснула она опять смехом, а потом высказала свои соображения по поводу семейной жизни; что жить вместе да еще в одной комнате с матерью — это кошмар, что они тогда быстро надоедят друг другу и что вообще все это ни к чему.

Придя домой, она записала в своем растрепанном дневнике: «Произошло грандиозное, эпохальное событие!!! Мой Игорек предложил соединиться узами законного брака! Майн Готт! Я поражена? Стронута, сдвинута? Польщена? На моих глазах дрожат слезы умиления и благодарности? Отнюдь нет! Мне представилась его комнатка на Комсомольском, завешанная пеленками, заставленная сковородками и кастрюлями, и среди этого роскошного, обворожительного интерьера сижу я — в засаленном фартуке, нечесаная, расплывшаяся и ожидающая, как верная Медора, своего повелителя... Господи! Неужто это все? И жизнь окончена? И разве это та огромная, необыкновенная и обязательно трагическая любовь, о которой я мечтала? Нет, избавь меня аллах от такой унылой мещанской идиллии! И что же мне, бедненькой, делать???»

На другой день она рассказала об одолевающих ее сомнениях своим девочкам в госпитале, а они подняли ее, конечно, на смех: «Что ты, Нинок, дурочка, что ли? Беги завтра же в загс, не упускай шанс, не осталось же ребят наших лет, локти потом кусать будешь, а Игорек хороший парень, серьезный, скромный, и думать нечего».

Тогда она им: а вдруг встретит его, с «большой буквы», и что же? Она несвободна, как говорится в романах? Ой, как хохотали ее подружки — нашла, о чем переживать, закрутишь и с тем, с «большой буквы», подумаешь, какое дело, наперебой чирикали они, умирая со смеху... Но она же не такая, она не сможет. Не зря же в свое время рыдала она над тургеневскими повестями.

Вспомнив это, Нина подумала, что она нисколько не изменилась за прошедшие два года и, увы, к узам Гименя относится все так же. Но Игорь ждет ее сегодня вечером. Наверно, купит конфет, печенья, а может, и бутылку вина для храбрости, ведь он грозился читать ей рассказ.

Игорь и верно ждал ее. Он устроил настольную лампу

около дивана, погасил верхний свет, чтоб создать уютный полумрак, разложил рукопись, вскипятил на кухне чайник, раскрыл коробку конфет — угадала Нина! — и уселся с папироской, стараясь не раздражаться, — она, разумеется, опаздывала, и здорово опаздывала, минут на сорок. Ничего, думал он, придет время, и он возьмет ее в руки, перевоспитает на свой лад, будет она у него и собранная и серьезная. Она же умненькая и поймет, нельзя жить мотылечком, не думая о будущем, а главное — не делая этого будущего. А в том, что будущее в руках человека, он не сомневался. Он выкурил третью папиросу и занервничал. Чтоб успокоиться, стал проглядывать свою рукопись и — о ужас! — то и дело попадались ему корявые фразы, неточности, которые он тут же начал выправлять. И так увлекся, что прозевал Нинин звонок во входную дверь, а потому предстала она перед ним неожиданно. Дверь ей открыли соседи.

— Здорово ты меня ждешь! Даже звонка не услышал, — обиженно выпалила она вместо приветствия.

— Прости, Нинуша, листал я рукопись, ну и... — он бросился к ней, помог снять жакет и провел в комнату. — Садись. Чай сейчас будем пить или потом, когда прочитаю тебе свой опус?

Нина села, небрежно закинув ногу за ногу, и как-то странно, немного загадочно поглядывала на Игоря.

— Погоди, Игорек. Пока ни то, ни другое. Я должна тебе что-то сказать.

— Что? — скрывая недовольство в голосе, спросил он, уверенный, что услышит какую-нибудь глупость вроде очередной любовной истории, случившейся в госпитале.

— Я беременна, Игорь, — почти весело объявила она.

Он побледнел, куда-то провалилось сердце. Отведя глаза, он лихорадочно, дрожащими пальцами чиркал спичками, чтоб прикурить. Нина наблюдала за ним со все большим и большим недоумением.

— Ты что, не рад?

— Я рад, конечно, — поспешно воскликнул он. — Но, Ниночка, это так неожиданно... И мне... мне еще два года до диплома... — бормотал он, понимая, что говорит не то. — И что же ты решила?

— Не понимаю. Что я должна решить? — уже невесело спросила она.

— Да, да, конечно... Я говорю глупости, прости... — совсем растерялся он.

— Господи, да ты испугался,— упавшим голосом произнесла она и поднялась.— Да ты, оказывается, трус...— уже совсем тихо, почти шепотом добавила она.

— Успокойся, Ниночка. Я совсем не испугался, но пойми, это так неожиданно. Да, я немного растерялся как-то, но это же естественно. Садись, пожалуйста,— он подошел и попытался усадить ее, но она отвела его руки.

— Да, ты трус,— повторила она.— А я-то думала, а я...— и направилась к двери.

Игорь схватил ее жакет и не давал одеться, но она сильно толкнула его и выбежала из комнаты. Он бросился за ней, рванув с вешалки пальто и шапку, но уже хлопнула входная дверь, и слышалось, как стучат по лестнице каблук ее ботинок...

Когда он вышел на улицу, она уже скрылась за поворотом, и ему, хромающему да еще без палки, конечно, не догнать, однако он пошел за ней, на Кировской ему подвернулось такси-«эмка», в котором он и помчался на Каляевскую, надеясь опередить ее.

Больше часа мучился он около ее дома. То маячил туда-сюда, то заходил в подъезд погреться и без передыха курил одну папироску за другой, даже голова закружилась. Дождаться Нину надо обязательно, хоть всю ночь придется простоять, необходимо же объяснить, и непременно сегодня же. Да, он не сумел скрыть свою растерянность, даже смятение, но должна она понять, что ребенок, разумеется, преждевременен, нужно окончить институт, устроиться как-то с жильем. Ведь говоря о семье, он подразумевал будущее, а сейчас... сейчас это так осложнит жизнь всем. Но он не испугался, как она подумала. Совсем нет. Просто надо все обдумать спокойно и решить... А что решить? Этот вопрос сбил его. Что? Аборты же запрещены! А подпольный аборт, не говоря уж, что он — преступление, может вообще окончиться неизвестно чем, даже страшно подумать. Так что же решать? Черт побери, он совсем запутался...

И вот наконец-то вдалеке показалась Нина, жакет нараспашку — ей всегда жарко — походка быстрая. Глупышка, простудится, обеспокоенно подумал он, и сразу же вслед за этой мыслью пришло: чего же решать, все же ясно, завтра же надо тащить ее в загс. Ему стало легко, свободно. Раскрыв руки, он пошел ей навстречу, радостно улыбаясь...

Нина шла прямо на него, словно не видя ничего, и ему пришлось уступить ей дорогу, чтоб не столкнуться. — Нина, мы должны... Послушай... — начал он.

Но она не остановилась, прошла мимо, а потом припустилась бежать и через минуту была уже в своем подъезде. Со сползшей с лица улыбкой он дошел до ее дома, постоял, выкурил папиросу, надеясь — а вдруг она выйдет? Она не вышла, конечно, и он поплелся домой.

Нина же, вернувшись к себе, устроилась на кухне, так как мать уже спала, и, освободив уголок стола от кастрюль и керосинки, уселась со своим растрепанным дневником, к которому обращалась в ответственные моменты своей жизни. Она писала:

«Случилось что-то ужасное! И мне надо разобраться. После сегодняшнего вечера Игорь перестал для меня существовать. Сразу! Бесповоротно! Его уже просто нет! Сейчас листаю свой дневник... Вот страничка, где я описываю свой давний разговор с Игорем. Однажды я сказала ему, что люблю переживать, что спокойная жизнь не по мне. Он страшно удивился и попросил объяснить, что же я понимаю под «переживаниями». Я стала развивать что-то маловразумительное, он только покачивал головой и вздыхал. Это была пора затишья, я была пайнкой, ни с кем не встречалась, была нежна с Игорьком, и он, вообразив, что я — «вся его», стал невыносимо самодовольным, и мне захотелось выкинуть какой-нибудь фортель, чтоб он понял, я — не вещь, которой можно владеть с самоуверенностью толстого буржуа. Вот я и взбрыкнулась, начав с разговора о «переживаниях», желая поугубить Игорька, что чего-чего, а этого он может получить сполна. Да, как только я начинаю чувствовать, что наши отношения просто влюбленных переходят в отношения мужа и жены, я встаю на дыбы, а потом галопом мчусь к кому-нибудь на свиданье, доказывая и себе и Игорю, что «рабы не мы», что я вольная птица, а не клуша...

Ну ладно, это все не то... Надо же решить вопрос, почему у меня, как только увидела, что он испугался, — все прошло? Я же не дура и понимаю его растерянность, но я ждала другого! Чего? Я сама не знаю. Не восторгов, разумеется. В них я бы не поверила, но — другого. И я была поражена в самое сердце... Господи, откуда такая банальщина? Вот что значит неразборчивое чтение и хорошая память! Ладно, оставим... Наверно, я дьявольски самолюбива. Помню, я еще девчонкой обрывала сама

школьные романы, стоило мне хоть чуток засомневаться, что мой объект изменил ко мне отношение, взглянул недостаточно нежно или сказал что-то не так. Я рвала сразу все. И навсегда! Так, кстати, вышло и с ним, который с «большой буквы». Сыронизировал он что-то насчет моих познаний, и я «гордо удалилась с высоко поднятой головой», как пишут в старинных романах. И теперь не желаю даже его видеть, тем более что помню слова старухи Изергиль, что встреча с людьми, которых раньше любила, похожа на встречу с покойником.

Наверно, так получится и с Игорем. Ничего-ничегошеньки нет у меня сейчас в душе. Пустота! Зияющая! И что делать? Как ни умирала я от тоски при чтении великого критика-демократа, но вопрос «Что делать?» — придумал названьице! — преследует меня всю жизнь. И еще один вопросик, тоже из нашей святой русской, прошлого века литературы — «Кто виноват?». Может, это извечные, исконные вопросы для русских людей? Итак, что делать??? Форшу?.. Форсю (не знаю, как это пишется!) в своем дневничке, надеясь, видимо, что прочтут его потомки, а ведь реветь хочется. Ревмя! Белугой. Нет, наверно, белой? Да ладно. В общем — реветь. Но не буду! Прежде надо решить еще и «кто виноват?». Увы, вероятно, это не требует долгого расследования. Виновата я! Это я сейчас осознала, а час тому назад прошла сквозь Игорька, как через пустое место. Ну и лицо у него было! Жалкое, растерянное, недоуменное. И начал лепетать что-то... А я — мимо!»

Она прочла написанное и подумала, спасает-таки ее присущее чувство юмора, ведь даже в такой критической ситуации пытается острить, что не дает ей погрузиться в бездну отчаяния... «Тьфу, опять! Не хватает еще «Рауля»!» — пробормотала вслух и поднялась, но, немного подумав, присела опять и дописала: «А вдруг я не такая уж виноватая? Просто я вот такая...»

Коншин ждал Михаила Михайловича. Он долго и тщательно отбирал работы, а их накопилось достаточно, и институтские и самостоятельные, были эскизы композиций будущих картин, иллюстрации к гоголевскому «Портрету», несколько к «Идиоту», где пытался он изобразить Настасью Филипповну, занимавшую его воображение

еще с юности. Пришлось все это разложить прямо на полу, и сейчас он пытался расположить работы поэффектней, чтоб у Михаила Михайловича создалось целостное представление о его работах.

Михаил Михайлович пришел малость помятый — либо уставший, либо после изрядной выпивки. Он обвел комнату глазами и усмехнулся:

— У ваших родителей кое-что сохранилось от «разбитого вдребезги». Я говорю о фарфоре, о статуэтках... У меня — ничего, кроме пианино. Голод, переезды... Что продано, что оставлено на старых местах, что просто пропало.

У Коншина на кухне стояло две бутылки пива, и он предложил освежиться.

— Пожалуй, не откажусь... Вчера пришлось выпить. Товарищ фронтовой приехал. Он меня в свое время спас. Узнал, что я профессиональный художник, и вытащил в штаб.

Коншин принес пиво, стаканы... Прихлебывая пиво, Михаил Михайлович бросал взгляды на коншинские работы, а допив, встал и прошелся между ними, наклоняясь над некоторыми и разглядывая их подолгу. Потом присел, вынул из кармана пачку «Прибоя», не спеша закурил... Коншин с нетерпением ждал, что скажет он. В резкие, снисходительно-пренебрежительные отзывы Марка ему не хотелось верить. Марк вообще такой, немного, наверно, фанатик и, пожалуй, слишком высокого мнения о себе самом. Он никогда и никого не хвалил из современных художников, презрительно шурился, когда Коншин восхищался «Письмом с фронта» Лактионова или бубновскими историческими полотнами. Так чего же было ждать от него? Ясно, только невнятного, снисходительного бормотания.

— Мда, дорогой, — начал наконец Михаил Михайлович. — К сожалению, изобразительное искусство — и это надо знать — на три четверти ремесло, работа руками. Без этого никакие самые распрекрасные идеи осуществить невозможно. Вы, конечно, знаете, Брюллова с четырехлетнего возраста отец заставлял делать до завтрака определенный урок. И завтрак не получал он, пока не выполнит задания. Вот школа! Немудрено, что в десять лет попал он в Академию художеств.

— Да, знаю, — уныло подтвердил Коншин, уже догадываясь, к чему ведет Михаил Михайлович.

— Так вот вы, Алексей, головой работаете лучше, чем руками. У вас есть интересные решения, сказал бы, даже оригинальные, вы умеете строить композицию, но...— он замолчал.

— Рисунок? — пробормотал Коншин с безнадежностью.

— Да, дорогой, рисунок... Вам надо рисовать каждый, каждый день, а такой возможности у вас, разумеется, нет.

— Куда там...

— А в институте рисунка, конечно, маловато?

— Да, очень мало.

— Хотя ваш Марк и иронически отозвался о Вхутемасе — действительно было много наивной болтовни,— но те, кто хотел научиться рисовать, все же научились.

Михаил Михайлович встал, прошелся по комнате и продолжил:

— Знаете, что могу посоветовать? Займитесь серьезно плакатом. Вот плакат делается в основном головой. Настоящий плакат, разумеется. То, что сейчас вывешивается на улицах,— не плакат, а раскрашенные картинки. Плакат — это Моор, Дени, Маяковский... Увы, сегодняшний плакат отошел от традиций двадцатых годов. Да и все изобразительное искусство,— удрученно добавил он.— Конечно, было много шума, пустого звона, всплесков эмоций, но что-то в те годы было найдено настоящее. Теперь все забыто, брошено на свалку. А зря, на мой взгляд...— он задумался.

Коншину сказать по этому поводу было нечего, он тоже задумался, и было от чего.

— Загрустили, дорогой? Не стоит. Вы молоды, и впереди у вас вся жизнь. Не то что у меня...

— Понимаете ли, Михаил Михайлович, я совсем не честолюбив, но мне почему-то казалось, раз война оставила меня в живых, я должен сделать в жизни что-то настоящее. И вот... выходит, ничего из этого вроде не получится.

— Ну почему не получится? Я говорил вам о плакате. Это серьезный вполне жанр, требующий и острого взгляда, и выдумки... Кстати, должен вам сказать, то, что вы делаете сейчас для издательства,— тоже не плакат. А ведь даже такие темы можно выразить в настоящем плакате... А потом,— сказал он, немного помолчав,— разве сама жизнь, счастливым случаем сохранившаяся, ничего не значит? Стоит ли убиваться? Набьете руку, станете про-

фессионалом, пойдут приличные заработки, ну и начнете нормально жить-поживать, детей наживать.

— Что ж, может быть... Володька вот считает, самое главное было на войне, главней в жизни не будет ничего.

— Так и сказал? — улыбнулся Михаил Михайлович.

— Говорил в сорок пятом, но, по-моему, и сейчас думает так же.

— Да, война... — задумчиво протянул Михаил Михайлович. — Я-то не должен был быть мобилизованным: и возраст, и здоровье, и еще кой-какие обстоятельства, но, вернувшись в первые дни войны из длительной командировки, сразу же направился в военкомат. Там тьма народа, присоединился к большой группе мобилизованных и потопал с ними неизвестно куда. Оказалось, на Рязанское шоссе, а там уж толпища, несколько тысяч, наверно. Начали разбивать на взводы, переключку делать, моей фамилии, разумеется, нет, я высунулся, нет, мол, меня, забыли, видно, не записали... Ну и включили в третий взвод второй роты. И зашагал я вместе со всеми в колонне, а шагали мы пехом чуть ли не до Воронежа... Вот так и попал на фронт. Это была для меня удача. Первая. А вторая — вернулся живым и могу дотянуть своего парня до института.

— А как у вас с работой? — спросил и сразу смутился Коншин.

— Вы не конфузьтесь. Мне все равно, где работать, лишь бы прокормить семью. А остальное все, дорогой, в прошлом... И Вхутемас, и первые выставки, и честолюбивые мечтания, искания... Все... Вот вы сказали, что война была главным, а для моего поколения главным была революция. Да, она. Она перевернула всю жизнь. Я принял ее сразу, хотя, сами понимаете, мне лично и нашей семье она не сулила ничего приятного. Скорей, наоборот, внесла много сложностей. Я заканчивал гимназию, мечтал об Училище живописи и ваяния, а может, и об Академии художеств в Питере, ну а вместо этого — переезды, блуждания в гражданскую, один брат в Красной Армии, другой в белой, несколько арестов отца, а потом и его смерть от тифа... В общем, типичные для интеллигенции того времени «хождения по мукам». Наверно, ваши родители тоже прошли это... — он закончил и надолго замолчал.

Коншин не стал тормозить его вопросами, хотя ему было интересно все, что рассказывал Михаил Михайлович. Родители редко вспоминали то время. Во всяком случае, при нем.

— Так-с, на чем же мы закончили? Ах да, хождения по мукам... И знаете ли, никакого внутреннего протеста в моей душе не было. Драгоценная наша литература сделала свое дело. Она выпестовала у нас чувство вины нашего сословия перед народом, и я понял, революция — это искупление, а его надо принимать безропотно. Выражаясь высоким штилем, надо было отрясать прах с ног своих. И я положил свою жизнь под железную пяту революции с какой-то, можно сказать, иступленной радостью... Да, сейчас я никто, «некто» в порыжевшей от времени кожанке. Но я понял неизбежность и высоту этой жертвы... Вы понимаете что-нибудь, дорогой?

— Стараюсь, Михаил Михайлович.

Коншин действительно старался, но не понимал и не принимал самоуничтожения Михаила Михайловича. Не паче ли оно гордости? Вспомнил полковой комиссар, подавленный, смятенный, но не сломленный, не потерявший чувства собственного достоинства, и он рассказал о нем. Реакция Михаила Михайловича была неожиданной:

— У вас, Алексей, прямо-таки зияющие провалы в политической подготовке, — добродушно улыбнулся он и хлопнул Коншина по плечу. — Шла жесточайшая идеологическая война, а ваш комиссар, да еще полковой, допустил безответственнейшую болтовню, какие-то сомнения и недоумения. И что же, по головке его за это погладить?

— Но он же, несомненно, преданный Родине человек, — пробормотал Коншин.

— Откуда это «несомненно»? Мы живем в жестокое время, в нем не до сантиментов. Либо мы, либо они — этот вопрос стоит с семнадцатого года. В войну, да и перед войной, он стоял остро, как никогда. Это вы, надеюсь, понимаете?

— Понимаю, но...

— Какие «но»? — перебил Михаил Михайлович. — Вы воевали, знаете, что такое солдат в походной колонне. Скажите, вы сами допускали ворчания, жалобы на трудности этого похода? Думаю, нет. А наша страна все время в боевой походной колонне. Причем движется эта колонна во вражеском окружении. Вы же бывший ротный, неужто вам это не ясно?

— В войну мне все было ясно, а вот теперь... — и рассказал о Саничеве из литинститута, закончив: — Он-то родился при Советской власти, воевал, инвалид...

— Раз воевал, тем более должен был понимать, что страна в руинах, идет огромная работа по восстановлению и разная болтовня, анекдотики, всякие разлагающие разговорчики мешают этой работе.

— Простите, Михаил Михайлович,— не выдержал Коншин,— но вы говорите как политрук пехотной роты с незаконченным средним.

Михаил Михайлович рассмеялся:

— Ну и что? Думаете, уязвили? Отнюдь. Разве плохи были ротные политруки?

— С ними было хорошо в бой ходить, а вот слушать...

— Грамотишки, может, и не хватало, но зато какая убежденность, преданность. Нет, я этих людей уважал.

— Я тоже, но мы не об этом, Михаил Михайлович. Вы интеллигентный человек, я ждал от вас другого. Вы знаете больше, чем мы, и...

— Ничего другого,— прервал Михаил Михайлович,— я вам сказать не могу. Все мои интеллигентские сомнения да колебания давно позади. Все идет как надо. Я в это твердо верю и абсолютно искренен,— последнее он сказал спокойно и веско, словно поставив точку на этом разговоре.

Больше о таком и не говорили. Михаил Михайлович спросил, читал ли Коншин об обсуждении проекта первого советского небоскреба на Дорогомиловской набережной. Коншин не читал, но слышал от кого-то.

— Вы слышали, а мне удалось видеть этот проект. Очень интересное здание. Мордвинов ввел элементы готики, они будут сочетаться с Кремлем... Вот видите, через три года после тяжелой, изнурительной войны такие грандиозные проекты. Это о многом говорит. Понимаете ли, дорогой, надо глядеть на все шире, что ли, в самую суть, в главное... А остальное...— он небрежно махнул рукой.

27

Сырыми крупными хлопьями шел снег... Большими мутными шарами расплывались фонари на Садовой. И в снежном дыму опять померещились Коншину Красные ворота, будто стоят они впереди целы-целехоньки, поражая и давя своей кажущейся огромностью.

Наташу он увидел еще издалека, угадав по меховой шубке, но шла она не одна. Рядом с ней шагал высокий морской офицер, видимо сослуживец, она же работала

переводчицей в учреждении Морского Флота. Коншин отошел к подъезду, еще не решив, остановить ли Наташу или пропустить, раз она не одна. Но она, проходя мимо подъезда, заметила его и, поколебавшись секунду, приостановилась. Коншин шагнул к ней и поздоровался. Офицер посмотрел на Коншина, потом на Наташу и стал прощаться. Деликатный, видать, был человек.

— Добрый вечер, Наташа,— повторил он.

— Здравствуйте, Алексей,— почему-то теплее обычного сказала она.

— Можно проводить вас? Сегодня мне обязательно нужно побыть с вами хоть немного.

— С чего это вдруг?

— Я показал свои работы Михаил Михайловичу, ну и... сильно засомневался в своем призвании.

— Это что-то новое. Мне казалось, вы уверены в своей гениальности.

— Какая к черту гениальность! Неужто вам так казалось?

— Вы всегда хвастаетесь.

— Разве? Это, наверно, как раз от неуверенности. И от желания произвести на вас впечатление.

— И производите. Только не лучшее. И слишком много говорите о себе, все я, я и я.

— Я как-то не замечал этого за собой.

— Со стороны виднее.

— Видите ли, Наташа, мне всегда довольно легко все давалось. Ну, и дома и в школе твердили — способный, талантливый, хотя учился плохо. Я полагал, стоит мне лишь захотеть серьезно, и все у меня получится. И вот сейчас есть и хотенье и упорство, а результатов никаких. Выходит, нет таланта. Или упущено время из-за войны. Не знаю. Вот такие пироги...

— А может, это хорошо?

— Что нет таланта? — кисло улыбнулся он.

— Что засомневались. Такой вы, наверно, лучше.

— Уж не знаю... Знаю лишь, плохо мне сейчас. Очень плохо. Как никогда в жизни. Не считая войны, конечно.

— Захотели поплакаться в жилетку? Что ж, давайте, а я вам посочувствую,— сказала она не то с иронией, не то серьезно.

— Спасибо...

Какое-то время шли молча... На Басманной, за церковью стояла «деревяшка». Коншин приостановился.

— Самое время, наверно, хлопнуть сейчас стаканчик,— он вопросительно поглядел на Наташу.

— Надеетесь, после этого прорежется талант? — брезгливо поморщилась она.

Они пошли дальше. Через несколько шагов Коншин сказал:

— Удивительно, но вы оказались правы, Наташа. Я перечел письма того фронтового товарища, о которых говорил. Они — вранье. Вот так-то...

— Ну и что вы будете делать? — в ее голосе он почувствовал напряженность. А может, показалось.

— Ничего. Я даже не смог написать Гале письмо.

— Я говорила, вам хотелось поверить...

— Наверное...

— Ну а пишет ли вам та вокзальная девица, представившаяся разведчицей, которую вы привели в дом? — равнодушно спросила она.

— Здесь вы не правы. Она действительно была разведчицей.

Дошли до Наташиного дома, остановились около парадного. Коншин уже приготовился прощаться, как она неожиданно пригласила его зайти, попить чайку.

— Не помешаю вашим родителям? — спросил неуверенно он.

— Папа придет поздно, ну и у меня же отдельная комната.

Поначалу пили чай одни, Наташа хозяйничала, и Коншину было хорошо с нею, так хорошо, что призабылись на время и разговор с Михаил Михайловичем, после которого ходил он сам не свой целую неделю, и письма Ленки Нахаева, открывшие ему глаза на свою вину перед Галей. Сейчас не думалось обо всем этом. Сейчас сидел он с Наташей, которая сегодня добра к нему, а значит, есть у него кое-что в жизни.

Часа через полтора пришла с работы Наташина мать, и Наташа позвала ее посидеть с ними, выпить чашку чая. Коншина в восторг это не привело, так как при редких встречах Наташина мать была прохладна и посматривала на него как-то подозрительно. После разных малозначащих разговоров Наташина мать начала об искусстве, а потом и о профессии художника:

— По-моему, это довольно ненадежная профессия. Сужу по сестре, она окончила Строгановку, но всю жизнь перебивается случайными заработками.

— Не знаю... Я только начинаю работать, но у меня уже есть договор на большую работу, которая меня обеспечит почти на год.

— Но ведь это тоже случайная работа. Сегодня есть, завтра нет,— выразила сомнения Наташина мать.

— Надеюсь, у меня будет расширяться круг издательств. Не будет работы в одном, будет в другом,— стараясь придать солидность и уверенность своему голосу, ответил он.

— Значит, вы оптимистически смотрите в будущее? — улыбнулась она.

— В смысле заработка, да. Ну а вот выйдет ли что у меня с живописью, не знаю,— тут Коншин скромно потупил глаза и задумался.

Но когда Наташина мать еще раз выразила свои сомнения, опять привела свою сестру и Михаила Михайловича как примеры нелегких судеб художников, Коншина понесло. Он стал говорить, что у него завязываются знакомства с художниками, что может он пойти работать и на Сельхозвыставку, там всегда требуются люди, так что без работы не останется, тем более с плакатами у него получается. И еще и еще что-то болтал, пока Наташа не остановила:

— Опять вы начинаете хвастаться, Алексей.

Он смущенно замолчал, потянулся к папиросам, как к спасительному средству скрыть смущение, но Наташина мать пришла на помощь:

— Ну, зачем ты так, Наташа? Если у человека и верно все хорошо, при чем здесь хвастовство? — И, сказав несколько любезных слов, ушла в свою комнату, не желая, видно, больше стеснять их своим присутствием.

— Ну и зачем это было? — с укором спросила Наташа.

— Я говорил правду.

— Может быть, но каким-то противным, самоуверенным тоном. Будьте естественней и не надо воображать.

— Я не воображаю, Наташа. Вы относитесь ко мне с какой-то предвзятостью, каждое лыко в строку... Вот я и теряюсь.

— Совсем не предвзято. Просто к... некоторым людям я предъявляю определенные требования, и мне всегда неприятно, когда я вижу их не такими, какими они должны быть,— она сказала это очень серьезно и почему-то грустно.

Коншину бы обрадоваться, ведь этим дала Наташа все

же понять, не совсем он безразличен ей, но его повело куда-то не туда, усмехнувшись, он сказал:

— А не лучше ли — полюбите нас черненькими, беленькими нас каждый полюбит?

— Нет, не лучше, — отрезала она и отвернулась.

По дороге домой Коншин гадал, какое же впечатление произвел на Наташину мать, и после недолгого раздумья пришел к тому, что не ахти какое. Ну и совсем было ни к чему сорвавшееся с языка «полюбите нас черненькими». В общем, ничего хорошего... А завтра день получки, и уже сегодня начинает подсасывать под ложечкой, уже заранее противно думать, как будет он искать в редакции укромное местечко, где незаметно можно передать деньги Анатолию Сергеевичу. Даже тот вроде бы испытывал неловкость, когда брал из потных от волнения и брезгливости рук Коншина конверт. И наверное, после этого просто необходимо будет заглянуть в бар на Пушкинской или в «Коктейль», чтобы смыть с себя гадливое чувство. Да, теперь, с досадой на себя подумал он, почти каждую получку приходится выпивать, а это сказывается и на работе и на учебе.

28

— Вот так-то, Настенька, — сказал Петр сестре, пришедшей навестить его в военный госпиталь. — Хана мои дела. А ты знаешь, что для меня значит армия? Вся жизнь...

— Может, обойдется, Петр?

— Понимаешь, у меня и на службе отношения с начальством не сложились. На войне одно было нужно, сейчас другое. Там мне и прямоту, и резкость, и самовольство даже прощали. Победителей-то не судят, а теперь... — он безнадежно махнул рукой. — Я же дипломатничать не умею.

Лежал он в постели похудавший, с обострившимся лицом, часто покашливал, это ранение в грудь давало знать. Насте казалось, что даже его большие, сильные руки стали меньше, истончились пальцы, и пробегала по ним легкая дрожь, когда папиросу брал, чиркал спичками. Принесла ему Настя бутылку хорошего вина, попросил он, когда по телефону на работу ей звонил, но пить при ней не стал, спрятал в тумбочку, на которой лежали газеты и журналы.

— Читаешь? — спросила Настя.

— Почитываю, наверстываю упущенное... Вот «Звез-

ду» прочел, вроде автор сам в разведке служил, а не понравилось. Я бы такого разведчика, вроде этого Травкина, что ли, у себя не держал. Интеллигентный шибко, с такими одна морока, рассуждали много, умней других себя считали. В моем полку, в нашей полковой разведке знаешь какие ребята были? Пятеро из урок бывших. Эта братва не рассуждала, кровь из носа, а любое задание, как штык. Помню, приволокли один раз власовца и сказали, что еле-еле удержались, товарищ подполковник, чтоб не шлепнуть, решили к вам его доставить, чтоб вы сами этого гада...

— И что ты? — дрогнувшим голосом спросила Настя.

— Что я? Шлепнул саморучно. Лепетал он что-то, да я слушать не стал, еще со всякой падлой разговаривать.

— Ну, зачем сам-то? — вырвалось у нее. — Неужто легко человека убить? — и покачала горестно головой.

— А он для меня человеком не был.

— Ты бы, Петенька, такими подвигами не хвастал бы. И при Женьке, ради бога, не говори никогда.

— Ты что, сестрица? — удивленно усмехнулся он. — На войне не чай распивают — убивают. Сегодня ты, завтра тебя.

— Забыть надо о ней, ужас-то этот, а вы, мужчины, все поминаете ее, никак из головы выбросить не можете, будто не мука была мученическая, а развлечение какое... Вот и художник этот, который к нам в Екатерининском подошел, — помнишь? — он тоже... Он кошмары плена все расписывает...

— Значит, ходила к нему? — нахмурил брови Петр.

— Ходила. Просил же человек. Для дела я ему нужна была.

— Не ходи больше, — повысил голос Петр. — Которые в плену были, для меня тоже не люди. Отсиделись в лагерях, когда весь народ кровушкой исходил.

— Что ты, Петр? Убивали их там немцы, издевались... Будто по своей воле в плен угодили. Сам знаешь...

— Знаю, — прервал он. — Но настоящий солдат в плен не сдавался. Слабаки, те попадали, кто слаб на изломе, — Петр вынул из пачки «казбечину», закурил. Сделав несколько глубоких затяжек, спросил подозрительно: — Он что, клеится к тебе, что ли, художник-то этот?

— Нет, Петр. Я ему для картины была нужна.

— Знаем мы это... Ты с ним не вздумай связаться случаем. Мне таких родственников не нужно, ты мне биогра-

фию не портъ. Перед войной не с тем любовь крутила и сейчас...

— У Андрея отец комбригом был, почему же не с тем? И если у отца вина какая и была, то Андрей все жизнью своей искупил. И не надо, Петр, о нем. Живая еще рана.

— Прости... Это хорошо, что верная ты. Я тоже такой, не могу Катеньку забыть и дите ее неродившееся. Не могу,— вздохнул он.— Мы, Бушуевы, видать, такие, кого полюбили, в кого поверили — на всю жизнь. Тут тебе я не судья, конечно, сам такой. А вот с Ванькой Дубининым ты зря так. У него дорога прямая, в академию поступит, по службе расти будет. Чем не пара? Бабе без мужика трудно, Настя. Это мне для постели искать не надо, только свистни, вон их сколько, вдовых да незамужних. А женщине сложнее, тем более такой, как ты. Но жизнь-то своего требует. Наверно, и ребеночка охота?

— Ребенка хочу. Но мне еще и любовь нужна. Без любви-то не смогу. А Дубинин твой не нравится мне, сам знаешь. И не надо о нем.

— Ладно,— согласился он.— Ну ты иди, ехать-то далече. Передай отцу, что держусь, второй операции не трушу. Так-то... Нашей ты породы, Настенька,— потеплел голос Петра, он приподнялся с постели, приобнял сестру.

— Ты что, Петя? Не привыкла я к нежностям от тебя,— и поцеловала брата.

29

Хоть и говорила Ася Коншину, что писать будет, но писем он не ждал, а сегодня вот получил. Вначале сообщила она, что никакого ответа из того учреждения еще не пришло, куда они вместе писали, потом благодарила за то, что предоставил ей приют на несколько дней. Написала, что мучат ее воспоминания и что вот сейчас вспоминает об одном деле и хочет поделиться с ним: «Хоть кто-нибудь знать будет, как нам доставалось. В своей деревне поделиться не с кем, да и не поверят. Скажут, если уж ты такой героиней была, то как же в лагерь немецкий угодила?»

Коншин с интересом читал дальше:

«Шли мы с Лидой с задания. Шел мокрый снежок, было холодно, ведь конец октября, да и промокли мы от этого снега, да и голодные были. По дороге иногда на клюкву нападали, так ели ее, полузамерзшую, кислую, ну и порой горох в скирдах случайно обнаруживали — вот и вся еда. Шли мы к деревне Миньково. Условились, что около нее по

нашему сигналу лодку подадут, чтоб на другой берег Волги перебраться. Но на наш сигнал — никакого ответа. Вернувшись в деревню, узнали, что немцы уже за Волгой и что заняли Ржев и Калинин. Ну что делать? Подошли мы к реке, вода свинцовая, около берегов ледком затянута, остановились... И так все продрогшие, мокрые. На воду посмотрим — еще холоднее делается... Господи, пишу сейчас об этом, и тело холодом свело, а в избе у нас тепло, даже жарко... Постояли, постояли и... начали свои бобриковые пальтишки снимать. Сапоги сняли, платица и в одном нижнем белье — в воду. Еще до середины не доплыли, как у меня ноги свело, на одних руках держусь, но несколько раз с головкой под воду уходила. Спасибо Лиде, была она посильнее меня, вытаскивала и заставляла плыть. Хорошо, что берег левый пологий у Волги — вылезли. И босиком по колючей стерне, а потом по замерзшей грязи дорожной ноги посбивали. Километра три прошли по берегу, пока деревушку не заметили. Обрадовались, а когда побежали, Лида вдруг остановилась: «А если немцы там?» «Все равно,— ответила я.— Что-нибудь наврем. Иначе замерзнем совсем».

В деревне немцев, к счастью, не оказалось. Приютила нас одна старушка, дала нам кой-какую одежонку старую. Погрелись мы недолго и дальше. Сказала нам старушка, что наши за речкой Малая Веша... Долго писать, как линию фронта переходили. Ведь каждый раз по-разному, каждый раз не зная, перейдешь ли живой или угодишь к немцам в плен. Тут уж никакая легенда не спасет, сразу догадаются, что разведанные несем. А несли мы в тот раз действительно очень ценные данные, потому и спешили, потому и Волгу решились вплавь перемахнуть, и что нам уже была эта Малая Веша, хотя и промокли там тоже до нитки. Переходили вброд, но вода почти до горла была. Там наших и встретили. Теперь-то смешно вспоминать, а тогда такая досада и злость брали, что всегда нас арестовывали, да еще шлюхами немецкими обзывали, а то и хуже — за разведчиц вражеских принимали. Пока объяснишь, расскажешь, пока дождешься начальства повыше, которое с особым отделом может связаться... Знаешь, конечно, что все благополучно окончится, но время-то идет, а наши данные скорее нужны. В этот раз все без особой маеты вышло... Да, забыла я, что, когда задание выполняли, мы же в деревне Турково к немцам попали. Как мы ни выкручивались, как ни извертывались, стараясь и время

выиграть, и к немцам хоть в какое доверие войти, ничего не вышло. Решили они нас попутным транспортом в ржевский лагерь отправить. Вот тут мы отчаялись, но не за себя. Мы, глупенькие, в основном за то переживали, что разведданные до наших не дойдут. Но, на наше счастье, никакого попутного транспорта не было. Немцы думали, думали, потому что мы им за это время такого наговорили: такая вот сильная армия, а партизан боится, каждую девчонку за врага считает; мы, дескать, думали, немцы настоящие мужчины, храбрые... В общем, решили они нас в другую деревню поселить, чтоб там ждать попутных машин. А мы: «Что есть будем? Вы же нас не покормили даже, а там кто покормит?» Немцы даже смутились немного. Видать, наша развязность подозрения их рассеяла, и они дали нам кофе и галеты, большего, дескать, у самих нет. А в деревне население будет кормить, сказали они, отпуская нас и предупредив: ежедневно в шесть вечера отмечаться в штабе в Туркове, за неявку — расстрел. В Коньково нас конвоировал один солдат с предписанием, чтобы стоящая там часть наблюдала за нами. Поселили в избе, где квартировали офицеры немецкие. Те глянули на нас мельком — какие-то занюханые русские нищенки — и перестали внимание обращать. Играли в карты, пили шнапс до поздней ночи. Тут мы и сбежали... Можно много говорить, но скажу лишь, что действительно прошла сквозь огонь и воду. По дороге пришлось через горящую деревню проходить. В обход было далеко, да и заплутаться боялись, вот и решили — напролом, через огонь. Лица платками закутали и бегом. Ну а потом — Волга, как я писала. Но хочу подойти скорее к самому приятному. Конечно, купанье в Волге без следа не прошло: меня сковал ревматизм, а Лида легкими приболела, ну и ноги у нас обеих до кости протертые, пошли нарывами. Отлеживались мы в санбате, когда командир дивизии приехал и пригласил нас к себе на ужин. «Девушки, — начал он свой разговор, — жена мне к Октябрьской бутылку вина прислала, так вот хочу вас угостить. Выпить за вас». В несколько минут ординарец стол накрыл, разложил рыбные и мясные консервы.

«За ваши успехи и здоровье, девушки! Молодцы!» — поднял он тост. А у нас такая радость, что и произнести ничего не можем. Раскраснелись, смущаемся. Ведь сам комдив за нами ухаживает и слова хорошие говорит. Тут вошла в избу военврач — «Разрешите, товарищ генерал?» А он: «Я занят, товарищ военврач. Зайдите позже». Воен-

врачиха удивилась, посмотрела на нас — двух девчонок в халатиках стираных — и ничего понять не может — что за прием такой генерал устроил?

Тут полковник Петров, как бы поняв ее недоумение, сказал: «Эти девчата дивизию нашу спасли».

Вот в тот вечер как-то по-особому поняли мы, что значим, что, выходит, действительно наши походы в тыл врага такую вот пользу могут принести. И ничего стало не страшно. Поскорей бы выздороветь и опять туда, через линию фронта. Ах, если бы почаще вот так нас благодарили, мы бы не то сделали, такие силы в себе почувствовали.

Ну вот на этом приятном происшествии я и кончаю свое письмо. Отпишите мне, Алексей, как живете, что делаете? Не забуду я, как отнеслись вы ко мне по-хорошему. Это так согрело душу, а то ведь сейчас мужики с нами по-простому, без всяких там предисловий. Особенно наши, местные, не знают же, какие пути-дорожки нам довелись...»

Коншин прочел письмо и положил в папку, на которой написал: «Асины письма». Он и сам не знал, почему так сделал, почему захотелось ему сохранить их. Может, сидело где-то понимание, что хоть и близка для них война, что кажется, навсегда останется в памяти, но все же такие письма бросать нельзя.

30

В один из вечеров неожиданно-негаданно ввалился к Коншину Колюня Крохин и, как всегда, с таинственным видом прошептал:

— Леха, дело есть,— и выставил на стол четвертинку.— Это только для разговора,— кивнул на бутылку.— Потом еще сообразим.

— Какое же дело? Если «Эрику» продавать, то не буду я.

— Какая к черту «Эрика»! Понимаешь, когда я пенсию инвалидную оформлял, справку с последнего места работы достать не сумел, а у меня там зарплата была семьсот пятьдесят... Так вот раздобыл я бланк со штампом, нужна печать гербовая.

— А я здесь при чем? — спросил Коншин, не понимая.

— Ты же художник! Тебе это плюнуть. Ловкость рук и никакого мошенства! В случае чего, сам знаешь. Колька Крохин не продаст. А у меня пенсия тогда на полтора рубликов больше будет. Причем законная, какая

и должна быть. Я ведь тут не мухлюю. Я учреждения, где работал, разыскать не могу. Нет его уже. Понимаешь? И никто ни хрена не знает. Ну?

— Не знаю, Николай... Я же даже не пробовал никогда.

— Я тебе все разъясню. Пара пустяков!

И Крохин объяснил, что надо на листке ватмана сделать зеркальное изображение печати лиловыми чернилами, в середине герб, а по краям название учреждения. Причем необязательно все четко делать. Четко надо герб, да несколько слов. Ну а потом послунывить бумажку, на которую печать ставить, прижать, и все дела!

— Я тебе пять сотен заплачу за это,— закончил Крохин.

— Денег я не возьму.

— Ну, в ресторан тогда смогаем. Или дома выпивку хорошую сообразим. Давай садись. Сейчас и попробуем...— увидя колебания Коншина, добавил: — Я тебе честно говорю, обмана тут нет. Я семь с половиной сотен получал. Взаправду. Так что пенсия будет законная, какая положена. Ты мне веришь, что не вру?

— Верю.

— Я неправды не говорю. Разве замечал, чтобы я когда хоть где лжу пустил? Не было такого!

Для Коншина с его твердой, натренированной рукой действительно было это парой пустяков.

— Теперь я сам,— сказал Крохин и, выпятив нижнюю губу, начал священнодействовать: послунывил бумажку со штампом, приложил ватман, нажал, но не по всей поверхности, а с одной стороны, отнял и удовлетворенно вздохнул: — Видал? Чисто, как в аптеке.

Коншин и сам был удивлен — печать выглядела всамделишной.

— Есть у тебя закусить-то что? — спросил Крохин, раскупоривая четвертинку...

Закусить нашлось. Но пил Колюня один, Коншин отказался — работать нужно.

31

Коншин подумал, что Асино письмо может быть интересно Марку, к которому ему давно хотелось зайти поговорить, но без предлога, зная, что тот много работает, казалось неудобным, а тут письмо от человека с такой же примерно судьбой.

Пришел он к нему домой, а не в мастерскую... Марк валялся на диване и что-то читал из дореволюционного, судя по переплету. Таких старых книг у него была уйма. Он нехотя поднялся.

— Проходи, садись,— пододвинул стул.

Коншин сел, достал письмо и сказал, что случайно познакомился с одной девушкой, бывшей разведчицей, попавшей потом в плен, а если Марку интересно, то он может прочесть ему. Марк довольно безразлично согласился, и Коншин прочел ему Асино письмо.

— Ну и что ты по этому поводу думаешь? — спросил Марк.

— Думаю, что все же несправедливо относиться так к бывшим в плену.

— Что еще? — уронил Марк, закуривая.

— Ну, что тебе сказать? Всякие возникли мысли. И жалко девчонку.

— Негусто,— усмехнулся Марк.

— А что еще я должен был?

— Понятно, что вы были наивными младенцами и перед войной, и в войну, но, мне кажется, сейчас-то уже пора начать думать всерьез.

— О чем, Марк?

— О жизни, разумеется,— Марк опять усмехнулся.— Ты привык, конечно, ходить в строю и в ногу, но пора, милый, из строя выходить. В строю маршировать хорошо, но воевали-то мы без строя, а в рукопашной, сам знаешь, каждый сам соображал. Понимаешь?

— Не очень, Марк.

— Художник должен всегда идти не в ногу и всегда хотя бы чуть впереди строя. Теперь дошло?

— Выходит, ты индивидуалист, Марк?

— Ну вот,— рассмеялся он,— мыслим штампами, ярлычки приделываем. Расчудесно.

— Но ведь есть эпохи, когда художник обязан «наступить на горло собственной песне», если он гражданин. Поступиться своим личным, своей индивидуальностью.

— Это тебе Михаил Михайлович наговорил? Чушь это. Общество состоит из индивидуумов, а не из «винтиков», и чем богаче, ярче, талантливей каждая индивидуальность, тем богаче и само общество.

— Я тоже, наверно, был индивидуалистом, но вот перед войной пришлось произвести кой-какую внутреннюю работу и избавиться от этого.

— Ты этим занимался? — с интересом спросил Марк.

— Да. И в общем-то с успехом, — улыбнулся он.

— Не очень-то радостный успех, на мой взгляд.

— Может быть. Но воевать мне было легко. Как все, так и я.

— Но сейчас не война, Алексей. Пора становиться самим собой, занять свое собственное мировоззрение, надо думать. Или для тебя все ясно?

— Не все... Правда, я стараюсь, не очень-то сосредоточиваться на этом.

— А вот это напрасно. Хочешь прожить идиотом? Они не так-то нужны обществу.

— Марк, наверное, ты больше меня знаешь и больше понимаешь. Так поделись.

— Нет, сэр, человек должен все сам. Иначе можно превратиться в жвачное создание, жевать и пережевывать то, что положили тебе в кормушку. Но могу тебе посоветовать одно: надо знать историю своей страны и разобраться в ней по-настоящему. И не только по «Краткому курсу», между прочим.

Коншин немного опешил от такого, но потом спросил:

— Ты разобрался?

— Не очень, но стараюсь, — Марк поднялся, подошел к книжному шкафу. — Могу дать тебе Карамзина «Историю государства Российского».

— Но это такое старье! — воскликнул Коншин.

— Не все «старье», как вы изволили выразиться, плохо. Почитай, — и он взял с полки большой, в твердом переплете том.

Коншин взял, полистал не очень-то почтительно и сказал, что возьмет книгу, а потом спросил немного натянуто:

— А чем, по-твоему, плох «Краткий курс»?

— Я этого не говорил, Коншин, — холодно ответил Марк, — можно прожить, ни о чем не задумываясь и принимая все как данность, это легче, но это не путь художника. Да и не только художника, но и человека вообще. Понимаешь?

— Понимаю. Но на меня так много навалилось всякого, разобраться бы в этом, — вздохнул Коншин.

— Если запутался в бабах, то уволь, в этом я ничего не понимаю, — грубовато сказал Марк с брезгливой миной.

— Какие бабы?

И Коншин рассказал о разговоре с Михаилом Михайловичем.

— Я же тебе почти то же самое говорил,— буркнул Марк, выслушав Коншина.— Ты знаешь, сколько «гениев» было у нас на курсе? Не меньше десятка, а что из них вышло? — и Марк начал перечислять: трое самых талантливых погибли на войне, остальные пописывают что-то для хлеба насущного, двое в секретари выбились, но работают плохо, двое спились.— Ну а у тебя время пропущено, в двадцать восемь учиться рисовать — это нонсенс. В живописи, как в музыке, руку с детства надо набивать. Работа получается, деньги платят, ну и будь доволен.

— Ты же сам говорил о необходимости иметь жизненную сверхзадачу,— удрученно пробормотал Коншин.

— Не то, Коншин, не то,— поморщился Марк.— Я выполняю долг. Долг перед теми, кто был там и кто сам уже ничего не скажет. Это совсем другое. Это задача нравственная и с честолюбием не имеет ничего общего. Разумеешь?

— Начинаю понемногу... Черт возьми, ты старше меня всего на пять лет, а уже сформировавшийся человек. А я пока что-то неопределенное, недоделанное... А ведь я не очень дурак, Марк?

— Не очень, наверное,— он улыбнулся.

Они помолчали немного. Коншин переваривал услышанное и все же ощущал какой-то внутренний протест; он верил и не верил Марку, наверное, потому, что верить не хотелось. А не рисуется ли тот? Не выдумал ли себя, как доктор Рюмин у Горького? Он вспомнил слова этого героя: «Самое главное в жизни — хорошо выдумать себя и поверить в эту выдумку». Может, это так. Марк сумел себя выдумать, сумел поверить, и у него все ясно. Он же пока этого не сумел, вот и находится в разброде, в смятении, в неясности... И Коншин вдруг, неожиданно для самого себя, спросил то, что давно занимало его:

— Марк, а ты действительно так безразлично относишься к женщинам?

Марк усмехнулся:

— Почему безразлично? — пожал он плечами.— Просто сейчас мне некогда, а дамы отнимают и время и силы... И вообще больше мешают, чем помогают,— добавил он спустя немного.

Сергей захлебывающимся от радости голосом сказал Володьке по телефону, что вернулся отец и чтоб завтра

Володька обязательно пришел к нему, он познакомит их.
— Значит, наконец-то...— взволнованно произнес Володька в трубку.

— Да, наконец-то,— выдохнул Сергей.— Ты представляешь, что я сейчас переживаю.

— Конечно, Сергей... Конечно...

Володька и сам был и обрадован и взволнован... Он вспоминал долгие предвоенные, вернее, предармейские для них вечера, когда они бродили по московским улицам и Сергей дрожащим голосом рассказывал об отце, о том, какой замечательный человек он, настоящий русский интеллигент, рассказывал, как в тридцать восьмом ездил к отцу в Медвежьи горы на свидание, и какая это была и радость, и какая боль, когда увидел отца обстриженного, в старом ватнике, униженного, ведь он — крупнейший химик страны — чистил нужники, но что был отец не сломленный, тогда еще веривший, что ошибка будет исправлена. Тогда и сам Сергей надеялся на это, а с ним и Володька...

На следующий день Володька, захватив с собой полученную на днях пенсию, отправился на Спасскую к Сергею, позвонил три длинных, один короткий, условленный их сигнал боевой тревоги, каким звонил еще в юности. Сергей открыл дверь — сияющий, с растроганным и просветленным лицом. Они молча пожали друг другу руки, крепко, до боли в кистях.

— Ну, проходи, Володька,— почти торжественно произнес Сергей и повел его через кухню.

Они вошли в комнату. Навстречу Володьке поднялся со стула высокий, с полуседым бобриком не отросших еще волос человек со светло-голубыми, словно бы выцветшими глазами, но взгляд которых был ясен и пронзителен и будто бы просветил насквозь Володьку.

— Очень рад с вами познакомиться. Сергей много писал о вашей дружбе,— сказал он глуховатым голосом, протянув большую и очень жесткую ладонь.

— Володька, мы собрались пройтись по Москве, пойдем с нами.

— Я с радостью,— согласился Володька.

Отец Сергея был одет в синий шевиотовый, тщательно отутюженный костюм, сохраненный семьей, наверное, еще с тех, тридцатых годов, сейчас широковатый и мешковато сидевший на похудевшем хозяине. Воротник белой накрахмаленной сорочки был тоже слишком широк, но и то

стеснял отца Сергея, и он несколько раз трогал узел галстука, ослабляя его. Чувствовалось, что одежда эта непривычна для него и даже неудобна. Да и не вязалась со всем его обликом, с обветренным, задубелым лицом, с большими, расшлепанными физической работой руками.

Когда же перед выходом он надел шубу с каракулевым воротником шалью, то и она казалась чужеродной и особенно не подходила к заячьему треуху, в котором он, видимо, и приехал.

Они вышли на улицу... Через несколько домов по дороге был Спасский ломбард. Сергей кивнул на ворота и улыбнулся:

— Наш спаситель, как видишь, папа, на месте...

— Вижу... В Москве, верно, все на месте,— каким-то далеким голосом и бесцветно произнес отец Сергея.

Володька смотрел на человека оттуда, как в свое время глядел на раненую девчонку на вокзале Новосибирска, когда ехал на фронт с Дальнего Востока, с тем же желанием увидеть в глазах что-то необыкновенное, ведь они видели смерть, а отец Сергея прожил десять лет в страшном мире. Но, как и глаза той девчонки ничего особенного не выражали, так и взгляд отца Сергея не выдавал ничего, кроме, может быть, давней и непроходимой усталости.

Они вышли на Садовую, прошлись по ней, а потом повернули на довольно оживленную Сретенку... Если весной и летом девичьи и женские платица и сарафаны как-то красили, пестрили толпу на улицах Москвы, то зимой преобладало серое, черное, коричневое и синее. Было еще не до обновок, донашивали пока довоенное, московшвеевское, ну и серые шинели бывших солдат тоже не вносили красок. Но изредка попадались женщины в меховых, чаще всего беличьих, шубках, попадались и в трофейных или из подарков «дяди Сэма», отличавшихся другим совсем покроем.

Отец Сергея как-то отрешенно глядел на прохожих. Видимо, ему было странно, что Москва живет обыкновенной жизнью, что люди куда-то торопятся, заходят в магазины, выходят оттуда с покупками, что в общем жизнь идет, как и шла раньше, что все заняты своими делами и никто, никто не думает, даже не задумывается о том, что где-то существует другая жизнь, где за пайку хлеба могли убить, продать и вытерпеть любые унижения, где, для того чтобы выжить, шла ежедневная мытарная борьба и с самим собой, и со всем тем, что окружало людей в мертвом прост-

ранстве зоны. Возможно, отец Сергея думал совсем о другом, но Володьке так казалось, потому что равнялся он на свои ощущения сорок второго года, когда вернулся в мирную, тыловую Москву из-под полыхающего Ржева.

Пройдя Сретенские ворота, они вышли на бывшую Лубянку, но вскоре отец Сергея круто свернул в переулок — видно, не захотел идти дальше по этой улице, и это было понятно. На Кузнецкий они попали с Рождественки. В бывшем Камергерском Сергей остановился около филиала кафе «Артистическое», маленьком закутке с пятью столиками, где можно было не раздеваться.

— Не хочешь ли перекусить, папа?

В кафе хотели взять только сосиски, но Володька, которому страшно хотелось сделать что-то для отца друга, вынул денги и побежал к буфету, чтоб заказать графинчик водки.

— Что ж, папа,— поднял Сергей стопку,— за твое возвращение.

— Да, да,— быстро проговорил Володька, суя свою стопку для чоканья.— Я так рад, так рад. И за вас, и за Сережу.

— Спасибо, Володя,— отец Сергея поднял стопку и долго держал ее перед собой, словно рассматривая.

Потом они ели розовые горячие сосиски. Сергей и Володька жадно, смазывая горчицей, отец же ел медленно, тщательно пережевывая. И опять Володька нашел сходство, ведь так же ел и он после Ржева. Он еще раз суетливо сгонял к буфету за вторым графинчиком. Лицо отца после второй стопки порозовело, он посмотрел на ребят и сказал:

— Наверно, вы ждете, мальчики, рассказов? Их не будет. Во-первых, нам не рекомендовали особо распространяться, а потом — ни к чему это. Знайте только одно, в чем я могу поклясться,— виноватых там нет... После войны, правда, появились; это бывшие полицаи, власовцы, но из нашего «призыва», если можно так выразиться,— он слегка усмехнулся,— виновных не было.

— Я это знал, папа, еще тогда.

— Пусть знает и Володя.

— Тогда что же это? — спросил Володька с дрожью в голосе.

— Ну, мы-то там за те долгие годочки кое-что уразумели,— чуть улыбнулся отец Сергея.

— Неужели... неужели... он? — совсем тихо спросил Володька.

Отец Сергея ничего не ответил, лишь еле заметно наклонил голову. «Неужели, неужели?» — еще раз подумал Володька, чувствуя, как надламывается в душе что-то и уходит почва из-под ног. Даже закружилась голова... Сергей хлопнул его по плечу:

— Не скисай. Рано или поздно, но приходит пора расставания с некоторыми... иллюзиями, что ли.

— Нет,— поднял голову Володька.— Этого не может быть.

Он в растерянности переводил взгляд с одного на другого, ожидая и надеясь на что-то, но отец Сергея поднялся и тихо сказал:

— Это правда, Володя...

33

— Что произошло, Володя? — обеспокоенно спросила мать, когда он вернулся, почувствовав, видно, состояние сына.

Володька, ничего не ответив, разделся, повесил шинель на вешалку, а потом, повернувшись к матери, сказал:

— Мама, я видел отца Сергея.

— Да? Я очень рада его возвращению, Сережа так ждал его. Это такое счастье для всей семьи...

— А больше ты ничего не скажешь, мама?

— Что я должна сказать? — удивленно спросила она, а потом, поглядев на Володьку, опустила голову и еле слышно прошептала: — Понимаю, Володя, что ты ждешь от меня, но что я могу, что?..— она беспомощно развела руками.

Володька нервно прошелся по комнате — шесть шагов туда, шесть обратно. Постояв минутку на месте, он сел и закурил.

— Понимаешь, мама, Сережкин отец сказал, что виноватых там нет. Да, нет,— повторил он и устался на мать.

— Возможно, Володя, возможно,— опять тихо, со вздохом сказала она.

— Что же это тогда?

— Не знаю, Володя, не знаю... По-моему, этого не знает никто.

Она задумалась, но, взглянув на сына, неуверенно добавила, что, быть может, в слова отца Сергея нельзя уж так безусловно верить, ему могло так казаться... что он судит по себе...

— Не надо, мама,— остановил он ее.

— Хорошо, Володя,— кивнула она, поняв его.— Только я должна сказать, что это... это, ну как бы пояснее выразиться, это никак не может умалить для нас главного... Ты понимаешь?

— Да, мама. Понимаю,— он загасил в пепельнице папироску и поднялся. Пожалуй, я позвоню Коншину.

— Тебе хочется поделиться с ним? — напряженно спросила она.

— Да. А что?

— Может, не стоит, Володя?

— Мама, мы бедовали с ним на одном и том же овсянниковском поле,— успокоил он ее.

— Знаю, Володя... Но все же...— покачала она головой.— И потом, все равно вам ни в чем не разобраться. Это все так сложно. И что вы можете? — она помолчала немного, затем подошла к Володьке.— Слушай, Володя, я не хочу... да, не хочу, чтоб ты разговаривал с кем-нибудь на эти темы.

— Почему, мама?

— Я боюсь, Володя...

— А ты не бойся,— он хотел было рассмеяться, но лицо матери было бледно и серьезно.— Мы просто малость прогуляемся с Лешкой,— он сделал шаг, чтоб выйти в коридор и позвонить, но мать остановила его:

— Подожди, Володя. Мне нужно тебе что-то сказать... Да, сказать.

Она подошла близко и взяла его за руку.

— Что, мама? — спросил он недоуменно, так как мать пока молчала, только смотрела на него странными глазами.

— Погоди.— она отпустила его руку и бросилась к секретеру, открыла запертый ящик, выдвинула его и стала лихорадочно что-то искать.

Володька стоял и ждал, ничего не понимая. Мать вернулась, держа в руках фотографию. Это была фотография, его отца, в военной форме, с погонями и двумя «Георгиями».

— Я знаю эту фотографию, мама, это отец в шестнадцатом году. На ней есть дата,— он перевернул фото.— Даже число — семнадцатое сентября.

— Дату написала я,— глухо сказала мать.— Это последняя его фотография, но она... девятнадцатого года...

Володька отступил от матери.

— Значит?..

— Да, Володя. Когда в семнадцатом здесь, в Москве, пьяные матросы сорвали с него погоны, пытались и ордена, он пришел домой сам не свой. Я спросила, что случилось. Он рассказал и... стал собирать вещи...

— Дальше, мама... — почти прошептал Володька.

— Я поняла, куда он собрался и стала умолять его не делать этого... Он сказал: «Прости, Ксения, но я не могу... Для них нет ничего святого, они загубят Россию». И уехал... на Дон...

— Мама, но я же родился в двадцатом?..

— Отец два дня был в Москве. Приехал измученный, во всем изверившийся и уже обреченный. Я знала, это последняя наша встреча.

— Выходит, он умер не от тифа, как ты говорила?

— От тифа, но... там.

Володька обессиленно опустился на стул и закурил. Искурив почти всю папиросу, спросил:

— Почему ты сказала об этом сейчас?

— Не понимаешь? Я боялась всю жизнь, что об этом кто-то узнает, и больше всего, что узнаешь ты. Но сейчас, когда ты стал задумываться, о чем-то догадываться, я решилась... Ты должен быть осторожен. Очень осторожен. Поэтому, прошу тебя, не надо никаких разговоров ни с Алексеем, ни с кем... Понял? — и, не дождавшись ответа, она начала убеждать его, что тогда все было так непросто, так запутано, что отец был кристально честным человеком, но, что делать, эти матросы, наверно из анархистов, так оскорбили его, ведь тогда существовали понятия чести и долга, да, долга, и он полагал своим долгом, ты помнишь Рощина из «Хождений по мукам», ведь он вначале тоже... может быть, отец, если бы дожил, тоже... как и Рощин... Но он... Она говорила путано, спеша, пока он не остановил ее:

— Не надо, мама. Я все понимаю... Я догадывался, что с отцом что-то не так, ведь ты ничего о нем не рассказывала. Правда, я думал, он бросил тебя, а потому и не спрашивал. И наверно, правильно, что не сказала мне ни до войны, ни в войну... Ты не беспокойся, я никому не стану рассказывать об этом, но к Лешке пойду.

— Как хочешь... Ты взрослый, — вздохнула мать.

Володька вышел на улицу. Шел не спеша, задумавшись. В один день свалились на него две страшные правды, о которых он смутно, очень смутно догадывался, но старался не углубляться, отбрасывал их от себя. И как ни стран-

но, первая, вроде бы не касающаяся его лично, оказалась труднее, неподъемней и, видимо, как раз потому, что касалась не только его, а всей страны. Вторую — об отце, только что узнанную, он принял спокойней, потому как не только хорошо помнил «Хождение по мукам», но и читал еще мальчишкой воспоминания Шульгина, где трагедия и безысходность белого движения были ярко, а главное, изнутри описаны, и он, читая в тридцатые эти вещи, уже понимал, что были субъективно честные, умные и благородные люди, которые не могли просто по своей сущности принять революцию. А в честности, смелости и в любви к России своего отца Володька сомневаться не мог — два «Георгия» в германской войне тому порукой. И это было для него более существенным и определяющим, чем все остальное. Отец честно воевал за Россию, и он, Володька, тоже воевал за нее неплохо. А Россия все-таки одна, хотя каждый может видеть ее по-своему.

С Коншиным встретились на улице, как и договорились по телефону. Алексею тоже было что рассказать Володьке. На днях он заходил к Марку, и тот вдруг разоткровенничался о плене, потряся Коншина некоторыми подробностями.

Да, ребята жили, увы, не в безвоздушном пространстве, и рано или поздно через судьбы других людей прорывались к ним крупинки правды о времени, пугающие, вызывающие тревожные недоумения и тяжелые раздумья. И как ни гнали они их от себя, все равно жизнь открывалась им то одной, то другой своей стороной, ломая и деформируя их прежние представления.

В сегодняшний вечер Володька и Коншин впервые, наверно, за время их дружбы завели совершенно откровенный разговор.

— Ты знаешь, что рассказал мне Марк? — сразу начал Коншин. — Оказывается, он, понимаешь, он заявил, что у нас нет пленных, а есть предатели...

— Ну, это-то мы краем уха слышали.

— Слышали, но не знали, к чему это привело... Нашим пленным не помогал Международный Красный Крест, люди были обречены на голодную смерть. И выжили дай бог меньше половины, а пленных было миллионы. Наше счастье, что мы не служили кадровую на западе, а то бы... — не закончив, махнул Коншин безнадежно рукой.

— Да... Ребята из моего класса, служившие там, почти все пропали без вести, — вздохнул Володька, а потом стал

рассказывать о сегодняшней прогулке с отцом Сергея.

Они шли по оживленной Сретенке. Горели фонари, светились витрины магазинов, около «Урана» толпился народ — шел фильм «Русский вопрос», в Селиверстовом переулке шумела небольшая очередь перед пивным баром, навстречу попадались парочками девушки с призывно-ожидательными глазами... Вокруг крутилась обычная жизнь вечерней московской улицы, а в них сидело глубоко запрятанное фронтовое ощущение, очень неприятное и тяжелое, когда, бывало, они знали о готовящемся наступлении, а другие нет и беспечно занимались своими делами, болтая о пустяках.

— Теперь я понял слова Марка о строе,— сказал Коншин.— Очень хреново, когда оказываешься вне его.

— Мы не вне, только чуть впереди,— усмехнулся Володька.

— Все равно не по себе. Выбросить нужно все из головы, к чертовой матери. У нас своих личных проблем хватает, а тут еще...— Коншин резко бросил окурочек.— К черту!

— К черту — уже не выйдет, Алексей. Теперь нам с этим жить, никуда не денешься.

— Михаил Михайлович говорил, что страна идет в походной колонне среди вражеского окружения, ну и все этим объяснил. Может, и верно?

— Не думаю... Знаешь, вспомнилось сейчас, был у меня один солдатик из «отцов», так вот он в атаках никогда имя его не выкрикивал.

— У меня тоже такие были. Мало, но были... Ладно, хватит об этом. Зайдем в бар, трахнем по кружечке?

— Неохота, Леша, да и домой пора.

Уже какой раз отказывается Володька от выпивки. То ли одалживаться не хочет, с деньгами-то у него туго, либо вообще потерял интерес к ней.

34

Восьмого марта Коншин позвонил Наташе на работу и сказал, что встретит ее и если она не возражает, то можно зайти ненадолго в кафе. Наташа насчет кафе ничего определенного не сказала, но против встречи не возразила.

Идя к Красным воротам, Коншин думал, что очень жаль, не может он рассказать ей обо всем том, о чем говорили они с Володькой, что, пожалуй, подожмет она отчуж-

денно губки, скользнет похолодевшим взглядом и бросит пренебрежительно — опять, дескать, вы что-то изображаете... Да, не очень-то об этом поговоришь, и не только с Наташей. Держать это в себе придется, а тяжело, вышло же так, словно отошли они куда-то с Володькой в сторону и отделились своим знанием от других, которые пока ничего не знают... А вокруг-то идет обычная жизнь, вот у метро мимозу продают... Купил он несколько маленьких букетиков, преподнесет Наташе в честь праздника.

Наташу, может, и тронули букетики, но приняла она их с ироническим удивлением:

— Бог ты мой, даже цветочки. Что с вами случилось, Алексей?

— Сегодня же ваш праздник,— промямлил он.

Коншин заикнулся о коктейль-холле, но Наташа отвергла с ходу. Тогда, может, в кафе-мороженое, предложил он.

— Давайте просто пройдемся... Все-таки немного пахнет весной,— сказала она, хотя было пасмурно и слякотно.

Он осторожно взял ее под руку, опасаясь, что отдернет она ее и скажет «не надо», но сегодня она этого не сделала, и они пошли по Садовой вниз к Орликову...

— Вашей маме я, наверно, не очень показался? — сказал он как можно непринужденней.

— Честно говоря, не показались,— улыбнулась Наташа.— Правда, она сказала, что вы-то сами ничего, но вот ваша профессия...

— Профессия что...— он задумался.— А вот то, что через два года тридцать стукнет, а ни черта еще не сделано, даже не начато... А ведь в тридцать семь погиб Пушкин, в двадцать семь Лермонтов.

— Опять вы задираете нос! Даже как-то неловко, по моему, вспоминать о них. Неужто, Алексей, нельзя жить просто, не выпендриваясь, не воображая из себя невесть что?

— Но для чего-то мы остались живыми?!

— Ах, вот что вас мучает,— усмехнулась она.

— Да. На войне мы брали выше себя!

— На войне, наверно, все брали выше себя,— резонно заметила она.

— Я и до войны не мыслил себе спокойной мещанской жизни: хождение на работу, возвращение в семейный уют, газетка в руки, обед, разговоры о том, что купить, рюмка водки перед обедом под селедочку в воскресенье...

Я думал о другой жизни, не представляя ее точно, но другой...

— Да? Еще перед войной? Интересно,— она внимательно посмотрела на него.

— Да, еще перед войной... Помните же, у Печорина — «чувствую силы в себе необъятные и назначенье высокое»? Я тоже ощущал нечто подобное.

— Значит, начинали пыжиться еще мальчишкой?

— Что ж, можно назвать это и так,— грустно согласился он.

На Колхозной он предложил ей зайти в кафе-мороженое. Они перешли на другую сторону. В кафе было дымно, шумно и много пьяных. Наташа поморщилась и сказала, что ей не очень-то хочется сидеть в этом угаре.

— Тогда, может, зайдем ко мне? — спросил без всякой надежды, но Наташа вдруг согласилась.— Тогда я мигом, куплю что-нибудь. Подождите меня.

Он, не раздеваясь, прошел к буфету, взял плитку шоколада, бутылку токая.

Наташу он провел к себе, разумеется, с парадного хода. И когда по коридору застучали ее каблуки, соседка приоткрыла дверь и уставилась на Наташу, разглядывая не столько ее, сколько меховую шубку.

— Ишь каких стал водить, в мантах меховых,— прошипела она.

— Не обращайтесь внимания,— шепнул он.— Это такая стервь, житья нету.

— Ничего, очень даже любопытно,— бросила Наташа вскользь и усмехнулась.

Коншин же про себя обругал соседку почище и заспешил к своей двери. Раздел он Наташу в комнате, чтоб ее шубка не смущала соседей. Она вошла в комнату и с интересом обвела ее взглядом.

— А у вас, оказывается, порядок,— дивилась она.

— А как же. Армейский. Приручен.

— Я в жилище художников представляла вроде тети Тониной обстановочку.

— Садитесь, Наташа, я сейчас накрою на стол.

Он достал из буфета бокалы, тарелочки, откупорил бутылку, разломал на дольки шоколад, зажег настольную лампу с оранжевым абажуром — так вроде уютней будет и выключил верхний свет. Наташа иронически улыбалась, поглядывая на все эти приготовления.

— Когда же вернутся ваши родители?

— Наверно, через несколько месяцев, как закончится стройка у отца.

— А пока, значит, наслаждаетесь свободой?

— Наслаждение довольно относительное. Я не умею хозяйничать и вообще...

— Судя по замечанию соседки, все-таки наслаждаетесь.

— Да ну ее! Это она нарочно, чтоб сделать мне пакость. Не обращайтесь внимания.

Наташа поднялась, прошла по комнате, рассматривая фотографии, развешанные на стенах.

— Это ваш отец? — показала она на фотографию.

— Да.

— Судя по фуражке, он инженер?

— Да, путеец... Но это старая фотография, он давно уже не носит фуражку. С тридцать пятого, после того как его обозвали в трамвае вредителем. Помню, он пришел весь побелевший, бросил матери фуражку и сказал: «Спрячь».

Коншин разлил вино и пригласил ее за стол. Он села.

— За что выпьем? — спросил он.

Наташа не ответила, она рассматривала висевший на стене городской пейзаж — Петровка со стороны ЦУМа при закате.

— А это неплохо у вас получилось.

— Да? — обрадовался он. — Могу подарить.

— Что ж, подарите.

Он вскочил, снял пейзажик и положил перед ней.

— Так за что выпьем? — повторил Коншин.

— А за что бы вы хотели?

— За вас, Наташа, конечно. И чтоб у нас было все хорошо. И проще. А то я перед вами всегда теряюсь и чувствую себя идиотом.

— Давайте за это, — вяло улыбнулась она. — Только вряд ли это будет. Я про «хорошо».

— Я хочу, чтоб это было, — постарался он сказать это с силой и убежденностью. Наташа чуть усмехнулась.

Они чокнулись и пригубили вино... Потом Коншин спросил, не завести ли патефон, иногда приятно под старые пластинки вспомнить довоенное время, юность. Наташа не возражала, и он стал ставить одну за другой. Над одной пластинкой Наташа взгрустнула и попросила поставить ее еще раз, и Коншин подумал, что в общем-то он ничего не знает о ней. Наверное, у нее в прошлом были и влюблен-

ности, а может, и любовь, ведь она не девочка, ей уже двадцать четыре, окончила институт. Что-то мельком говорила ее тетка о какой-то неудачно закончившейся любовной истории, приключившейся с Наташей еще в школе, но говорила давно, когда они только познакомились, и ему это было безразлично.

На Коншина тоже подействовала музыка. Вспомнилось предвоенное время, вспомнилась и Галя...

— Хотите прочту стихи? Они плохие, написаны в сорок третьем, но в них есть предчувствие того, что спокойная жизнь после войны будет нам... пресна, что ли. Это странно, стихи-то сорок третьего, когда и не гадали в живых остаться.

— Я и не знала, что вы и стихи еще пишете. Ну, прочтите.

— И когда мне наскучит дом своей тесностью, И спокойный, домашний уют, Дни не будут томить неизвестностью, И я отвыкну от мысли, что, может быть, скоро убьют... Когда все покажется таким прочным, нетленным, а жизнь такой тихой, стоящей на месте, Когда станет скучным и обыкновенным, Что мы все время с тобою вместе. Тогда я выну из шкафа шинель, В которой всегда уезжал. И, покинув тебя, абажур и постель, Я помчусь на большой вокзал. И поеду туда, где с тобою встретились После двух с половиною лет разлуки, Где на новые встречи почти не надеялись, Где меня обнимали твои ждавшие руки... Я найду в тот дом у кривой дороги, Где с томительной дрожью и страшно спеша Я вскакивал быстро при крике — «тревога», Где обняться мешал — черный ствол ППШа... — он закончил и потянулся к папиросам.

— Это о Гале? — тихо спросила Наташа.

— Да, — вздохнул он. — Видите, как получилось...

— Не само же собой получилось. Кто-то был виноват.

— Вы, конечно, считаете, что я, — кисло улыбнулся он.

— Далеко у вас письма того фронтового друга?

— Нет. Дать вам почитать? — предложил он, вспомнив, что есть в Ленкином письме хорошие слова о нем.

— Что ж, дайте...

Коншин достал планшет и протянул Наташе первое письмо. Она прочла. Он протянул ей второе письмо, но спохватился — там были выражения не для женского уха.

— Я прочту сам. Главное, а то в нем много ерунды, — и стал читать: «Здравствуй, дорогой друг и товарищ Алексей! Большое спасибо тебе за поздравления. Как я жалею,

что тебя нет в нашей семье. В семье друзей. А как это хорошо бывает, когда люди спаяны дружбой и любовью к своей Родине, когда они находятся вместе и делают общее дело для блага всего народа.

Дорогой друг! Тебя, конечно, интересует вопрос о нашем продвижении. Зная сводки информбюро, ты, наверно, догадываешься, где мы находимся. Цель все та же. За отличную разведку награждены Красной Звездой — Бурлаков, Саранчин и Власов. Ну и, конечно, тебя интересует вопрос в отношении Галины. Прямо тебе скажу, что она дошла до «веселой» жизни. Противно на нее смотреть. Первое — это то, что она не ухаживает за собой и своими волосами, второе, было противно то, что она не может себе сварить поест, а надеется на таких же солдат, как она, но это полбеды. Основа — это порядочность по отношению к тебе. Это же просто нечестно и гадко. Поклонники ее — Володька Ш., Курдин, Батонов. Одним словом, я, например, хочу одного — это того, чтобы она не была твоей женой! Она тебя, Алеха, недостойна абсолютно ни в чем. Мы себе можем найти таких баб, как никто другой...»

Тут Коншин остановился смущенно:

— Дальше он о себе...

— Дочитайте уж...

— «Немножко о себе,— продолжил он.— Живу хорошо, здоровье мое превосходное. Ну и на женском фронте имею кой-какие успехи. Одним словом, не теряюсь...»

— Ну вот, теперь, наверно, хватит,— скривила губы Наташа.— И этот человек был вашим другом?

— Ну, не другом, но товарищем был. Вместе же целый год...

— А вам не пришло в голову, что этот... «товарищ» в кавычках просто мстит вашей Гале, что не имел у нее... успеха? Ведь все совершенно бездоказательно. К тому же, упрекая Галю, что она не следит за собой, он не понимает, что этим самым доказывает — не желает она нравиться. Какая женщина, да еще, как он пишет, в кого-то влюбленная, не будет следить за собой!

— Да, конечно,— согласился он.— Но тогда, в госпитале, я об этом не подумал.

— Как можно было оказаться таким нетонким, нечувствующим? Мне жалко Галю,— она поглядела на него осуждающим взглядом и досказала со вздохом: — Боюсь, Алексей, что с вами ни одной женщине не будет хорошо.

— Почему же?

— Не понимаете? Как же было можно так бездумно и, простите, глупо сломать судьбу человеку, к которому, судя по вашим стихам, испытывали какие-то чувства?

Коншин опустил голову и долго молчал. Сейчас с еще большей очевидностью стало ему ясно вранье в Ленькиных письмах, но ничего уже не поправишь, не изменишь.

— Да, видимо, я виноват, Наташа. Но теперь-то ничего не поделаешь.

— Почему? Все можно исправить.

— Нет. Галя уже слишком далеко отошла от меня... Теперь... вы...— добавил он с трудом.

— Что я?

— Теперь я думаю о вас, Наташа... Вы разве не видите?

Наташа долго молчала, а потом задумчиво и как-то невесело сказала:

— Я почему-то не верю вам, Алексей... По-моему, вы все выдумали.

Коншину бы произнести что-то взволнованное, горячее, но он не нашелся и лишь пробормотал:

— Но нам было же хорошо тогда... на даче?

— Да,— как бы нехотя призналась она.— Но вы и тогда все испортили своим нытьем о пропавшей получке.

— Да, я понял это позже.

— К сожалению, вы все понимаете слишком поздно. Вот как сейчас, с Галей. Поверили какому-то грязному типу...

— Откуда вы решили, что Ленька...

— Одно «не теряюсь» и «на этом фронте успехи» уже говорит о многом. Но вас это, видимо, не задело. Даже защищаете его.

— Я не защищаю, но вы поймите — война же была. Ну а Ленька обыкновенный парень...

— Господи, опять вы ничего не понимаете! — воскликнула она и откинулась на спинку стула.

Коншин хотел было возразить, сказать, что это она ничего не понимает во фронтовой жизни, где не до сантиментов, но ничего не сказал, поняв, что разговор зашел куда-то не туда и после него нечего и пытаться повторить то, что было у них на даче.

Он налил себе вина, выпил, надеясь, что это поможет найти ему какие-то слова, которые увели бы разговор на другое, но ничего не вышло, и он ругал себя, что дал Ната-

ше Ленькины письма, из-за них-то оказался он и «нетонким», и «нечувствующим», «бездумно» сломавшим Галину судьбу, а не рассказать, какую обиду, боль ощущал он в госпитале, когда не получал писем от Гали и когда пришли эти — Ленькины. Не рассказать, потому что подумает Наташа, что оправдывается он, а ему и так уже надоело перед ней оправдываться.

Когда подавал Наташе шубу, уткнулся лицом в мех, пахнувший духами, и так ему не захотелось, чтоб она уходила, так стало тоскливо, неприятно, что у него вырвалось:

— Еще рано, Наташа... Побудьте немного.

Она посмотрела на него немного удивленно и, видно тронутая искренностью его тона, правда поколебавшись недолго, согласилась. Он обрадованно засуетился, повесил ее шубу на вешалку, разлил остатки вина, наломал на дольки шоколад и принялся усиленно ее угощать.

Что-то надо сказать ей, думал он, сказать что-то такое, что заставит ее поверить ему, что он совсем не такой, каким она его представляет, понимая, это его последний шанс, потому как Наташа все больше отдаляется от него и эта встреча, возможно, последняя, но сказалось нескладное и, наверное, не то:

— Знаете, Наташа, мне будет плохо без вас... Вообще плохо.

Что-то дрогнуло в лице Наташи, она долго молчала, опустив голову, но когда подняла и взглянула на него — лицо было спокойным, хоть и грустным.

— Опять вы выдумываете, Алексей,— сказала со вздохом и поднялась.

Коншин проводил ее до трамвайной остановки — она не захотела, чтоб он провожал ее до дому. К вечеру подморозило, уже не пахло весной. Он посадил ее в вагон и долго стоял, глядя на мерцающие огоньки уходящего трамвая, а когда они скрылись на повороте, понуро поплелся домой. Ему было чертовски нехорошо...

С Марком что-то случилось... Неожиданно навалилось ощущение напрасности, бессмысленности всего того, что он делает. Это бывало с ним и раньше, но такого, как теперь,— никогда... Он еле удержался, чтоб не уничтожить все написанное, хотя и считал это пижонством бездарей. Конечно, он выбрасывал неудавшиеся этюды, эскизы,

иначе просто не было бы места для работы, ведь накапливалось уйма, но более или менее законченные работы он хранил все, даже не очень его удовлетворяющие, полагая, в каждой все же что-то есть, что никогда не повторить, а тут вот захотелось вдруг избавиться от всего. Картины стали давить его и угнетать. Может, выплеснутая в них ненависть тяжелым дурманом возвращалась в его душу и тяготила?

Сейчас он бродил по улицам, обдумывая все это, стараясь разобраться в себе. Ведь почти никогда не возникали у него сомнения в нужности своей работы, ведь целая философия придумана была по этому поводу, стройная и четкая, и вот... Что-то начинало рушиться в выстроенном им прочном здании, казавшемся незыблемым. И началось это, пожалуй, с того, что, переписывая Настино лицо на картину, он не смог придать ей то выражение, которое ему нужно,— ненависти в Настинном лице отразить не удавалось. Но что бы, казалось, опытному художнику тут сложного: сжать губы, сдвинуть брови, сузить глаза, дать блик, где нужно. Ан нет, не получалось: Настино лицо оставалось чистым, незамутненным и источало доброту...

Марк насмеялся над собой, называл себя идиотом, неумехой, но сделать ничего не мог. Прямо чертовщина какая-то! Конечно, Марк добился того, что ему было нужно, но лицо было уже не Настино, а совсем другое, чужое, и он начинал все заново, но без результата. Насте не говорил он об этом, да и не встречались они с тех пор. Когда закончил ее портрет, то бросил небрежно: «Заходите иногда...» Конечно, после такого приглашения она и не заходила, а сейчас, проходя мимо медпункта, где она работала, он вдруг завернул туда.

Рабочий день кончался, и он столкнулся с ней в парадном. Она потупилась, смешалась.

— Я провожу вас до дому,— сказал он.

— Что это вы вдруг? — спросила она, а когда вышли, сказала: — Только гулять мне с вами время нету. Петр из госпиталя выписался, обедом надо кормить.

— Ну и как чувствует себя ваш братец?

— Неважно. Пока отпуск длительный дали, но беспокоится он, что в запас могут.

— Переживает?

— И не говорите. Армию он любил и любит, без нее ему тяжело будет.

— Не накомандовался, выходит, еще,— процедил Марк.

— Почему вы о Петре всегда так? — приостановилась даже она. — Скажите же, наконец, знали вы его или нет?

— Мы уже говорили об этом.

— Но вижу я, ненавидите вы его! Так за что? Что у вас приключилось такое? Не мытарьте мне душу. Чувствую же я! Или скажите, или идемте сейчас к нам, там все Петру и выскажете, если есть что.

— А что? Идея, — протянул он задумчиво.

— Побойтесь только.

— Нет. Преждевременно это, наверно. Я же лежачих не бью. Вот очнется ваш братец после госпиталя, придет в себя, может, тогда и... встретимся.

— Значит, было у вас что-то, было? — воскликнула она.

— Было, — сухо произнес Марк. — Но вы успокойтесь, счеты я с ним сводить не собираюсь. Я для разрядочки в лес езжу, сшибаю там веточки.

— Чем сшибаете?

— А чем придется, — отмахнулся он.

— Ненормальный вы все-таки... — вздохнула Настя. — Да и не диво, в таком кошмаре живете, среди картин страшных. Неужто можно все время ненавистью жить?

— А мне любить, Настя, некого. И не за что.

— Разве за что-нибудь любят? Просто так любят.

— Просто так — у меня не выходит, — усмехнулся он. — Видел слишком много.

— Ну вот, дошли до дому, — остановилась Настя у ворот.

— Может, зайдете ко мне на днях?

— А зачем? Переговорили вроде обо всем.

— Так уж и обо всем? Заходите. Нужны вы мне сейчас, — обронил вскользь в конце фразы.

— Опять рисовать, что ли, будете?

— Нет... Просто так нужны.

— Пустое говорите... Не нужен вам никто, — покачала она головой и вошла в арку ворот. — Прощайте.

— Я все же буду ждать вас, Настя, — крикнул он вслед.

Она обернулась, посмотрела на него, но ничего не ответила.

В этот день в институт Коншин не пошел, надо было гнать работу, а она не получалась. Уже третий раз смывал

он в ванной с картона гуашевую краску, чтоб начинать все заново. Увы, те плакаты, которые приходилось ему делать, надо было делать не головой, а руками, а руки были еще неумелые... В карандаше фигура рабочего вроде смотрелась, была нарисована, но когда начинал в цвете — ничего не выходило. К вечеру он совсем измучился, забросил картон в угол комнаты и позвонил Володьке, предложив прогуляться. Тот согласился. Встретились у Колхозной, прошлись по родной Сретенке, а оттуда вниз по бульвару.

— Куда ты меня тащишь? — спросил Володька.

— Дойдем до Пушкинской, а там, может, зайдем куда-нибудь... — и рассказал Коншин о последней встрече с Наташей, ну и как с плакатом целый день возился, и без толку. — И вообще тоска, — закончил он.

На Страстном, около магазина «Мясо», обогнала их компания, трое хорошо одетых мужчин в возрасте с тремя молоденькими дамочками.

— Вроде Анатолий Сергеевич, — кивнул Коншин на одного. — Он самый, — добавил уже уверенно.

— Который? — почему-то с интересом спросил Володька.

— В шубе с каракулевым воротником.

— Бабоньки у них ничего, — усмехнулся Володька.

— Анатолий Сергеевич толк знает. Помню, говорил мне, не связывайся с девчонками, эти соплячки ничего не понимают. Женщину надо лет тридцати, те все могут.

Компания завернула на улицу Горького, за ними и ребята. Из дверей бывшего елисейевского доносились аппетитные запахи копченостей. Володька шмыгнул носом, втягивая в себя ароматы съестного, из чего понял Коншин — голоден Володька. Он предложил зайти и купить колбаски, но Володька отказался. Он не сводил взгляда с веселой компании. У бывшего филипповского ресторана, а теперь «Астории» Анатолий Сергеевич остановился с дружками, посоветовались и направились в переулок, где был вход. Володька придержал Коншина за локоть:

— Деньги у тебя есть?

— Есть немного.

— Может, зайдем? Угостишь меня мясом, ну и от пивка не откажусь.

Коншину и самому хотелось развеяться, он согласился.

— Давненько в ресторации не был. Посидим, значит, — повеселел Володька.

Коншину совсем не хотелось встречаться с Анатолием Сергеевичем, и они подождали, когда компания разделилась и прошла в зал; тогда и ребята вошли, поискали место и сели вдалеке от компании Анатолия Сергеевича. За выбранным ими столиком развалился пьяненький мужчина средних лет.

— Присаживайтесь, ребята. Пожалуйста,— пригласил он, когда они попросили разрешения.— Один я...— в последних словах стояла давняя, видно, тоска.

Официант оказался знакомым Коншина, жил от него через дом, и сталкивались они либо на улице, либо в магазине, а чаще всего в павильончике «Вина — воды», у дяди Гриши, куда Коншин забегал за папиросами почти ежедневно. Они обменялись — «привет», «привет», а потом уж официант спросил:

— Ну что, ребята? Салатик, селедочка, водочка и горячее?

— Давай,— кивнул Коншин, лишь уточнив количество водочки — маленький графинчик, ну и по бутылке пивка.

— Водочка-то дороговата стала,— проворчал сосед, после того как официант записал заказ и ушел.— Вы помните, сколько до войны она стоила?

Ребята, конечно, помнили и кивнули.

— А пить стали больше. Война, что ли, народ избаловала да испортила либо еще что? Да и везде торгуют ею, проклятой, поди на каждом углу. Около моего дома — четыре точки. Куда ни пойдешь, одну да не минуешь. Соблазн. А что из этого будет? Не знаете? Скажу вам, что из этого произойти может, ну и больше мешать не буду. Так вот, молодые люди, ради хлебушка насущного начать воровать трудно, совесть не очень-то позволит, а вот на водочку — легче, у хмельного-то совесть залита. И, помните мое слово, начнет народ изощряться, на выпивку деньгу добывать, а что из этого выйдет, догадаться трудно.

— Есть в ваших словах сермяжная правда, есть,— весело согласился с соседом Володька.

— Еще бы... Вот поглядите вокруг, на зарплату разве сидят? Нет, здесь те, кто уже начал химичить да приворовывать. Ладно, замолк я.— Сосед отхлебнул пива и закурил, откинувшись на спинку стула.

— Ты помнишь, я рассказывал о Толике Лявине? — спросил Володька.— Так вот, встретил недавно. Директором ресторана, как мечтал, не стал, но командует каким-

то рынком в дачной местности. Одет шик-модерн, физиономия лоснится, усики отрастил для солидности, угощал коньячком, такую пачку деньжищ вытащил, еле в бумажнике поместалась.

— Связой у меня был, Рябиков... Помню, сидим в шаляшике, конину тухлую лопаем, ну и разморило меня после жратвы, будто стопку хватил, философствовать начал: «Понимаешь, Рябиков, на передке все-таки самые лучшие обитаются, дрянь и сволота умеют устраиваться, они в тылах припухают, а мы — лучшие. Понял?» Это для собственного успокоения, разумеется, потому что так обидно было, что приходится эту тухлятину жрать. Ясно?

— Ясненько, — усмехнулся Володька. — А ты не находишь, что твой Анатолий Сергеевич из той же породы?

— Как тебе сказать? Двойственное у меня к нему отношение.

— Двойственное? — удивился Володька. — Ты что, совсем?..

Он не договорил, но Коншин догадался, каким могло быть недоговоренное слово — наверно, «скурвился».

На эстраде тем временем заиграл оркестрик, и публика пошла танцевать. Мимо них шелестели, а то и задевали платьями вертевшиеся в танце девицы, обдавая одеколонным ароматом.

Володька, очень давно нигде не бывавший и живший анахоретом, после того как они выпили и поели, вдруг поднялся и отправился в зал пригласить кого-нибудь на танец. И отправился не куда-нибудь, а прямо к столику Анатолия Сергеевича.

Тут у Коншина и мелькнула догадка, что не просто так захотел Володька в ресторан; но, увидев издали, как мирно беседует Володька с компанией Анатолия Сергеевича и как все мило улыбаются, успокоился. Вскоре Володька приблизился в танце к их столику, и Коншин разглядел даму, с которой тот танцевал: пышная блондинка, до неприличия прижимающаяся к Володьке... Тот подмигнул Коншину — дескать, знай наших, видишь, какую оторвал. Глаза у него были веселые, а рот расплывался в добродушной улыбке.

Музыка замолкла, и Володька, держа за руку блондиночку, привел ее к столику и раскланивался в благодарности. Вернувшись на место, он еще раз подмигнул Коншину и сказал:

— Ничего дамочка... Приятно иногда подержаться за

хорошие телеса.— А потом добавил: — Твой Анатолий Сергеевич — милейший человек. Разрешил, а это его бабец.

Потанцевал Володька и еще один танец с блондинкой, отправился приглашать и на третий, но тут, видимо, ему отказали, так как услышал Коншин громкие голоса — шумок назревающего скандала. Этого еще не хватало, подумал Коншин, оставаясь сидеть на месте. Но шум усилился, он увидел, как поднялись со столика спутники Анатолия Сергеевича, а потом и он сам. Володьку, вить, уговаривали, но он стоял, пошатываясь, притворяясь пьяным, пока один из мужчин не взял его за плечи и не повернул от столика, но Володька вырвался, оттолкнул того от себя и не уходил. Коншин вскочил — надо было остановить драку, но, когда он подбежал, там началась уже свалка, над Володькиной головой взметнулась бутылка, и Коншин еле успел выбить ее из руки одного из дружков Анатолия Сергеевича и тут же получил удар от другого. Пришлось ударить в ответ...

— Коншин? Вы с ума сошли! Прекратите сию же минуту! — закричал Анатолий Сергеевич, узнав его.

Но прекратить уже было, при всем желании Коншина, нельзя. Приятели Анатолия Сергеевича, крупные, здоровые мужчины, увидев, что против них только двое, к тому же один инвалид, дружно навалились на ребят, только успевай отбиваться. Упал соседний столик, потом другой, зазвенела битая посуда...

— Номера на одежду, быстро! И двигайте к раздевалке,— подбежал к Коншину знакомый официант.

Коншин, отбиваясь одной рукой, все же умудрился вынуть из кармана номерки и сунуть официанту. Да, надо было смываться обязательно, посуды набито уйма, не расплатиться, да и милиция может вот-вот нагрянуть. Он стал медленно отступать.

Интеллигентный Анатолий Сергеевич в драке не участвовал, он даже пытался остановить своих приятелей, но те вошли в раж. Несколько мужчин из публики, не ввязываясь в драку, все же подбежали разнимать их, но больше мешали противникам ребят, симпатии их были явно на их стороне — фронтовики же бывшие, без руки один, военное донашивают, а те — холеные, в костюмчиках, при галстуках.

Так и удалось ребятам пробиться к выходу. Официант крикнул, чтоб в машину сигали, договорился он с шофе-

ром, а деньги чтоб дяде Грише передал. Выскочили из дверей, а у «эмки» уже дверца открытая, не успели влететь, как рванула машина с места, завизжали покрышки на повороте, и через несколько минут филипповский ресторан остался позади.

— Стоял я в зале, видал вашу работку,— сказал водитель.— Посуды набили навалом, думаю, спасать надо фронтовичков, шепнул официанту, чтоб вы ко мне сразу. Теперь порядок в танковых войсках. Куда вас, братва?

— До Колхозной,— пробормотал Володька, не отдышавшись.— Не капнет твой Анатолий Сергеевич? — повернулся к Коншину.

— Думаю, нет.

— За дело били или так, по пьянке? — спросил шофер.

— За дело,— усмехнулся Володька.

— А вот если б в милицию угодили, виноватыми оказались. У них три бабы в свидетелях, что хошь наговорили бы. Эх, ребята, развелось после войны сволоты, особенно среди тех, кто в тылу перекрывался, пока мы там в крови барахтались.

— В танкистах был? — спросил Коншин.

— А где же нашему брату?

Когда подъехали к «Форуму», Коншин полез в карман, чтоб расплатиться, но шофер стал отнекиваться:

— Не буду я с вас брать.

— Возьми, выручил же,— совал Коншин деньги.

— Сказал, не возьму. Бывайте, ребята,— захлопнул он дверцу и тронулся.

— Вот так, Леха, отвели душу,— весело сказал Володька, потирая подбитую скулу.— Доволен?

— Неловко все же...

— Не понимаю,— удивился Володька.— Спрашиваю, рад, что от этого типа отделался?

— Как тебе сказать?.. Конечно, рвать, так с музыкой, но...— Коншин замолчал.

Володька поглядел на него, покачал головой, а потом задумчиво сказал:

— Выходит, прав Леонид Леонов, сказав, что, «когда кончается затемнение городов, наступает затемнение совести». Про тебя, кстати. Еще какую-то неловкость выдумал.

— Ну, куда теперь? — ушел от неприятного Коншин.— Домой неохота что-то, может, к Марку зайдем?

— Твой Марк слишком нос перед нами задирает. Пошли к нам, ты давно не был, мать часто про тебя спрашивает.

Было уже больше десяти вечера, когда они ввалились к Володьке домой. Ксения Николаевна не сразу заметила ссадину на скуле сына и припухлую губу у Коншина, а разглядев, всплеснула руками:

— Вы, кажется, дрались, мальчики?

— Ага, мама. Была хорошая идейная драка,— рассмеялся Володька.

— Господи, даже идейная! — невольно улыбнулась она.— Защищали честь какой-нибудь девушки?

— Нет. Свою собственную, мама.

— Других способов не нашлось?

— Увы, это был единственный. Чай будет, мама?

За чаем говорили о разном... Ксения Николаевна очень интересовалась Марком и расспрашивала о его картинах. Коншин рассказал, а потом посетовал, что и Марк, и Михаил Михайлович твердят ему об упущенном времени и что, наверно, ничего из задуманного у него не выйдет, так и будет возиться всю жизнь с плакатиками, зарабатывая на хлеб насущный.

— О чем вы толкуете, Алеша? Неужто после того, что вам всем довелось пережить, спокойная и более или менее обеспеченная жизнь все не устраивает? — спросила Володькина мать.

— Коншин называет это мещанским раем, мама,— усмехнулся Володька.

— Какие вы глупые... Нашему поколению, увы, такого «мещанского рая» совсем не досталось. Вы только вылезли чудом живые из такой войны, так неужто вам может казаться, что там была какая-то необыкновенная, романтическая жизнь?

— Там было все проще,— заметил Володька.

— Может быть,— задумчиво согласилась она.— Наверно, жизнь сейчас сложнее, и она все время будет ставить перед вами трудные, почти неразрешимые вопросы, и, чтоб не запутаться, надо... надо все время прислушиваться к своей совести... Помните сказку Салтыкова-Щедрина о тряпочке-совести, которую теряют и находят?

— Помним. Но все это не ново, Ксения Николаевна,— вздохнул Коншин.

— Да, не ново. Я вам америк не открою. Вроде бы все просто и в то же время страшно трудно... Тем более сейчас, когда вам что-то приоткрылось. Да, мы очень мало знаем, многое для нас пугающе непонятно, но самое страшное

теперь для вас — растеряться, потерять ориентиры, бросаться из стороны в сторону... — она говорила взволнованно, не сразу находя слова. — Вы поняли меня, мальчики?

— Поняли, мама, — вяло сказал Володька, чуть не добавив: «А чего тут понимать, все это слова», но не добавил, не желая обидеть мать.

По дороге домой Коншин думал, что в милицию Анатолий Сергеевич вряд ли заявит, но работу-то он потерял, и надолго. Проходя мимо ночного гастронома на углу Колхозной и 1-й Мещанской, около которого галдела очередь, он столкнулся с Колюней Крохиным.

— Привет, Алеха. Сообразить не хочешь?

— Нет, Коля. Работать завтра, — сказал Коншин привычное и... запнулся — работы никакой завтра не предстоит, а денька через три придет к нему бумаженция из редакции, где будет сообщено о расторжении договора под каким-нибудь предлогом.

— Дело есть. Зайду к тебе на днях.

— Какое дело?

— Хорошее, денежное. Договорились?

— Ну, заходи, — безразлично кивнул Коншин.

После ухода Коншина Володькина мать заявила сыну, что вряд ли он имел право затевать драку, что надо было хоть спросить Коншина, хочет ли он этого, а теперь он остается без работы по Володькиной вине.

— Мама, когда вытаскивают утопающего, разве спрашивают его? Я удивляюсь тебе. У Алексея такая же пенсия и стипендия, как и у меня. С голоду, слава богу, не помрет.

— Мы вдвоем, Володя. Меня жизнь научила крутиться, а Алеша не умеет. В общем, я не в восторге от твоего поступка.

Когда мать говорила «не в восторге», для Володьки это значило нечто большее. Он задумался, но вскоре тряхнул головой:

— Все правильно, мама. Алешка и выпивать стал каждую получку из-за этого типа. Правильно, — повторил убежденно.

37

Уже прошел месяц с того тяжелого разговора с Ниной, а Игорю так и не удалось встретиться с ней. Он приходил к Институту курортологии, ждал ее у дома, звонил, но все напрасно. Оставалось лишь одно — идти к ней домой, пусть даже придется говорить при ее матери.

Перед подъездом пришлось выкурить две папироски, чтоб унять волнение, но когда вошел в дом, поднимался по мраморной лестнице бывшего купеческого особняка мимо стен с какой-то лепниной — успокоился. Он постучал в дверь Нининой комнаты, а потом тихонько открыл — Нина спала, свернувшись калачиком на маленьком старом диванчике.

— Нина...— шепотом позвал он ее.

Она открыла глаза и посмотрела на него.

— Нинушка... Я пришел.

Ему страшно захотелось подойти к ней, присесть на диван, погладить ее по голове, приласкать, но она молча и отчужденно глядела на него, будто не узнавая.

— Я пришел... Надо же поговорить...— начал он несмело.

— Не о чем нам говорить,— ответила не резко, а равнодушно и отвернулась.— Уходи.

— Но нельзя же так. Нам надо решить...

— Я уже решила,— перебила она.— Надеюсь, ты порядочный все же человек и будешь мне давать денег на ребенка. Вот и все.

— Но, Нина, он... я же хотел сказать тебе, если ты хочешь, мы можем... нет, должны, наверное, расписаться...

— Не можем и не должны. Уходи, Игорь, у меня болит голова.

— Но ты... ты не сделаешь аборта?

— Ах, вот что тебя беспокоит! Не бойся, не сделаю.

— Я боюсь только за тебя.

— Можешь не переживать,— сухо сказала она.— Уходи, а то сейчас придет мама.

— Ты сказала ей?

— Тоже можешь не беспокоиться, пока не сказала.

— Нинушка, но почему ты меня гонишь?

— Неужто не понятно? Ты же... ты же твердил мне о ребенке, о том, что нужна семья и прочее, и сам же струсил. Ты для меня после этого просто не существуешь. Понял? Не существуешь. Тебя — нет. Понял? Нет, нет и нет... Уходи.

Игорь надел шапку и медленно вышел, закрыв за собой дверь. Ему трудно было понять Нину. Неужто из-за его естественной минутной растерянности в тот раз — такая реакция? Что за идиотский максимализм, которого он раньше в ней не замечал! И что теперь делать?

Он понуро пошел по Каляевской... В нем нарастало раздражение. Нина просто вздорная девчонка, легкомысленная и совсем не думающая о будущем. Не так-то легко будет ее перевоспитать, поступки ее совершенно алогичны и не укладываются ни в какие рамки, а главное, непредсказуемы.

Дома ему не удалось скрыть от матери свое состояние, и она обеспокоенно спросила:

— Что-то давно не видать Ниночку. Вы не поссорились?

Игоря давно мучило, что он скрывает от нее случившееся — они всегда так откровенны друг с другом, но и сейчас, не желая волновать мать, он ответил уклончиво:

— С чего нам ссориться, мама? Все нормально. Просто Нина устает очень на работе, ну и мне надо наверстать упущенное — я довольно много времени потратил на рассказ.

Мать удовлетворилась ответом, а Игорь дал себе слово обязательно сказать матери обо всем, если спросит еще раз. Но через несколько дней Нина позвонила, выкинув новый фортель.

— Игорь, привет, — начала она. — Достань мне, пожалуйста, денег. Я раздумала и нашла женщину, которая... ну, понимаешь?

— Погоди, погоди, — заволновался он. — Чего ты раздумала? Это не телефонный разговор. Ты где? Давай встретимся.

Она сказала, что звонит из автомата и находится у Кировских ворот. Игорь поспешно оделся и вышел на улицу.

Нину он увидел еще издали. Она прогуливалась около почтамта, небрежно помахивая сумочкой.

— Почему ты вдруг решила, ведь до этого...

— Решила, и все, — не дала она ему договорить.

— И что это за женщина? Она хоть врач?

— Не знаю... Но мне говорили, она давно этим занимается. Надо восемьсот рублей, Игорь. Ты достанешь?

— Подожди, это не проблема. Ты понимаешь, что это очень рискованно, а ты даже не знаешь, врач она или нет.

— Не беспокойся, я здоровая, авось не помру.

— Нина, но нельзя же быть такой... Ты не девочка, — подавляя раздражение, сказал он. — А потом, мне говорили... в общем, ни одна женщина не жалела, что... родила, а вот в других случаях...

— А что делать? — вздохнула она.

— Я должен хоть посмотреть на эту женщину. Пойдем к ней вместе.

Она вначале отнекивалась — зачем тебе ее видеть и прочее, но потом все же согласилась. Видно, идти туда одной ей было страшновато.

38

К Первому мая все ждали снижения цен, слушок об этом пошел давно, вот и гадали, на какие продукты и на сколько снизят цены. Мужички мечтали, чтоб водочка стала б подешевле; женщины же на мясо и масло ждали снижения, тоже цены были высоковаты по сравнению с довоенными, а зарплата-то не очень повысилась. Но вообще-то, считали все, раз обещали снижение, то оно непременно будет, и жизнь с каждым годом начнет улучшаться. Кстати, многие до сих пор удивлялись, что после такой войны смогли и карточки отменить, и реформу сделать — сильна, выходит, наша страна, так быстро раны военные заживает.

В доме Бушуевых больше всех на эту тему выступал глава семейства. Петр поддерживал:

— Раз Верховный обещал, значит — все. Будет у нас всего навалом. Он слов на ветер не пускает. Помните, как сказал — ни шагу назад, так мы словно и окаменели, встали насмерть. А потом погнались фрицев.

Женька поглядывала с насмешкой и притворно удивлялась:

— Удивляюсь вам. Живем хуже некуда, весна скоро, выйти на улицу не в чем, а вы всем довольны, всему радуетесь.

— Цыц, девка! Чего ты в этом понимаешь? — возмущался отец, а Петр, покачивая головой, говорил, что ремня хорошего в доме не было, что, видать, жареный петух в одно место не клевал.

Женька посмеивалась, а Настя морщилась, не нравилось ей, когда выскакивали из Петра порой разные словечки. Один раз не выдержала и заметила:

— Ты же не в казарме, Петр, не очень бы выражался, женщины же мы, — на что тот смиренно, к ее удивлению, извинился, сказав:

— Верное замечание. Принимаю критику. Конечно, когда всю жизнь с мужиками дело имеешь, язык распускаешь. Но, Настенька, ничего не попишешь, в атаку же

ходили не с галантерейными выражениями, там матюшок ох как помогал: тебя обматерят, ты обматеришь, ну и глядишь — пошло дело.

— Тебе, Петенька, при твоём звании не очень-то к лицу... Хотя, помню, в гражданскую и бывшие офицеры, хорошего воспитания люди, и то, бывало, такое запустят... Войны этакое дело,— сказал старик Бушуев, но потом, подумав, досказал: — Но советский офицер должен все же повыше быть царских-то. Это звание высокое.

— Видать, отец, снимать мне погоны все же придется. Сейчас дали отпуск, а потом комиссия, и ежели инвалидность, то... в запас,— вздохнул Петр тяжело.

— А ты головой-то не никни, найдешь работу по душе. Армия ведь не такой уж сахар, служба тяжелая, сегодня здесь, завтра там... Зашлют опять на Дальний Восток в гарнизон какой дальний, а тут — Москва, столица мира, тут тебе все развлечения — и театры и музеи...

— Я армию люблю, мне без нее трудно будет,— невесело произнес Петр и задумался.

Ждали Михаила. Стол был уже накрыт, стояла бутылка «Тархуна», на закуску селедочка, колбаска, сырок. Сегодня десятилетняя годовщина со дня смерти матери, они каждый год этот день отмечали, даже в войну собирались. Правда, все реже и реже шел разговор на этих сборах о самой матери, но все же первую рюмку всегда за помин души, а Настя панихиду в церкви заказывала и свечечку ставила, мать-то верующая была, хотя веру свою не выпячивала, мало о ней говорила, только праздники церковные блюла. В тридцатые годы молодые, да и отец, стали против этого протестовать, тогда же антирелигиозная пропаганда усилилась, но мать все равно и пасху и рождество отмечала, ну а куличи и пасху кто есть откажется, ели за милую душу... А потом сам глава дома решил, что зазорного в этом нет, русские же праздники, народные, тем более Петр — самый главный противник — был уже в армии.

Пришел Михаил, худой, усталый, жизнь у него нелегкая — двоих детей в войну тянул. Вытянуть-то вытянул, да сам вроде надорвался, и родной брат Петенька, отцовский любимчик, все больше раздражал его и тем, что одинокий, что в свое удовольствие живет, и тем, что чинов больших легко, как ему казалось, добился, и даже голосом своим громогласным и самодовольным. Сейчас, зная уже от Насти, что могут Петра в запас уволить по болезни,

особо ему не сочувствовал: пусть теперь на гражданке поломается, не все коту масленица.

Сели за стол, помянули мать Александру Тимофеевну, а дальше разговор что-то не шел, не клеился. Раньше старик в такой день всегда рассказывал, как он с Сашенькой познакомился, как сватался, как свадьбу играли; но сегодня почему-то не стал, поглядывал на хмурого старшего сына, понимая, что с увольнением из армии рушатся у того все планы, а может, рушится и сама жизнь: уж очень военный был Петр, словно для армии и войны приспособленный, трудно ему будет на гражданке прижиться. А тут еще Михаил не к месту брякнул:

— Ну что, браток, в простые смертные, слышал, подаешься? На гражданке-то вкалывать надо, а ты уж отвык небось?

Петр тяжело поднял голову, уперся взглядом в Михаила и процедил:

— Зависти в тебе много. От нее и сохнешь. Но не надейся, не пропаду. Я легкой жизни никогда не искал, в армию, сам знаешь, когда пошел. Когда стране надо было, когда тучки уж над ней сгущались.

— Что верно, то верно,— поспешил вставить свое слово Бушуев-старший, чтоб предупредить ссору.— Ты, Миша, не прав. Петр же, прежде чем до чинов дойти, все должности испробовал — и солдатом был, и отделенным, и взводным... Ты в армии не служил, не знаешь, что легкой службы в армии нет, а чего не знаешь — не болтай,— последнее слово сказал строго.

— Ему бы на передок хоть на несколько денечков,— усмехнулся Петр.— Там заводик-то твой раем бы показался.

— Петру вкалывать не придется, он начальничком каким-нибудь устроится,— выступила Женька.— Правда, Петр?

— Не лезь, Женька,— остановила ее Настя.— Не твоего ума дело.

— Почему это — не моего? Думаете, я глупее вас, что ли? Не воображайте уж очень,— фыркнула она и поднялась из-за стола.— Пройдусь я, Настя. Скучно с вами...

— Вот кто у нас веселой жизни хочет,— буркнул неодобрительно Петр.— Прозевали девку. Будто и не нашей породы.

— А какая такая наша порода? Необыкновенная, что ли? Не пойму что-то,— бросила Женька.

— А такая порода,— внушительно начал отец,— которая на своих плечах жизнь для будущего делает, а о себе не думает. Поняла?

— Чего не понять, только скучно это. Пошла я...— отправилась Женька в коридор одеваться.

— Придется мне за нее взяться,— сказал Петр.

— Валяй возмись,— усмехнулся Михаил.— Только это тебе не солдатами командовать. И чего братья? Девчонка хорошей жизни хочет, а кто ее не хочет? Пора уж ей, хорошей-то жизни, начаться, для этого и коммунизм строим. Разве не так?

— Ты о коммунизме неверно рассуждаешь, Михаил. Коммунизм же — это не только полная миска хлеба, это и мир, и дружба между людьми, и образование, и книги хорошие. Ради одного хлеба нечего было бы дело затевать. О другом мы думали, когда революцию делали,— проникновенно произнес отец.

— Не знаю, чего уж вы там думали, но без хорошей зарплаты, без сытости рабочему человеку тяжело. Сейчас бы и подкормить ребятшек, а не очень-то получается.

— Потерпи, сынок, наладится все скоро, заживем лучше, чем до войны.

— Много ты, Мишка, о брюхе думаешь,— проворчал Петр.

— Тебе бы так, как мне, тоже бы о брюхе заговорил,— отрезал Михаил и стал собираться.

Так и закончился этот вечер, без лада, без тихих хороших разговоров. Покряхтывал сокрушенно отец, прощаясь с Михаилом. Исподлобья глядел Петр на брата, который ответил ему тоже не добреньким взглядом. Что-то ломалось в доме Бушуевых, а почему — не понять.

39

Как и ожидал Коншин, через неделю пришло из редакции официальное письмо, что в связи с изменением планов и исключением из него серии плакатов по технике безопасности договор с ним расторгается. Хотя и ждал этого он, но стало неприятно на душе — все его планы разделаться с долгами, купить что-то из одежды пошли прахом. Если бы лишь это. Как бы не раззвонил Анатолий Сергеевич по другим редакциям, тогда вообще без работы можно остаться.

Пришлось для успокоения вспомнить фронт, где он с

первых же дней постиг одну житейскую мудрость: как бы ни было плохо сегодня, завтра может быть еще хуже, ну и другие, рожденные войной присказки — «живы будем — не помрем» и «будь что будет», которые помогали им в житье-бытье на переднем крае.

К вечеру позвонила Наташина тетка и сказала, что она должна ему кое-что сообщить и было бы хорошо, если бы он зашел к Михаилу Михайловичу, к которому часов в восемь зайдет и она «поплакаться в жилетку». Коншин согласился, даже не спросив, что же должна она ему сообщить, а когда заикнулся, Антонина Борисовна повесила уже трубку.

Михаила Михайловича он довольно давно не видел и потому охотно отправился к нему в Борисоглебский. Михаил Михайлович встретил его без удивления, видать, и ему звонила Антонина Борисовна.

— Очень рад, Алексей, проходите... Ну, у меня, конечно, беспорядок.

Ни жены, ни сына дома не было. Михаил Михайлович предложил поужинать вместе с ним, но Коншин отказался, зная, что в этом доме негусто с кормежкой.

— Как хотите... Ну, рассказывайте о жизни, мы давно не виделись.

И Коншин рассказал о недавних событиях. Михаил Михайлович внимательно выслушал, а потом задумчиво сказал:

— Вы, дорогой, наверное, еще не представляете, от чего спас вас ваш приятель. Такие дела затягивают. И прощай тогда все ваши мечтания.

— Увы, я с ними более или менее и так распрощался, — уныло пробормотал Коншин.

— Я говорю не только о ваших честолюбивых мечтаниях, о большем — о всем направлении вашей жизни. Первый компромисс никогда не остается первым, за ним всегда идут следующие.

— Я не хочу оправдываться, но я действительно поверил Анатолию Сергеевичу, что... это на пользу дела... Ну а потом, конечно, хотелось выпутаться из долгов, ломбарда, ну и сбросить военное. Ладно, не будем больше об этом, я хотел рассказать вам еще что-то.

И Коншин рассказал о встрече Володьки с отцом Сергея и о его словах, что «там виноватых нет». Михаил Михайлович поджал губы и слушал об этом с еще большим вниманием. Когда Коншин закончил, Михаил Михайлович

долго молчал, долго раскуривал папироску, потом сделал несколько затяжек и лишь после этого протянул нарочито небрежно:

— Ну и что? Возможно, отец Сергея действительно не виноват, взят по ошибке, но отсюда никак не следует, что там нет виноватых. Я бы на вашем месте не придавал этому большого значения. Да и вообще, стоит ли об этом думать? У вас мало своих проблем?

— Хватает, конечно... В войну я не задумывался, не до того было, но сейчас...

— Не надо и сейчас,— перебил Михаил Михайлович.

— Почему не надо?

— Не надо — и все. Вы молоды, у вас должно быть все ясно и безоблачно, вы должны строить будущее. Я не призываю вас к бездумности, но, чтобы решать такие вопросы, надо многое знать. Понять хотя бы логику классовой борьбы. Революции не бывают без крови и жертв.

— Сейчас же не революция! — воскликнул Коншин.

Михаил Михайлович не успел ответить, зазвонил звонок, и он поднялся.

— Это Антонина Борисовна, наверно,— и пошел открывать дверь.

Антонина Борисовна метеором ворвалась в комнату, сбросила шубу, взглянула мимоходом в зеркало и с ходу начала:

— Слушайте, мужчины, и скажите мне совершенно откровенно: очень я страшная и старая? Если очень, тогда мне все ясно и вопросов больше не будет. Если не очень, то ответьте тогда, какого черта моему супругу нужно на старости лет?

Если по-честному, то Коншину Антонина Борисовна казалась и старой и некрасивой, но он пробормотал что-то комплиментарное. Михаил Михайлович помалкивал, иронически улыбаясь.

— Вы, Алексей,— душка, но, разумеется, все врете. Вот Михаил Михайлович помалкивает. Выходит, я вышла уже в тираж. Грустно, конечно, но что поделаешь? В конце концов, у женщины должна быть духовная жизнь, и — да здравствует она! Кстати, моего благоверного облапошивает его же студентка. С восторгом представляю, как он будет пыжиться и как с блеском оскандалится! Понаблюдать бы эту картину! Посмотрите на мои руки! Уже сколько лет тащу семью одна, а он пять лет пыхтит над какой-то никому не нужной диссертацией. Если эта девчонка наде-

ется на роскошную жизнь, то жестоко обманется. Ну и что мне делать? — она села и засмолила свой дешевый «Прибой». — Перестаю давать ему жрать. Это, наверно, первое, что я сделаю. Как вы думаете? Пусть лопает в своей институтской столовой. Второе — я перестану стирать его кальсоны, пусть этим занимается его пассия. Ну и что еще? В-третьих, я отмою наконец-то свои руки, сделаю маникюр и брошу эту каторжную, грязную работу. Буду ходить в театр, в музеи и читать книги. Как программа?

— Замечательная,— с той же улыбкой ответил Михаил Михайлович.

— По-моему, тоже. И да здравствует полная свобода! Вот и поплакалась в жилетку. А теперь, милый Алеша, должна вам сообщить...— она остановилась.— Про Наташку можно при Михаиле Михайловиче?

— Можно,— сжался Коншин.

— Так вот, вы знаете, что я вас очень люблю, вы — свой. Я сама довольно разбросанный человек и терпеть не могу серьезных и скучных людей. Но моя сестрица совсем другая, и она от встречи с вами в восторг, разумеется, не пришла...

— Я это понял...

— У Наташки, конечно, своя голова, она девчонка умненькая, но кое-что у нее от мамы есть — и некая рас-судительность, и даже рассудочность... Кстати, ничего серьезного у вас не было?

— Что вы, Антонина Борисовна! Разумеется, ничего.

— Я так и думала...— она замолчала, закурила вторую папиросу.— Ну, что я тяну?..

— Не знаю,— сказал Михаил Михайлович.

— А я знаю. Мне трудно сказать, и не знаю, как сказать. Подождите маленько, соберусь с духом. Сперва скажите, Алеша, что произошло у вас в последнюю встречу?

— Она была у меня дома, ну и я... дал ей читать письма приятеля насчет Гали... Наташе показалось, что письма вранье, и она стала укорять меня в бездушии, бесчувственности, ну и в прочих грехах...

— И в том, что вы виноваты в разрыве с Галей? Да? — продолжила Антонина Борисовна.

— Да,— хмуро сказал Коншин.— Ну, говорите, Антонина Борисовна.

— Наташка собирается замуж.

— Вполне естественно в ее возрасте,— заметил Михаил Михайлович, перестав улыбаться.

— Вот как...— поднял голову Алексей и попытался улыбнуться.

— Но не подумайте, что за капитана второго ранга, который ухаживал за ней на работе и вроде бы делал предложение. Нет! Это какая-то старая довоенная любовь. Больше ничего не знаю, кроме того, что он студент... Короче, Алеша, вы должны немедленно позвонить ей и добиться встречи.

— А стоит ли?.. Раз она решила...

— Ничего она, по-моему, не решила. Очередной взбрык! А потом, потом, мне кажется, она не очень уверена в ваших чувствах.

— Она говорила об этом?

— Говорила. Кроме того... какие-то девицы с вокзала, которые у вас ночуют... И не говорите мне, будто все это ерунда. Что я не понимаю, что молодой мужчина не может жить монахом. Но Наташка еще девица! Ей это непонятно. Вот и объяснитесь с ней, убедите, соврите в конце концов, это же будет святая ложь.

— Конечно, Алексей, вам надо встретиться,— подержал гостью Михаил Михайлович.

Коншин пошарил в кармане, вынул пачку «Беломора», закурил.

— Ну что вы молчите? — накинулась на него Антонина Борисовна.— Действуйте. Звоните прямо отсюда.

— Мне надо подумать,— он поднялся и стал прощаться.

Вышел в переулок и долго стоял, не зная, куда ему тронуться. Было уже около девяти вечера, Наташа должна вернуться с работы. Он добрал до телефона-автомата и позвонил ей. К телефону подошла ее мать, и он повесил трубку. На Садовой он сел в троллейбус. От Красных ворот ноги сами понесли его к Наташиному дому. Войдя во двор, он посмотрел на окна — света не было. Зайдя в парадное, решил дожидаться ее. Простоял около часа, но Наташа не возвращалась. Он еще раз вышел во двор, света в комнате все не было. Промаявшись еще почти час, он вдруг понял, не знает он, что сказать Наташе. Погодите выходить замуж, подождите, когда я окончу институт и разведусь с Галей? Глупо. А что еще сказать? Он выкурил подряд две папиросы и с ноющей тоской в сердце вышел из Наташиного парадного... Вот и не будет больше встреч у тех, существующих лишь в его памяти, Красных ворот, через которые трехлетним ребенком въезжал он в Москву,

а можно сказать, и в жизнь... Встреч, являвшихся, пожалуй, единственно радостным, что было у него в последнее время. Он почему-то не чувствовал ревности и неприязни к будущему Наташиному мужу. Просто было очень больно, что у него больше не будет того, что было...

Выйдя к Красным воротам, он пересчитал деньги. Оказалось около двухсот, и хотя они были последними, он направился в «Коктейль-холл»...

40

На другой день Коншин все утро бессмысленно вышагивал из угла в угол, не находя себе места, и читал про себя родившиеся вчера в «коктейле» строчки. Полночи отделявал он стихотворение, так выразившее его тоску, что он повторял его сейчас, он даже чувствовал жалость к самому себе. Промаявшись полдня, он оделся и пошел к Марку, в Лавры — может, отвлекусь малость, подумал он.

Марка он застал неработающим, был тот без халата и без палитры в руках, с которой всегда отворял дверь.

— Заходи,— вроде бы даже обрадованно, как показало Коншину, встретил его Марк.

— Не помешаю? Ты, вижу, не работаешь?

— Антракт. Проходи. Кофейку хочешь?

Кофейку Коншин после вчерашнего, конечно, хотел и присел за стол. Марк поставил чашки, принес из кухни кофейник. Наливая кофе, глянул на Коншина и протянул:

— Вижу вы, сэр, не в форме... Что случилось?

— Долго рассказывать. Хочешь, прочту стихи? И все поймешь.

— Свои? — удивился Марк, а когда Коншин кивнул, добавил с усмешечкой: — Любовная лодка разбилась о быт?

— Вроде этого...

— Что ж, валяй.

Коншин отхлебнул глоток кофе и начал:

— Я не настолько пьян сегодня, в этот вечер, Чтоб не понять, Что никогда мне ваши плечи Не обнимать, Что лучше бы о нашей встрече Не вспоминать. Мой взгляд сегодня не настолько мутен, Чтобы не разглядеть, Что слишком часто пьян я и беспутен, Чтобы меня жалеть. Не думать, позабыть о старом Поможет хмель. Вот почему так часто за высоким баром Тяну коктейль. Вот почему так больно, грустно в этот вечер, Что не до жалких фраз...

Не обнимать мне ваши плечи, не целовать вам глаз...

— Что ж, вроде недурственно,— так же усмехаясь, сказал Марк.— Ну и что дальше? Будем «За высоким баром тянуть коктейль»? Не стоит, сэр... Все это дым. Не будешь «обнимать эти плечи», будешь — другие, и в самом скором времени.

— Ты не понял, Марк,— с горечью вырвалось у Коншина.

— Стихов?

— И стихов и меня... Мне плохо сейчас.

— Хотел бы посочувствовать, но не выйдет. Я же говорил тебе: девицы, вино, все это...

— Знаю.

— Кстати, о водке. Когда из-за несчастной любви пускают пулю в лоб, что, разумеется, глупо, это все же романтично, но когда спиваются — это не только глупо, но и некрасиво. И главное, пошло.

— Я не собираюсь спиваться. С чего ты решил?

— Просто предупреждаю... Ну-с, еще какие новости?

— Вот,— невесело усмехнулся Коншин, доставая из кармана письмо из редакции.

Марк пробежал его глазами и пожал плечами.

— А что было до этого?

Коншин рассказал в двух словах, без особых подробностей.

— Партизаним, значит? Неумно, конечно, но все же поступок. Не горюй. Я взял большой заказ на ВСХВ, поработаешь со мной.

— Правда? — воскликнул Коншин.

— Я хотел как раз зайти к тебе на днях.

Тут раздался звонок у входной двери. Марк недоуменно повел плечом и пошел открывать с недовольной миной. Вернулся он еще более недовольный, с мужчиной небольшого роста, полненьким, одетым в добротное пальто бежевого цвета, и женщиной, которую Коншин сразу не разглядел. Полненький, не успев войти, быстро заговорил:

— Вот где, значит, ты обитаешь? Еле разыскали... Ну, говори, как живешь, что пишешь? Слышал, шедевры творишь? Почему в союз не приносишь, выставка скоро. Я, кстати, сейчас там не последняя скрипка, в выставкоме. Могу помочь. Покажешь работы-то? Ты что такой опрокинутый? Не ждал? Но если гора не идет к Магомету, то Магомет...

— Погоди, Юрий, не тараторь... Раз пришли, так раз-

девайтесь и проходите,— Марк подошел к женщине и взял у нее шубу. Лицо его при этом было кислое.

Женщина отдала шубу, прошла в мастерскую, огляделась и, не увидев картин на стенах, уставилась на сложенные в углу подрамники.

Здесь Коншин и узнал ее...

— А что, чудесная мастерская, Марк,— продолжал полненький.— Сколько платишь? — и, не дождавшись ответа, повернулся к Коншину.— Твой ученик? — и, опять не став ждать ответа, сказал уже Коншину: — Вы извините, молодой человек, но мы пришли к Марку по важному делу, нам предстоит серьезный и, так сказать, конфиденциальный разговор, так что, может быть, вы...

— Он останется, Юрий,— перебил Марк резко.

Женщина взглянула на Коншина, прищурив, видимо, близорукие глаза, и воскликнула:

— Бог ты мой! Где-то я этого молодого человека видела! И совсем недавно,— она еще больше прищурила свои и так узкие зеленоватые глаза.— Это вы помогли мне избавиться от того ужасного человека на бульваре?

— Вы же попросили...— смущенно ответил Коншин,— он всегда терялся перед красивыми женщинами.

— Ты слышишь, Марк? Твой друг меня спас.

— Очень рад,— бросил Марк безразлично.

— Тогда прекрасно! Все знакомы, и беру свои слова обратно. Я думал, товарищу просто будет неинтересно. Разговор-то предстоит долгий. Кто-то из наших говорил, Марк, что тематика у тебя ничего, но вот исполнение... В формализм малость ударился. А сейчас, знаешь, как с этим? Низкопоклонство, космополитизм, оттудова и формализм прет...

— Ты можешь на минутку остановиться? — перебил Марк.— Мне нужно Валерию спросить.

— Пожалуйста. Молчу, молчу...

— А ты зачем появилась?

— Давно хотела посмотреть, как ты живешь. Узнала, что Юрий собирается к тебе, вот и появилась,— ответила она спокойно, даже как-то лениво, не отводя глаз от Марка.

— Надо было узнать, хочу ли я этого.

— А почему бы тебе не хотеть? Мы так давно не видались,— улыбнулась она.— А потом, мне тоже интересно поглядеть твои работы.

— Вы все так уверены, что я их буду показывать? Зря. И не собираюсь.

— Это ты напрасно, Марк, напрасно,— зашепшил Юрий.— Ты должен показать. Я пришел к тебе не только как друг, а и как представитель МОСХа. Руководство интересуется, что ты делаешь, и мне поручили. Да, поручили ознакомиться с твоими работами и отобрать что-то для всесоюзной выставки. Или ты не хочешь участвовать? Так это нужно! Иначе твое пребывание в организации станет весьма проблематичным. Понимаешь? Ты несколько лет не появляешься ни в союзе, ни в фонде. Никто о тебе ни черта не знает. Ты же, друже, не на облаке живешь. Коллектив должен знать...

— Хватит,— прервал он опять.— Но зачем ты пришел с Валерией? Она же не представитель МОСХа?

— Я не в курсе, что у тебя там с Валерией. Она попросила меня, и я... я не имел никаких оснований отказать ей.

— Ладно, Марк,— так же лениво начала Валерия,— я могу выйти на улицу или в другую комнату, когда ты будешь демонстрировать свои работы, но потом мне надо будет с тобой поговорить. Это можно, надеюсь? — опять со спокойной, чуть снисходительной улыбкой.

— Не знаю, о чем ты собираешься говорить. По-моему, уже давно обо всем переговорено.

— Я знаю о чем. Так куда мне выйти?

— Оставайся,— буркнул Марк раздраженно.

— Вот и ладненько! — воскликнул Юрий, потирая руки.— Давай расставляй, друже. Я аж дрожу, так интересно, что ты наработал. Ведь в гениях в институте ходил, да и перед войной превосходную вещицу сотворил.

Марк отошел в угол мастерской, где сложены были подрамники, и не спеша стал выбирать из них то, что решил показать. Юрий, все так же потирая руки, мерил мастерскую нетерпеливыми короткими шажками. Валерия опустилась в кресло и вынула из сумочки пачку «Казбека». Коншин во все глаза глядел на нее — вот, оказывается, какая она, бывшая жена Марка, о которой он никогда ничего не говорил, но которую, наверно, продолжает любить, потому что такую женщину, по мнению Коншина, не любить было нельзя.

Марк расставил подрамники около мольберта и один поставил на него, сдернул простыню и произнес с усмешкой:

— Только не думай, представитель МОСХа, что меня очень интересует твое мнение.

— Ты все такой же нетерпимый, Марк. Ладно, тебе сие, наверное, позволено, но все же, все же,— вlepился Юрий в холст.

Он отходил от него, подходил ближе, глядел и сбоку, то с одного конца комнаты, то с другого, прищелкивал пальцами, что-то бормоча про себя, потом покачал головой, уселся.

— Потрясающе! Конгениально! Поздравляю, Маркуша, поздравляю. Это, конечно, штука! Но... увы, но...— он еще раз покачал головой.— Понимаешь, Марк, не поймут же тебя. Увы, не поймут. Не привык наш зритель к такому. Поближе, друже, к соцреализму надо, поближе... Ну, зачем такая деформация фигур? Ну, я-то понимаю, поймет и еще кто-то из профессионалов, но народ? Он-то не поймет. Он к другому привык. В формализме же обвинит народ-то. Почему, спросит, все такое закрученное, нереальное? — он перевел дыхание.— Ну и жестоко, конечно, очень... Но главное, разумеется, в нарушении пропорций. Скажут же, рисовать не умеет... И еще, Марк...

— Все,— перебил Марк и закрыл картину простыней.

— Да ты не обижайся, друже, я-то все понимаю, но... выставком.

— Я знаю, что выставком, потому и не несу,— очень спокойно сказал Марк.— Ну все? Больше показывать не стоит?

— Обязательно покажи, обязательно.

— Нет, не буду... Передай руководству, что работаю, но выставляться пока считаю преждевременным. Так и скажи.— Марк отошел от мольберта и уселся на стул верхом.

К удивлению Коншина, он поглядывал на всех веселыми глазами, на губах дрожала такая же веселая, даже победоносная улыбочка, вроде он всем доволен.

— Ну-с, сеанс окончен. Какие будут вопросы у уважаемой публики?

— У меня есть вопрос,— включаясь в игру и даже подняв руку, сказала Валерия.

— Прошу.

— Скажи, Марк, только совершенно откровенно. Ты уверен в своей правоте, уверен, что делаешь именно то, что нужно?

— Абсолютно. Я делаю то, что для меня нужно.

— Мы работаем не для себя, Марк, для народа,— быстро выпалил Юрий.

— То, что нужно для меня, нужно и для народа. Я не отделяю себя от него.

— И в этом ты уверен? — спросила Валерия.

— Конечно... Кстати, а ты-то, Валерия, чего знаешь о народе? Я-то бедовал с ним вместе — и на фронте и в плену. У меня-то связь с ним кровная, в буквальном смысле этого слова, одно хлебово хлебали, одной кровушкой умывались... — Марк поднялся со стула.

Поднялась и Валерия, сделав несколько шагов к вешалке. Марк опередил ее и подал пальто.

— Мне все ясно, Марк. Ты остался таким же, думающим только о себе. Представь себе, мне даже тебя жалко. Тебе, видимо, нравится ходить в непризнанных гениях. Что ж, только подумай, жизнь-то всего одна.

— Именно об этом я и думаю, — быстро сказал Марк, накидывая на нее пальто. — Привет твоему уважаемому папаше.

— Ты продолжаешь думать, что все из-за отца? Нет, Марк, у нас просто разные взгляды на жизнь.

Надел пальто и Юрий. Увидев, что разговор Марка с Валерией окончен, он подошел к Марку:

— Зря ты не показал остальные работы. Может, чего-нибудь и выбрали бы для выставки. Слушай, перепиши ты эту вещь без фокусов, и она пойдет. Ну зачем тебе эти сломанные формы? Напиши, как все пишут, как принято, в конце концов! Ведь лбом стену не прошибешь! Или что-нибудь новое, что тебе стоит? Какой-то сюжетик легонький — и на выставку. А то забудут тебя совсем, надо же появляться хоть изредка, напоминать о себе. Ты смотри, ребята-то наши, однокурсники, карьеру делают... Ты не морщись, ничего в том зазорного нет. Надо вперед двигаться и искусство наше вперед двигать. Ты же засохнешь в мастерской своей. Как писателю читатель нужен, так и нам — зритель. Ну и критика тоже нужна. Пора, пора, Маркуша, вылезать из берлоги на свет божий. Вылезай, прошу, даже молю. Права же Валерия, зачем в непризнанных гениях обитать, когда ты со своим талантом можешь в первые ряды выйти. Ну, напиши что-нибудь этакое, ну чтоб без сучка и задоринки выставком прошло...

Марк молча, с усмешечкой выслушал Юрия, потом недвусмысленно подошел к двери.

— Пойдем, Юрий... По-моему, мы сказали достаточно. — Валерия открыла дверь и выплыла из мастерской.

Уже в двери Юрий еще раз посоветовал Марку подумать серьезно и долго тряс на прощанье ему руку. Проводив гостей, Марк вернулся, подошел к Коншину, положил руку на плечо:

— Вот так-то, Алексей, а ты — «никогда мне ваши плечи не обнимать». Детство это все, детство...

Коншин не очень понял, к чему сказал это Марк, как и то, почему он оставил его в мастерской, когда пришли эти люди. Поймет потом, и нескоро.

41

К «той» женщине надо было ехать с Казанского вокзала. Встретиться договорились на пригородных платформах. Нина, разумеется, опоздала, она просто органически не могла приходить вовремя, в назначенные часы, и Игорь терпеливо расхаживал по платформе, пропустив одну электричку, а потом и другую... Наконец-то она появилась в легоньком пальтишке и без беретика. Третью электричку пришлось долго ждать. Нина была рассеянна и неразговорчива. Ходили по перрону, перекидываясь изредка ничего не значащими словами, о главном говорить не могли. Игорь был напряжен и угнетен неотвязной мыслью, что они собираются делать что-то гадкое и противоестественное. Он понимал, что хотя аборт и разрешит все проблемы, но вряд ли после этого ему станет легко и просто. Совсем нет, а поэтому он решил по дороге еще раз попытаться уговорить ее отказаться. Еще до прихода электрички начинал он издали свои уговоры, но Нина раздраженно передергивала плечиками, либо перебивая Игоря какой-то ерундистикой, либо просто отходила от него в сторону. Народу тем временем на платформе прибавлялось, и, когда подошла электричка, началась свалка у дверей, а Игорю с его палкой и поврежденным позвоночником было немислимо соваться в нее, а потому, когда они влезли в вагон, все места были заняты и им пришлось стоять в тамбуре. С одной стороны, хорошо, можно поговорить, но с другой — Игорю, уже уставшему в ожидании Нины, стоять всю дорогу будет тяжело.

— Нина, ты должна знать, что я против этого,— начал он, когда поезд тронулся.

— Ты всего боишься, Игорь. Мне это противно.

— Я не боюсь. Я принципиально против этого.

— Зачем же ты едешь со мной?

— Я поехал, чтоб отговорить тебя.

— Поздно меня отговаривать,— тряхнула она головой.— Вот уж никогда, никогда не думала, что ты струшишь. Если бы ты видел свою физиономию в тот момент. И ты сразу для меня стал куда-то уходить и сделался маленьким, маленьким... Не человеком, а каким-то человечком. Ладно бы не распространялся на эту тему, не твердил мне о семье, о долге и прочем...

— Нинуша, я признался, что действительно растерялся, ведь это было неожиданно. Я не готов был. Понимаешь, не готов? Но сейчас-то я все обдумал и все решил, но ты не захотела меня даже выслушать.

— И не буду,— упрямо заявила она, опять тряхнув головой, откидывая со лба челку.— И хватит об этом.

В Краскове, где они слезли, Нина раскрыла свою сумочку, поковырялась в ней, охнула:

— Я забыла бумажку с адресом. Ну, не дуриха?

— Значит, судьба,— обрадовался Игорь, облегченно вздохнув.— Поехали обратно.

— Погоди, не могла же я...— она начала шарить по карманам и наконец нашла замусоленную, мятую бумажку, где был нацарапан адрес.— Это по левой стороне. Пошли.

— Нинуша, ну в последний раз давай подумаем. Не надо идти.

— И не ходи, я пойду одна.

Делать было нечего, и Игорь поплелся за ней. Они долго ходили по каким-то просекам, называемым улицами, и еле-еле нашли дачу под номером тринадцать. Разумеется, Игорь не был суеверным, но эта цифра была последним шансом. Может, подействует на Нину?

— Чертова дюжина, Нинуша... Тебя это не пугает?

— Нет,— ответила она, но неправду. Цифра тринадцать как-то неприятно подействовала на нее.

Сразу вспомнились страшные рассказы подруг о трагических случаях, о заражении крови и прочих страшностях, вполне возможных. Она и до этого боялась, а сейчас ей просто стало не по себе. Но все же она решительно нажала на кнопку звонка около глухой калитки и стала ждать, уже заранее страшась увидеть «бабку», какую-нибудь старую каргу, похожую на ведьму. Но калитку открыла не бабка, а женщина лет сорока, правда, не очень симпатичная, с острыми бегающими глазками.

— Я от Марии Петровны,— пролепетала Нина робко.

— Понятно... Проходи, девочка... А это кто? А, понимаю, виновник торжества. Ему бы не надо было приезжать.

— Мы только... предварительно... договориться... — сказала Нина.

— Ладно, пусть тогда молодой человек подождет здесь, а вы проходите.

Нина прошла вслед за хозяйкой, которая провела ее на терраску, усадила в плетеное кресло и быстро расспросила: на каком месяце, в первый ли раз, ну и что она должна после этого сразу уйти.

— Но если я не смогу?

— Сможете, милая. Оставить вас мне нельзя. Ну и, разумеется, об этом никому. И вашему... кавалеру скажите, что мы не договорились, что вы раздумали. Это мои условия. Должны понимать, что я рискую. Когда сможете приехать?

— А вы... вы врач? — робко спросила Нина.

— Я акушерка. Можете не беспокоиться, все будет в порядке. Не забудьте захватить деньги, а то некоторые... забывают, а я деньги беру вперед. Так когда?

— Когда вы скажете.

— Приезжайте завтра вечером, к шести часам.

— Хорошо, приеду, — пробормотала Нина, но не очень уверенно — женщина доверия не вызвала и была ей неприятна.

— Хорошо, жду. Но не опаздывать, девочка.

Когда Нина вышла, Игорь сидел на скамеечке, что была напротив, и дымил.

— Ну что? — поднялся он и пошел к ней навстречу. — Что? — спросил взволнованно.

— Договорились на завтра. В шесть вечера.

Нине стало страшно. На какой-то миг захотелось ей уткнуться Игорю в грудь и разреветься, но она сдержалась, хотя слезы и подступали к глазам.

— Не надо, Нинуша, не надо, — он взял ее руки в свои, сжал, а потом начал целовать. — Не надо. Все будет у нас хорошо. Ведь сейчас все зависит от тебя. Ну, прости мне минутную слабость и растерянность.

— Придется все же завтра... приехать...

— Нет, не придется, — вдруг решительно сказал он. — Я не позволю тебе этого.

— Брось, Игорек, как ты не позволишь? — отмахнулась она.

— А так! К шести часам завтра здесь будет наряд ми-

лиции. Да, да! Даю тебе в этом честное слово. А ты знаешь, я его никогда в жизни не продавал. Я это сделаю, можешь не сомневаться.

Игорь даже стал казаться выше ростом, ноздри его раздувались, пухлые губы дрожали. Нина вспомнила, как закатил он один раз в госпитале грандиозный скандал и так бушевал, что прибежал даже главврач его успокаивать. Нет, он, конечно, сделает, что решил, и это в общем-то должно было быть ей приятно, как-то примирить с ним; но на душе было странно пусто, и его поступок не вызвал никаких чувств, просто все стало безразлично и даже не порождало то, что завтра ей уже не надо приезжать сюда и подвергаться неизвестной, а потому пугающей операции.

— Пошли на станцию, — все так же решительно сказал Игорь, взяв ее за руку.

42

Петр Бушуев, как начались погожие, предвесенние дни, понемногу начал прогуливаться по родным московским улочкам, ведь покинул он Москву в тридцать шестом, добившись военного училища, о котором мечтал с ранней юности. А там Дальний Восток, в тридцать восьмом — Хасан, в тридцать девятом — Халхин-Гол. Хоть и невелики были бои, недлительные, но все же настоящая война, и с потерями и со смертями, но и с геройством. Хорошо дрались ребята, честь им и слава. В сорок первом, еще в апреле двинулась их часть на запад. Ехали с радостью, надоел уже Дальний Восток с его сопками, малолюдством, суровым климатом и нелегкой службой. Но некоторые понимали, что перебрасывают часть неспроста, что ждет их на западе не просто служба в обжитых и хлебных местах... Но об этом не говорили, не положено было о войне помнить, с Германией-то — мир и дружба.

После операции нога побаливала, ходил Петр с палочкой, но променажи делал порядочные; особо часто в парк ЦДКА заходил, еще до армии любил там бывать — и на лодочке катался, и на танцплощадке не последним танцором был. Пройдется там по аллеям, потом присядет на скамеечку, задымит «беломориной» и жизнь свою вспоминает. Что ж, жизнь как жизнь, честная, по совести... В войну, правда, выпивать приходилось часто: вначале — чтоб напряжение чрезмерное и усталость снять, ну а в конце победы отмечали. За каждый город взятый, а то и за пункт населенный — какое-никакое, а празднество. Тогда и на-

грады пошли густо, обмывали... С бабами Петр не баловался, если и были два-три случая, так по пьянке, а душой оставался верен Катеньке. Из-за него же, чтоб с ним не расставаться, скрыла она беременность, только когда убило ее, сказал врач, приходила она, средства какого-нибудь просила, но слово с него взяла, чтоб не говорил Петру... Ну а тот, дурак честный, слово сдержал. Так с дитем и убило Катеньку...

В своих прогулках проходил Петр не раз и мимо заведения дяди Гриши, но не заворачивал: не любил на ходу да в стоячку пить. Однажды встретился ему около павильона его недавний знакомец, бывший солдат Галкин.

— Товарищ подполковник, увидел я вас через окно. Здравия желаю,— и вытянулся с радостной улыбкой.— Я при деньгах сегодня, должен ответить вам на ваше тогдашнее угощение. Прошу не отказать, зайдемте к дяде Грише.

— Здорово, солдат... Галкин, кажись?

— Он самый, товарищ подполковник! Запомнили, надо же... Так не откажите, товарищ подполковник, однопольчане же мы...

— Ладно, зайдем,— добродушно согласился Петр.— А что не на работе?

— Бюллетеню, товарищ подполковник. Я же инвалид второй группы, мне бюллетень в любой момент дают, только попроси.

Был Галкин и верно при деньгах, заказал коньяку, бутерброды с икрой и бутылочку фруктовой на запив. Поднес Петру на тарелочке, все так же сияя доброй улыбкой, и стало Петру приятно, ушел на время от мрачных мыслей, вспомнил, что был с солдатами всегда хорош, хоть и строг и что вроде бы любила его братва и за лихость — в блиндажах-то не отсиживался — и за внимание; многих по фамилиям знал и щеголял этим, особенно перед новенькими офицерами, которые в полк прибывали. В общем — отцомандир. В разговоры длительные, конечно, с солдатами не вступал — и некогда, да и незачем, а сейчас можно и поговорить с этим Галкиным, заглянуть, как говорится, в душу, чем жил солдат, чем болел на службе-то фронтовой.

Ну и поговорили... Опять Галкин пошел провожать Петра Севастьяновича до дома. И вот не в этот, а в следующий раз, когда опять повстречались у павильона дяди Гриши, после провожания пригласил Петр его к себе до-

мой. Скучно днем было в пустом доме, все же на работе, Женька на занятиях своих, ну и тоска. Пробовал Петр занять время хозяйственными делами, а было их порядком — и табуретки расшатались, и у шкафа дверцы на честном слове держались, и матрац бы надо перетянуть. Но когда занялся, увидел — отвык от ручной работы, потерял навыки, ведь, честно говоря, за всю, может, службу, исключая училище, и гвоздя не довелось вбить; все солдаты делали, в белоручку превратился, тяжелей пистолета ничего в руках и держать не приходилось. Даже неприятно от этого Петру стало.

Когда Галкина в дом привел, как раз табурет разломанный и стоял в комнате, делал он его, делал, а не доделал. А солдатик сразу это заметил, зачесались руки и тут же начал возиться, а через минут десять стояла табуретка крепенько подбитая.

— Может, чего еще по хозяйству найдется? Я моментом.

— Да нет, хватит. Ты садись-ка лучше, побалакаем, вспомним деньки огневые, потревожим душу, чтоб всякой дрянью не зарастала. Что ни говори, вот прошла война, и как на ней тяжело ни было, а вспоминается все же хо-рошо.

— Так точно, товарищ подполковник!

— Да ты брось по званию-то, зови по имени-отчеству. Разрешаю.

С тех пор и стал заходить бывший солдат к Петру Севастьяновичу, правда, всегда только по приглашению, без этого не приходил, субординацию понимал, но разговоры у них выходили задушевные; больше говорил, конечно, сам Петр Севастьянович, но и Галкину удавалось словечко вложить, и, как правило, к месту. Вот спросил один раз Петр, помнит ли он Катюшу, санинструктора их батальонного, а солдат Галкин на это целый монолог выдал:

— А как же, Петр Севастьянович, такую распрекрасную девоньку не помнить? И ладная была, и каждому ласковое слово скажет, впрямь сестрица родная каждому солдату. Век нашу Катеньку не забуду...

Петру Севастьяновичу слышать такое было приятно, и иногда, растрогавшись, лез он в шкафчик, наливал Ивану Галкину рюмашку. Порой и сам пригубливал.

О делах своих он, конечно, перед Галкиным не распространялся, но чуял тот, подполковнику не очень-то хорошо, мается, потому и прошлое вспоминает.

Как-то раз застала их Настя, придя на обед с работы, и почему-то этот Галкин ей не понравился. Сказала Петру, когда тот ушел:

— Что это, Петя, друга себе нашел такого замухрыжного? Пьяница, видать?

— Это солдат мой, Настя. Не трогай, мое дело. Мне с ним хорошо, может. Поняла?

— Да мне что, пожалуйста, води кого хошь. Странно только,— пожалала она плечами.

— А ничего странного нет. Мне солдат завсегда ближе, может, был какого офицера. Хоть солдат без командира мало что значит, но самые тягости ему довелось пережить и перемочь. Уважать солдата надо.

Такое Настя от Петра слыхала впервые, и ей понравились эти слова. Больше она разговора на эту тему не затевала — прав брат. А потом вспомнила, что солдат этот Галкин служил у Петра в батальоне как раз в сорок втором году, а Марк говорил, что в том же году в плен попал. Может, в одно время все это было? Расспросить бы этого солдата ненароком, но для этого надо его без Петра увидеть. И стала Настя такого случая искать...

43

Если на Марка коншинские вирши не произвели никакого впечатления, то в «Коктейль-холле», в который потащился он, не выдержав вечернего одиночества, несмотря на предупреждение того же Марка, эти стихи, прочитанные Коншиным барменше Риммочке, успех имели и вызвали даже восторги. Прошедшая, наверно, через огонь, воды и медные трубы Риммочка была сентиментальна, и такая возвышенная любовная грусть ее растрогала.

— И кто же она такая, ваша любовь? — спрашивала она его.— Хоть бы мне кто такое написал... Приготовить еще?

Коншин кивал, пил еще один коктейль и, хмелея, наполнялся сладковатой тоской — «Не обнимать мне ваши плечи, не целовать вам глаз...», и не приходило ему в голову очень простое, что читать стихи, посвященные Наташе, здесь — совсем не место, что это если и не кощунство, но что-то вроде этого. Но он продолжал лепетать их и про себя, и вслух Римме, находя в этом горькое наслаждение. И продолжалось это до тех пор, пока не пробежала мысль, что Наташа-то собирается замуж не за красивого кавто-

ранга, с которым он ее видел, а за такого же студента, возможно еще более нищего, чем он, и нечего ему упиваться жалостью к самому себе, не лучше ли подумать о том, что не приняла в нем Наташа, почему не смогла поверить в него, что оттолкнуло ее?

Он даже отрезвел немного, отодвинул от себя бокал и стал перебирать в памяти все встречи с Наташей, все их разговоры, стараясь взглянуть на них и на себя глазами Наташи. Это не сразу получилось у Коншина, но когда получилось, то, увы, «светлого образа» не вышло... В какие его чувства она могла поверить там, на даче, когда после ночи у костра, первых поцелуев он весь день ворчал, что не может попасть в Москву? Ну и часто помятый вид его при встречах у Красных ворот, и «выходы» в рестораны после получек, и ночевка Аси, и, наконец, эта история с письмами Ленки Нахаева? Да еще его идиотское — «полюбите нас черненькими...». Да, глупо и бездарно все вышло, черт побери. А теперь вот — «Не думать, позабыть, не вспоминать о старом поможет хмель...»

— Пожалуйста, еще, Римма,— попросил он.

Он тянул коктейль и думал, что, наверно, надо написать Наташе большое-большое письмо, в котором все объяснить, и он начал его уже сочинять в уме, но мешали шум голосов, глупая песенка из радиолы: «О любви не говори, о ней все сказано...», громкий шепот сидящего рядом пожилого поэта, автора слов популярной песни времен гражданской войны, который бубнил стихи соседу по стойке, постоянный громкий смех какой-то женщины из зала.

Возвращался он домой пешком, денег на машину не осталось. Москва была пустынна. Изредка попадались парочки или одиночки, бредущие, как и он, домой. Проходя мимо магазина «Скупка золота и серебра у населения» на Петровке, он вспомнил, что хранится у него где-то десятирублевый золотой, подаренный ему дедом в юности, НЗ на крайний случай, если уж совсем станет туго. Сейчас как раз и наступило это «туго», до пенсии далеко, до стипендии еще дальше, и надо ему завтра что-то придумать — либо занимать у кого-то, либо направить свои стопы на Спасскую, в ломбард. Перспективы нерадостные.

На следующее утро заявился к нему ни свет ни заря Колюня Крохин. Коншин поднялся встрепанный, разбитый, как всегда после выпивки,— и противно, и совестно, и обидно за бессмысленно проведенное время и истраченные деньги.

— Извини, Алеха, что рано приперся, но дело у меня... Помнишь, для справочки ты мне печать сделал? Так вот еще на один документик надо.

— Какой еще документик? — протирая глаза, спросил Коншин.

— А вон какой,— и Колюня вытащил из рыжей полевой сумки стопку бумаг.— Аттестаты это. За среднюю школу. Дружок мой в типографии работает. Понял? Пока бумажки, а с печатью — документ! Оторвут с руками! По тысяче пойдут. Делим на троих, дружку часть, мне за реализацию, ну и тебе... Триста монет. Валяй поднимайся, быстренько сделаем...

Коншин не сразу сообразил, о чем это он, но, когда увидел бланки аттестатов, все понял.

— Я не буду этим заниматься,— тихо, но твердо сказал он.

— Да ты что? Деньги же сами в руки, двадцать минут работы, пяток отстукаем — полтора куска гарантирую. Боишься, что ли? Так ведь я все продумал, у меня один алкаш, который меня и не знает, все провернет. Даже если погорит, до нас не докопаются. Ты что, Колюню не знаешь? Чтоб я на таком дерьме погорел? Да ни в жисть!

— Кроха,— начал серьезно Коншин,— я тогда сделал для тебя, потому что верил, что сказал ты мне правду, сделал как товарищу-фронтовику. Понял? А это... это совсем другое.

— Но опохмелиться-то ты хочешь? Однова живем, Леха, больше я просить тебя не буду, к черту это, но сегодня-то давай сделаем. Один-единственный раз и — все, завяжем. Я своему дружку-то обещался твердо, сделаем, мол, без звуку, есть у меня друг... А ты?.. Давай, я сейчас за пивком сбегаю, поправишься малость и... Ну?

— Отстань, Колюня.

— Значит, все?

— Все. С этим все.

— У тебя же грошей нема,— покачал головой Колюня.— И чего кочевряжишься, не пойму.

— Ты ж, Колюня, мне всегда о своей честности твердил. А сейчас что мне предлагаешь?

— Так я в карман никому не лезу. Наоборот, доброе дело сделаем, сколько фронтовичков, не успевших десятилетку окончить из-за войны, нам спасибо скажут.

— А ты демагог, Колюня,— сказал Коншин и пошел в ванную.— Не уходи, я сейчас.

Колюня кивнул, закурил и призадумался. Его честная в общем-то душа жульничества не принимала, но в этом деле, казалось ему, ничего особо бесчестного нет. С точки зрения кодекса, уголовщина, конечно, налицо, но по-человечески-то?.. Черт побери, но и жить-то надо...

Коншин, вернувшись, сказал, надо ему золотой продать, денег у него и верно нет и не предвидится.

— Нет уж, Алеха, «рыжик» на черный денек побереги. Лучше уж давай пишмашинку загоним, это я тебе запросто устрою.

С машинкой расставаться Коншину не хотелось.

Колюня почесал в затылке, его цыганская физиономия напряглась, что-то он прикидывал, а потом хлопнул себя по лбу.

— Мелочиха устроит? — спросил он.

— Все меня сейчас устроит. Просадил вчера последние.

— Облигации есть, конечно?

— Разумеется.

— Доставай. Есть у меня один старикан, который скупает. Но по десятке за сотню. Устроит?

Коншин кивнул и полез в ящик буфета, где лежали разные документы и, кстати, тот десятирублевый золотой. Своих облигаций набралось на тысячу; остальные были родительские, их было много, но Коншин, разумеется, брать их не стал.

Старикана нашли в пивной, что на Мещанской близ Ботанического сада. Маленький, худенький, с острыми, бегающими глазками, он без всяких разговоров забрал облигации и отслюнявил десяток десятков. На сотню скромненько можно было прожить неделю, что Коншина вполне устраивало. Пришлось, конечно, поставить Колюне пива кружку, выпил и сам... На прощанье Крохин сказал:

— Правильно, что ты отказался. Мы же с тобой люди честные, зачем из-за мелочи мараться; любить — так королеву, воровать — так миллион... — закончил известной присказкой.

Марк верил в себя, а потому разглагольствование Юрки Шеховцева, когда-то приятеля, а теперь деятеля МОСХа, и вальяжной Валерии, разлюбезной бывшей супружницы, нисколько на него не подействовали. Наоборот,

чувствовал он себя победителем и, вспоминая эту встречу, каждый раз бурчал себе под нос: «Промахнулись, уважаемые, меня же не собьешь вашим соцреализмом, я-то в нем поболее вас понимаю, я знаю, что делаю». Но это то, что касалось дела, а вот само появление Валерии в его мастерской привело в раздражение. Он совсем без боли и даже обиды принял их разрыв, потому что был тогда наполовину мертв. Ему еще надо было войти в живые, обрести обычные человеческие чувства, и он как-то сразу выключил ее из своего существования. И вот появилась, напомнив, что была у него до войны какая-то другая жизнь, и это неясно тревожило его, отвлекая от главного. Сегодняшняя жизнь, освещенная большой задачей, казалась ему гораздо осмысленнее и важнее той, прошлой, возвращаться к которой он не намерен. Но все же после прихода Валерии воспоминания о предвоенных годах начали прорываться к Марку, внося беспокойство и раздражение.

— Кончил переживать? — спросил он Коншина, ждавшего его, как они договорились, у входа на Сельхозвыставку на Хованской.

Коншин кивнул с кислым выражением лица.

— Начнем работать, развеешься,— бросил Марк, а потом усмехнулся: — Тем более тут будет полно студенточек из Суриковского.

— Не до них мне,— махнул Коншин рукой.

На выставке Коншин не был с довоенных лет, забыл уже все павильоны и сейчас с интересом разглядывал этот почти сказочный разностильный городок. День стоял солнечный, по-настоящему весенний. От павильонов пахло свежей краской, около них крутился народ. Марк шел с рассеянным видом и молчал, а Коншину хотелось высказаться по поводу того разговора в мастерской Марка, но он не знал, с чего начать, и надеялся, что Марк сам скажет что-то.

— Знаешь, Марк,— начал он наконец,— я не всегда был на твоей стороне тогда.

— Да ну? — повернулся Марк.

— Аргументы твоего приятеля и Валерии показались мне убедительными. Я бы на твоём месте махнул бы большое полотно, выставился и утер всем нос. Ты же можешь...

— Что еще скажешь? — хмыкнул Марк.

— Больше ничего.

— Слава богу... Неужто ты не понял, что они как раз и хотят этого... моего поражения?

— Поражения? — удивился Коншин.

— Да... Но все это ерунда. Дело сейчас в другом — от меня уходит куда-то то, что питало мою работу,— уже серьезно сказал Марк и задумался.

45

Однажды Настя, возвращаясь с работы, встретила солдата Галкина. Он был под хмельком. Весело, малость заплетающимся языком поздоровался с ней, справился о здоровье Петра Севастьяновича и пошел вместе с Настей — то ли по дороге ему было, то ли поболтать захотелось. Насте было это на руку, завела разговор о времени, когда вместе служили солдат Галкин и Петр. Тот вроде даже обрадовался и начал сбивчиво, перебегая с одного на другое, рассказывать о своем житье-бытье в ту тяжкую весну сорок второго — и как наступали безудачно, и как голодуха навалилась из-за распутицы, и как залило водой всю передовую, и как силенок не было убирать и хоронить убитых, ну еще всякое, что на память приходило.

— Ну а что же больше всего запомнилось? — спросила Настя.

Солдат почесал за ухом, сдвинул свою армейскую ушанку набок и спросил сам:

— А Петр Севастьянович ничего вам не сказывал?

— Нет, ничего.

— Тогда я тоже говорить не буду,— решил бывший солдат.

— Почему же?

— А так... Незачем, раз сам Петр Севастьянович об этом не говорил.

— Что же это, тайна какая-то? — улынулась Настя.

— Тайна не тайна, но пусть уж сам подполковник вам расскажет.

— Ну раз об этом не хотите, так скажите, а как к нему солдаты относились?

— Что солдаты? Они ведь разные. Многие без понятий. А потом же Петр Севастьянович был для нас большое начальство, командир батальона отдельного, это вроде командира полка. Не каждый солдатик-то и видел его. Нашему брату кто самый близкий? Отделенный, затем взводный, ну и комроты, конечно, а комбат...— Галкин призадумался, несколько шагов прошел молча, потом папироску «Прибой» закурил и после нескольких затяжек добавил: —

Страшно мы наступали... Страшно. Силенок уже не было, а все давай и давай... Ну и некоторые ворчали: выслуживается наш комбат, орден хочет заработать на нашей... ну, понимаете ли, кровушке. Несознательные, конечно, такое брякали.

— Ну а вы как думали? — тихо спросила Настя.

— Я-то? Я понимал, на него, на комбата-то, тоже высшее начальство давит, приказы отдает... Он тоже человек не вольный.

— А он говорил, любили его солдаты,— задумчиво произнесла она.

— Может, и любили,— замялся Галкин.— Я, к примеру, очень ему благодарен за стопочку и хлебушек. До сих пор помню... А вообще, какая на войне любовь? С нашим братом порой без палки не обойтись, страх страхом надо было выбивать. Иной раз сил нету себя превозмочь, так тут и матерок, и окрик крепкий ох как помочь может. Ведь на пули-то идти очень и очень неохота... Это сейчас, когда времечко прошло, кажется, вроде бы и здорово на войне было. А тогда...— махнул рукой бывший солдат, вздохнул глубоко.

И поняла Настя — хотя и раньше представляла, — что для солдата Ивана война была — одно, а для брата ее — совсем другое, хотя и не отсиживался он в блиндажах, как говорил, и ранен был не один раз, но все равно — другое... И, придя домой, за обедом сказала она Петру:

— Тут я твоего солдатика встретила. Спросила, что самое памятное было в то время, когда вместе служили, так не ответил почему-то. Сказал, чтоб тебя спросила. Так вот и спрашиваю.

— А чего это тебе вдруг понадобилось? — сдвинул брови Петр.

— Так...

— Для меня весь сорок второй памятный. Тяжелый год был.

— Так что же было, о чем он говорить не захотел?

— Откуда я знаю, о чем он тебе не сказал? — хмуро усмехнулся Петр.— И зачем тебе все это?

— Вот зачем. Чем больше я, Петр, думаю, тем становится мне ясней, служил у тебя тот художник, который нам повстречался.

— Ну и что? Может, и служил.

— Так виноват ты в чем-то перед ним. Вот что я поняла,— выдохнула Настя наболевшее.

— Не придумывай. А если он ко мне претензии какие имеет, пусть придет, разберемся,— повысил голос Петр на последнем слове.

— Он-то не придет, а может, тебе к нему зайти? Поговорили бы...

— Еще чего выдумала! Не о чем мне с ним говорить. И хватит об этом. Не серди, сестра. У меня без него забот хватает.

На этом разговор окончился. Откинулся Петр от стола, закурил «беломорину», и осталась опять Настя ни с чем, не узнала того, чего хотела, только тревожней стало и беспокойней... И через несколько дней, преодолев стеснительность, побежала она в обеденный перерыв к Марку в мастерскую, но не застала и тогда зашла к нему вечером на квартиру.

Марк встретил ее с некоторым удивлением, но радушно. Помог снять пальто, проводил в комнату, все такую же захлавленную. У Насти непроизвольно вырвалось, когда вошла и огляделась:

— У вас все так же... Прибраться бы надо...

— Это мы переживем, миледи,— улыбнулся он.— Присаживайтесь. Я уж чувствую, о чем речь у нас пойдет. О братце вашем любезном?

— Да,— прямо сказала Настя и рассказала о встрече с солдатом Галкиным, с которым дружбу Петр завел, и о разговоре с ним.

Марк выслушал внимательно, не перебивая, потом протянул:

— Что для солдата Галкина памятно, то вашему братцу забыть, наверное, хочется. А может, и забыл. Крови-то много, а славы никакой.

— Что ж, выходит, Петр плохим командиром был? — напряженно спросила она.

— Наверно, не очень... Но честолобив был не в меру. Я вообще честолобцев не любил, а после знакомства с его благородием...

— Опять вы так! — перебила она.

— ...ненавидеть стал,— продолжал Марк, не обратив на Настины слова внимания.

— Так, может, и не так виноват Петр, как вам кажется? Может, переговорить вам стоит, прояснить все?

— А что? — усмехнулся Марк.— Я что-то вроде добреньким начинаю становиться. Можно и встретиться.

— Правда? — обрадовалась она.— Хорошо-то как!

— Уж не знаю, хорошо ли получится,— пожал он плечами.

— Должно хорошо. Петр ведь честный, он плохого сознательно сделать не может. Уверена, выясните вы все,— лицо ее посветлело, ушла напряженность.

Марку вдруг стало как-то приятно, что своим согласием вызвал он радость. Он смотрел на Настю с улыбкой и неожиданно для себя понял, что вспоминал ее часто, и не только в связи с картиной, а просто так. Перестав улыбаться, он спросил нарочито небрежно:

— А как, Настя, вы вообще ко мне относитесь?

Настя вздрогнула от неожиданности, потупилась, а потом подняла голову и, глядя прямо в лицо Марка, сказала:

— Не знаю... Жалею вас, наверно.

— Что-то подобное я слышал вроде от вас или нет?

— Не помню. Может, и говорила.

— А чего меня жалеть?

— Тяжело вы живете, по-моему.

— А легко только дураки живут,— засмеялся он.— Человек и должен тяжело жить.

— А для чего тогда коммунизм строим? — улыбнулась Настя.— О котором мой отец все твердит?

— А он твердит? — улыбнулся и Марк.— Я, Настя, о внутренней жизни говорю. Она не должна быть легкой и бездумной. Поняли меня?

— А в евангелии говорится: будьте как дети.

— Как это вы здорово — от коммунизма к евангелию! — опять засмеялся Марк.— Неужто почитывали?

— А вы?

— Я художник, мне многое надо знать. Читал. А вам к чему?

— У меня знакомая есть, мать одноклассника моего... Погиб он в войну, а мы сдружились, хожу к ней часто, навещаю. Одинокая она... Библиотека у ней хорошая. Я ж десятилетку окончила и... война. В госпиталь пошла работать... Кстати,— Верой Глебовной ее зовут,— когда я ей о вас рассказала, о картинах ваших, знаете, что сказала?

— Что же?

— Что Ромен Роллан в своей книге о Бетховене такие его слова приводил, что доброта главней всего в человеке... Я не точно, конечно, но смысл вроде такой.

— Занятно,— хмыкнул он.

— Вера Глебовна, кстати, сказала, чтоб я вам при случае это передала.

— Вот даже как? Что ж, поблагодарите ее.

— Она добрый человек, хороший... Многие я от нее узнала и поняла.

— И евангелие от нее?

— Да. Как сын погиб, стала верующей... Только не смейтесь,— поспешно добавила она.

— Зачем же смеяться? Я уже говорил вам, чужие убеждения уважаю, ежели они не бред собачий,— серьезно сказал Марк.— Ну а вас не заразила она своей религиозностью?

— Не знаю... Наверное, нет. У нас-то в семье один бог. Но задумываться заставила.

— Это хорошо, человек думать должен. А насчет вашего «домашнего» бога — не задумывались? — чуть усмехнулся он.

— Задумывалась,— тихо ответила Настя.

— Ну и что?

— Тоже... не знаю,— и глянула на Марка, будто ожидая от него чего-то.

— От меня ответа ждете? — догадался он.

— Да нет... Боюсь, вы такое ответите, после чего и жить не захочется. По-моему, не верите вы ни во что.

— Я в себя верю, Настя. В себя. Знаете, почему людям нужно в кого-то верить? Да потому, что мало в себя верят.

— А что я сама такое, чтоб верить?

— Вот, вот, это самое, червяками себя представляем, потому и нужны нам боги и небесные и земные.

— С верой-то легче...

— Я ж говорил, только дураки легко живут,— уже раздраженно сказал Марк и поднялся.— Ладно, пойду чайник поставлю,— и вышел на кухню.

Возясь с керосинкой, он подумал, что не нужно наваливать на других то, что он знает, вспомнил, как нелегко и непросто далось и ему самому это знание, как внутренне сопротивлялся, как старался найти и объяснения, и даже оправдания. К вере в себя приходил он мучительным и страшным путем, и через такое отчаяние, какое не дай бог испытать кому-нибудь.

За чаем они больше не говорили об этом.

Ждали к майским праздникам или ко Дню Победы снижения цен на продукты, прислушивались к радио, с на-

деждой пробежали газетные странички, но пока ничего не сообщали, о снижении пока ни звука. А цены все же высокие, это в сорок седьмом, когда объявили, казалось поначалу, да по сравнению с коммерческими, дешево все стало, но все кусалось: и хлебушко черный в два восемьдесят за килограмм, и пшеничный в четыре рубля, и мясо было дорогим — двадцать восемь рубликов за килограмм, и масло — шестьдесят два. Яйца, правда, дешевые — десять рублей за десяток; чаем тоже можно настоящим побаловаться — восемь рублей пачка в пятьдесят граммов...

Ну, конечно, времени прошло мало после реформы, меньше полугода, может, и рано еще снижение делать, трудно пока стране, но обещали же. Значит, к Октябрьским, наверное, будет — дождемся. Все-таки жизнь уже нормальная пошла. Вот и «Москвичи» по улицам разъезжают личные; о таком даже и не мечтали, чтоб автомобили стали народу продавать. Это надо же, всего три года после окончания войны прошло, а уж кто-то за рулем собственных машин сидит. Разве не чудо?

А то, что дома новые строят, разве не удивительно? Вот на Садово-Триумфальной какие громадины возводят, у Рижского на 1-й Мещанской, да по всей Москве, куда ни погляди, идет стройка, хорошеет столица помаленьку. Вот и ЦУМ после ремонта вновь открыли, и чего там только нет — и патефоны, и аккордеоны, радиоприемники и велосипеды, даже мотоциклы опять в продажу пустили, а они же только перед войной начали продаваться. Ну и на стенах щиты огромные — «Кетовая икра полезна и вкусна. Продается всюду». И верно — всюду.

А о войне все реже и реже поминают. Вот и Сталинские премии тем дали, кто о восстановлении народного хозяйства пишет, о низкопоклонстве перед границей или о борьбе с морганизмом-вейсманизмом. А о войне мало стали писать. Может, и правильно это, война-то прошла, дело сделано, Германию победили, сейчас другие задачи стоят. Но малость все же фронтовикам обидно, когда прочтут они где-нибудь, что ушла война в историю. Какая история? Всего три года прошло, еще в госпиталях раненые мучаются, еще у многих раны гноятся, матери еще своих сыновей ждут, жены еще в похоронки не верят, надеются, в каждого военного на улицах всматриваются — не мой ли каким случаем? Нет, рано еще войну списывать. Она-то из тех, кто воевал, не ушла, не уходит, а может, и не уйдет до конца дней.

У Бушуевых Женька отца подковырнула, что вот, дескать, твердил ты все про снижение, а его все нет, а ей туфли позарез нужны, майские праздники скоро, а выйти не в чем.

Петр на Женьку прикрикнул — «не твоего ума дело», до праздников еще две недели — может, и объявят, а Михаилу, который как раз в то время у них был и который тоже поворчал, что дороговато все, тяжелая пока жизнь, целую лекцию о международном положении прочел, в несознательности обвинил, что думает лишь о своем брюхе.

— Не о своем, Петр. Было бы у тебя три рта, так тоже призадумался бы, — буркнул тот в ответ. — Тебе что, один да зарплата, да одежда казенная, а мне — накорми, одень и обуь, а на какие капиталы?

Петр ничего не ответил, полез в карман кителя, достал бумажник, вынул несколько купюр, протянул Михаилу:

— Держи, ребятам прикупишь что.

Михаил сначала не стал брать, но тут отец вмешался:

— Чего ломаешься? Семья же мы. Дает брат — бери, ничего зазорного нет.

Тогда Михаил взял, но видно было, что поперек души ему это, аж позеленел весь, когда купюры эти в карман пиджака засовывал.

Когда Михаил ушел, старик Бушуев сказал Петру осторожно, что вообще-то надо брату малость подкидывать, бьется тот, словно рыба об лед. Жизнь-то, конечно, улучшаться будет, через годик-два цены до довоенных дойдут, да и, слышать, зарплата повышаться будет, но пока еще помощь Михаилу нужна.

— Мне не жалко, батя, но уж больно вредный Мишка мужик и меня не любит.

— Любит не любит, но брат родной... Ты-то, Петя, себе ни в чем не отказываешь, вот и водочка у нас за столом частенько стала. Я понимаю, привык ты в войну, но надо от этого дела отвыкать, кусается сейчас водочка, на шестьдесят целковых целый день семья прокормиться может, а бутылка, она и есть бутылка.

— Ты что, боишься, что спиться могу? Я не из таких, отец.

— Этого я боюсь не очень, мужик ты сильный, но ведь дела-то у тебя сейчас нет.

— Какое дело?! В отпуску я, — перебил он отца. — А что настроение неважное, так знаешь почему. Если в запас отправят, я без работы не останусь, сам понимаешь.

Сейчас не трожь меня, я же не гуляю, а перед обедом стопочку пропустить греха нету.

— Это оно так,— согласился отец.

Настя в разговор не мешалась, но ей тоже эти стопочки перед обедом не нравились. Петр, конечно, человек сильный, волевой, но ведь не только слабенкие ломаются. Бывает, и такие люди большие зелью этому поддаются. Тем более, видела она, переживает Петр, иногда целые дни тучей ходит, ни с кем ни слова, смолит только свои «беломорины» одну за другой.

На работе как узнали, что у нее брат холостой, да еще подполковник, так многие женщины просили познакомиться. Она отказывала, а сейчас вот подумала, что, может, надо. Отвлекся бы Петр от своих мыслей, а может, и понравилась бы ему Маша, которую она из всех своих сослуживиц выбрала, потому как тихая, приятная, хозяйственная. Такая женой может быть хорошей, и такую жену Настя бы приняла.

Вот и пришла она как-то с работы вместе с Машей, буд-то бы книгу какую Маше дать. Познакомила с братом. Петр поначалу поздоровался хмуровато, но потом стал поглядывать на подругу сестры вроде бы с интересом и с приятностью, а когда та уходит собралась, сам попросил остаться, отужинать с ними. Маша согласилась, но не сразу, какими-то срочными делами отговаривалась, но Петр настоял — вежливенько и улыбку свою выдал, а на суровом его лице эта улыбка казалась особой какой-то, освещала его, и лицо становилось добрым, а потому и еще более красивым.

Оказалась у Петра в запасе и бутылка вина хорошего. После нескольких рюмок у Маши робость как-то пропала, стала она поразговорчивей и даже кокетничать начала, чего Настя за ней прежде не замечала. Разговоры велись разные. Петр впервые рассказал о войне веселое, случаи всякие смешные, тоже оживился и за Машей ухаживал — вина подливал, закуску предлагал.

Женька посидела немного, а потом на улицу собралась. Как весна наступила, она редкий вечер дома сидела, исчезала куда-то, и ничего Настя сделать не могла — не маленькая уже, в этом году училище окончит. Отец, отужинав, извинился и от стола вышел, прилег на диван и задремал вскоре. Говорить стали тише.

К удивлению Насти, пошел Петр провожать Машу, чего она совсем не ожидала. Хотя чего удивляться? Мо-

лодой же Петр, всего тридцать два года, хотя выглядел и старше; ну, это, наверно, положение его старило и начальственное выражение лица. А Маше двадцать пять всего.

Маша жила недалеко. Думала Настя, через полчаса вернется Петр, но... не вернулся, не пришел и утром. Так его и не дождавшись, ушла Настя на работу... Вот этого она от Машки не ожидала. Даже неприятно ей сделалось. На работе не вышло сразу поговорить, да и избегала ее Маша, все бегом мимо, но к концу дня возмущенная Настя прижала ее на лестнице.

— Куда брата моего дела? Рассказывай.

— Никуда... Проводил и домой пошел,— начала крутить Маша.

— Не ври!

— А что тебе? Не муж же, брат. У меня остался,— призналась она, но с вызовом.— Осуждаешь?

— Я тебя не для того познакомила. Думала, может, что серьезное у вас выйдет.

— А мне серьезного неволю уже ждать, Настя. Годы-то проходят, а жить когда? Серьезного, как ты говоришь, нам не дожидаться, где они, мужчины-то, для наших лет подходящие? Нет их! И ждать нечего. Понравился мне Петр с первого взгляда. Еще так у тебя и решила: пойдет за мной — оставляю, ломаться не буду.

— Петр же таких... доступных не любит, он их, сама знаешь, как это называется, считает. Не придет к тебе больше.

— И пусть,— вздохнула Маша.— Ночка, да моя. Я на большее теперь и не рассчитываю.

— Как знаешь, Маша. Но достоинство-то свое женское все-таки...

— Замолчи ты! Какое там достоинство, когда нас сотня баб на одного мужика приходится! Живая ты сама или нет? Неужто ночи спокойно спишь?

— Живая я...— тихо ответила Настя,— но мне любовь нужна.

— Ну и жди. А я не могу! — почти вскрикнула Маша и быстро отошла от Насти.

Настя поглядела ей вслед, покачала головой. Что ж, понимала она, конечно, Машу, но не ожидала такого, ведь тихая, робкая на вид. Но, должно быть, верно, в тихом омуте черти водятся... Да нет, какие там черти! Замаялась девка без ласки, и впереди ничего не светит. Не впервой она от женщин слышит, что не до жиру теперь...

Неловко было идти Насте домой, знала, чем встретит ее Петр, и не ошиблась. Не успела еще войти, как загромыхал он своим басом:

— Ты кого в дом привела?!

— Сам знаешь. Сам провожал, сам вроде ночевал, чего же спрашиваешь?

— Знала же, какая она, и в дом.

— Не прав ты, Петр, никакая она... Обыкновенная девушка.

— Девушка! — фыркнул Петр.

— А ты бы не ходил. Силком, что ли, она к себе затащила?

— Не силком, конечно. Сказала, можно зайти, если хотите. Но я ж не за тем пошел.

— Ладно, Петр, нехорошо женщину поносить, с которой ночь провел.

— Не понимаешь ты, Настя, ничего. Она мне и вправду понравилась, думал, ну вот есть теперь с кем время проводить, в киношку сходить, в кафе, а там, глядишь, и чувства какие появятся. А тут... Помню, в тридцатых какой-то роман читал, «Без черемухи» вроде назывался, так вот мне, видать, когда трезвый я, нужна эта черемуха... Ну, поняла меня теперь? Мне хорошего хотелось, а для этого дела я к «Метрополю» могу пойти или к трем вокзалам... Мне женщину уважать надо. Понимаешь?

— Несчастные бабы сейчас, Петр. Не осуждай. Маша-то на любовь уже не надеется. Она, кстати, понимает, что не придешь больше ты. Но живые же мы тоже, Петенька.

Но Петр не понял. Посетовал: неужто все бабы такими за войну сделались? Вспомнил, как Катеньки своей добивался, а уж мог сгрести девчонку сразу, благо подчиненная, но ведь все по-хорошему было, по-честному, а что таких, как Маша, он навидался, первого встречного да поперечного в постель пускают, грош им всем цена, стоит ли жениться, раз бабы такие пошли. Ведь ежели эта Машка с ним так просто, с другими тоже ломаться не будет, и где же ваша женская верность?

Насте было что сказать, но видела, не убедить ей Петра, особенно сегодня, сразу же после Маши, и разговор этот оставила.

— И какие же перспективы у вашего папы, Сережа? — спросила Володькина мать, когда тот пришел к ним.

— Пока я устроил его в Свинской, это станция после Серпухова, в небольшой деревушке. Сняли комнату у одной старушки, матери погибшего солдата... Его прописали там, и он хочет заняться фотографией... Сейчас в деревнях все желают сделать портреты погибших из маленьких фото. Отец и собирается этим заняться. Может, в дальнейшем можно будет купить какую-нибудь развалюху... Вот такие перспективы, если это можно назвать перспективой.

Сергей был трогателен в своих заботах об отце. Когда он говорил о нем, его голос всегда дрожал. С него слетала та самоуверенность, которая немного раздражала Володьку, хотя он и понимал, что Сергей все время бодрится, все время держит себя в руках, и эта самоуверенность, по-видимому, просто какая-то защитная реакция, а может, и какой-то камуфляж. Сейчас он как-то помягчал, стал искренней и откровенней, и таким стал ближе Володьке и роднее, напомнил себя прежнего, школьного, рассуждающего о святой мужской дружбе, выше которой нет ничего на свете, того, с кем бродил по ночной Москве, философствуя о смысле жизни, мечтая о будущем и совсем не думая о войне, которая уже исподволь подползала к их судьбе.

Володька очень переживал, что ничем не может помочь Сергею теперь, когда это, должно быть, ему нужнее, чем когда-либо.

— Сережа,— сказала Ксения Николаевна,— наверное, сейчас вам нужны деньги? Я могла бы что-нибудь продать...

— Нет, нет, Ксения Николаевна, спасибо, но мы обойдемся,— горячо возразил Сергей.

— У меня есть бриллиантовая брошь... Надо только найти покупателя, потому что в скупке дадут мало.

— Я найду покупателя, мама,— быстро сказал Володька, обрадовавшись.

— Не выдумывай, Володька. Я знаю ваше положение и ничего не смогу от вас принять,— повторил Сергей, покачивая головой. Потянувшись к столу за папиросами, он заметил томик Карамзина, лежавший там.— Ого, одна тысяча восемьсот сорок третьего года! — сказал, открыв книгу.— Штудлируем?

— Да, почитываю,— ответил Володька.

— Ну и как? — с интересом спросил Сергей.— Я тоже на заре туманной юности малость приобщился... Крови-

щи-то сколько, Володька, кровищи... На каждой странице.

— И это все, что вы вынесли из этой книги, Сережа? — покачала головой Володькина мать.

— Нет, разумеется... Я читал мальчишкой, и, помню, тогда как раз это и поразило.

— А я очень рада, что Володя всерьез заинтересовался. Это великая книга.

— Возможно, возможно... — пробормотал Сергей. — Ты и верно всерьез? А сказал — почитываю, — повернулся он к Володьке.

— Я сейчас все делаю всерьез, а что мне остается? Коншин суетится, хватает работу для денег, у тебя тоже дел невпроворот, а мы с мамой вроде приспособились жить на то, что имеем, с институтом я справляюсь без особого труда. Вот и занялся...

— Что ж, похвально, очень похвально. Можно тебе лишь позавидовать. У меня времени ни на что постороннее не остается, — вздохнул Сергей. — Ну и как «великий государь» у Карамзина? Отличается от эйзенштейновского? И «великий» ли он? — спросил с усмешкой.

— Я вообще не понимаю, для чего Эйзенштейн взялся за фильм о Грозном? — пожал плечами Володька. — И как получилась у него вторая серия? Ведь конец царствования уж больно страшен.

— Неограниченная власть всегда страшна, Володька, — задумчиво проговорил Сергей, — это уже ясно, не надо и углубляться в далекое прошлое. Кстати, скажи, я не помню, оправдывает ли Карамзин Грозного в масштабе, так сказать, всей истории? Ведь историки имеют обыкновение оправдывать все и вся во имя пресловутого прогресса и блага отечества.

— Карамзин объективен... Какое благо отечеству могло принести уничтожение лучших людей, разгром Новгорода, ну и прочее? Наоборот, Карамзин пишет, что напрасно некоторые чужеземные историки, извиняя жестокость Иоанна, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею, сеи заговоры существовали единственно в смутном уме царя... Знаешь, Карамзин вообще разрушил мое представление об истории как о каком-то закономерном движении к лучшему. Может, я не прав? Может, еще не разобрался?

— Ты еще не разобрался, Володя, — вступила в разговор мать.

— Он разберется, Ксения Николаевна,— улыбнулся Сергей и, посмотрев на часы, поднялся.

Володька пошел его провожать. Они сейчас редко встречались с Сергеем, а давно хотел сказать ему то, что недавно узнал о своем отце. Как примет это его лучший друг?

По дороге Сергей говорил об институтских делах, опять о научном студенческом обществе, в котором он активно участвует. Володька слушал вполуха, а потом, воспользовавшись паузой, сказал:

— Сергей, я недавно узнал от матери, что отец мой находился в белой армии.

— Вот как,— Сергей даже приостановился.— Ну и как ты это принял?

— А как принял бы такое ты?

— Я? Более или менее спокойно,— ответил Сергей, но очень внимательно глянул на Володьку.— Интересное кино получается: я — сын мнимого врага народа, ты — белого офицера. Сплошная контрреволюция,— он глухо рассмеялся коротким и горьким смешком.— А если серьезно, то почему сто пятьдесят миллионов совершенно разных людей должны были принять революцию на «ура»? И в чем виноваты те, которые не приняли? Или не могли принять? По-человечески все просто и понятно. Но — поэт революции четко отбарабанил: «Кто не с нами, тот против нас», ставшее лозунгом, очень милым и удобным для вождя всех народов...

— А если без философии, Сергей? — прервал Володька.

— Таково было время. И в дворянских семьях один брат воевал против другого в гражданскую, и в крестьянских то же самое, и в разночинных такое было, наверно... Кстати, отец твой как будто из разночинцев?

— Представь себе, не знаю. Мама ничего никогда не говорила, а поэтому...

— ...Поэтому вполне вероятно, раз мать скрывала, что из дворян,— договорил за Володьку Сергей.

— Какое это имеет значение?

— А такое, раз не каждый мужик, которому революция землю обещала, стал воевать за нее, а кое-кто в белые подался, то что можно было ожидать от интеллигента и дворянина. Парадоксы российской истории, сэр,— закончил он опять коротким смешком.— Теперь мне ясно, поче-

му ты Карамзиным занялся,— сказал он уже другим тоном, серьезным.

— Как глупо, ничего не знать о собственном отце...

— Тоже парадоксы нашего времени. Расспроси мать.

— Не могу. Кажется, она уже жалеет, что рассказала и это. Она боится.

— Кстати, Володька, есть основания... У нас в университете арестовано несколько студентов,— понизив голос, сказал Сергей.

— Да? Быть может, она тоже слыхала об этом?

— Не исключено... Отец мой, между прочим, тоже боится, что его освобождение временно. Говорит, что для Сталина даже ничтожная часть освобожденных «призыва» тридцать седьмого представляет опасность, так как они знают правду, и он опасается повторного ареста и высылки в лучшем случае. Вот так. Живем на вулкане...¹

— Неужели это возможно?

— У отца, по-видимому, есть основания так думать. У него десять лет жизни ушло на размышления,— горько усмехнулся Сергей.— Кстати, Коншину ты рассказал о своем отце?

— Нет.

— И не надо. Никому пока не надо,— решительно сказал Сергей и протянул руку.

Они попрощались, и Володька через Грохольский пошел домой. Проходя мимо Ботанического сада, вспомнил про свой вальтер, лежащий сейчас на дне тихого пруда, припомнились ему и те сумбурные месяцы сорок пятого и... Майка... Немного поколебавшись, он полез в карман, нашел монету для автомата и зашел в будку. Набрав Майкин номер, он долго слушал длинные гудки — к телефону никто не подходил...

Через неделю мать передала Володьке деньги — она сама нашла покупателя на брошь — и сказала:

— Обязательно уговори Сережу принять это. Мы обязаны помочь ему. Понимаешь?

— Да, мама...

— Слава богу, что у меня чудом сохранилась эта вещица, что я не сдала ее в торгсин. И теперь мы можем...

¹ В 49-м году все, имевшие судимость по 58-й статье, были арестованы и высланы в Красноярский край и другие отдаленные места.

Художественные работы на Сельскохозяйственной выставке начались уже давно, с марта, но была длительная, как всегда, раскачка, и Марк с Коншиным попали в самый разгар, когда — давай-давай, чтоб поспеть к сроку. Марк делал большое панно в павильоне «Земледелие», а Коншин в том же павильоне учебно-методические планшеты, а по-простому, пейзажики гуашью с разными культурами на первых планах. Коншин не без удовольствия приметил, что работает он не хуже других, что все у него получается, и работы принимают без звука. Правда, с выплатами была какая-то канитель, получили лишь небольшие авансы, но зато по окончании всех работ предстоял большой гонорар.

В институте пришлось выпросить свободное посещение. Хотя перед летней сессией и надо бы посидеть на некоторых лекциях, но он надеялся на Володькины конспекты — тот ходил на занятия регулярно и занимался лучше и серьезнее Коншина. Кстати, увидев у него Карамзина, Володька попросил книгу, которую Коншин так и не удосужился прочесть. Володька же, по-видимому, увлекся «Историей государства Российского» и при встречах не раз заводил разговор, который Коншин, увы, не мог поддерживать.

В самую горячку, когда до сдачи работ две недели осталось, заболел напарник Коншина, и он подумал, не предложить ли Михаилу Михайловичу работу? Позвонил ему, но телефон не отвечал, и он поехал в Борисоглебовский переулок, так как дело срочное.

Михаил Михайлович встретил его, как всегда, радушно, но сказал, что жена лежит с мигренью, сын занимается, и, если Коншин не возражает, они могут прогуляться и на улице поговорить.

— Можем и пивка по дороге выпить, — закончил Михаил Михайлович.

Вышли со двора в переулок, повернули к Собачьей площадке; Коншин сказал о вакансии, что можно хорошо подработать за оставшееся до открытия выставки время. Михаил Михайлович задумался, потом спросил:

— Надо же, наверное, оформляться в худфонде?

— Нет, в ПТМе. Производственно-технические мастерские. Заявление, анкету — и все дела.

— Анкету?

— Разумеется.

— Нет, дорогой, наверно, я откажусь от этого. У меня сейчас идет помаленьку работенка, а на выставку надо каждый день ездить, это далековато, целый день там... Пожалуй, не стоит овчинка выделки.

— Но можно же хорошо заработать, Михаил Михайлович! — воскликнул Коншин.

— Всех денег не заработаешь, — улыбнулся он. — Расскажите лучше, как ваши дела? Встречались ли с Натальей?

— Нет, не встречался и не звонил. Зачем? — пожал Коншин плечами. — Что-то во мне она не принимает. Возможно, и права...

— Сдаются без боя?

— Видимо, так... Ведь и вы и Марк меня так здорово долбанули, руки опустились.

— А вот это уж напрасно... Мы с Марком, вероятно, хотели избавить вас от излишних иллюзий, чтоб вы реально и трезво смотрели на себя, руки опускать нечего. Давайте-ка присядем где-нибудь.

Они прошли в скверик, где находился памятник собаке, и присели на скамейку. Михаил Михайлович достал пачку «Прибоя» и угостил Коншина.

— Вот вы говорили о «песне», на горло которой вам пришлось наступать, а у вас сохранились картины тех лет?

— Понимаю. А был ли мальчик? — усмехнулся Михаил Михайлович. — Это вас интересует? Наверно, был. Сейчас, раздумывая о прошлом, понимаешь, что все эти увлечения новыми формами у некоторых происходили оттого, что в старых-то они не очень умели работать. Малевать что-то непонятное, «самовыражаться», как это называлось, безусловно, легче, чем заниматься реалистической живописью, требующей и школы и мастерства... — он помолчал немного. — Ведь все эти крики долой Рембрандта, плевать на Рафаэля были бравадой юнцов. Я был серьезнее. Не отрицал старых мастеров, но я и понимал, что работать по-прежнему в революционную эпоху — нельзя. Я крепко рисовал, рука у меня была поставлена, но я искал. Действительно искал новых форм. Все мои чудом сохранившиеся работы — их не так много — находятся сейчас у тетки, в Калуге, — он опять помолчал, раскуривая новую папироску.

— Интересно бы посмотреть, — сказал Коншин.

— Вряд ли могу надеяться, что когда-нибудь они будут выставлены. Если только посмертно, да и то маловероят-

но... Можем прокатиться в Калугу, покажу, посмотрите...— улыбнулся он.— Есть у меня интересные работы,— он опять помолчал.— И наверно, отсекаать все одним махом, как было сделано, не следовало бы. Сломались многие судьбы, остались обиды... Вот, дорогой, я сейчас не говорю, как ротный политрук, в чем вы меня однажды упрекнули... Думаю, если бы естественно все продолжалось, наша живопись была бы несколько другой. Грустно? Да, конечно... Смог бы я теперь писать так, как пишут? Смог. Но не буду. Слишком дорого для меня то, что лежит в Калуге. Один раз я сказал Антонине Борисовне, что опоздал перестроиться. Нет, не так. Не опоздал я, а не захотел. Вот так-то, дорогой...

49

«Я не знаю другого признака человеческого величия, кроме доброты»,— прочел Марк слова Бетховена из книги Ромена Роллана, о которой говорила ему Настя.

Прочел, недоверчиво усмехнулся— все это далекие, прекраснодушные времена. Провести бы Бетховена хотя по одному кругу лагерного ада, заговорил бы другое...

Нет, это бетховенское высказывание не вызвало у него никаких эмоций. Уже давно разным словам и рассуждениям не придавал он особого значения, слишком много он их знал. Надо верить только себе, своему внутреннему ощущению, своей интуиции. Вот чувствовал же он, что в своих работах он должен был забыть о красоте формы, о соразмерности, что должно присутствовать в каждом произведении искусства, особенно в живописи, и чему учили его. А он взял и откинул все это, писал так, будто бы он многого не умеет, вернее, постарался забыть про свое умение, про школу... И оказался абсолютно прав.

Один очень старый художник, его учитель, который пришел к нему, сопровождаемый женой, долго сидел перед его триптихом, а потом прошептал:

— Вы же, батенька, все грани искусства перешагнули. Вы же расстрела им требуете... Не знаю, не знаю...— покачал он головой,— можно ли так? Искусство ли это?.. И нужно ли так?

«Нужно»,— ответил тогда Марк убежденно, увидев, что потрясен учитель, хотя и трудно ему принять работу, ломающую все прежние представления о гуманности искусства, о чувствах добрых, которые оно должно пробуждать, об элементах необходимой красоты, которая, по

словам Достоевского, должна спасти мир, но что все же, несмотря на это, принял старый художник его триптих, принял... А больше Марку ничего не было нужно, мнения других людей ему уже безразличны. Учитель принял!

«Вы же, батенька, расстрела им требуете»,— этими словами старый художник все сказал, и не надо обманывать себя тем, что это во имя добра сделано, чтоб не повторилось это бесчеловечное. Нет, все эти «во имя», «на пользу» — ерунда! Все это софистика! Да, он «расстрела требовал» всем тем, кто допустил это. Все так. Все правильно. Только устал он от ненависти, а может, просто устал от работы, от непрерывного напряжения? А может... может, освободило его созданное им от ненависти? Может, для того и нужно было это? Иначе задохнуться можно бы, жить нельзя...

50

«Фронтной друг Алексей,— писала Коншину разведчица Ася в письме, которое он на днях получил.— Называю тебя так, хотя и не воевали вместе, но был ты в тех же местах, на ржевской земле, да и принял меня по-дружески в Москве, а главное, без глупостей. Ответа я еще не получила, а потому беспокоюсь очень. Чувствую себя неважно, часто прибалываю... Жизнь в деревне и скучная и скудная, но после всего пережитого уже то, что крышу над головой имеешь, дом свой — хорошо, и вроде бы ничего больше не нужно. Вот восстановили бы мне мою службу в армии и инвалидность бы военную дали — успокоилась бы совсем. Девочки, с кем служила, пишут мне. У них тоже не все ладно, висит над нами этот плен проклятый, но разве виноваты мы... Вот говорила я тебе, что раз двадцать переходила линию фронта, ты еще удивился, зная, как трудно это. Так вот не получилось один раз. Из Малого Воронькина, где держали наши оборону, надо было мне в Большое Воронькино перейти, которое, к несчастью, на высотке находилось, а на колоколенке церковной у немцев наблюдательный пункт был и снайпера оттуда стреляли. На нейтралке редкий такой кустарничек был, ольшаник, между которым болото, не везде промерзшее. Вот ночью и отправились мы. Мороз, поземка метет, а мы ползком... Ракеты каждую минуту вспыхивают. Проползем два-три метра, замираем. Какая скорость при таком движении? Час прошел, а мы и чет-

верть нейтралки не прошли. Окоченели, ни рук, ни ног не чуем. Еще проползли немного между кочками, а потом видим, не пройти дальше, заметят фрицы... И так вот три ночи... На четвертую решило командование огоньку дать, отвлечь немцев... Началась стрельба, немцы, конечно, в ответ; в таких вот «благоприятных» условиях и проскочили нейтралку чуть правее деревни... И вдруг — «хальт!». Откуда? Ничего не видать! И тут под самым нашим носом начали раздвигаться кусты, и ствол автомата на нас, а потом и немец появился — страшный, большой, в белом маскхалате, словно привидение какое. Тут у нас душа в пятки, поняли, нарвались на ихний «секрет»...

Больше писать не буду, да и не могу, потому как с этой минуты и началось для нас самое ужасное... Вот сейчас написала эти строки, а у самой сердце зашлось... Понимаешь, трудно держать в себе, ты уж прости, что я перед тобой вроде бы как исповедуюсь, но напишешь — и полегчает малость. Ну, всего тебе доброго...»

Коншин дочитал письмо, и встала перед ним худенькая, закутанная в платок деревенская девчонка с усталыми и так много выдавшими глазами, девчонка, двадцать раз переползавшая ничейное страшное поле, чтоб идти в неизвестность, в чужой, занятый врагом мир, идти даже без оружия, совершенно беспомощной, надеясь лишь на какое-то счастливое стечение обстоятельств... Вспомнилось ему, как писала Ася, что пришлось ей в ноябре, да еще ночью, переплывать Волгу, а затем идти босиком более десяти километров, и шла, пока не вышла к своим...

И не по себе стало, даже стыдно... Что все его «переживания» по сравнению с судьбой этой девочки? Что они и перед той, недавней жизнью на войне, трудной, но чистой, когда не о себе думалось, когда главным было — Родина... Да, вышли они из великого строя, разбрелись и ищут каждый свою дорогу, торят собственную тропу, но оказалось нелегко это и непросто. А жизнь все подбрасывает и подбрасывает всякие сложности, а разобраться в них трудно, а может, и невозможно.

А мечталось же о другом. О каком-то большом деле, равном тому, что они на войне делали, о творчестве настоящем, а ковыряется он сейчас на выставке с плакатиками. Хорошо и то, что устроил ему Марк эту работенку.

Девчонок-студенток, которых тот поминал, работало много, но ни одна Коншину не нравилась. Прошло, видно,

то время, когда каждая хорошенькая девчонка привлекала внимание, миновала пора мальчишеских влюбленностей, окрашивающих жизнь тревожным и волнующим ожиданием. Ушла вот и Наташа... Не стало и не будет больше встреч у тех призрачных Красных ворот, провожаний по Басманной. И что-то померкло в его жизни...

51

После поездки в Красково, где он был так решителен и заставил Нину отказаться от задуманного, Игорь стал немного спокойней, хотя и не встречались они больше и на письма его Нина не отвечала.

Хорошо еще, закрутили его институтские дела, он же комсоргом курса был, а кампаний хоть отбавляй. То борьба с низкопоклонством, теперь вот с морганизмом-вейсманизмом, протаскивающим идеалистические идеи о неизменности генов. Вот что академик Презент в «Огоньке» писал: «Всякому ясно, что вещество наследственности, не испытывающее никакого влияния со стороны тела, не изменяемое условиями жизни и остающееся бессмертным,— это лишь наукообразное выражение «души божьей». Конечно, в Тимирязевке по этому поводу дискуссия за дискуссией. А их организовать нужно, найти выступающих, подготовить...

То, что эти дискуссии были, мягко говоря, не совсем дискуссиями, потому что защитников морганизма не находилось и все выступающие били в одни ворота, Игоря не смущало — со всякими там идеалистическими представлениями в науке надо кончать. Это для него непреложная истина, а потому, когда встретил на улице Володьку и завел об этом разговор, был искренно удивлен его словами:

— По-моему, Игорь, истин в конечной инстанции не существует. Этому и диалектика, кстати, учит.

— Ты гуманитарий и в этом ни в зуб ногой, а мы изучали,— возмутился Игорь.— Вообще, смотрю я, у вас с Коншиным тумана в головах полно.

— Тумана? — усмехнулся Володька.— Возможно. Я как-то задумался, Игорь, науке-то настоящей еще двухсот лет нету. И считать, что она уже все знает, вряд ли можно. По-моему, сейчас серьезнее дела есть, чем этот морганизм-вейсманизм.

— Не понимаю тебя,— сухо сказал Игорь, поджав губы.— Идеалистические идейки — это не серьезно?

— Надо еще доказать, что они идеалистические.

— Ну, знаешь...— покачал головой Игорь.

На том бы и разошлись, и остался бы у Игоря неприятный осадок от несколько пренебрежительного тона Володьки с оттенком даже какого-то превосходства, если бы тот не спросил:

— А как дела с рассказом, Игорь?

— Понимаешь, я долго думал после того разговора с вами и решил, что вы с Коншиным в чем-то правы. Я переделал конец — лейтенант не убивает отца, а отводит его в часть... Ну, пришлось немного изменить обстоятельства.

— Но там-то его расстреляют,— после некоторого размышления сказал Володька.

— Ну это необязательно. Главное, сын выполнил свой долг, не отпустил врага, хотя тот и его отец.

— Давал куда-нибудь?

— Нет. Замотался с институтскими делами, ну и, честно сказать, боязно как-то. На меня вообще тут всякие неприятности навалились.

— Ты пиши, Игорь,— серьезно сказал Володька.— О войне надо. Только о настоящей. Понимаешь?

— Думаешь, надо? Сейчас вроде все о другом пишут.

— Обязательно надо, Игорь. Пиши. Желаю успеха.

Теперь вот расстались хорошо, а то уж Игорь опять хотел обозвать Володьку анархистом, но заинтересованность в литературных опытах Игоря примирила его с ним.

Да, все эти институтские дела — и занятия, и общественная работа — отвлекали, помогали забыть на время о своем личном, но это днем, а вечерами наваливалась тоска и садился за очередное письмо.

«Милая моя Нинушка! Я даже не знаю, читаешь ли ты мои письма? Может быть, выбрасываешь нераспечатанными, но нельзя же так. Я же пишу тебе о серьезных вещах — о своей любви к тебе, о том, что скучаю, мечтаю о встрече... Это жестоко с твоей стороны, а такой черты характера я в тебе не замечал, ты казалась мне всегда очень доброй и отзывчивой. Единственное, что я хочу — и это непременно должно быть,— твоего счастья. Я люблю тебя не только для себя, в этом я не хочу быть эгоистом, я хочу любить тебя для твоего счастья, если я вообще могу дать счастье человеку. Можно не соглашаться с отдельными чертами твоего характера, но в це-

лом, как человек, женщина, ты такая, что любому из живущих теперь можешь дать счастье, которое все мы тщетно, как в потемках, ищем и не можем найти. Помнишь песенку — «Счастье лежит у нас на пути, а мы проходим мимо»?

Ниночка, извини, тебе, наверное, скучно все это читать. Но я не могу понять твоего отчуждения. Если ты любишь, неужто нельзя простить мне минутную слабость и растерянность?

Мне хочется сказать много ласковых слов, но знаю, ты не любишь сюсюканий, а потому молчу. А кстати, почему от тебя я никогда не слышал таких слов?

Сейчас я думаю, какое прекрасное и благородное чувство — доверие! Как помогает оно жить, как с ним легко. Но мне не говорила ни разу — «Будь уверен во мне. Надейся на меня». Почему, Нинуша? Я так хочу верить тебе. И чтоб ты верила мне. А ты упрекнула меня один раз в рассудочности и даже в каких-то зачатках карьеризма. Это не так. Карьеру я понимаю только как служение нашей великой цели. Помню, ты несколько иронически отнеслась и к моему намерению вступить в партию. Да, я не очень здоров, но, надеюсь, у меня хватит сил и ума, чтобы быть достойным этого звания. Тут ты была не права, а ирония твоя неуместна. Я очень самокритичен, знаю свои возможности и их пределы.

Дорогая Нинуша! Мне очень плохо и от твоего молчания, и от невозможности видеть тебя. Но я держусь. Держусь и в институте, где я все еще «железный» комсорг, держусь и дома, чтоб не расстраивать маму. Она пока еще ничего не знает. Только ночами я могу дать себе право на переживания. Пожалела бы ты меня... Целую тебя и обнимаю».

Игорь перечел. Конечно, письмо не выражало всего, но он все же послал его, надеясь, что оно не останется без ответа, что Нина все поймет.

52

Женька стала что-то тиха и задумчива. Вечерами не улетала на улицу, не пропадала допоздна.

— Девка вроде наша в ум начала входить,— заметил Петр.

— Да, что-то не узнать,— улыбнулась Настя.— Я ее за письмом застала, писала кому-то. С кем это она переписку завела, ума не приложу.

- Спросила бы.
- Неудобно как-то, взрослая уже.
- Какая там взрослая, соплячка еще! Я сам спрошу,— решил Петр. И спросил, когда Женька с занятий пришла, а в доме никого не было.
- Сказала мне Настя, пишешь письма кому-то? Так кому?
- А тебе какое дело? — не задумываясь лягнула Женька.
- Ты со мной так разговаривать не смей! Так кому, отвечай.
- Кому-кому? Дубинину твоему. Другу разлюбезному.
- Ивану? — удивился Петр.— А зачем?
- Зачем мужчина с женщиной переписывается, не знаешь? Симпатия, значит, обоюдная.
- Какая симпатия, чего городишь? Чего у вас общего?
- Пока ничего, но скоро, может, будет.
- Ты о чем, Женька, дурочка? — не понимал Петр.— Зачем ты ему нужна?
- А правда, Петр, что он в академию будет поступать? — переменяла разговор Женька.
- Тебе-то что?
- А он сказал, чтоб я ожидала его. Ну я и жду. А чтоб скушно не было, письма пишу, напоминаю, чтоб не забыл, о чем говорил.
- Шутит он, дурочка, а ты поверила.
- А если академию окончит, обязательно генералом будет Дубинин твой? — невозмутимо спросила она.
- Это как служба пойдет... Вообще-то шанс есть,— ответил Петр, а потом опомнился.— Чего я тебе на глупости отвечаю. Какое тебе до этого дело? Иван старше тебя на десять лет с гаком.
- Дольше любить будет. Подумаешь, какая разница. Нормальная.
- Ты всерьез, что ли, Женька?
- Я в старых девах, как Настя, оставаться не собираюсь.
- Не трожь Настю, балаболка,— повысил голос Петр.— Она настоящая женщина, таких уважать надо, не то что всякие там ее подружки.
- Одним уважением не проживешь. Она себя подать не умеет. К художнику ходит, так хоть бы губы-то подкрасила, хоть бы приделась.

— К художнику она по делу ходит, а не для шуров муров.

— А откуда ты знаешь, для чего она ходит? Нравится он ей, по-моему... Он ничего, художник-то этот, только чокнутый какой-то.

— Так вот, Евгения, с Дубининым брось игрушки играть. И писать брось. А я напишу ему, чтоб не забивал дурной девке голову разными глупостями.

— А он придет скоро, Дубинин-то твой. Вот тогда и скажешь, только ни к чему уже это будет,— уверенно заявила она и отвернулась от брата.

В комнату вошла Настя, нагруженная сумками с продуктами. Остановилась, поглядела на них и поняла сразу, о чем шел разговор, но промолчала, положила сумки, раздеваться стала. Тут Петр и рассказал ей, с кем сестрица переписку ведет, какие планы строит, что этот сукин сын, бабник даже в доме фронтového друга, который жизнь ему спас, блуд разводит, сопливую девчонку с панталыку сбивает, ему-то все шуточки, а эта дуреха всерьез приняла, что набьет он при встрече Ивану морду — тем дело и кончится.

Женька выслушала это с невозмутимой усмешечкой, будто не о ней речь, а на охи и ахи, которые Настя развела, слушая брата, кинула небрежно:

— Вы думаете, я дурочка, которую обмануть каждый может? Нет. С любовью у меня не получилось, вот и решила...

— С какой такой любовью? — прервала ее Настя.

— С настоящей, какая у людей бывает. С ней вот не вышло, а Дубинин ваш придет как миленький и в загс поведет. Поняли? Так что нечего морали разводить, а поздравить меня нужно с законным, как говорится, браком,— она победоносно глядела на изумленных Петра и Настю.

— Когда это только вы успели? — развела руками Настя.

— Выдумывает она все. Так Ванька и разбежится к тебе, нужна ты ему. Да и знаю я его. Сколько раз его обработать хотели, не прошло,— небрежно сказал Петр.

— Еще как разбежится,— усмехнулась Женька.— Беременная я. Вот что.

— Врешь! — поднялся Петр и подошел к ней.— Врешь! Скажи, что врешь! — И сжал он набухшие кулаки.

— Чего ты въелся? — вскрикнула Женька, но отступила от брата.

— Когда же умудрились? — вырвалось у Насти.

— Набью мерзавцу морду! Набью! — Петр покраснел, ходили желваки на скулах; он отошел от Женьки и стал мерить комнату широкими тяжелыми шагами, потом остановился перед ней и сказал с болью: — Ну зачем ты, глупая? С взрослым мужиком связалась. Неужто нравится он тебе? Честь-то девичью зачем забыла?

— Я, Петр, — начала она серьезно, — так, как вы, жить не хочу. И не буду. Подумаешь, нравится — не нравится. Замуж мне надо. Обеспеченной хочу быть. Вон люди-то уже на собственных машинах ездят, а отец наш, да и вы тоже коммунизма все ждете, а когда-то он будет. Я сегодня жить хорошо хочу, а не в каком-то будущем, до которого то ли доживешь, то ли нет, а если и дождешься, то старухой будешь.

— Значит, только из-за того, что Иван генералом сможет стать, ты и пойдешь за него? — с горечью спросил Петр.

— Если «да» скажу, презирать будешь? — с вызовом ответила Женька.

— В кого ты такая уродилась? — покачал головой он и отошел от нее.

— А не обманет он тебя? — с беспокойством спросила Настя.

— Пусть попробует, — нахмурила лобик Женька.

— Обмана я не допущу. Я его, сукиного сына, прижму. Но не в этом дело, Настя, в другом же... Прохлопали девку. Откуда мысли такие взялись?

— Сейчас я жить хочу! Понимаете — с е й ч а с. Молодая пока. Неужто непонятно? Откуда, откуда? От жизни нашей нищенской, отсюда и пошли мысли. Поняли?

— Жалко мне тебя, Женя, — сокрушенно произнесла Настя.

— Ты себя жалеешь! Проходит жизнь-то, а чего видела? Высохла вся, а чего ждешь, не знаю. Любви какой-то? Нет ее, любви-то. Смешно, право. Взрослые люди, а... — махнула рукой Женька.

В этот же день написал Петр письмо Дубинину и с нетерпением стал ждать ответа, но раньше чем через дней двадцать, а то и месяц ждать нечего. Отцу пока ничего говорить не стали, чего волновать старика, знали же, примет он это еще хуже, чем они. Последняя Женька — его любовь. Раньше Петр был любимчиком, первенец, а сейчас на Женьку все перешло. Загорюет старик,

и так недужный, на работу еле ползает, но на пенсию-то не уйдешь, это значит на иждивении у дочерей и Петра жить, а у девок какая зарплата, да и у Петра, если в запас отправят на инвалидность, тоже ведь не тысячи пенсия-то будет. Нет, работать надо. Это и старик понимал, и все домашние. Должно же облегчение быть, пенсии эти по старости когда назначали? По тем деньгам и ценам были вроде подходящие, но с тех пор сколько воды утекло, и деньги не те, и цены. Теперь на сто пятьдесят не прожить...

53

«Игорь завалил меня письмами,— писала Нина в своем дневничке,— я их не рву, не выкидываю, как предполагает он, а внимательно прочитываю и кладу в эту тетрадку. Какие-то меня трогают, мне становится его жалко, а какие-то нагоняют скуку — нудновато он пишет и слишком подробно о своих «чувствах». Я вроде бы простила ему и замешательство и страх, но по-прежнему относиться не могу. И ничего тут не поделаешь! И склеивать ничего неохота. Почему так, я не знаю.

Моя муттер все время интересуется, почему Игорек не приходит. Я думала, думала, ну и бабахнула ей все. Поначалу маман даже обрадовалась. Во-первых, он представляется ей вполне достойным кандидатом на мою руку и сердце, во-вторых, наверно, думает, наконец-то я утихомирюсь, стану пай-девочкой и начну новую жизнь. Пришлось высказать ей свои соображения, что для меня замужество представляется не началом, а концом моей жизни. Она страшно возмутилась, но я напомнила ей ее собственные слова, что чувства сохраняются дольше, ежели люди не живут вместе.

«Так ты что, не хочешь расписываться?» — набросилась она на меня.

«Не хочу»,— как можно беззаботней ответила я и тем обрушила на себя бурю, которую не так-то легко было выдержать.

Чего тут не было! И «глупая, несносная девчонка», и «ломака», и «сумасбродка», и «просто дура». Все эти выразительные эпитеты летали по комнате, сталкивались друг с другом, отлетали от стен, но в конце концов попадали в меня, впивались, делая мне больно. Поскольку мое нежелание вступать в законный брак было выше понимания моей муттер, она заявила, что, наверно, Игорь

не жаждет этого. Тогда я победоносно помахала перед ее носом пачкой его писем:

«Вот здесь он слезно умоляет меня об этом!»

«Даже слезно?» — усомнилась мать.

«Именно!»

«Ты всегда была врушкой и сейчас выдумываешь».

«Я никогда не была врушкой, — отрезала я. — Я любила фантазировать. Этого ты не понимала».

На этом «буря» утихла, и мой корабль тихо покачивался на уже нестрашных волнах. Но каждый вечер после этого были обращены на меня сокрушенные взгляды маман и горестные вздохи и ахи — «Как ты будешь жить?». Это приводило меня в некоторое уныние, и я просто перестала вечерами быть дома — шаталась по улицам допоздна и приходила, когда она уже спала. Но в один прекрасный вечер мы все-таки столкнулись, и мать сказала, что, если я не одумалась, она вынуждена позвонить или Игорю, или его матери — надо же решать. Ой, что тут было! Я закатила истерику самую настоящую и добилась-таки, что мать пообещала этого не делать, но, дав слово, предупредила очень холодным голосом: «В конце концов, ты уже взрослая. Только потом ко мне — никаких претензий. Поняла?» Я поняла и уверила ее — претензий не будет. Больше мы об этом не говорили. Надо отметить, моя мама — женщина железная.

А Игорек все шлет и шлет мне послания, которые стали на меня уже давить самым настоящим образом. Все эти умные-преуразумные-благоразумные послания стали вызывать реакцию, противоположную их содержанию. Вспомнила я, как один раз, назначая мне свидание, Игорек сказал, что, как всегда в два часа, он будет в столовой, а в три я могу подойти. Тогда, помню, я поразилась: «Ты каждый день обедаешь в одно и то же время?» «Конечно», — ответил он. «Это же ужасно! — воскликнула я. — И я должна буду кормить тебя в определенные часы?» — «Разумеется», — ответил он, не понимая моего удивления и ужаса. Вот и эти регулярные послания — вроде обеда в определенное время. Бог ты мой, наверно, я устроена как-то не так, не по-людски!

Кстати, этим объясняется, видимо, и то, что я совсем не думаю о будущем ребенке. Мне кажется это пока очень и очень далеким. Порой мелькнет мысль, если девочка будет, какое я ей платьице сотворю из своей старой блузки. И все! Вот такие дурацкие мысли... И ко-

нечно, меня никто не понимает, смотрят все, как на чудо природы, думают, что я блажу, что во мне полно дури, и в голову никому не придет, что я пускаюсь во все тяжкие лишь для того, чтобы сохранить свое «я». Да! Никто же из моих подружек не читал «Единственный и его собственность» Штирнера. А я читала! Может, я и не все поняла, но в главном разобралась. Я не хочу, чтоб на меня давили, превращали в клушу, говорили банальности и ждали от меня в ответ такие же, я не хочу... не хочу... Да, я много чего не хочу, но все же я чего-то х о ч у? Тут я задумываюсь над листком своей тетрадки, морщусь от невероятного интеллектуального напряжения, и, увы, никакого ответа... Ладно, подумаем об этом потом...»

54

Открытие ВСХВ не за горами, и в павильонах шла горячка. Вкалывали и художники, и лепщики, и рабочие... Работа успокаивала Коншина и отвлекала от нерадостных мыслей. К тому же под расчет должен был он получить приличную сумму, которую решил истратить разумно.

К вечеру в павильон заявила Валерия. Она лениво и плавно прошлась по залу, мельком, без особого интереса поглядела на то, что делают ребята. Никто, кроме Коншина, конечно, внимания на нее не обратил, мало ли кто шастает по залу, да и торопились все, последние дни ведь. Потом подняла она голову на леса, где стоял Марк, поправляющий свое панно после худсовета, но не позвала его, а, оглядевшись, нашла свободный стул и села.

Коншин украдкой поглядывал на нее. Его интересовала эта красивая, уверенная и знающая себе цену женщина. Она не спеша выкурила папиросу, после чего поднялась и громко сказала:

— Марк, я буду у павильона,— и, не дождавись ответа, выплыла из зала.

Проходя мимо Коншина, она мягко коснулась его плеча:

— А, это вы, мой спаситель... Здравствуйте. Вы не можете выйти со мной на минутку?

Коншин вздрогнул от неожиданности и, почему-то волнуясь, пошел за Валерией. Присели на скамейку у павильона, она предложила ему закурить, он взял длинную «казбечину», показавшуюся необыкновенно ароматной после куримого им по причине безденежья «Прибоя».

— У вас с Марком дружба? — спросила она.

— Вряд ли. Дружат с равными, а я пока... так, начинающий.

— Но вы часто у него бываете, он, наверно, делится с вами своими планами?

— Не очень, но...

— А вы все его работы видели? — как-то напряженно спросила она.

— Я видел много, но все ли? Не знаю.

Ответ Коншина, видно, не очень удовлетворил ее. Она помолчала, подумала и лишь спустя минуту сказала:

— Вы не находите, что Марк топчется на одном и том же и это не дает ему возможности двигаться дальше?

— Мне трудно судить, но, по-моему...

— Да чего я вас спрашиваю? — перебила она запальчиво, отбросив свою величавую медлительность. — Разумеется, он обратил вас в свою веру! Но жизнь-то его проходит! Ему уже за тридцать! А кому нужны его узники, этот плен, этот кошмар! Ну хорошо бы написал одну картину, а он тянет какой-то цикл. Все его вещи антиэстетичны, нехудожественны, какой-то сбитый рисунок, нет цвета, воздуха, серый унылый колорит...

— Вы сами художница?

— Я искусствовед и бесперспективность его работы понимаю лучше других. Скажите, из тех картин, что вы видали, не было триптиха?

— Нет.

Вышел из павильона Марк и неспешной походкой двинулся к ним. Коншин поднялся и хотел было идти, но Марк движением руки остановил его.

— Здравствуй, Валерия... Чем обязан? — с шутливой церемонностью спросил он.

— Мне нужно поговорить с тобой. Наедине, Марк, — подчеркнула последние слова.

Коншин опять поднялся.

— Пусть он останется, Валерия. Я ведь более или менее знаю, о чем ты собираешься говорить, — Марк присел на скамейку. — В прошлую нашу встречу я забыл тебе сказать довольно важную вещь. Так вот, милая, прежде чем ходить и уговаривать меня, вам всем надо понять, что мне совершенно наплевать на всю вашу возню, никакого отношения к искусству не имеющую. Скажу больше — если бы мои вещи каким-то случаем попали на выставку и получили бы признание сегодняшней критики, меня бы

это убило, значит, я сделал совсем не то. Понимаешь? Вы все барахтаетесь в сегодняшнем дне, в его конъюнктурах, в его неправде.

— Неправде? — удивилась Валерия.

— Если ты этого не видишь, нам не о чем говорить.

— Я не понимаю, Марк, о чем ты? Какая неправда? Нашей жизни?

— Не жизни. В правде нашей жизни у меня сомнений нет; я говорю о неправдах с е г о д н я ш н е г о д н я с его травлями, с кампаниями, с его дутыми именами в науке и искусстве. Народ только что выиграл великую войну, спас Россию, а ему стали твердить о каком-то его низкопоклонстве перед Западом, о каких-то неизвестно откуда взявшихся космополитах. Зачем это, для чего? Задумывалась?

— Погоди, погоди... Ты говоришь ужасные вещи, — лицо Валерии покрылось красными пятнами, она нервно вырвала пачку из сумочки, закурила, но уже не небрежно-красиво, а как-то суетливо, короткими торопливыми затяжками.

— Ужасные? — усмехнулся Марк. — А как назвать твою статейку? Кстати, поздравляю — идешь в русле. Ну и что ты можешь мне сказать?

— Мне есть что сказать, но ты говори дальше. И ответь — тебе не страшно?

Марк усмехнулся, дернул плечом, а потом сказал очень серьезно:

— Я был в плену. Меня считали, как и многих других, предателем. Чего уж страшнее. Мне после этого уж... — усмехнулся он, махнув рукой. — Сейчас важно одно — остаться самим собой и чистым. Ты уже замарала себя своей статейкой. Через несколько лет тебе будет стыдно.

Такое Коншин слышал от Марка впервые. Он все больше смешочками, намеками, а тут, видно, вырвалось наболевшее. Валерия сидела, опустив голову, и пока молчала. Марк поднялся.

— Ну что, пока? Мне надо добить работу, — и собрался уходить, но она подняла голову и остановила:

— Погоди, Марк! Теперь выслушай меня! Я для этого, кстати, и пришла.

Он остановился, подумал и нехотя сел на скамейку.

— Очень хорошо, что ты проговорился — хочу быть чистым. Теперь я поняла, почему ты отстранился от жизни, оставив на других «сегодняшний день», пусть они

крутятся в нем. А это не чистоплюйство, Марк? Стоять в сторонке и ждать, когда все утрясется, и палец о палец не ударить. Ты сам как бы исключил себя из союза, а находясь там, мог бы выступить против этих, как ты сказал, дутых имен, а не поносить все и вся в узком кругу. Ты выдумал себе какую-то сверхзадачу, и остальное тебя не касается. Не знаю, будущее покажет, но если ты и окажешься прав — в чем очень сомневаюсь, — то все равно — трудное и сложное время ты прожил в стороне. Может, я и накрутила что в своей статье, так выступи открыто, раскритикуй, а не цеди ехидно, что я иду в русло. Да, иду! Я ведь работаю в «сегодняшнем дне»! Возможно, мне не все в нем понятно и ясно, но я верю, есть во всем какой-то глубокий смысл, которого нам пока не постичь. Я все сказала, Марк. Можешь идти, — закончила она, выпалив на одном дыхании.

И Коншину показалось, что в ее словах правда. Он растерянно переводил взгляд с Валерии на Марка, который выслушал все внимательно, без своей обычной снисходительной усмешечки.

— Что ты сказала, все распрекрасно лишь при условии, что мне дали бы публично раскритиковать тебя. Но мне не дадут. Так что это пахнет демагогией. Ну а насчет «глубокого смысла», которого нам «не постичь», то не пора ли, милая, к своим мозгам относиться хоть с малой толикой уважения?

А теперь, выслушав Марка, Коншин решил, прав все-таки Марк. Валерия, уже побледневшая, красные пятна сошли, смотрела на Марка с тревогой и беспокойством.

— Скажи, Марк... — она замялась, — скажи, ты написал какой-то триптих, это верно?

— Написал... Откуда ты знаешь?

— Это неважно. Где он у тебя?

— В мастерской. А что?

— Ты сумасшедший, Марк. И я... я боюсь за тебя.

— В нем ничего страшного, — спокойно сказал Марк. — Но кто тебе о нем сказал? Я показывал лишь одному человеку.

— Не знаю, кому ты показывал, о триптихе говорят... Спрячь его, Марк, или уничтожь.

— Ты для этого и пришла?

— Да... — еле слышно ответила она.

— Что ж, благодарю, — так же спокойно произнес он.

— А что за триптих? — вырвалось у Коншина.

— Так, одна вещица... Может, покажу тебе,— ответил Марк, а потом повернулся к Валерии.— Я подумаю, Валерия...

— Тут нечего думать! Прошу тебя — спрячь подальше или уничтожь,— выпалила она.

Марк и Коншин долго смотрели ей вслед... Она величаво уплывала от них, покачивая бедрами, и не было ни одного мужчины, который бы не оборотился и не проводил ее взглядом.

— Марк, этот триптих действительно такой страшный, что...

— В нем правда. И я его ни за что не уничтожу. Пусть сажают,— Марк резко поднялся.— Пошли работать.

— Что же в нем?

— В центре русская мать, а рядом сыновья — один лагерник у немцев, другой у нас...

55

— Мама,— спросил Володька,— остались ли от отца письма?

— Володя,— с трудом начала мать,— ты должен понять меня и простить. Я не могла хранить его письма. Я понимаю, я совершила преступление и перед ним, и перед тобой, но тогда... тогда я думала только о тебе. Случись что со мной, что было бы с тобой? Тогда главным было сохранить жизнь, а не бумаги... Понимаешь?

— Стараюсь, мама... Но можно было где-нибудь спрятать или отдать знакомым.

— Где спрятать, каким знакомым отдать?! — с отчаянием воскликнула она.— Кто в те годы взял бы на хранение письма белого офицера?

— Выходит, я так ничего и не буду знать об отце?

— Я расскажу тебе о нем все. Только не сегодня. Мне надо собраться с мыслями, и мы несколько вечеров проведем в разговорах о нем. Я же помню все, я перескажу его письма, я помню почти каждое слово, а последнее письмо знаю наизусть, а оно очень важно для тебя...

— Может, с него и начнем, мама?

— Прямо сейчас?

— Да, мама. Прошу тебя.

— Хорошо. Дай мне папиросы, пожалуйста.

Она сделала несколько затяжек, чтоб успокоиться, и начала:

— Это письмо доставили мне вместе с известием о его смерти, когда ты уже был на свете... А до этого я больше года ничего о нем не знала... Поздно вечером ко мне пришла незнакомая мне женщина и представилась женой полкового товарища отца, штабс-капитана Полякова, эту фамилию я знала из разговоров отца, а потому приняла эту женщину без подозрений. Письмо отец передал уже будучи больной с просьбой каким-нибудь образом переслать его мне... Вот что в нем было, Володя: «Милая Ксения, наверно, ты была права, отговаривая меня не ехать на юг. Все ужасно. Ни у кого нет веры в свое дело, не говоря уже о другом, ты помнишь, о чем я говорю. Мы обречены, но я сам выбрал этот жребий и придется испить эту чашу до конца. А конец недалек, мы все чувствуем это, а потому слабые духом заливают беду вином... Я постараюсь вернуться к тебе. Как это сделать — не знаю, но Россию я не покину, в этом ты можешь быть уверена. Письмо это давно ношу с собой, жду какой-нибудь okazji, чтоб переслать. Обнимаю и целую. Р. Как страшно ничего не знать о тебе». Вот и все, Володя... — она всхлипнула и закрыла лицо руками.

Они долго сидели молча... Потом Володька поднялся, постоял недолго, раздумывая, и сказал матери, что он немного пройдет по улице.

— Хорошо, иди, мне тоже надо побыть одной.

На шумную Сретенку ему не захотелось идти, и он пошел по Грохольскому и, пройдя кинотеатр «Перекоп», свернул в Коптельский. Дойдя до Майкиного дома, остановился... Последнее время он стал почему-то часто о ней думать. Вспомнил, как позвонил недавно и был огорчен, что не застал ее. Может быть, зайти? — подумал он. Нет, без звонка, нежданно-негаданно — неудобно, да и мать, наверно, дома. Он вышел на Садовую, около приемного отделения Склифосовского увидел телефон-автомат. Опять долгие, длинные гудки, Володька хотел было положить трубку, но тут услышал Майкин голос.

— Это я, Майя, — сказал он тихо.

— Ты, Володька? Господи, как давно я не слышала твой голос, — как-то устало, но все же как будто обрадованно ответила она.

— Я у твоего дома...

— Мне выйти?

— Да, я хочу тебя видеть.

Когда он вернулся к подъезду, то уже услышал, как она спускается по лестнице, и что-то дрогнуло у него в сердце.

— Чтонибудь случилось, Володька? — спросила она, крепко пожав его руку и вглядываясь в его лицо.

— Да нет... Проходил мимо. Недавно я звонил тебе.

— Да? Так в чем же дело? Зачем я тебе понадобилась?

— Просто захотелось тебя увидеть.

Он тоже внимательно смотрел на нее, ища изменений в ней за те два года, которые они не виделись. Майка была так же хороша собой, только ушла прежняя ее победительность и уверенность, лицо было усталое и бледное.

— Ты все такая же красивая и... близкая, — резюмировал он свои наблюдения. — Пройдемся немного?

Она взяла его под руку, и они медленно пошли по переулку. И хотя вечер был зимний, он напомнил им летние вечера сорок пятого, когда они вот так же бродили по московским улицам, опьяневшие вспыхнувшей вновь полудетской влюбленностью, бесконечно милым возвращением в довоенное время. Ему вдруг стало необыкновенно хорошо, и он почувствовал, как не хватало ему в эти прошедшие два года женщины — близкой, любимой, родной, которой можно доверить все, быть откровенным более, чем с матерью, потому что матери он не мог, не желая пугать и расстраивать ее, говорить многое из того, что тревожило и мучило его.

— У тебя кто-нибудь есть? — спросила Майя.

— Нет... А у тебя?

— Увы... — пожала она плечами улыбнувшись. — Но меня это не очень волнует.

— Меня тоже, но...

— Ты не ври, Володька. Я верю, что у тебя нет постоянной дамы, но уж в то, что ты живешь монахом, — извини-подвинься, — не дала ему договорить Майка.

— Я не вру. Я хотел сказать, что мне с тобой сейчас очень хорошо.

— Что все-таки случилось? Чему я обязана этим звонком и этим «хорошо»? Тебе плохо?

— Нет... Мать сказала мне кое-что об отце, и мне... мне трудно нести это в себе.

— Рассказывай, — сразу же сказала она.

Володька рассказал...

— Для тебя это трагедия? — спросила она, выслушав его.

— Не сказал бы... Но что-то во мне произошло. Не знаю что, но произошло.

— Это естественно,— спокойно сказала Майка.— Володька, это такое уже далекое прошлое, да и разве ты один такой...

— Возможно. Но это заставляет задумываться о многом. Понимаешь, если такие люди, как мой отец, были против, значит, в революции было такое, чего он не мог принять. Он — честный, демократически настроенный русский человек, несомненно любящий отечество, чего-то не понял, не увидел в ней...

— Володька,— перебила его она.— Вот мы с тобой, смею надеяться, не очень глупые и более или менее интеллигентные люди, скажи, мы с тобой все принимали, что было в стране до войны, и все, что происходит сейчас?

— Не все...

— А мы родились при Советской власти. Что же спрашивать с тех людей, с твоего отца, в чем их обвинить? Мама рассказывала, что ни она, ни отец не могли примириться с жестокостью того времени, она никак не соответствовала их интеллигентским представлениям о гуманизме и демократии. Думаю, тебе нечего переживать.

— Я и не переживаю, я думаю.

— Ну, думать всегда полезно,— улыбнулась Майка.

Они дошли до 1-й Мещанской, повернули к Колхозной, прошли мимо особняка, где размещалось греческое посольство, потом миновали еще один особнячок, в котором до тридцать седьмого года находилась немецкая школа, где учился Сергей. Володька рассказал о возвращении отца Сергея, о их прогулке по Москве и о том, что рассказал отец.

— А я всегда считала, что во всем виноват именно он,— заметила она на это.

— Неужели? — удивился Володька.

— А разве ты не помнишь, как в девятом классе мы обсуждали книгу Фейхтвангера «Москва 37-го года»? И ты говорил, что автор «Лже-Нерона» не разобрался ни в тех процессах, ни в настоящем Нероне.

— Не помню. То есть обсуждения наши помню, но что говорил такое — забыл. Знаешь, в войну как-то все забы-

лось, и Сталин вырос в глазах всех настолько, что все и забылось и простилось.

На Колхозной они повернули в сторону Спасской... У подъезда Майкиного дома остановились, и оба почувствовали неловкость. Надо было прощаться, а в сорок пятом они всегда целовались на лестнице, а как проститься сейчас? Долго стояли, переминаясь с ноги на ногу, потом Майка открыла входную дверь, и Володька, как и прежде, прошел в подъезд и, чтоб скрыть смущение, закурил.

— А знаешь, Володька, я тебя, пожалуй, поцелую. Только не вообрази, что я жажду возврата к прошлому. Просто так поцелую. Не возражаешь? — она засмеялась, но смех показался ему не очень-то естественным.

Он притянул ее к себе и поцеловал в холодные, чуть дрожащие губы, раскрывшиеся для него. И подумалось ему в эту минуту, что, наверно, они перемудрили в сорок пятом, усложнили все чересчур, и виноват он в этом больше, чем Майка, потому что не было в нем той настоящей любви, которая ей была нужна. Да и стояла перед ними зримой тенью и с немим укором погибшая в войну Юлька... А теперь Юлька, бедная Юлька, все реже и реже приходит к нему, будто бы разрешая Володьке забыть ее и уступая свое место другой, кто должен прийти в его жизнь...

— Я буду звонить тебе, — сказал он, отпуская ее.

— Хорошо, звони, — нарочно небрежно ответила она, но в глазах блеснула радость.

Вернулся домой он успокоенный. Два близких ему человека, Сергей и Майка, приняли его рассказ об отце как вполне обычный, из ряда вон не выходящий факт его биографии. Майка даже сказала, разве ты один такой... Конечно, если бы он рассказал об этом Игорю — тот бы отшатнулся, не стал бы подавать руки, Володька для него и так «анархист», нечто подозрительное со своими размышлениями и тревогами. Для таких, как Игорь, все и на все времена ясно и понятно. Что ж, так жить несравнимо легче, подумал Володька в конце своих размышлений.

Мать, узнав, что он виделся с Майей, сказала только, что та вполне интеллигентная девочка и она была бы рада, если у них все наладилось. Эти слова были приятны Володьке, который сегодня, повидав Майку и поговорив с нею, вдруг как-то ясно понял, что она осталась для него близкой и дорогой...

Потом мать подошла к нему и, глядя на него в упор, сказала:

— Володя, у нас впереди много вечеров, и я расскажу тебе об отце многое, но сейчас должна главное — отец не был монархистом, он тоже, как и другие русские интеллигентные люди, мечтал о новой, демократической России. Пусть это были, быть может, неясные и расплывчатые идеалы, но это были идеалы. Понимаешь?

Володька кивнул:

— Да, мама... Наверное, кроме Карамзина, мне надо всерьез заняться и нашим веком. Не перейти ли мне на исторический, мама?

56

— Ты что же, соврала? — крикнул Петр Женьке, когда вошла она в комнату. В руках он держал письмо от Дубинина.

— Ничего я не соврала. Не кричи,— невозмутимо кинула она, остановившись.

— А это что? — потряс письмом Петр.— Выдумала все. Иван пишет, что ничего у вас с ним не было, что ты шантажируешь его. Даже в часть написала, сучка. Рехнулась ты, что ли? Ну, говори.

— А что говорить? Я вам тогда все по правде выложила. А насчет «ничего не было» пусть вспомнит твой дружок получше, не такой уж пьяный был.

— Ох, Женька, смотри ты! Я Ивану верю. Признался бы он мне, ежели что... А он начисто все отрицает.

— Дурачок еще. Меня не знает,— с удивившей Петра жесткостью сказала Женька и усмехнулась.— Не беспокойся, Петр, придет как миленький и распишется как миленький. Не угадал, с кем побаловаться надумал. Ты верь мне, Петр.

— Ни черта не пойму! — в сердцах выдохнул он.— Друг же он мне фронтовой. Понимаешь, что значит это? И ты не чужая.

— Вот и отпиши, чтоб не врал твой дружок, не вертелся, а приезжал бы скорей.

Тут вошла Настя и торопливо сказала:

— Отец за мной идет, прекратите пока разговоры-то. Ему знать этого не надо.

— Понимаешь, Настя,— понизил голос Петр.— Иван-то отрицает все.

— А ты ему больше, чем родной сестре, веришь? Бабник он, твой Дубинин. Как совести хватило с девчонкой связаться. Ладно, хватит...

Тяжело, с одышкой после подъема по лестнице вошел старик Бушуев, пробормотал, что тяжела стала лестница для него, с передыхом приходится подниматься.

— А вы тут о чем беседуете? — поглядел на побагровевшее лицо Петра и на стоящую в углу Женьку с крепко сжатыми губами и, наоборот, бледную.

— Да вот Петр ругал Женю, что занимается плохо, — с трудом соврала Настя. — Сейчас обедать будем, отец.

За обедом не успокоившийся Петр выпил две рюмки водки, на что отец неодобрительно покачал головой:

— Смотри, Петя, привыкнешь к рюмкам-то... Я понимаю, нервничаешь ты, положение твое неопределенное, но чего тебе особо переживать — уйдешь в запас, без работы не останешься. Слава богу, безработицы у нас нет и не будет. А помнишь небось биржу труда на 2-й Мещанской и народищу на всю улицу?

— Помню, — буркнул Петр. — Ты, отец, за меня не бойся, не мальчишка, я волю над собой этой не дам, — кивнул на чекушку. — Без дела сейчас томлюсь, не привык к вольной жизни.

— А ты почитай книжечки, не больно много довелось прочесть-то. В театр сходи...

— Ну, театра мне хватает и тут, — раздраженно сказал Петр.

Старик непонимающе взглянул на сына, опять покачал головой:

— Загадками говоришь.

— Какие загадки? Привык Петя наш один жить, а сейчас в семье, ну и заботы, вот тебе и театр, — отвела Настя разговор в сторону.

— Да, отец, — улыбнулся Петр. — Настю вот замуж надо выдать, Женьку ремнем по заднице погладить не мешало бы...

— Да. Настеньке-то пора подумать...

И тут зазвонил звонок, резко, требовательно. Женька бросилась открывать входную дверь, и вскоре послышались мужские тяжелые шаги по коридору, потом открылась дверь рывком, и возник на пороге Дубинин...

Петр тяжело поднялся и пошел навстречу другу, сжав кулаки. Тут и Женька вошла, вся красная, губы подра-

гивают, и, повернув голову к Дубинину, сказала громко, напрягая ломающийся голос:

— Вот, явился — не запылится. Я что говорила?

57

Был восьмой час вечера, когда Коншин вернулся с работы. Умылся, поставил чайник, снял сапоги, за день настоишься в них, находишься, ноги гудят, и растянулся на диване с газеткой. Прочел, что у Малого театра липы высадили, что завод имени Сталина выпустил опытный образец нового автомобиля ЗИС-150. Посмотрел фото — красивая машина, немного на «форда» военного времени похожа, но отличается все же. Ну и рапорты всякие заводов и предприятий о перевыполнении плана к празднику 1 Мая. А на последней странице — объявления и всякая ерунда, вроде того, что «снижены цены на золото и серебро», в кинотеатрах новая картина «Третий удар». Может, сходить посмотреть? Да нет, не стоит. Всегда разочарования от военных картин. Ждешь настоящей войны, а на экране все не то, не та война, которую он прошел.

В коридоре зазвонил телефон. Никто из соседей не подходил, пришлось подняться и взять трубку.

— Алеша, — услышал он какой-то извиняющийся голос Антонины Борисовны, — у Наташки-то сегодня... свадьба. Только позвонила и пригласила... Сказала, что если вы хотите прийти, так приходите. Ну как? Пойдете? Вы слышите?

— Да...

— Так пойдете? Я бы на вашем месте пошла. Покажите себя мужчиной. Вы слышите?

— Да, Антонина Борисовна... Я не знаю... Я не пойду, наверно.

— Как знаете. Но показались бы как ни в чем не бывало, и дело с концом.

— «Как ни в чем не бывало» не получится, наверно... Ладно, пока, — не смог он говорить больше и положил трубку.

Вот так и на войне бывало: удар, земля из-под тебя уходит, небо куда-то забирается, и ничего не замечаешь. Лишь спустя немного чувствуешь боль и как гимнастерка намокает. Тут понимаешь — ранило и вроде жив пока... Пошатываясь, вернулся он в комнату, остановился посередине, не зная, что делать, только сейчас поняв, не ве-

рил он до сегодня по-настоящему в Наташино замужество, не верил, надеясь, что разговоры это все... Но вот случилось.

Он сел на диван, закурил и стал натягивать сапоги, сам не зная для чего, потому что не решил, пойдет ли он или нет. Но сидеть одному в комнате было невмочь и, накинув бушлат, он вышел из дома. Проходя мимо павильона дяди Гриши, встретился с официантом из филипповского. Деньги он ему давно уже отдал, и тот радостно, как старому знакомому, пожал Коншину руку и предложил «дернуть».

Коншин пошарил по карманам — денег не было. Пробормотав что-то, он бросился тогда к дому. Вбежав по лестнице, лихорадочно спеша открыл дверь, ворвался в свою комнату, резко выдвинул ящик стола, нашарил рукой десятирублевый золотой и сунул его в карман.

Только на улице он вспомнил, что уже поздно, скупки закрыты и продать «рыжик» негде. Он остановился в растерянности, постоял минутку, а потом быстро рванул на 2-ю Мещанскую, к Колюне Крохину. Тот жил в двухэтажном домишке, стоявшем в глубине двора, напротив большого красивого доходного дома постройки начала века. Лишь бы застать, думал он, поднимаясь по лестнице. Дверь в квартиру была не заперта, он прошел в темный коридор, с трудом нашел Колюнину комнату и дернул дверь. Крохин сидел за столом и хлебал щи, которые варил себе сам на несколько дней.

— Колюня, надо золотой загнать,— с ходу сказал Коншин.

Крохин не спеша поднялся со стула, протянул руку:

— Садись. Щей не хочешь?

— Коля, срочно надо. Прямо сейчас.

— Чего такой спех? — спросил Крохин, садясь за стол.

— Деньги нужны.

— Это я понимаю. Ежели выпить приспичило, могу выручить.

— Мне много надо,— ответил Коншин, не зная сам, а зачем ему много...

— Ты садись... Сейчас мы это дело обмозгуем. Сообразим чего-нибудь.

— Поскорей, Колюня,— поторопил Коншин.

— Быстро знаешь что делают... Надо верняком, чтоб не ходить зря... Ну ладно, пошли. Как сразу не вспомнил. Напротив в доме техник зубной живет. Возьмет бесприменно.

Коншин заходить к зубному технику не стал, отдал «рыжик» Колюне и топтался в подъезде в ожидании. Крохин появился минут через пятнадцать, лыбился в довольной улыбке.

— Порядок в танковых войсках, держи. Тут девятьсот. Я тыщу просил, не дал, курва. Сойдет?

— Сойдет, конечно,— взял Коншин деньги.

За эту операцию «збд», то есть «забодать»,— а были в их лексиконе еще две операции — «зnm» и «злж» — занять и заложить, надо было Колюню отблагодарить. И Коншин потащил его в магазин.

У винного отдела, как всегда вечерами, народу невпроворот, но Колюню везде знали, и продавщица отпустила ему вне очереди. Среди стоявших заметил Коншин известного актера из театра ЦДКА, играющего часто в кино, с твердыми, будто вырубленными чертами лица волевого положительного героя. Неужто тоже «троит»? — подумал Коншин. «Троить» народ начал с войны, когда бутылку на одного не купить — дорого, ну и сейчас тоже двадцатник добыть еще надо, на стакан-то.

— Ко мне вертаемся. Рыбка соленая есть,— сказал Колюня, запихивая бутылку за пазуху.

И Коншин безвольно пошел за ним. Ладно, выпью, проясню мозги, может, решу что, подумал он.

Пока Крохин готовил закуску, Коншин оглядывал его жилище. Комната казалась большой из-за отсутствия мебели — стол, три стула полуразломанных, железная кровать, покрытая каким-то тряпьем, вот и вся обстановка. Жены у Колюни не было, не было, кажется, и никакой женщины, о них он вообще не поминал никогда. Так и жил, сам себе хозяин, никому ничего не должный, день прошел — и слава богу. На еду пенсии ему хватало, а на выпивку как-то, видать, раздобывал по мелочам, вот как сегодня, к примеру, помог Коншину, он и угощает. Так, наверно, почти каждый день, одному — то, второму — другое. И живет не тужит. Страшновато в общем-то живет, но сам этого не ощущает, наверно...

— Легко ты живешь, Колюня,— резюмировал Коншин свои мысли.

— А чего мне? На войне живым остался, это самое главное. А так мне ничего не надо. Везло мне на войне, ужас...— и начал фронтовые байки рассказывать...

Коншин слушал... От выпитого в голове у него не прояснилось, не заглушилась и тупая боль. Слушал, смолтил

«беломорины» и думал о своем, а когда Крохин закончил треп, задумчиво повторил:

— Легко живешь. Мне бы так...

— Чудак ты, право. Какие сейчас трудности? На войне тяжело было, а сейчас живи не тужи. Жилье есть, пенсию платят исправно, на хлебушек хватает, ну и чего тебе надо? А? Чем тебе плохо? Бога гневишь, Алеха... Кстати, а чего тебе деньги вдруг понадобились?

— Свадьба у знакомых...— угрюмо пробурчал Коншин.

Колюня поглядел на него внимательно и понял, видно, по невеселому коншинскому виду, что свадьба какая-то не такая. На свадьбу с радостью идут, а этот как в воду опущенный.

— Не знаю, пойду ли? — продолжал Коншин.

— Понятно... Я с войны прямо тоже на свадьбу попал. К своей милашке... Не дождалась, сука! Так я, знаешь, как там плясал? Бывшая-то моя глядела, глядела, а потом вдруг в слезы. Опомнилась, видать, посожалела, что такого парня не дождалась... Иди покажи, что тебе до этого трын-трава. За подружкой какой приударь,— Крохин задумался, призадумался.— Я-то все равно жениться на ней не стал бы... У меня же осколек около самого сердца сидит, долго не протяну. Врачи говорят, в любой час концы отдать могу. Так что мне особо заглядки на будущее делать нечего, день — да мой...

— Не говорил ты мне про... осколек,— пробормотал Коншин.

— А чего говорить? Вторую группу зазря не дают...

Теперь Коншину стала понятна крохинская жизнь, а он, дурак, позавидовал, легко, дескать, живет Колюня. У него-то самого осколка никакого нет, ему жить предстоит...

Они допили, и Коншин распрощался с Колюней.

Во двор Наташиного дома он вошел с дикой надеждой, что никакой свадьбы нет, что в ее окнах он ничего не увидит, что в них, быть может, даже не будет света, и он остановился в воротах, боясь пройти дальше. Постоял, разминая незажженную папиросу дрожащими пальцами, потом прижег ее, сделал несколько глубоких затяжек и тогда лишь решился пройти во двор. Отойдя немного от дома, увидел и свет в окне Наташиной комнаты, и силуэты танцующих пар, и даже услышал музыку из открытой форточки...

Если прежде он почему-то не ревновал Наташу к ее

жениху, то сейчас на него обрушилось — сегодня ночью она будет с другим.

Переживания в госпитале после Ленкиных писем о Галининой измене представились ему ничтожными перед этой самой обыденной реальностью. Это будет. Это произойдет через несколько часов, как разойдутся гости, бормотал он про себя, не сводя глаз с окон. И ничего не может сделать, ничем помешать... Но этого не должно случиться. Не должно! Не помня себя он рванулся к подъезду, вбежал и нажал кнопку лифта...

58

— А я только что твое письмо получил, Ванюха, — сказал Петр, подходя к другу. — Но о письме потом поговорим, а пока здравствуй, рад видеть, — протянул руку, а после рукопожатия приобнял и тихо на ухо: — При отце не будем, понял?

Дубинин кивнул понимающе, натянуто улыбнулся и пошел с остальными здороваться, а Насте бросил шутливо:

— Хорошеешь. Видать, нашла кого, изменила мне? — А потом Петру: — Извини, прямо с поезда, не успел купить чего, без гостинцев прибыл, но за мной.

— Чокнуться есть чем, Ваня... Присаживайся. Сообрази-ка, Настенька, закусить.

Дубинин присел, Петр налил по рюмке, Настя в кухню убежала. Но тут вдруг Женька, да громко, срывающимся голосом:

— Что ж это вы, товарищ Дубинин, на мои письма не отвечали?

— Цыц, Женька! Никаких твоих писем Иван не получал. Не мешайся! — повернулся к ней Петр и показал глазами на отца.

Но Женька если и поняла взгляд брата, то виду не подала. Она решила свое гнуть, полагая, наверно, что при отце и нужно, нечего того стесняться, а потому не замолчала:

— Как это не получал? От командира полка ответ имею.

— Какие такие письма? — встревожился старик Бушув, обводя непонимающим взглядом присутствующих. — Какой командир полка?

— Они знают, — кивнула на них Женька. — Пора и тебе знать. Замуж я за товарища Дубинина выхожу, вот

и писала — когда поджидать, когда приехать сможет?

На последних словах вошла Настя с тарелкой в руках и бросилась к Женьке:

— Ты что городишь, глупая?! Не смей при отце об этом! Идите-ка вы из дома, да и разбирайтесь сами на улице. Слышите?

— Да в чем разбираться-то, Настя? Девчонка, видно, того... — покрутил рукой у виска Дубинин. — Никаких таких разговоров у нас с ней не было. С чего решила, что я замуж ее собираюсь брать, — не знаю.

Но здесь Петр нахмурил брови и уставился мрачно на Ивана.

— Ты тоже не крути хвостом-то. Наблюдил и в кусты хочешь? Не выйдет! — и грохнул кулаком по столу.

— Да что происходит-то? — недоумевал отец, начав понимать, наверно, но не желая понимать до конца. — Объясните мне по-человечески, и нечего кулаком об стол, Петр. По-человечески надо, по-хорошему.

— Беременная я, отец. Вот от него. Он и приехал мне предложение делать. Все по-хорошему, отец. Вот распишемся, повезет меня товарищ Дубинин к себе в полк, в Германию, покажет друзьям-товарищам, все завидовать будут.

— Ну и девка! — вырвалось у Дубинина, и не поймешь — со злостью ли вырвалось или с восхищением.

— Грубо называете, товарищ Дубинин, — заявила Женька.

Видно было, всю эту игру она в уме проиграла, а сейчас вела ее с упоением, ошеломляя Дубинина своей уверенностью и невозмутимым спокойствием. На нее и Петр смотрел с изумлением, и Настя: откуда такая прыть у девчонки, у соплячки, которой только восемнадцать стукнуло? То, что растет девчонка боевая, — это видно было, но такого уж никто от нее не ожидал — хватки такой да и нахальства, которых у них в семье ни у кого не было и в помине.

— Это, отец, они шуточки такие шутят. Не обращай внимания. Не знаю, до чего только дошутятся? А ты, Ваня, садись ешь, а потом уже доиграете свои игры, — сказала Настя с деланным спокойствием, и сама села за стол, положила Дубинину закуску в тарелку. — А ты, Женька, больше ни звука. Поняла?

— А мне что? — небрежно фыркнула Женька. — Это вы расшумелись, — и села за стол напротив Дубинина.

— Ладно,— поднял рюмку Петр,— за приезд твой, за встречу. Как вырвался-то?

— Вырвался,— усмехнулся Дубинин.— Вызвал комполка и командировочку в зубы, ну и напутствия соответствующие, сам понимаешь. За твое здоровье, Петр. Кстати, каково оно?

— Неважно, Ваня. Да ладно, потом об этом поговорим.

— Нет, вы все же объясните мне, что это значит? — не успокоился от слов Насти старик Бушуев.— Не шуточки это, вижу. Говори, доченька,— повернулся он к Женьке.

— Я все сказала, отец. Все, и по правде. Свадьбу будем скоро справлять. Я бы, конечно, погуляла еще, я замуж не очень-то торопилась, но вот вышло так, не безотцовщину же рожать,— говорила Женька спокойно внешне, но чувствовалось, многого это ей стоит.

— Поторопились вы. Не по-людски получилось. Это уж твоя, Ваня, вина, с глупой девчонкой связался. Ну и теперича что? — уставился старик на Дубинина тяжелым взглядом.

— Что теперь? — усмехнулся Петр.— Завтра в загс пойдут, и все дела,— сказал жестко, командным голосом.

— А меня послушать не хотите? — спросил Дубинин, обводя всех глазами.

— Говори,— разрешил Петр, но таким тоном, что, дескать, разговоры-то твои слушаем, но ничего от того не изменится.

— Повозились мы с ней, поигрались в тот мой приезд, когда дома из вас никого не было, но ведь баловство. Вот и нет уверенности, от меня ли? Понимаете? Я, когда письмо получил, посмеялся только, решил, что разыгрывает девчонка...

— Рожу — увидите, ваш ребеночек-то. Без подмены,— сказала Женька.

— А сама о чем тогда думала? — спросила Настя строго.

— Когда мне было думать? Разве мне справиться было с бугаем таким?

— Вот оно что? Так ты, Ванюха, силком, что ли? — поднялся Петр и ухватил Дубинина за грудки.— Вот за это я тебе ноги повыдергиваю,— тряхнул он его с силой.— Смотри, я тебе жизнь спас, но рука не дрогнет с тобой по-солдатски расправиться.

— Ты что, Петр? Отпусти! С ума сошел, что ли? Чем грозишь-то? Опомнись! — побелел лицом Дубинин.

— Господи ты боже мой, чего же делается? — прохрипел старик и стал сползать со стула, прижав руку к левой стороне груди.

— Женька! Лекарство! — крикнула Настя, бросившись к отцу и подхватив его.

Бросился и Петр, отпустив Дубинина. Приподняли отца, положили на кровать; Настя пульс стала щупать и, не находя его, вскрикнула:

— Звони в «скорую», Женька!

Женька пулей вылетела из комнаты. Телефона-то у них не было, к соседям надо было бежать. Одних дома не было, другие открыли не скоро; набрала 03, а саму всю трясет — из-за нее получилось и из-за долдона этого, Дубинина. Тоже мне, стал объясняться, будто совсем уж бессовестная она, — валить на невиноватого, от него забеременела, чего уж тут, знает точно...

— Миленькие, срочно... Сердечный приступ... — и сколько лет, и адрес пробормотала дрожащим голосом в трубку и обратно бегом.

Отец лежал бледный и тяжело дышал, морщась от боли. Около хлопотала Настя. Мужчины сидели в сторонке, Петр на отца смотрел, Дубинин в пол уставился.

— Вызвала? — тихо спросил Петр.

Женька кивнула и стала у стены, наморщив лоб и покусывая губы, тяжело, зло смотрела на Дубинина. Но тот голову не поднимал, не видел взгляда Женьки, а увидев бы, подумал: на него все девка свалить хочет, его виноватым считает, а сама...

«Скорая» приехала быстро, долго ли от Склифосовского до Самарского. Прослушали отца, укол сделали и сказали, что надо в больницу. Вынесли старика на носилках, устроили в машину. Настя с ними уехала. Остальные вернулись в дом. Мужики сразу задымили молча. Никто разговора начинать, видно, не хотел. Потом Петр поднялся и стал вышагивать по комнате, играя желваками скул. Поглядывал на него Дубинин не то что робко, но с какой-то опаской. Знал, страшен Петр в гневе, теряет власть над собой, что угодно натворить может, забыв себя.

Долго мерил комнату туда-сюда Петр, затем остановился напротив Дубинина:

— С отцом что случится, тебе, Ванюха, плохо будет. Не прошу. А завтра — с Женькой в загс. Понял?

— Если Женька и вправду беременна и что от меня, тогда что же... Придется.

— Жизнью могу поклясться, что все правда,— тихо сказала Женька.

— Ты не своей,— повернулся к ней Петр,— ты жизнью своего ребенка поклянись.

— Клянусь.

— Все, Иван,— поставил точку Петр.

— Все, Петр... А за отца твоего я не ответчик, она же начала,— кивнул на Женьку.

— Нехорошо, Иван, на девчонку глупую сваливать. Мужчина же ты,— отрубил Петр.— Не стыдно?

Дубинин смутился. И верно, нехорошо. Но уж больно возмутили его Женькино нахальство и напористость. Решила все сама, а он при этом неизвестно что, вроде и не человек живой. Но сейчас, после укоризненных слов друга, начал понимать, девчонка-то от слабости, от неуверенности, наверно, так себя вела. Тем более на письма он не отвечал, переживала же, не без этого. Ну и решила сразу все сплеча рубить. Он поглядел на нее. Она стояла все так же у стены, заложив руки за спину, натянутая, будто готовая взорваться мгновенно. Взгляд исподлобья тоже напряженный, тяжелый, но мимо и него и Петра. Ждет, видно, что скажет Дубинин. И ему вдруг стало жалко этого волчонка. Виноват он, конечно, полез по пьянке, не сдержался, но и она хороша, ведь и не рыпалась особо, так, попищала для приличия. Но это жалости не убавило, вспомнилось, как прижалась она к нему после того, охватила ручонками за шею и спросила робко, даже униженно: «Писать-то будете?» А он, разумеется, пообещал — как же, буду непременно.

— Прав ты, Петя...— а повернувшись к Женьке, пробормотал: — Прости, Женька. Конечно, с меня все началось...

— А я уж было другом тебя считать не хотел... С отцом только лишь бы чего серьезного не вышло. Моли бога, чтоб поправился.

Настя удостоверилась, куда отца положили, переговорила с дежурной сестрой, с врачом — сказал, приступ сильный грудной жабы, но особой опасности вроде врачи не усмотрели. Успокоившись более или менее, вышла из Склифосовского, прошла до Колхозной, а там вниз к Самотеке, но завернула на 4-ю Мещанскую, а потом в Лавры; дошла до дома, где мастерская Марка, посмотрела, света

в окнах не было, и вдруг, не смутившись поздним временем, пошла к нему домой. Отворил дверь сам Марк, не стал делать удивленного лица, а провел сразу в комнату.

— Что-нибудь случилось, Настя?

— Да...

И рассказала все: какая пакость случилась в доме, как Женька себя бесстыдно вела, как Дубинин вертелся, ну и что отцу плохо сделалось. Ведь такого в их доме никогда не бывало. А чего к Марку пришла, сама не знает — не с кем ей горем поделиться, а домой идти не хочется. «Видеть их не могу, такие противные все оказались. И Петр тоже вел себя глупо, грозил Дубинину, приказывал, будто тот все еще его подчиненный».

— Ничего, Настя, заставит его благородие дружка своего жениться на сестрице.

— Да разве в этом дело — жениться не жениться. Получилось все гадко. Продается же Женька, продается. Жизни ей сладкой захотелось, вот что не понимаю.

— Чего же тут не понимать? Наголодалась девчонка в войну, ну и глупенькая еще.

— Не наша она, совсем не наша, — сокрушалась Настя. — У нас в семье долг был прежде всего, работа. Так и воспитаны были с детства. Петр ведь тоже не за хорошей жизнью в армию пошел, знал, служба военная трудная, но нужны были армии командиры, вот и пошел по спецнабору. Уж не знаю, какой он командир был, но жизни-то не жалел, в этом уверена, за чужие спины не прятался.

— Этого не отнять... Сам батальон вел, как на параде шагал, только толку не вышло.

Пропустила эти слова Настя мимо. О своем продолжала:

— Что же делать-то? Как дальше жить? Хотя чего вас спрашиваю, вы же своим заняты, вам до людей дела мало... Вы вот поразить всех хотите своими картинками, это смыслом своей жизни считаете, а пустое все... Человек должен в жизни хоть одного человека счастливым сделать, хоть одного, вот и смысл будет... А мы все для себя стараемся, не другим — себе счастья добиваемся, а что до того, что через других для этого переступаем, — не думаем. Вот и идет все не так...

— Напрасно вы думаете, что до других мне дела нет. Я очень вам, Настя, сочувствую... И в словах ваших, что хоть одного человек осчастливить должен, есть что-

то,— задумчиво произнес Марк, но сам почувствовал: холодно сказал, рассудочно, что вот по-настоящему, по-человечески пожалеть Настю не может, слишком долго, видимо, носил он в себе и лелеял другие чувства, которые и выхолодили все.

И стало ему вдруг больно от этого, даже неприязнь к себе самому ощутил. Вспомнилось, каким добрым и отзывчивым мальчишкой он был... Неужели выгорело все в немецком лагере? Неужто тот самый мальчишка через пятнадцать лет точил на камне железку в каком-то сладострастном предвкушении, как пройдет он ею по горлу охранника Отто, если тот ударит его.

Но Отто, сбивая с ног других, почему-то обходил Марка, чему удивлялись все. Было, видимо, в облике пленного за номером 220791 такое, что удерживало Отто. Удивлялся этому и староста барака и пытался даже завести дружбу с Марком, заговаривал не раз, но шла от Марка, наверно, какая-то волна, которая пугала и отталкивала. Да, выжжено все. И неужто необратимо? Хоть и уходила постепенно ненависть из души, но и доброта не приходила, холодно, пусто внутри... Вот сидит напротив человек, сидит в горе, и человек, который нравится ему, но не находит он в себе тепла. А подойти бы, обнять, сказать: «Настенька, милая, пройдет все, все хорошо будет. Успокойтесь» — не может, боясь, поймет она, почувствует, не от души это, не от сердца... И впустую будут эти слова.

Но подошел все-таки. Положил руку на Настину голову, провел по волосам. И тут, может от прикосновения, дрогнуло вдруг сердце настоящей человеческой жалостью.

— Успокойтесь, Настя... Пройдет все, наладится...— пробормотал осекшимся голосом, ощущая неожиданное тепло в душе.

Настя подняла голову и, встретившись с глазами Марка, долго не отводила взгляда. Потом улыбнулась, взяла другую руку Марка в свою и прошептала:

— И у вас пройдет все...— словно поняв, что думал и переживал он несколько минут тому назад.

Коншин сидел в такси, вжавшись в спинку заднего сиденья, задыхаясь от пережитого только что унижения — к Наташе его не пустили. Когда, не дождавшись лифта,

прыгая через три ступеньки, влетел он на четвертый этаж и позвонил, открыла ему Наташина мать и с недоумением, молча глядела на него, не приглашая пройти. Тогда он забормотал, что Антонина Борисовна звонила, что Наташа сказала... «Я ничего не знаю. Думаю, вам не надо было приходиться... Да, простите, но не надо...» — тихо проговорила она и стала прикрывать дверь. Коншину ничего не оставалось, как бегом вниз, потом бегом к Разгуляю, где и поймал он машину...

В «Коктейль-холле» он забрался на высокий стул у стойки, поздоровался с барменшей Риммочкой, улыбнувшись ему профессиональной улыбкой, и заказал сразу два коктейля покрепче, называвшихся почему-то «В полет». Потом третий, четвертый... Поначалу он считал, потом бросил, но противное чувство унижения и презрения к себе не уходило. «Как я мог? Зачем поперся?» — клял он себя.

Вокруг сидели сытые, благополучные, уверенные в себе люди, уже чего-то достигшие, а потому могущие позволить в свободные часы доставить себе удовольствие посидеть в этом заведении, лениво потягивая дорогие вкусные коктейли, и выкинуть небрежно за удовольствие полторы-две сотни. И это не выбьет их из колеи, они не будут утром лихорадочно шарить по карманам и ужасаться, что ни черта не осталось, а до очередной полочки или пенсии еще полмесяца и как эти две недели прожить, где занять, что идти закладывать в ломбард.

До сегодняшнего вечера Коншин неплохо чувствовал себя в их компании. Он тоже небрежно бросал деньги на стойку, не считая, засовывал сдачу в карман и думал, не за горами то время, когда он тоже добьется чего-то в жизни и с полным правом будет приходиться в этот «Коктейль-холл», встречая почет и уважение.

Но сегодня, когда рухнуло все, он ощущал себя чужим и бесконечно далеким от этой публики. И очень нелепым в своих синих потертых бриджах, полуразбитых армейских «кирзашках» и в штатском пиджачке среди хорошо одетых, при галстучках или даже бабочках мужчин.

А тут еще появился, прихрамывая, известный драматург с лауреатским значком, на которого начали глазеть со столиков и перешептываться. Он же шел ни на кого не глядя, небольшого роста, с серым невыразительным лицом, но приобретшим уже надменность. Около него увидался какой-то молодой хлыщ, помогший забраться ему на высокий стул. Не успел он и сесть, как подлетела Рим-

мочка, очаровательно и подобострастно улыбнулась и, бросив других клиентов, стала выполнять его заказ.

И Коншину страсть как захотелось очутиться в обыкновенной забегаловке, где такие же бывшие фронтовики, как и он, где считают рубли, прежде чем заказать кружку пива, где не ведут шибко умных разговоров, а вспоминают войну, на которой у каждого были необыкновенные случаи, где все свои в доску... Он вынул деньги, чтоб расплатиться, но Римма была занята с драматургом.

Он сидел на крайнем стуле, вдалеке от Коншина, но все же отдельные фразы доносились из его разговора со спутником. Драматург говорил, что, как ни старались космополиты сорвать его постановку во МХАТе, им это не удалось, что новую пьесу о сорок первом годе, несмотря на козни этих же космополитов, театр принял к постановке.

«А воевал ли ты в сорок первом?» — с неприязнью подумал Коншин. Непохоже что-то. Ему захотелось к чему-нибудь придрататься, устроить скандал, а может, и драку, но в баре сидели все чинно, благородно, раздражая его все больше своим благополучием, самоуверенностью и самодовольством.

— Получите, Римма! — крикнул он, постучав по стойке.

Римма не повернула и головы — она любезничала с драматургом.

— Вы слышите?! — уже со злостью повторил он. — Хватит трепаться! — и опять стукнул кулаком.

Но Римма не слышала.

— Не кипятитесь, молодой человек, — повернулся к нему сосед. — Разве не видите, с кем она разговаривает?

— Мне плевать с кем! Я спешу!

Сидевшие за стойкой заулыбались, кто одобряюще, кто иронически, ожидая, видать, небольшого шума и не имея ничего против этого. Коншин, поняв, что ждут они развлечения, насупился и молчал. Спустя немного Римма подошла к нему и получила деньги. Он слез со стула и напряженно, стараясь не шататься, пошел к выходу.

По улице Горького он шел никого не видя, натываясь на прохожих... А потом пошли провалы — не помнил, как очутился опять в машине, не помнил, по каким улицам ехал, и очнулся лишь у ворот Наташиного дома.

«Зачем я сюда приехал?» — подумал он, чиркая неверными руками одну спичку за другой, а они гасли на сквоз-

ныке в воротах. Он твердил себе, что ему не надо заходить во двор, какой черт дернул его сказать шоферу этот адрес, но какая-то сила потянула его туда. Он вошел, задрал голову вверх — света в Наташиной комнате уже не было...

Опять тупой толчок в грудь, в глазах потемнело, и он, пошатываясь, ступая как слепой, вышел на улицу и побрел к трем вокзалам...

Потом неизвестно как оказался он в самотечной «Нарве» с какой-то девицей, сильно накрашенной, но с пьяных глаз казавшейся хорошенькой... Что-то он заказывал на последние деньги, что-то они пили и ели. Повизгивал небольшой ресторанный оркестр, около их столика шелестели платья танцующих, вроде и сам танцевал с прижимающейся к нему девицей.

Не очень-то помнил он, как дошли до его дома, как поднимались по лестнице черного хода. Только у своей двери он немного очухался и заколебался, вести ли к себе совсем незнакомую девку? Ну а чего тогда он тянул ее за собой? Ведь ему плохо одному. И он стал открывать ключом дверь. Открыл и увидел свет в кухне. Какого черта! Неужто кто есть на кухне? Или забыли выключить? Но когда вошел, увидел сидящую на табуретке у своего кухонного столика Асю...

60

Игорь все же поймал Нину около ее дома...

— Наконец-то, Нинуша,— выдохнул он, протянув к ней руки.

Она остановилась. Потом отступила на шаг, не принимая его рук, и он жалко опустил их, сразу весь поникнув. В глазах Нины мелькнуло что-то вроде сострадания, она улыбнулась и мягко сказала:

— Ладно, пойдем поговорим. Домой не приглашаю, мама, наверно, уже дома.

— Ты здорово меня измучила,— сказал он.

— По тебе не видно,— глянула на него и, сказать по правде, заметила, вид у него если и не измученный, то утомленный.— Так, немного осунулся,— добавила небрежно, желая быть объективной.— Много занимаешься?

— Да. Но не в этом дело. Я просто не знал, что и думать. Ты же знаешь мою проклятую ревность. Отвратительную, но я ничего не могу с ней поделать... А ты, кстати, выглядишь великолепно,— он внимательно оглядел ее.

— Думаешь, я развлекаюсь? Увы, не до этого. Ну, говори, для чего тебе нужно меня видеть? — ответила немного раздраженно.

— Ну как для чего? Я очень истосковался. Я не понимаю, почему ты меня избегаешь? Что это? Очередной твой фортель или что-то другое? Мне лезут в голову всякие дрянные мысли. Ты мне случайно не... изменила? — спросил будто шутливо, с улыбкой, но взгляд был напряженным, и она почувствовала, как внутренне сжался он.

И вдруг ей захотелось сделать ему больно, так же, как было и ей, когда на ее наивно-радостное «у нас будет ребенок» она увидела испуг и досаду в его глазах. Захотелось нестерпимо, будто какой бесенок толкал ее, и, бездумно поддавшись этому желанию, она пожала плечами и небрежно кивнула:

— А если и изменяла? Что тогда?

Игорь побелел, отшатнулся от нее и остановился, тяжело переводя дыхание. Она тоже остановилась и глядела на него, уже сожалея о сказанном.

— Я пошутила, Игорек, — быстро пробормотала она. — Пошутила.

Игорь ничего не ответил, он стоял, судорожно шаря по карманам папиросы, не находил их, нервничая от этого еще больше, и словно бы не слышал ее слов. Тогда она повторила:

— Слышишь, я пошутила.

— Так им не шутят, — с трудом сказал он.

— А ты не задавай глупых вопросов. Сам виноват.

Они пошли дальше... Игорь молчал, и это молчание стало угнетать ее. Так и дошли молча до Садовой. Там Игорь бросился к табачному киоску. Вернулся уже с папироской во рту, жадно затягивался и, лишь выкурив полпапиросы, сказал:

— Ты, наверно, все же дурочка... Или... или ты нарочно?.. Знаешь же, простить такое я не в состоянии. Даже если бы захотел. Все будет кончено тогда. Как я это переживу — не знаю, но, наверно, все же переживу.

— Конечно, переживешь. Ты же сильный, ты — герой нашего времени, для которого дело прежде всего, — с усмешкой сказала она.

— Не иронизируй... Я, может, не такой, но хочу быть таким.

— А может, не надо... быть таким?

— Не понимаю тебя.

Он опять остановился и внимательно посмотрел на нее, пожал плечами и больше ничего не сказал. И опять шли в молчании до самой Тверской. Повернули обратно. У Каляевской Игорь, помявшись немного, сказал нарочито равнодушно, словно и не было неприятного разговора:

— Может быть, зайдем ко мне, посидим?

— А что, твоей матери нет дома? — вскинула она голову.

— Не знаю... Может, и нет. Она хотела куда-то зайти.

— Я пойду домой, Игорь.

— Нет, пойдем ко мне, — взял он ее за локоть. — Ты должна доказать мне, что была шутка и у нас все по-прежнему.

— Ничего я не должна, — вырвала она руку. — Я иду домой.

— Нина, я не понимаю тебя. Ты идешь на разрыв, когда у нас должен быть ребенок, это какое-то безрассудство. В чем дело? Скажи, может, действительно у тебя кто-то есть?

— Никого у меня нет, — резко ответила она.

— Что же тогда?

— Не знаю. Я не ломаюсь, Игорь, и не вру. Сама не знаю, почему и отчего. Понимаю, делаю все страшно глупо. Видимо, я увидела все совсем по-другому, хотя сейчас понимаю, твоя реакция была совершенно естественной, но... — она недоуменно развела руками, — но по-прежнему ничего уже не может быть. Считай меня дурочкой, кем угодно. Ты обещай только, когда родится ребенок, отдавать мне свою пенсию. Давай на этом пока и договоримся. Не знаю, может, и пройдет у меня это... Будем надеяться. Хорошо?

— У тебя кто-то есть, Нина, — заявил он почти уверенно.

— Тогда было бы все понятно, — сокрушенным голосом сказала она. — Но, увы, никого нет.

— Увы?

— Да, был бы кто, все стало бы ясно. И для меня и для тебя. А так — сплошной туман... И ты не обижайся на меня. Может, пройдет?

— Ты совсем не думаешь о будущем. Нельзя же быть таким мотыльком. Как ты будешь жить? — спросил он с болью.

— Наверно, хорошо, — беззаботно ответила она улыбувшись.

— Хорошо? На триста рублей, которые я тебе буду давать, и на свою зарплату в четыреста?

— Можешь давать больше. Хотя тебе не из чего, знаю.

— Да, пока не из чего.

— Проживу как-нибудь,— махнула она рукой.— Меня эта сторона жизни не очень волнует.

— Девчонка, глупая девчонка!

— Ладно, наверно, глупая. Но зато честная. Знаешь,— очень серьезно начала она,— я как-то не могу представить нашу совместную жизнь. Я боюсь... боюсь, что не смогу быть... ну, настоящей женой,— выговорила она с трудом.

Игорь снова побледнел, нахмурился и резко шагнул от нее в сторону, а потом, ничего не сказав, быстрым шагом пошел вперед, не оглядываясь. Нина остановилась, постояла в нерешительности, глядя ему вслед. Он шел сторбавшись, хромая больше, чем обычно, и ее охватило раскаяние. Она рванулась было, чтоб догнать его, но, повернув, медленно пошла в сторону дома, думая, что она, конечно, страшная дура, разве можно мужчине говорить такое... Ей было жалко Игоря, и в то же время почувствовала она какое-то облегчение — все решилось. Она свободна... И в этот миг ощущение свободы обрадовало ее.

Возвратившись домой, она записала в своей тетрадке:

«Наверное — в с е?! Я наговорила миллион глупостей и финита ля комедия! По-видимому, мне будет очень плохо. Увы, я давно предвидела это. Вчера я перечитывала свою тетрадку, и, оказывается, в самые наши хорошие часы я пророчила сама себе вот что: «Вчера была у Игоря и сегодня целый день хожу будто влюбленная в первый раз. Мне так хорошо, я испытываю спокойное, хорошее чувство. Господи, ведь я могла быть счастливой, но я же со своим дурацким характером вряд ли когда буду». Вот, как в воду глядела! Конечно, мне чуть ли не с детства казалось, что несчастной быть гораздо интереснее, чем глупо-счастливой. Но это прекрасно в теории, а на практике... Что впереди? «Мать-одиночка», как высказалась моя маман. Слово-то какое придумали! И в то же время, когда сегодня Игорь уходил от меня, уходил насовсем, я, глупая, вдруг «обрадовалась» какой-то свободе... Это что, легкомыслие? Идиотская беззаботность? Бездумность? Или то, к чему я всегда стремилась,— к внутренней свободе, чтоб быть всегда сама собой? Увы, даже если это так, то дается мне это ох как нелегко...»

— Это ты, Ася? — удивленно проямлил Коншин. — Давно ждешь?

— Вечером я приехала, — поднялась она и стала обглядывать бесцеремонно его спутницу. — Ты с кем это?

— Я? Вот видишь, знакомая... гостья, — глупо заухмылялся он.

— Знакомая? Гостья? — в Асиных глазах вспыхнул жесткий огонек. Она-то, видно, сразу поняла, какого полета птичку привел он.

Она подошла к девице вплотную и уставилась на нее. Та смущенно улыбалась, переминаясь с ноги на ногу, не понимая, кем эта женщина приходится парню, который привел ее, но когда Ася спокойно, но твердо, с угрозой в голосе сказала: «А ну-ка, мотай отсюда!» — а Коншин вступился за нее, сказав: «Не гони, Ася», девица перестала улыбаться, осмелела и бросила Асе грубовато:

— А ты кто такая, чтоб командовать тут? Не к тебе пришла, да и не хозяйка ты здесь.

— Ты еще разговаривать?! — Ася схватила девицу за плечи, повернула и вытолкнула за дверь с силой, которую и не приметить было в ее худеньком тельце. — Вот так!

— Нехорошо, Ася, — заплетающимся голосом пробормотал Коншин. — Может, нравится мне она. Может, мне сегодня нужна женщина. Понимаешь?

— А ты понимаешь, кого привел? И не стыдно? Вот уж про тебя такого не думала.

— Плохо мне... Раз ее прогнала — со мной будешь. Слышишь?

— Ладно, буду. Комнату-то открой или ключ дай.

Коншин отдал ключ, Ася открыла дверь его купе, он ввалился в комнату и сразу бухнулся на тахту. Уже полусонного раздевала его Ася, чего-то причитая. Он пытался обнять ее, затащить к себе, но она мягко уговаривала:

— Да подожди ты... Ложись как следует. Приду я к тебе, приду. Куда мне деваться?

— Только обязательно, Асенька... Не могу я сегодня без тебя, не могу, — пьяно болтал он, вытягивая руки, чтоб легче было ей снять его ковбойку.

Проснулся он среди ночи, пошарил рукой около — Аси не было; продрав глаза, он не нашел ее и в комнате. Поднялся и, пошатываясь, вышел в кухню — Ася спала, сидя на табуретке, положив голову на свой узелок на столе.

— Ася, Ася... дурочка,— начал будить ее.— Я уйду сейчас в другую комнату, а ты ложись...

Она открыла глаза, он приподнял ее и толкнул в комнату, а сам пошел в большую, родительскую. Там, не оправляя постель, свалился на диван. Утром, проснувшись, он долго лежал с открытыми глазами, уставившись в потолок. На душе было мерзко. Презрение к себе, начавшееся еще с того, как взял он золотой для продажи, сейчас было еще сильнее. Вспомнился «коктейль», эта самотечная «Нарва», девица, которую он поволок домой и которая охотно пошла... Ну и все дальнейшее. И то, как приставал к Асе, звал в постель,— тоже припомнил. Вот тебе и святая память о Ржеве... Что же с ним творится? До чего дошел? Потянулся к папиросам, сделал несколько затяжек, стало еще противней.

Постучав в дверь, в комнату вошла Ася.

— Ну, однополчанин, и хорош ты был вчера,— сказала, укоризненно покачивая головой.— Помнишь хоть что?

— Помню...— с трудом выдавил он.— Вроде к тебе приставал?

— А как же. Вам же, мужикам, как напьетесь, бабу подавай... И привел какую-то прости-господи. Где оторвал такую?

— В ресторане, наверно, привязалась,— поморщился он.— Ты прости, Ася, не соображал ничего. Фу ты, мерзко-то как.

— Не надо пить, Алеша... У нас в деревне, кто живым вернулся, тоже пьют много. Хороший же ты, а вчерась такой противный был. Уж подумала, неужто притворялся в прошлый раз, а на самом деле...— она не закончила, а потом добавила: — Мы же — товарищи, на одном фронте были, и зачем нам... Понимаешь? Да я, может, и пришла бы к тебе, кабы... кабы... ну, понимаешь, я ведь, несмотря ни на что, честной осталась... Надеюсь все же, найдется ежели человек, так упрекнуть меня ни в чем не сможет. Понимаешь?

— Понимаю, конечно. Но неужели? — удивился он.

— Уж так, видать, устроена... Мечтали мы, девчонки, в лагере: вот освободят нас наши, встретится какой-нибудь Иван-царевич, и такая, такая любовь будет...— Она замолчала, вытерла платком увлажнившиеся глаза, вздохнула: — Нет, не встретился никто... Может, и зря берегусь, может, ни к чему это? Трудно нам, военным девчонкам, найти кого... Но все же надежду не оставляю.

— Правильно, Ася... Ты же на вид девочка совсем, встретишь кого-нибудь...

— Это на вид — девчонка-то, а душа-то уже старая, Леша... Ну, ладно, поговорили и хватит. Я ведь что приехала? За справкой! И получила вчера, вот она, справочка-то! — Ася вынула аккуратно сложенную бумажку и торжественно развернула. — Видишь, все честь по чести и печать гербовая, что служила в разведотделе армии. А знаешь, как вышло? Через этого Петрова, который на подружке моей женился, помнишь, писала? Вот он все и устроил без волокиты. Теперь человек я. И инвалидность военную получу, ну и вообще...

— Поздравляю, Ася. Очень рад за тебя.

— Знаешь, можно я писать тебе буду? И про плен, про лагерь... Вытолкну все из сердца, может, забудется.

— Пиши, конечно, — он улыбнулся и положил руку ей на плечо. — Твои письма нужны мне. Как ни трудно нам было там, но настоящими мы были. Понимаешь? Ася кивнула.

62

Вот и пришел в Москву Первомай... Принарядилась Москва, украсилась. Зазеленели уже высаженные на улицах липы, протянулись красочные транспаранты и флаги. На здании телеграфа, как всегда, сооружено что-то интересное, светящееся, движущееся. На Пушкинской площади разбили праздничный базар из сказочных домиков с широкими резными воротами, с изображением двух золотых оленей... Ну и народ принарядился, особенно женщины. Им легче, пошили к празднику новые платьица цветастые, вот и украшены улицы в разные цвета, глаз радуется...

Снижение цен, правда, к маю не вышло, хоть и ожидали. Но ведь еще и полгода не прошло с реформы, рано еще, а вот к Октябрьской, наверно, понизят. Но этот Первомай и так особый, впервые за долгие годы встречают его москвичи в сытости, когда в магазинах всего полным-полно, когда можно себя побаловать праздничным обильным застольем... Радовал пришедший май и тем, что вслед идет еще большой праздник — День Победы. Третья годовщина того незабываемого Девятого мая. Кольнуло, правда, чуть фронтовиков, что перед самым Девятым мая объявили третьего сентября, то есть день победы над Японией, рабочим днем. Но кое-кто говорил, что и верно, главная-то

победа в Берлине была, а та война — дальневосточная — короткая, чего праздновать, за один-то лишний рабочий день в масштабе страны чего только ни сделать можно.

Вечером девятого выплеснулась вся Москва на улицы и площади. Конечно, Красная площадь полна народом, улица Горького течет разноцветной полноводной рекой. На площадях оркестры, музыка, на открытых эстрадах артисты выступают, смех, веселье, танцы...

Влились в праздничную толпу и Коншин с Володькой. Подхватила она их и несла к центру, где все сверкало от иллюминаций и где праздник шире и шумнее. Ну и было для них, конечно, традицией — шататься по центру города каждый большой праздник.

Володька поглядывал на Коншина — как он, оправился после Натальиной свадьбы или нет? Коншин шел спокойный, только опал немного на лицо и на встречных девиц не заглядывался. Ладно, оклемается, подумал Володька, умудренный бурными для себя месяцами сорок пятого, уже зная, заживают всегда раны, и сердечные тоже. Узнал он в прошлом году, что вышла его Тоня замуж за какого-то дипломата и укатила аж в Америку, ну и что? Не было уже боли. Даже порадовался за нее. Так и у Алексея все пройдет...

А сегодня с самого утра у Володьки приподнятое настроение, давно такого не было. Как-то ясно представилось, что война позади, что впереди целая жизнь и обязательно будет в ней и хорошее и радостное. И он сказал об этом Коншину.

— Да, Володька. У меня сегодня тоже такое чувство — мир вокруг, живые мы и все впереди. Только не надо не по себе сук рубить.

— Ты о Наталье?

— Нет, при чем она? Я — вообще... Ставить перед собой задачи, конечно, надо, но не «сверх».

— Не много ли пословиц? — улыбнулся Володька. — А твой Марк?

— Что Марк? Марк сделает все, что задумал, он сможет. А я вот разбежался и — попытка с негодными средствами.

— Да, наверно, к серьезному надо и готовиться по-серьезному, — подтвердил Володька.

К Красной площади они подошли с Никольской как раз к салюту. Заметались прожекторы по небу, бухнули первые залпы. Ребята остановились и невольно подтяну-

лись — грудь вперед, руки по швам, вроде по стойке «смирно» встали. Так и простояли все тридцать залпов, гроыхавших над Москвой, наполнявших их чувством великой гордости и удовлетворения, что хоть и малая толика, но внесена ими в этот праздник. Вон они — нашивки за ранения, вон и ордена и медали. И не зазря дадены. Завоеван же мир. Ими и миллионами других. Кровью большой, муками нечеловеческими, но завоеван. И мирная ликующая Москва перед ними...

С площади в промежутках между салютами неслись выкрики: «Да здравствует наша Победа! Ура! Да здравствует товарищ Сталин! Великому Сталину — ура-а-а!..»

Ребята переглянулись, и каждый угадал мысли другого: может, все их сомнения ничего не стоят? Вот она, народная любовь, а народ-то не ошибается... Наверно, что-то вроде этого подумали они, но высказался первым Коншин:

— Володька, а может, все-таки...

— Понимаю, но сегодня не будем об этом.

— Не будем... — согласился Коншин, но затем добавил: — А вдруг и верно, что глас народа — глас божий?

— Нет, Алексей... Увы, нет, — вздохнул Володька.

Да, в этот праздничный вечер среди ликующей толпы ни о чем таком не хотелось думать, а только радоваться со всеми, ощущать себя частицей великого целого, называемого народом, слиться с ним и в этом слиянии наполняться той радостной и огромной силой, которая в войну помогала им выносить невыносимое, совершать невыносимое, брать выше себя, как любил говорить Володька.

Салют окончился, и они вместе с людьми поплыли вниз, к площади Революции... Горела огнями гостиница «Москва», светилась неоновым вывеска ресторана «Гранд-отель», на желтом здании посольства США развевался звездно-полосатый флаг, в середине Манежной играл оркестр. По давно заведенному ритуалу тронулись они к улице Горького. Вместе со всеми поглазели на телеграф, прошли мимо «Коктейль-холла», в который Коншин поклялся больше не ходить, прошли гастроном с украшенными витринами и мимо ресторана «Арагви». Вспомнилась Коншину глупышка Женька, и кольнуло опять запоздалое раскаяние.

На Пушкинской решили передохнуть, посидеть у памятника и, с трудом найдя свободное место на скамейке, присели и задымили с удовольствием. Вечер был теплый, днем около двадцати тепла нагнал термометр, почти все гуляющие были без пальто. Мелькали перед ними откры-

тые выше колен девичьи ножки, посматривали на которые не без приятности, да и вообще после зимы, когда переходили женщины на открытые, облегающие фигуру платьица, короткие юбочки, казались они все красивыми и привлекательными. И хорошо было так сидеть да посиживать, бездумно поглядывая на проходящих, дышать посвежевшим вечерним воздухом с запахами распустившейся листвы и женских духов, перекидываться словами о том о сем и впитывать в себя, отрешившись от всего, атмосферу большого и такого значимого для них праздника.

Так бы и просидели еще долго, если б не увидели идущего со стороны Никитских ворот Михаила Михайловича. Брел он один, опустив голову, заложив руки за спину, неспешным прогулочным шагом, но было в его поникшей фигуре что-то жалкое, будто чужой он в толпе... Коншин окликнул. Михаил Михайлович остановился и, увидев ребят, подтянулся и подошел к ним уже с обычной своей улыбочкой.

— Рад, очень рад, молодые люди... С праздником. С нашим.

Они поднялись, чтоб пожать ему руку, предложили присесть, но он отказался, сказав, что только из дому вышел и хочет прогуляться, а вот если они не возражают составить ему компанию... Ребята не возражали.

С несколько ироническим сочувствием спросил он Коншина, как тот «пережил» Наташино замужество, хотя переживать, на его взгляд, особо нечего, рано еще хомут надевать, это всегда успеется... Говорил он это, как всегда, с улыбочкой, но чувствовал Коншин, какой-то не такой сегодня Михаил Михайлович, за легкостью тона — внутренняя напряженность. Будто говорить ему хочется совсем о другом, но он не решается, откладывает. И Коншин спросил:

— Вы чем-то озабочены, Михаил Михайлович?

— Произвожу такое впечатление? — улыбнулся он, но сразу посерьезнел. — Я принял одно решение, никому еще пока не говорил. Это долгая история, но, пожалуй, я расскажу вам, ежели не возражаете? — он сделал паузу, посмотрел на ребят и продолжил: — Дело в том, что та длительная командировка перед войной, о которой я вам, Алеша, говорил, была, мягко выражаясь, вынужденной... — он натужно улыбнулся и опять посмотрел на них.

— Неужели? — поразился Коншин.

— Что вас удивляет? А, понимаю. Видимо, то, что, не-

смотря на это, я выступаю как политрук. Да? — усмехнулся он.

— Да, и это,— признался Коншин.

Володька напрягся и подвинулся к Михаилу Михайловичу.

— А я и был политруком. Недолго, правда, но был.

— Вот как,— вырвалось у Володьки.— Очень интересно...

— Обычно,— пожал плечами Михаил Михайлович.— Знаете же, перед боем всегда партийное собрание и прием. Я подал заявление, ну и приняли в кандидаты... Потом в бою убили политрука, ранило замполита, и я... я занял его место. Полтора месяца воевал политруком. Решили присвоить мне звание, но мне пришлось рассказать комиссару полка о себе, ну и аттестацию отложили... Но это не все,— он достал папиросы и закурил.— М-да, не все. Я заехал в Москву лишь для того, чтоб повидать жену, сына, а следовал-то я в ссылку. Но тут объявили о войне, и я, как вы знаете, Алеша, присоединился к колонне мобилизованных и таким образом попал на фронт. Но эти два года ссылки остались за мной... До сих пор, кстати. И я решил сегодня,— он на минуту задумался,— решил подать прошение, чтоб четыре года войны зачли за нее. Я должен был это сделать сразу, когда вернулся с фронта, но, увидев положение семьи, не смог. Сейчас же, даже если мне и придется поотсутствовать, они проживут как-нибудь, продержатся эти два года. Я же буду работать там, смогу посылать хоть немного...

Ребята были ошеломлены и долго молчали.

— А все не понимали, почему вы не восстанавливаетесь в МОСХе,— наконец пробормотал Коншин.

— Да, поэтому. Ну и на работу штатную устраиваться опасался. Анкеты. Пришлось бы все написать.

— Вы посоветовались с кем-нибудь? — спросил Володька глухо.

— С кем? И зачем? Я же должен это сделать. Надеюсь, там поймут, почему не сделал раньше.

Ребятам сказать больше было нечего, да и что они могли посоветовать? Они молчали. Возможно, они и не очень осознавали всей сложности положения Михаила Михайловича. И все же Володька сказал:

— Наверно, не надо этого делать, Михаил Михайлович.

— Надо, дорогой... Так жить больше нельзя. Ведь в

любой час могут «вспомнить» обо мне, и может быть хуже. Да и устал я. Дошел до такого состояния, когда уж либо пан, либо пропал. Но я верю в справедливость и надеюсь.

— А осуждены-то вы были справедливо? — вырвалось у Володьки давно вертевшееся на языке.

Михаил Михайлович посмотрел на Володьку, усмехнулся:

— Представьте себе — да... В тридцать шестом я работал в агитпоезде — были тогда такие — главным художником, так вот в одном плакате, который, правда, делал не я, обнаружена была грубая политическая ошибка. Я ее не заметил и, разумеется, должен был отвечать за это. Я и не отрицал своей вины. Такая политическая близорукость была непростительна и граничила с преступлением... Ну что, вы опять, Алеша, скажете, что я рассуждаю как политрук? — улыбнулся он.

Коншин не нашел что сказать, Володька промолчал, так как вопрос обращен был не к нему. Так и прошли молча до Петровских ворот. Там повернули обратно, а на углу Пушкинской и Страстного Михаил Михайлович спросил:

— Что призадумались, молодые люди?

— У вас трудная, выходит, судьба, Михаил Михайлович, — заметил Коншин.

— Не из самых, Алексей... Но поучительна тем, что я сохранил веру... Да, веру, — повторил он со вздохом, а затем перешел на свой обычный тон, пожелав ребятам поселиться, найти хорошеньких девиц, ну и вообще приятно провести время. Пожав ребятам руки, он пошел к центру.

Ребята постояли немного, глядя ему вслед.

— Ну, пошли «веселиться»? — Володька взял Коншина под руку.

Они не спеша тронулись к праздничному базару, откуда неслась музыка.

— Что это? — спустя немного спросил Володька. — Ты понимаешь?

— Наверно, это настоящая убежденность.

— А я вот... не знаю... — задумчиво сказал Володька.

На базаре около киосков, сооруженных в виде сказочных теремов, толпились люди. У одного из них Коншин увидел Женьку. Она стояла с каким-то краснощеким военным, что-то покупала. Женька, принаряженная, веселая и похорошевшая, о чем-то оживленно болтала, крепко держа военного под руку.

Заметив Коншина, она изменилась в лице, сошла улыбка

ка. Она долго смотрела на него, а затем как-то грустно, прощально помахала ему рукой. Он ответил ей тем же. После этого она отвернулась и очень по-хозяйски потянула своего спутника к следующему теремку.

Коншин вздохнул с облегчением — видно, устроила свою судьбу эта непонятная, взбалмошная девчонка, ну и слава богу, а то все время его что-то подсасывало.

Володька не заметил ни этой переглядки, ни взмаха коншинской руки. Лицо его было сосредоточенно и задумчиво. Побродив недолго по базару, прошли опять к памятнику Пушкина, присели на скамейку.

— Ну и как ты думаешь, зачтут Михаилу Михайловичу четыре года войны? — повернулся Володька к Коншину.

— По справедливости — должны. У него же награды...

— А у твоего Кости Саничева не было наград? Нет, Алексей, не надо, наверно, Михаилу Михайловичу заявлять. Не надо... — Володька закурил, сделал несколько затяжек. — Черт побери, разберемся ли мы когда-нибудь во всем этом?

В этот же праздничный вечер брел Марк по Екатерининскому парку, где народа было немного и ничто не мешало его размышлениям. Панно на ВСХВ он закончил, но к своей главной работе не приступал, не хотелось. Он понимал, спады неизбежны. Серьезный художник обязан пересматривать и передумывать сделанное, и порой на это уходит больше времени, чем на саму работу. Сделано уже много, и, может, поэтому не приходит в голову ничего нового. Видимо, выбросил он уже все из себя за эти два года, исчерпался. Но это не кризис, нет, это необходимая пауза...

У Самотечной, где он хотел повернуть назад, задел кого-то плечом, буркнул «простите», но когда поднял голову — перед глазами оказался Петр Бушуев собственной персоной, который, узнав Марка, глядел на него нахмурившись, тяжелым взглядом.

— Ну вот, — процедил Петр, — столкнул нас опять случай. Может, расскажете теперь, чего вы там Насте болтали?

Марк опешил от неожиданности, но вскоре поползла по его губам обычная усмешечка.

— А стоит ли, ваше благородие? Приятного-то я вам не скажу. Праздник могу испортить.

— Вы не ломайтесь. Я вам — не благородие, а гвардии советский подполковник.

— Простите. Но я вас мысленно всегда так называю, как вспоминаю форс ваш перед солдатами.

— Где и когда вы со мной служили? — отрывисто бросил Петр, сдвинув брови.

— Но, но... Только без командного тона, подполковник, — предупредил Марк, перестав улыбаться.

— Как привык, так и говорю. Можете не отвечать. Мне же в общем-то это ни к чему, — сухо сказал Петр и сделал шаг.

— Ни к чему так и ни к чему... Только ответьте-ка мне на один вопросик, раз уж заговорили. Вспоминаете ли одну ночную атаку безрассудную, которую по собственному почину организовали? И ничего в сердечке не колыхнется, ежели вспоминаете? Ну?

— Вот вы о чем?.. — очень тихо сказал Петр и как-то обмяк. Повисли руки, опустились плечи. — Давайте-ка присядем. Может, вон на ту скамеечку...

Прошли, сели... Вытащил Петр серебряный трофейный портсигар, достал «беломорину», ломал спички, не одну, пока прижжет папиросу, затаился глубоко, спросил:

— Кем вы были в батальоне?

— Взводным... Но я не с начала формирования был, прислали из госпиталя на пополнение.

— Понятно... Потому и лица вашего не помню. Ну и что? Осуждаете меня за то дело?

— Не то словечко, подполковник... До рассвета раза три в сознание приходил, все надеялся — пришлют санитаров. Не один я, кстати, перед немецкими окопами раненый лежал. Не вынесли. Никого не вынесли. А утром... немцы. Что ж вы, удаль свою показали, фертом поперед батальона топали, а о раненых забыли? Почему никого не вынесли? Почему немцам отдали еще живых?

— Дал я приказ, дал, — торопливо выпалил Петр.

— Может, и дали, но проверить-то не проверили. Небось водочкой неудачу глушили. Не до того...

— Сколько вас там, раненных, было? — с трудом выдавил Петр.

— Пятерых немцы взяли... в живых которые остались. А сколько к утру померло — не знаю... — Марк помолчал, а затем с кривой дрожащей полуулыбкой спросил: — Чего же не спрашиваете, почему не застрелился?

Но Петр словно не слышал вопроса, сцепил руки и про-
бормотал:

— Ах, сволочи, сволочи, не выполнили, гады, приказа.
Не выполнили...

— Я говорю, чего же не спрашиваете, почему не заст-
релился? — повторил Марк вопрос. — Помню же, когда
немецкая разведка взяла одного, так вы гремели: «Как
смел живым в плен попасть?» Не забыли?

Петр опять не ответил. Докурил «беломорину», взял
другую. Сидел, смолил короткими затяжками. Марк гля-
дел на него, ничего почему-то не ощущая — ни неприязни,
ни сострадания, хотя видел, ломает его от боли. Ни удов-
летворения, что наконец-то смог выложить все начистоту
тому, кого считал виновным в своих трехлетних мучени-
ях, — нет, ничего не было в его душе... И он подумал, что
ненужным оказался этот разговор, ни к чему...

Петр повернул к нему голову, встретились взглядами,
и опять торопливо бросил Петр вопрос:

— В какой роте были? Кто ротный-то был?

— В третьей. Фамилию ротного не помню, да и убило
его в том бою. Перед броском в атаку я вроде роту принял,
не было уж никого из средних командиров. А какое это
имеет значение?

— Имеет. Вспоминаю, кому приказ отдал, чтоб ране-
ных вынесли. Наверно, помкомбату, мальчишке этому со-
пливому. Да, не проверил. Моя вина. Но вспоминаю смутно,
что докладывал помкомбата — ходили санитары на поле,
притащили раненых. Ну, я и успокоился.

— Может, и ходили... по краешку. А ведь самые боль-
шие потери перед немецкими окопами были, когда очну-
лись фрицы. А туда кому охота было ползти, — хотел было
Марк добавить, что раз капитан сам в атаку ходил, то и
после боя надо было самому проверить, остался ли кто на
том полюшке, но усмехнулся про себя: не много ли от ко-
мандира части требую?

И тут, словно бы в ответ его мыслям, Бушуев продол-
жил:

— Да, успокоился. А надо бы самому проверить, хоть
это и не дело командира части. Но та ночь была особая.
Сам эту атаку придумал, не давали мне покоя эти деревни.
Два месяца бились без толку, решил ва-банк идти. А ведь
чуток сил не хватило. Взводик бы один, хоть неполный,
и ворвались бы в деревню.

— И орденок наверняка.

— Это вы бросьте! За орденами не гнался. Мне людей жалко было, что зазря под этими деревнями гибли. Каждый день немцы десятками выбивали, сами знаете...— вздохнул Петр и вдруг мягко, с сожалеющими нотками в голосе спросил: — Значит, все эти годы меня во всем виноватым считали, ненависть копили? Ведь тогда при первой-то встрече так ненавистью в меня и брызнули, словно кислотой серной.

— Откровенно скажу, подполковник: на немецкую сволочь в лагере железяку тайком точил, чтоб полоснуть по горлу, если хоть пальцем дотронутся...

— Не дотронулись?

— Да. Видно, чуяли... Ну а про вас думал: встречу после войны, если живым из лагеря выберусь, то плохо вам придется.

— Вот и встретили,— спокойно сказал Петр.— За чем же дело?

— Не знаю...— задумчиво произнес Марк.

— Я не боюсь вас... лейтенант... Не боюсь. Сами знаете, не из таких. Но чтоб поняли вы, не в оправдание, скажу, что после боя того было... Да, правы вы, вернулся, глотнул из фляги, и сразу к телефону позвали. Узнал комбриг, ну и вызвал. Я на коня и в штаб бригады, а там перед пистолетом меня комбриг держал, под трибунал, кричал, отдам... Вернулся к утру... А бой, кстати, не безрассудный был, как вы сказали. Обдумал я все, и шло поначалу все здорово, ведь почти три четверти пути прошли, немцами не замеченные. А атака вот захлебнулась. Ослаблые были люди, этого не учел. Не смогли рвануть оставшиеся метры... Да чего там, сами все знаете. Прискорбно, конечно, что бой этот для вас пленом окончился, но... вы вроде спрашивали, почему не интересуюсь, чего же не застрелились. Так почему?

— Курок взвести не мог... Видел, что немцы подходят, а ни рукой, ни ногой... Контужен был сильно. Ну и помирать не хотелось... Пистолетик, между прочим, я после войны приобрел, и мнится мне — тот самый, мой ТТ, хотя номерок-то и соскобленный.

— С собой носите?

— А что?

— Так спросил... А вдруг с собой? Вдруг трахнете в меня?

— Нет, подполковник, ушло время... Ушло. Такие вещи под горячую руку только можно.

— Но купили все же пистолет?

— Купил... Так не только для вас, еще есть «дружки» лагерные, с которыми посчитаться надо. Но...— задумался Марк,— и это, наверно, уже в прошлом.

— Да, привыкли мы на войне оружием-то размахивать. Я сам давеча такой игрушкой другу своему грозился.

— Из-за Женьки?

— В курсе, значит? Рассказала Настасья?

— Рассказала.

— Может, из-за Насти меня... милуете? — усмехнулся Петр, бросив быстрый взгляд на Марка.

— Да нет, наверное,— усмехнулся Марк.— Другое тут дело, видимо. Хотя и Настя ваша кой-чему поспособствовала. Хорошая женщина.

— В нашу породу, в бушуевскую, а вот Женька,— махнул он рукой.

— Думаю, Настя тоже не в вашу породу,— покачал головой Марк.

И странно стало обоим, что перешел разговор на обычный, словно знакомы давно, словно и не было пяти минут назад речи про пистолет и про ненависть. Марк смотрел на Петра, на его красивое чеканное лицо и вспомнил: ведь восхищался в том бою комбатом, шедшим спокойно среди бушующего огня, и не для форса, конечно, а чтобы поднять как-то дух измученных голодухой и деморализованных прошлыми неудачными боями бойцов, да и верил он тогда — пройдут они, возьмут эти деревни проклятые. Это потом, в плену, стало ему все другим казаться. А тогда верил он в капитана, верил и в то, что подберут его непременно, до самой последней минуты верил, даже тогда, когда немцы подходить стали, надеялся, откроют огонь наши, не дадут немцам подойти, ведь те, гады, в открытую шли, а светло уже было. Но молчал наш передний край, зализывал раны, не до наблюдений за немцами было измученным бойцам... Вот тогда и рухнула у него вера в комбата, ну а потом, в лагере, и во многое другое...

И Петр, поглядывая на Марка, тоже дивился, что перестали они о прошлом, а этот обдавший его ненавидящим взглядом человек сидит сейчас рядом... Хорошо, наверно, что не взъялся он, не поднял голос, а признал свою вину сразу, объяснения и оправдания оставив на потом. Есть его вина, есть, разумеется, ведь чего не хлебнул его взводный в немецком лагере, страшно и подумать. И умилился самим собой — должен настоящий командир, ежели оп-

лошность допустил, признаться в этом прямо, что он и сделал. Но неплохо бы и добавить, чтоб понял художник этот, какой перед ним человек.

— Ну что мне еще сказать вам? Как вас звать-то? Марком вроде, а как по отчеству?

— Викторович.

— Так вот, Марк Викторович, я человек прямой, что на словах, то и в душе. Виноват. Не проверил исполнение своего приказа. Сожалею очень, что так вышло, что вроде по моей вине в плен попали, мук натерпелись. Помнить буду об этом до конца дней. Ну и ежели вас это удовлетворяет, покончим на этом, а ежели нет... — он усмехнулся горько, — ежели нет, решайте сами...

— А чего решать?

— Уж не знаю, — еще раз усмехнулся Петр. — Хоть дуэли еще при царе отменили, но — пожалуйста... Пистолетик тоже имеется, именной. Только стрелять я в вас не буду.

— Ну, хватили куда, — глухо засмеялся Марк. — А занятно бы было... Нет, Петр Севастьянович, перегорело уже все. Это я в лагере себя накручивал. Сперва один отец-командир полуживого на поле оставил, немцам отдал, потом другой тоже бросил, если не сказать — предал... Знаете же, наверно, отказался же он от своих пленных?

— Он и от сына своего отказался. Раз не мог всех обменять, так и собственного сына не стал. Поступок величайший, на мое мнение. Отец ведь! Что пережил, верно? Уму непостижимо.

— А может, не любил сына-то?

— Как можно? Какой отец сына не любит. Это вы бросьте, — похолодел голос у Петра.

— Ладно, Петр Севастьянович, может, доведется еще поговорить, так расскажу кое-что... Слышал, у вас в доме заместо икон по всем углам он? — спросил Марк.

— При чем здесь иконы? — нахмурился Петр. — А портреты висят. Так они, поди, в каждом доме у советских граждан. А что? — и настороженно глянул на Марка.

— Да ничего... А вдруг, чем черт не шутит, наступит времечко...

— Какое такое времечко? — перебил Петр непонимающе.

— Вы же знаете диалектику, Петр Севастьянович, — все течет и изменяется.

— Вот вы о чем... Я такой диалектики не знаю и знать не хочу,— рубанул он рукой по воздуху.

— Значит, на веки веков? — чуть усмехнулся Марк.

— А как же,— он помолчал немного, остывая, а потом, с сожалением глянув на Марка, уже успокоившись, сказал: — Настя говорила, что свихнул вас малость плен, вижу — права. Да ладно уж... Только о такой диалектике помалкивали бы. Люди-то разные есть,— предостерег под конец.

— Но я же не кому-нибудь, а в ам сказал,— сделал упор на «вам» Марк и посмотрел прямо в глаза.

Петр взгляд выдержал... Легкая улыбка тронула губы — верит этот бывший лейтенант своему бывшему комбату, верит, а это после всего, что промеж их произошло, было приятно. Он опять шелкнул портсигаром, предложил папиросу Марку, а затем поднялся. Долго колебался, подать ли руку первому, но Марк, заметив это, протянул свою. Обменялись рукопожатием. На том и разошлись...

Разошлись вроде по-хорошему, неожиданно для самих себя. Петр двинулся к Самотеке, а Марк дальше по парку... Разошлись, не зная еще и не ведая, что вернутся к этому разговору через восемь лет, на День Победы пятьдесят шестого года, что окажется Марк в этот день в доме Бушуевых и, увидя портреты на стенах комнаты, поймет, не наступило, да, видно, и не наступит для Петра такого времени. И эта верность отставного подполковника своему бывшему Верховному, как бы ни относился к нему сам Марк, странно тронет его...

63

После весенней сессии, которую Володька сдал, как обычно, успешно, а Коншин из-за своих «страданий молодого Вертера» и работы на сельхозвыставке с грехом пополам, ребята решили смотаться куда-нибудь за город, подышать вольным воздухом, побродить по лесу. Коншин предложил съездить в Абрамцево, в знакомые для него места. Снимали они там дачу в тридцать пятом. Договаривались об этой поездке в институте, и находившаяся поблизости однокурсница Ирина, равнодушная как будто бы к Володьке, воскликнула: «Ой, мальчики, возьмите меня с Олей!» Ребята пообещали, но поехали одни. Внесли бы девочки суету, да и ухаживать бы пришлось, а им хотелось побродить вдвоем, поговорить о том, что накопилось и о чем в Москве не договорили.

Коншин был при деньгах — получил за работу приличную сумму, и накупили шамовки, уложили в сбереженный с войны солдатский вещмешок и отправились на Ярославский вокзал.

Уже в вагоне стало им легко и радостно. С удовольствием глядели в окна, где пробегали знакомые платформы, рощицы, дачи... Часто они мальчишками по этой дороге ездили: и в Мамонтовку, в Уче купаться, и в Загорск, на лавру поглазеть. Ехали они по этой дороге и на Дальний Восток почти в одно и то же время, в октябре тридцать девятого. Для Коншина тогда последним знакомым местом была глубокая железнодорожная выемка у местечка Петровск, где был летом перед призывом в армию, а дальше пошло уже все незнакомое. Володька вспомнил, как в Александрове разгромила марьинорошинская шпана при вокзальный ларек. Вроде вначале порядок был, а потом подвалил народ, нажал сзади — и палатке какую, рухнула. Продащица под ней барахтается, а ребята уж на хапок работать начали. Посмеялись. А Коншин рассказал, что за Уралом нигде в пристанционных ларьках и буфетах ни вина, ни водки не продавали, так открыл кто-то какую-то фруктовую эссенцию. Ну и весь эшелон хрипел и говорил шепотом после этой штуки.

С эшелона, везущего их на Восток, перешли к воспоминаниям о довоенной службе, о чистой и здоровой жизни с физзарядочкой, с тактической до упаду, с ночными маршбросками, с рукопашным боем, которым занимались до изнеможения, полагая его очень важным, а пригодились эти приемы лишь один раз Володьке, когда был в штрафбате и в отчаянной ночной атаке отбил винтовку немца вниз и огрел того прикладом в висок отработанным, почти машинальным ударом. А Коншину в рукопашной не довелось быть — либо отходили немцы при их приближении, либо отбивали атаки, отбрасывая их с половины пути.

В тридцать пятом, чтоб добраться до Абрамцева, ехать надо было паровиком, а слезать на станции Хотьково. Электрички только до Мытищ ходили. А теперь есть платформа 57-й км, на которой они и сошли, и сразу тропкой в лес, к глубокому оврагу, пройдя который оказались уже на знакомой Коншину дороге, что вела через мост в Абрамцево.

Тут уже все знакомое ему — и пруд, и усадьба, и аллеи, и избушка «на курьих ножках», в которой среди многочисленных автографов, может быть, уцелел и его, вырезанный

перочинным ножичком. Коншину почему-то очень хотелось узнать, остались его инициалы на стене или нет, и он подгонял Володьку, задержавшегося у аксаковского дома.

Избушка оказалась на месте. Шла от нее, как и раньше, уходящая вниз аллея. Вспомнил Коншин, как разогнался он тут на велосипеде до замирания в сердце и как с ходу влетал на противоположный склон. До такой умопомрачительной скорости разогнался он лишь при зрителях: либо девчонок-дачниц, либо взрослых девиц из дома отдыха «РАБИС», располагавшегося в ту пору в усадьбе.

Свои инициалы «А. К. 35 г.» — он разыскал и был этому чрезвычайно рад, сам не зная почему, но и грустно стало. Показывая Володьке сохранившиеся буквы, он сказал:

— Да, убило бы на войне, только вот эти буковки и остались... А сколько здесь, наверно, таких. Видишь?

И стали они рассматривать и инициалы, и имена полностью, пальчишеские, девчоночьи... Много было их, все стены расписаны, а года все довоенные — тридцать шестой, седьмой, вплоть до сорок первого... А много ли из них в живых осталось? Хорошо, если половина, а может, и одна треть?.. Вроде как кладбище эта изба. Одновременно полезли они в карманы за папиросами, задымили...

— А может, Володька, от меня только это и останется? — горько усмехнулся Коншин.

— А ты что, памятник жаждешь заслужить? — иронически скривил губы Володька.

— Да нет... Но для чего-то, черт возьми, мы остались в живых!

— Брось! Выдумал ты себе это. А на самом деле до сих пор, наверно, не веришь, что живым остался. Сужу по себе.

— А что! — воскликнул Коншин. — Может, ты и прав. «А мы остались, уцелели из этой сечи роковой... — вспомнил он Вяземского. — ...По смерти ближних оскудели и уж не рвемся в жизнь, как в бой». — Он задумался. — Рвемся-то, может, и рвемся, но что-то ничего не получается.

— Опять завел ту же пластинку? — усмехнулся Володька.

Спустились от избышки вниз, к мостику, поднялись — аллея тянулась так далеко, что не видно просвета, только заметили они сидевшую на дальней скамейке особу женского пола с книжечкой и невольно приосанились, подтянули ремни на гимнастерках. Коншину было и грустно и приятно узнавать знакомые места... Вот здесь, у этой ямки, притормаживал он велосипед, там дальше разворачивал-

ся, на той вон скамеечке присаживался, как раз на той, где сидит сейчас девушка. А может, вдруг она из тех дачниц, длинноногих пятнадцатилетних девчонок, перед которыми он и форсил на велосипеде? Ведь в кого-то из них он был влюблен, но теперь, конечно, не помнит лица и вряд ли узнает.

Когда они подошли к скамейке шагов на тридцать, девушка подняла голову и посмотрела на них.

— Дадим «строевой»? — неожиданно предложил Володька.

Коншин удивился, не ждал он от Володьки такой прыти, но согласился, кисло улыбнувшись.

И прошлись они перед девицей «строевым», с равнением на нее, рубя шаг с каменными лицами и громыхая сапожищами. Она громко засмеялась... Что ж, реакция благожелательная, даже неудобно не остановиться. При тормозили и повернулись к ней.

— Мальчики, из вас никто в эвакогоспитале 5005 не лежал? Это у Киевского вокзала... — уточнила она.

— К сожалению, нет, — развел руками Володька, опять поразивший Коншина необычной любезностью. — Почему вас это интересует?

— Был у нас один ранбольной, всегда передо мной строевым проходил. Ну и вы рассмешили.

— Слышишь, Алексей? Уже был прецедент, мы, увы, не первые.

— Значит, вы в госпитале работали? — спросил Коншин.

— Ага.

— Не повезло нам с тобой. В каких только госпиталях не валялись, а к такой вот сестричке не попали, — опять заиграл Володька. — А вы, мадемуазель, значит, мечтаете в одиночестве?

— Увы, уже не мечтаю. Я читаю. Сонеты Шекспира, — она гордо помахала маленькой книжечкой.

— Ого-го, — промычали оба в один голос, выражая этим изумление и восхищение.

— А вы не «го-го», вы послушайте: «В тот черный день — пусть он минует нас! Когда увидишь все мои пороки. Когда терпенья истощишь запас И мне объявишь приговор жестокий... В тот день поможет горю моему Сознание, что я тебя не стою, И руку я в присяге подниму, Все оправдав своей неправотою. Меня оставить вправе ты, мой друг. А у меня для счастья нет заслуг». Ну как?

— Это почти про меня,— сказал Коншин.

— И про меня,— улыбнулась она.

— Ну и много у вас пороков? — спросил Володька.

— У кого? У меня?

— У вас. Про него я знаю,— кивнул он на Коншина.— У него навалом.

— Одну минутку...— она быстро залистала книжку, нашла страницу и продекламировала: — Отлично зная каждый свой порок, Я рассказать могу такую повесть, Что навсегда сниму с тебя упрек, Запятнанную оправдаю совесть...

— У Шекспира что, на все случаи жизни сонет? — удивился Володька.

— Почти.

— Что ж, пороки ваши нас не испугали. Если хотите, можете прогуляться с нами,— улыбнулся он.

— Спасибо за милостивое разрешение. Думаю, с Шекспиром мне будет интересней,— выдала она с улыбочкой.

— М-да? Неплохо. Один ноль в вашу пользу... Ладно, мы не обидчивые. Тогда пока...— махнул Володька рукой.

— Пока,— бросила она и уткнулась в книжку.

В конце аллеи Коншин стал искать тропку, ведущую в деревню Мутовки, где они жили, но не находил. Заросла, что ли? Да, видимо, «позарастили стежки-дорожки», вспомнились ему слова песни. Он повернулся к Володьке:

— Придется лесом... Вижу, понравилась девочка, не узнать прямо тебя.

— Весна,— пожал плечами Володька.— Ты веди давай.

Коншин искал еще тропку и, не найдя, повел Володьку напрямик лесом. Вскоре они выбрались на опушку. Впереди раскинулось поле, за ним стоял небольшой лесок, а из-за него выглядывала деревушка. Они осмотрелись и...

— Лешка, ну и местечко для обороны! — завопил Володька.— Обзор на все сто восемьдесят! Смотри, тут вот станкач установить, левее ручной. А второй ручник вот здесь. Ну и живи, не тужи, жди фрица.

— Место — красота! Только станковый я бы поставил туда, а второй ручник выдвинул бы к тому бугорку...— и они всерьез стали обсуждать устройство обороны на этом месте, пока не расхохотались.

— Не хватает еще стрелковую карточку начать составлять: ориентир первый — отдельно стоящее дерево,

ориентир второй — копна, ну и т. д. Не навоевались, идиоты!

— Карточку ни к чему, а вот пистолетик ты зря выбросил, постреляли бы, — с сожалением сказал Коншин. — У тебя какой вальтер был? П-38, офицерский, или типа браунинг?

— Полицейский, ПП, на семь шестьдесят пять.

— Наши патроны от ТТ подходили?

— Нет, наши чуть подлиннее. Но у меня два магазина было и россыпью патронов двадцать. Пострелять можно было.

— Зря все же выбросил, — вздохнул Коншин.

— Не настрелялись мы с тобой, что ли?

— Настреляться-то настрелялись, но интересно, мазали бы сейчас или нет? А потом, просто в руке подержать приятно.

— Конечно, мазали бы. Руки уже не те. А подержать бы — да, неплохо.

Перекурили они тут и пошли в деревню. Коншин сразу узнал дом, где жили, собрался было зайти к хозяевам, но остановился.

— Не стоит, пожалуй. Мать мне писала на восток, что хозяина на финскую еще взяли...

— Думаешь, не жив?

— Видишь, дом-то неухоженный. Придем к хозяйке ж и в ы е, только боль, кто-то вот уцелел, а мой... Не пойдем, — решил Коншин.

Да, до сих пор неловко заходить в дома погибших знакомых и товарищей. Постояли недолго у избы и пошли обратно, к Абрамцевскому парку, но на аллейке никого не было, скамейка, где сидела девушка, пуста... Володька притворно зевнул и спросил, какие здесь еще достопримечательности, давай посмотрим, а потом в настоящий лес заберемся. Коншин ответил, врубелевская скамейка имеется, откуда вид красивый, ну и волейбольная площадка, на которой он с самим Ойстрахом играл.

— Вот с каких пор ты равнодушен к знаменитостям. А я-то думал, чего это ты «Коктейль-холл» так любил? — подковырнул Володька.

Коншину это не понравилось, пробормотал что-то в ответ маловразумительное и повел Володьку к скамейке Врубеля. Там посидели, полюбовались действительно прекрасным видом на окрестности, а потом, пройдя по дороге, усаженной липами, свернули в лес, где на поляне и устрои-

ли привал. Вытащили из вещмешка еду, разожгли костерик от комаров и растянулись... И дымок от костра, и то, что лежали на родимой земле, и что лес вокруг — все это напомнило войну. Близко они тогда земли касались, крепко были связаны и сильно от нее зависели. И лес, и болотце, и опушка, и какая-нибудь лужайка, и сарай разбитый или изба полусожженная — все было средой их обитания, жили и обживали, ощущая неразрывную связь с матушкой-землей... И вот уже три года живут в городе, хоть и родном, но лишенные такой связи, и, наверно, плохо это. А сейчас вот на поляночке — расчудесно. Распахнуто над ними небо с бегущими облачками, тишина. Если и раздавались какие звуки, то приятные — петух в деревне прокукарекал, корова где-то промычала, либо прошумели деревья от порыва ветерка, а так все тихо, спокойно...

— Вот сокрушался ты в избушке, — задумчиво начал Володька, — что не выходит у тебя сказать «свое» слово, таланта не хватает и прочее. А я вот что подумал: нету ни у тебя, ни у меня еще своего слова-то. Нет, и все. Не готовы мы его сказать, вот и не получается ни хрена. Вот Игорь рассказ нам читал, так там все не его, откуда-то. Хоть он и обвинил нас в ералаше в мозгах, но у самого тоже... Задумывался об этом?

— Я только эти полгода и делаю, что задумываюсь.

— Ну, не только. Дров наломал достаточно, — усмехнулся Володька.

— Ну и что же теперь, по-твоему?

— Думать, наверно... — он потянулся к костру, подбросил веточек. — Зря ты все-таки не осилил «Историю государства Российского». Любопытные бы вычитал вещи... Не везло на царей России-матушке...

Коншин вскинул голову, ожидая продолжения, но Володька достал папиросы и закурил. Сделав несколько затяжек, он спросил:

— Ты видел «Дни Турбиных» во МХАТе?

— Конечно. И не один раз. Чего это ты вспомнил?

— Ну и как, понравилось?

— Да... Казалось бы, что нам эти белые офицеры, а трогало все.

— Они не только белые офицеры, — сказал Володька задумчиво. — Они — наша старая русская интеллигенция... Я бы хотел еще раз посмотреть этот спектакль, но, увы, он не идет. Смотрел-то мальчишкой...

— Я бы, пожалуй, тоже не отказался,— заметил Коншин.

— А твой отец не воевал в ту войну?

— Нет. Был студентом. А твой?

— Воевал...

— Офицером, наверно?

— Да.

— Ну а потом?

— Потом? — Володька поднялся.— Потом не знаю.

Пошли?

Коншин поглядел на Володьку, что-то, видимо, понял, но расспрашивать не стал.

По дороге на станцию нагнали они девушку, с которой говорили в парке, поравнялись. Володька спросил ее, но уже не прежним, игривым тоном:

— Как провели время наедине с Шекспиром?

— Прекрасно! — улыбнулась она.

— Но Шекспир угощал вас только своими сонетами.

А мы могли бы и еще кое-чем,— тряхнул он вещмешком.

— Духовная пища важнее,— не задумываясь ответила она, но на мешок посмотрела.— А это «кое-что» осталось у вас? — и рассмеялась.

— А как же. Можем сразу здесь разложить скатерть-самобранку. Или на станции. Где хотите. Как вас величать, кстати?

— Нина... Давайте на станции. Я не думала быть тут долго, ну и не захватила ничего. По своему обычному легкомыслию.

— Это какой по счету из ваших «пороков»? — улыбнулся Володька.

— Не считала. Боюсь сбиться со счета,— опять засмеялась она.

Так и шли они, беззаботно болтая, перекидываясь шуточками, и никто из них не думал и не гадал, что через несколько лет столкнет их снова случай, как не думали и не гадали, что через те же несколько лет разрешит жизнь если не все, то многие вопросы, которые мучают их сейчас и будут еще мучить в последующие, не менее трудные годы...

ИЗ ОГНЯ...

Десять лет назад, в 1979 году, в февральской книжке журнала «Дружба народов» была опубликована первая повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка». Константин Симонов, чьими стараниями и с чьим добрым напутствием была напечатана эта повесть тогда никому еще не известного автора, писал о Вячеславе Кондратьеве: «Это наша общая встреча с новым военным писателем, не с молодым, а просто с писателем, пишущим о своем и по-своему», — и предсказал, что Кондратьев «не из тех, кто остается автором одной книги». Сбылось и то и другое. Первая повесть Кондратьева была сразу же замечена и оценена по достоинству: с редким единодушием и читатели, и критики, и известные военные писатели (В. Быков и Г. Бакланов, А. Адамович и Д. Гранин, В. Астафьев и Е. Воробьев) определили ей место в ряду самых больших удач нашей литературы, посвященной Великой Отечественной войне. С той поры Кондратьев напечатал повести и рассказы, составившие три весьма объемистых сборника. Его имя замелькало на театральных афишах. Его проза привлекла внимание кинорежиссеров.

Так что вряд ли сегодня Кондратьев нуждается в каких-либо рекомендациях — его произведения, как говорится, на виду, его биография в общем известна любителям литературы. Хочу обратить внимание лишь на одно. Кондратьев воевал с начала сорок второго года до конца сорок третьего, когда он был во второй раз — тяжело — ранен и уволен из армии по инвалидности. Но прозу его не зря называют ржевской, она так или иначе связана с трагической ржевской эпопеей сорок второго года. Те, кто участвовал в этих тяжких, кровопролитных боях или хотя бы видел, что происходило на многострадальной ржевской земле, на всю жизнь запомнили горькие, раздирающие душу события безуспешного многомесячного сражения. Александр Твардовский, рассказывая, как возникло его

знаменитое стихотворение «Я убит подо Ржевом», вспоминал свою командировку в измотанные, обескровленные неудачными атаками войска: «Впечатления от этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких, до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие, боеприпасов было в обрез — их подвозили вьючными лошадьми. Вернувшись в редакцию своей фронтовой «Красноармейской правды», которая располагалась тогда в Москве, в помещении редакции «Гудка», я ничего не смог дать для газетной страницы, заполнив лишь несколько страничек дневника невеселыми записями». Такие же тягостные, рвущие душу впечатления вывез из-под Ржева и Илья Эренбург: «Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок...»

Через эти бои прошли и главные герои той книги Вячеслава Кондратьева, которую читатель сейчас держит в руках. И хотя встречаемся мы с ними уже в мирное время — вскоре после войны, пережитое на фронте подо Ржевом не отпускает их, многое определяя в их дальнейшей судьбе. Как и в судьбе и творчестве самого автора книги, принадлежащего к тому же поколению. Поколение это понесло на войне самые тяжкие, самые опустошительные потери. Как писал об этом Давид Самойлов — одноклассник Кондратьева:

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.

Но это поколение дало нашей литературе — и в поэзии и в прозе — целое созвездие очень ярких дарований. А ведь пули, конечно, не разбирали, кто перед ними, не щадили талантливых. Почему же это безжалостно вырубленное войной поколение дало писателей никак не меньше, а пожалуй, больше, чем последующие «мирные»?

Война была таким потрясением, что пережитое на фронте — да еще в столь юные годы — пробудило у многих те способности, которые в иное время и в других жизненных обстоятельствах, может быть, и не открылись бы вовсе. Но те, о ком здесь идет речь, брались за перо для

того, чтобы поведать о пережитых испытаниях, о великой беде и высоком мужестве народа, о товарищах, сложивших голову на поле боя. Прежде всего из-за этого, для этого. Кондратьева, как и многих других писателей военного поколения, в литературу привела фронтовая юность — забытая, незабываемая. Но в отличие от своих товарищей по войне и литературе он взялся за перо, когда ему перевалило за пятьдесят — в столь позднем возрасте прозаики не начинают. И это лучше всего говорит о силе пережитого, заряд которого сработал даже через столько лет. Вячеслав Кондратьев сам рассказывал, как не давало ему покоя пережитое, как жгло: «Я начал жить какой-то странной, двойной жизнью: одной — в реальности, другой — в прошлом, в войне. Ночами приходили ко мне ребята моего взвода, крутили мы самокрутки, поглядывали на небо, в котором висел «костыль», гадали, прилетят ли после него самолеты на бомбежку, а я просыпался только тогда, когда черная точка, отделявшаяся от фюзеляжа, летела прямо на меня, все увеличиваясь в размерах, и я с безнадёжностью думал: это моя бомба... Начал я разыскивать тогда своих ржевских однополчан — мне до зарезу нужен был кто-нибудь из них, — но никого не нашел, и пала мысль, что, может, только я один уцелел, а раз так, то тем более должен рассказать я обо всем. В общем, схватила меня война за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже просто не мог не начать писать».

Сорок с лишним лет — целая и немалая человеческая жизнь — отделяют нас от событий, о которых рассказывает Кондратьев. Но прошлое не подернуто у него дымкой, не отодвинуто вдаль, не покрыто патиной. Когда читаешь его, кажется, что написано это не сегодня, не в наши дни, а тогда — по горячим следам событий, когда дымились после разрывов воронки, свистели пули, заметало снегом убитых. Память его не знает срока давности. Это одна из самых важных особенностей художнической индивидуальности Кондратьева.

Я говорил о военных вещах Кондратьева, ибо в них предыстория героев его повести и романа, составивших эту книгу. Стоит напомнить об этом читателям — тем, кто уже знаком со ржевской прозой, а тем, кто ее пропустил, посоветовать прочитать: знание военных произведений существенно обогатит их восприятие кондратьевских вещей, посвященных мирному, послевоенному времени. Дело в том, что произведения Кондратьева как бы прорастают друг

в друга. Каждое из них вполне самостоятельно, но между ними существуют и внутренние, скрытые и очевидные, сюжетные связи: один и тот же бой возникает в них то как происходящее на наших глазах событие, то в воспоминаниях разных персонажей, некоторые герои из одного произведения переходят в другое, а то, что на передовой не встретились, не знали тогда друг друга, оказывается, служили под началом одного и того же старшего командира, после ранения попадали в один и тот же санвзвод, один и тот же подбитый танк на нейтралке служил им ориентиром. И чем отчетливее ощутит читатель Кондратьева эти многочисленные связи между его произведениями, тем больше ему в них откроется, тем больше он почерпнет отсюда...

Хочу сказать несколько слов о том времени, которое отражено в повести и романе Кондратьева, — о послевоенной поре, о самых первых послевоенных годах. Время это, каким оно поворачивалось к вернувшимся с войны ровесникам и героям Кондратьева, очень скудно освещено в нашей литературе — можно буквально по пальцам пересчитать книги, а настоящих удач и того меньше, раз-два и обчелся.

На то были серьезные причины: очень сложным, исполненным нежданых, не осознаваемых нами тогда противоречий было пришедшее после Победы время. Одержана была великая, историческая победа, пришел наконец дорогой ценой завоеванный, долгожданный мир. Все это рождало чувства гордости и подъема. Но рядом с ними, неотделимо от них возникали и другие чувства — горечи и усталости. Все невыносимо тяжкие годы войны в сознании людей мир связывался с восстановлением жизни такой, какой она была до гитлеровского нашествия, — из военного лихолетья казалось, что она тогда была сытой, благоустроенной, безбедной (хотя на самом деле она не была такой благополучной). Они надеялись на это, не отдавая себе отчета, что десятки городов лежат в руинах, сожжены сотни, тысячи сел, разрушено, пришло в упадок хозяйство, миллионы работников навсегда остались на полях сражений и понадобится не один год тяжелого труда и лишений, чтобы жизнь как-то наладилась. А у молодых — ровесников Кондратьева, вернувшихся с войны если не невредимыми, то живыми, — не было профессии, им надо было еще учиться, а на стипендию не прожить, и далеко не все могли рассчитывать на чью-то помощь.

Нет, не розами встречала мирная жизнь победителей, да и вообще вовсе не все были озабочены их устройством. Борис Слуцкий — еще один ровесник Кондратьева — горькие написал об этом стихи:

Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.
Господствовала прямота,
и вскользь сообщалось людям,
что заняты ваши места
и освобождать их не будем.

И еще одно. Жесткие испытания войны, особенно первых ее двух лет, ломали многие вбивавшиеся — и вбитые — в предвоенные годы представления: «исполнительское» мышление, упование на мудрые указания свыше, подозрительность, разрушавшую волю народа. Война, оказавшаяся совсем не такой, какой ей в соответствии с высшими предназначениями полагалось быть, — увы, ничего похожего на «малой кровью», «могучим сокрушительным ударом», «на чужой территории», — самым суровым образом возвращала не только к горькой действительности, но и к подлинным ценностям и реальным представлениям, требовала сознательного выбора и самостоятельных решений. Без этого невозможно было одолеть врага. Война, проверяя слова, принципы, убеждения, многое ставила на свои места, ее доказательства, оплаченные кровью, были неотразимы, они пробивали бреши в системе пустословия, лжи, демагогии, наветов.

Вернувшиеся с войны молодые люди были убеждены, что верность Родине и Советской власти они доказали на таком экзамене, что никому не придет в голову, никто не осмелится поставить их под сомнение. Однако принесенный ими с фронта дух свободолобия и свободомыслия был явно не по душе Сталину и его приближенным. Как точно заметил недавно один из наших историков, Сталин видел в «молодых людях в шинелях без погон будущих декабристов» и прибег к самым крутым мерам, чтобы ликвидировать эту потенциальную угрозу, чтобы снова воцарилось довоенное помрачение умов и оцепенение душ. Общественная атмосфера в стране вскоре после Победы стала омрачаться, становилась тягостной, давящей, надвинулись

новые волны репрессий и проработок. Не все тогда выдержали эти «нагрузки», иные стали приспособляться, делать карьеру, других запугали, третьи растерялись — всякое было. И все-таки то, что произошло в войну в сознании людей, было столь серьезно, заключало в себе столь мощный заряд исторической энергии, что в немалой степени подготавливало то духовное освобождение, которое теперь наша память называет XX съездом партии.

Таковыми были обстоятельства послевоенного времени, сообразуясь — вольно или невольно — с которыми вышедшие из огня войны молодые герои Вячеслава Кондратьева прокладывали жизненную стезю — все вместе и каждый свою...

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТРЕЧИ НА СРЕТЕНКЕ

Повесть

3

КРАСНЫЕ ВОРОТА

Роман

145

ИЗ ОГНЯ...

407

Вячеслав Кондратьев

КРАСНЫЕ ВОРОТА

Повесть. Роман

Заведующий редакцией *А. Бармасов*

Редактор В. Пестерев

Художник О. Шанецкий

Художественный редактор *В. Горин*

Технические редакторы

Г. Смирнова, О. Иванова

Корректоры

Н. Кузнецова, Т. Нарва, О. Шевцова

ИБ 4112

Сдано в набор 03.03.88. Подписано к печати 07.07.88.
Л 52082. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ.
л. 21,84. Усл. кр.-отт. 22,05. Уч.-изд. л. 24,0. Тираж
100 000 экз. Заказ 3626. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

Кондратьев В. Л.

К64 Красные ворота: Повесть. Роман.— М.: Моск. рабочий, 1988.— 413 с.

В повести и романе Вячеслава Кондратьева читатель встретится с поколением людей, которых война лишила юности и которые в послевоенные годы вынуждены были заново приобретать навыки мирной жизни. Лихолетье опалило их, воспитало в суровой, зачастую в жестокой атмосфере. Однако они не стали грубее, равнодушнее. Их отличают непримиримость, неприятие приспособленчества, несправедливости — всего того, что было порождено эпохой, названной впоследствии сталинизмом.

К $\frac{4702010200-006}{M172(03)-88}$ Без объявления

ББК 84Р7

В издательстве «Московский рабочий» начала выходить новая серия кратких работ знаменитых философов и писателей — «Первоисточники». Каждая из них представляет собой «краеугольный камень» определенной идеи или понятия, некогда положенных в основание целой науки или философской системы.

В 1988 году выйдут в свет:

Ленинские уроки правды;

Дневник молодости Л. Н. Толстого;

«Опыты» М. Монтеня;

«Автобиография» Б. Франклина

**ВЯЧЕСЛАВ
КОНДРАТЬЕВ**

КРАСНЫЕ ВОРОТА

«Свои инициалы — «А. К. 35 г.» — он разыскал и был этому чрезвычайно рад, сам не зная почему, но и грустно стало. Показывая Володьке сохранившиеся буквы, он сказал:

— Да, убило бы на войне, только вот эти буквы и остались... А сколько здесь, наверное, таких. Видишь!

И стали они рассматривать и инициалы, и имена полностью, мальчишеские, девчоночьи... Много было их, все стены расписаны, а года все довоенные — тридцать шестой, седьмой, вплоть до сорок первого... А много ли из них в живых осталось! Хорошо, если половина, а может, и одна треть!..»

ВЯЧЕСЛАВ КОНДРАТЬЕВ • КРАСНЫЕ ВОРОТА

